

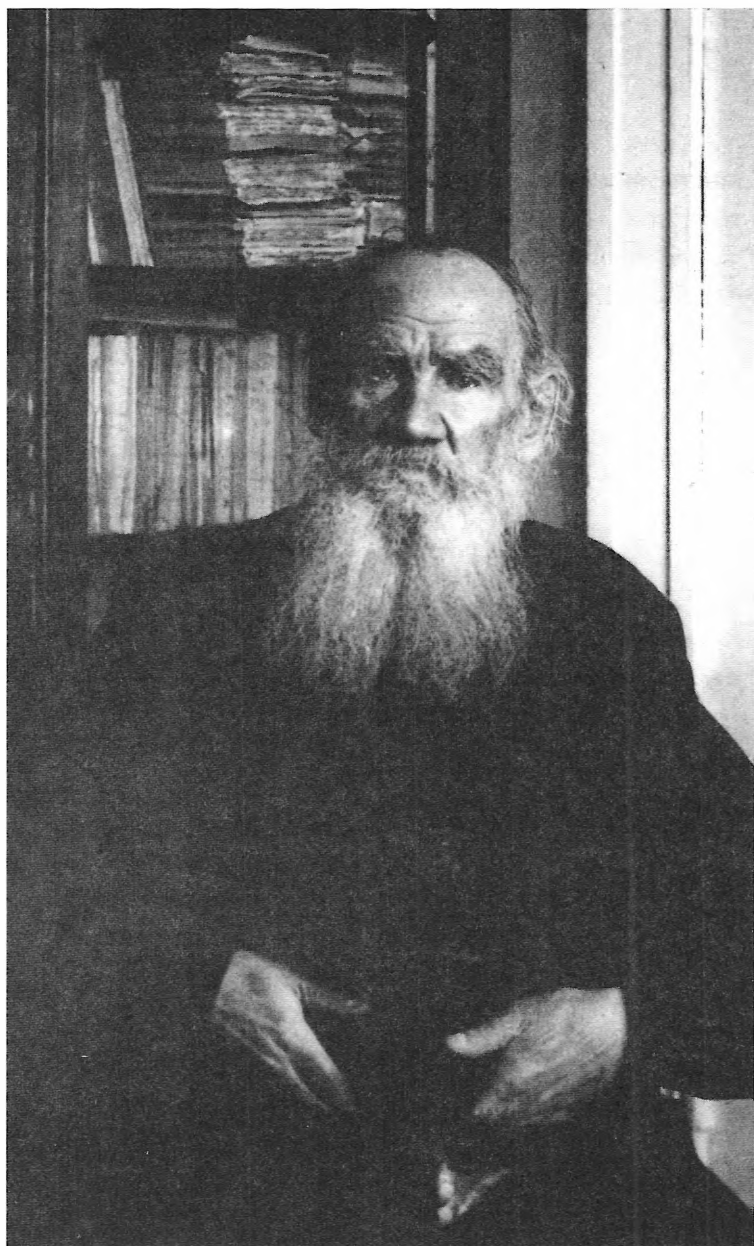
ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 1998

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 1998



Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия.

Лев Штанга



Л. Н. Толстой. 1908 г.
Фотография А. М. Хирьякова

Государственный мемориальный и природный заповедник
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва)

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 1998

статьи
материалы
публикации



Тула

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

УДК 8(С)Р1
ББК 83. 3(2=Рус)1
Я 82

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Л. Д. Громова-Опульская, К. Н. Ломунов — *главные редакторы*, Н. И. Азарова, Т. Н. Архангельская, Л. В. Гладкова, В. А. Лебедева, Л. М. Любимова, Н. П. Пузин, В. И. Толстой, Б. М. Шумова

Составители: Л. В. Милякова, А. Н. Полосина

Я 82

Яснополянский сборник 1998: Статьи, материалы, публикации — Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 1999. — 380 с.: илл.

ISBN 5—93322—001—9

Очередной выпуск «Яснополянского сборника» содержит новые работы российских и зарубежных исследователей жизни и творчества Л.Н. Толстого. Все материалы публикуются впервые.

Большое место занимают разделы: «Творчество Л.Н. Толстого: проблематика и поэтика», «Воспоминания. Письма. Книги», «Толстой и его современники» и др. Особый интерес представляют новые исследовательские материалы раздела «Яснополянская библиотека».

Издание адресовано литературоведам, преподавателям и студентам высших и средних учебных заведений, музейным сотрудникам, культурологам и всем интересующимся жизнью и творчеством Л.Н. Толстого.

УДК 8(С)Р1
ББК 83. 3(2=Рус)1

ISBN 5—93322—001—9

© Издательский дом «Ясная Поляна», 1999



СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии

9

Список условных сокращений

10

ТВОРЧЕСТВО А. Н. ТОЛСТОГО: ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА

Т. М. Альбертини

Толстой и детство (доклад, сделанный во время
Толстовских съездов в Венеции и Париже в 1978 г.)

12

Н. И. Бурнашева

История текста финальной
сцены рассказа «Набег»

20

Э. М. Жиякова

Традиции сентиментализма
в творчестве А. Н. Толстого 1850-х гг. («Казак»)

29

В. В. Мухин

Поэтика причинности в романе-эпопее
А. Н. Толстого «Война и мир»

40

Х. Маклейн

Истина — в смерти

48

Г. А. Шестопалова

Идея непротivления злу
насилием в народных рассказах Льва Толстого

66

Н. Г. Михновец

Диалогическое

в «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого

75

О. В. Журина

Религиозно-философские трактаты Л. Н. Толстого
и роман «Воскресение» (проблематика и поэтика)

84

Т. Т. Бурлакова

К вопросу об истории создания повести

«Посмертные записки старца Федора Кузмича»

91

ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА. КНИГИ

А. М. Сагацкая-Толстая

Ясная Поляна (публикация А. Н. Полосиной)

100

Е. Е. Долбе, Н. Х. Абрикосов

Рукопись Х. Н. Абрикосова «Семейное счастье»

108

Тарханская находка (письма из прошлого)

(публикация О. С. Пугачева)

115

А. С. Усачева

Четыре книги из музейной библиотеки

125

Три письма Ромена Роллана к Т. Л. Сухотиной-Толстой

(публикация Н. А. Калининной)

138

С. Кокрелл

Заметки о посещении Льва Толстого

в Ясной Поляне 12 июля 1903 г.

(публикация Т. Г. Никифоровой)

142

Ф. Кочетков

Толстой отец.

Памяти Льва Николаевича Толстого

(публикация Э. Н. Ивановой)

151

Т. В. Комарова

Пометки С. А. Толстой на яснополянском экземпляре

«Писем графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 гг.»

155

ТОЛСТОЙ И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ

О. Ю. Сафонова

Толстой и Тургенев в Судакове

160

Е. В. Петровская

Переписка Л. Н. Толстого
с А. А. Толстой как целостный текст
171

С. А. Розанова

Современники Пушкина
(Встречи в Париже, Кларане, Баден-Бадене)
181

С. Я. Долиннина

Автокомментарии к «Войне и миру»
и «Истории одного города»
193

Л. П. Корчагина

«Я много спас в душе своей...»
(Л. Н. Толстой и В. В. Розанов)
200

И. Г. Чеснокова

Проблема «естественного состояния» личности
в творчестве Л. Н. Толстого и А. И. Kupрина
207

Э. Ф. Осипова

Уильям Уоллинг о России
и Льве Толстом
214

Т. Н. Архангельская

О Л. Толстом и У. Уоллинге
221

В. Б. Ремизов

«Идти по звезде, по солнцу»
(Л. Н. Толстой и В. С. Соловьев)
225

ЯСНОПОЛЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

А. Г. Королева

На память Льву Толстому...
238

Л. Козыро

«Что за эпоха для художника...»
(Л. Н. Толстой и русская книга XVIII века)
247

А. Н. Полосина

Л. Н. Толстой и В. А. Жуковский
(По материалам яснополянской библиотеки)
258

Л. С. Дробат

Из библиотеки Льва Толстого
268

М. А. Можарова

«Хранили многие страницы
отметку резкую ногтей...»

281

Л. В. Милякова

Л. Н. Толстой и Л. Н. Андреев

(По материалам личной библиотеки Л. Н. Толстого)

288

Г. В. Алексеева

Лев Толстой и Эдин Баллу

о теории и практике непротивления

294

Э. М. Богачева

Л. Н. Толстой — переводчик А. Силезиуса

302

ТОЛСТОЙ В ФОТОГРАФИЯХ

Т. К. Поповкина

Коллекция любительских фотографий

Л. Н. Толстого работы А. М. Хирьякова

312

О. Е. Ершова

Атрибуция трех дагерротипных

портретов из собрания ГМТ

323

В. А. Врубель

История одной фотографии

(Публикация И. К. Грызловой)

331

ИЗ ИСТОРИИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Д. Н. Тихонова

«Нахожу покупку... недопустимую»

336

В. И. Крутиков

Л. Н. Толстой и яснополянские крестьяне

(Попытка освобождения до реформы 1861 г.)

352

Н. А. Никитина

К вопросу о создании свода

мемориальных объектов Ясной Поляны

358

НЕКРОЛОГИ. ПАМЯТИ НАШИХ БЛИЗКИХ

363

От редколлегии

К 170-летию со дня рождения Л.Н. Толстого возобновляется, спустя шесть лет, «Яснополянский сборник».

Как и прежние, этот, девятнадцатый, выпуск разнообразен по содержанию и по авторскому составу. Научные сотрудники яснополянского и московского Музеев Л.Н. Толстого, ученые Института мировой литературы Российской Академии наук, специалисты из разных городов страны предоставили статьи и публикации.

Первый раздел «Творчество Л.Н. Толстого: проблематика и поэтика» открывается статьей внучки Толстого Т.М. Альбертини-Сухотиной (1905–1996) — доклад, прочитанный в Париже и Венеции в 1978 г. В России публикуется впервые.

Работа над стотомным академическим изданием сочинений Л.Н. Толстого, которая в настоящее время осуществляется сотрудниками ИМЛИ и Толстовских музеев Москвы и Ясной Поляны, заставляет нас снова и снова возвращаться к творческой истории произведений, к размышлениям о биографических, исторических, философских, религиозно-нравственных основах творчества Толстого, о его глубоких связях с национальной литературной традицией. Особо хотелось бы отметить участие американского слависта Х. Маклейна.

Второй раздел «Воспоминания. Письма. Книги» включает публикацию новых материалов. Духовная жизнь Толстого, его связи с миром и ближайшим окружением — все это нуждается в детальном, непредвзятом изучении, которое невозможно без исчерпывающего знания фактов.

Стремление к объективности и достоверности воодушевляло авторов третьего раздела «Толстой и его современники», посвященного взаимоотношениям Толстого с разными лицами: И.С. Тургеневым, М.Е. Салтыковым-Щедринным, А.И. Куприным, В.В. Розановым, В.С. Соловьевым, А.А. Толстой, американским писателем У. Уоллингом.

Пристальное внимание исследователей по-прежнему привлекает яснополянская библиотека, бесценная для исследователей в особенности потому, что многие книги хранят пометы Толстого, следы чтения и творческого труда. Четвертый раздел (восемь статей) целиком отдан этим материалам. Хотели бы сообщить, что в дополнение к изданным в 1972–1978 гг. трем книгам «Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Книги на русском языке. Периодические издания на русском языке» Музей-усадьба «Ясная Поляна» планирует в ближайшее время опубликовать библиографическое описание книг и журналов на иностранных языках.

Затем следует традиционный для «Яснополянских сборников» раздел «Толстой в фотографиях».

Завершают выпуск статьи «Из истории Ясной Поляны».

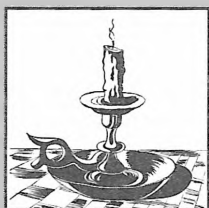
Надеемся, что с выходом данного сборника это издание станет постоянным, с прежней периодичностью: одна книга каждые два года.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке сборника сотрудникам Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва) Т.К. Поповкиной, А.С. Усачевой и В.С. Бастрыкиной, а также сотрудникам Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» А.И. Плякину и Н.М. Алексеевой.

Список условных сокращений

- Архив РАН* — Архив Российской Академии наук
ГАТО — Государственный архив Тульской области
ГМТ — Государственный музей Л.Н. Толстого (Москва)
Гусев — Гусев Н.Н. Два года с Толстым. М., 1973
Гусев. Летопись I, II — Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1828—1890. 1891—1910. М., 1958, 1960
Гусев. Материалы, I, II, III, IV — Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. Изд-во АН СССР, 1954, 1957, 1963, 1970
ДСТ — Толстая С.А. Дневники. В двух томах. М., 1978
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Купреянова — Купреянова Е.Н. Эстетика Л.Н. Толстого. М. — Л., 1966
Летописи — Государственный Литературный музей. Летописи. Кн. 12. «Л.Н. Толстой». Том II. М., 1948
ЛН — «Литературное наследство»
Моя жизнь — Толстая С.А. Моя жизнь. Машинопись. Музей-усадьба «Ясная Поляна»
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного Исторического музея
ОР ГМТ — Отдел рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва)
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
ПАТ — Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. 1857—1903. СПб., изд. Общества Толстовского музея, 1911
ПРП — Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. В двух томах. М., 1978
Опульская — Опульская Л.Д. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979
РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства
РГИА — Российский Государственный исторический архив
Сухотина Т.Л. — Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1981
ЯЗ — Маковицкий Д.П. У Толстого. 1904—1910. Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1—4
ЯПб — Яснополянская библиотека
Ясн. сб. — Яснополянский сборник. Тула.

**ТВОРЧЕСТВО
Л. Н. ТОЛСТОГО:
ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА**



Т. М. Альбертини

ТОЛСТОЙ И ДЕТСТВО

Доклад, сделанный во время Толстовских съездов в Венеции и Париже в 1978 г.

Я хочу говорить о Толстом и детстве потому, что думаю, что во время всей жизни Л.Н. Толстого ребенок представлял для него глубокую и душевную проблему. Он любил ребенка со всей силой своей страстной и сильной натуры. Он любил ребенка с нежностью и уважением, с чувством бережливости, почти что со страхом... Он чувствовал свою ответственность перед ним и часто учился у него.

В ребенке Толстой находил то, что искал всю жизнь. Он находил в нем любовь и правду. Не говорил ли он: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (4, 59)*. И ребенок был для него правдой.

Обыкновенно только с приближением старости люди начинают вспоминать свое детство и жалеть об этом чудном, навсегда прошедшем времени. Но Толстой еще совсем молодым (ему было 24 года) пишет в «Детстве»: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» (1, 43). И дальше, тоже в «Детстве»: «Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него» (1, 58).

Я не хочу углубляться в педагогическую деятельность Толстого, которая была так важна во многие периоды его жизни. И этот вопрос оставляю более компетентным людям. Но не могу не сказать, что проблемы воспитания и учения имели огромный вес в поступках, мыслях и исканиях Толстого.

Работая над своей «Азбукой», он пишет А.А. Толстой: «Эта «Азбука» одна может дать работы на 100 лет» (61, 283). И опять А.А. Толстой в 1872 году: «Гордые мечты мои об этой «Азбуке» вот какие: по этой «Азбуке» только будут учиться два поколения русских всех детей от царских до мужицких и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту «Азбуку», мне можно будет спокойно умереть» (61, 269).

Когда два ученика школы Ясной Поляны, Федька и Семка, сочинили повесть, Толстой писал: «Мне страшно и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника: радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года —

* Здесь и далее так обозначаются том и страница Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах (Юбилейного). — Ред.

искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество...» (8, 305–306).

Но ведь у Льва Николаевича были собственные дети, которых он глубоко любил, чувствуя всю свою ответственность перед их воспитанием, физическим и моральным. Это видно из воспоминаний тех, кто жил вблизи него, и особенно из его дневников. В 1873 году он пишет А.А. Толстой: «Дети и их воспитание все больше и больше забирают нас, и идет хорошо. Я стараюсь и не могу не гордиться своими детьми» (62, 73). И еще: «...Старшие дети так много мне доставляют радости, что те заботы о воспитании и страхи о дурных наклонностях и болезнях незаметны» (62, 371).

В своем дневнике он пишет: «Самые важные вещи у меня остались в жизни — дети и общение с ними».

Л.Н. Толстой много занимался обучением своих детей. Он сам учил их арифметике. Моя мать боялась этих уроков. В своих воспоминаниях она пишет: «За уроком арифметики он был строгим, нетерпеливым учителем. Я знала, что при первой запинке с моей стороны он рассердится, возвысит голос и приведет меня в состояние полного кретинизма. Но он, замечая мое жалкое состояние, говорил: «Ну, попрыгай». Я... ничего не расспрашивая, встаю со стула и, с невысохшими еще слезами на глазах, мрачно прыгаю на одном месте. И правда, мысли мои проясняются»¹. Голова ее делалась свежее, и она начинала понимать урок.



Т. М. Альбертини-Сухотина и Н. П. Пузин.
Ясная Поляна. 1975 г. Фотография В. Я. Бромберга



Н. П. Пузин, Т. М. Альбертини-Сухотина (в центре),
И. В. Толстой, Л. Альбертини, В. И. Толстой и Р. А. Толстая в Ясной Поляне
среди сотрудников и посетителей музея. 1979 г. Фотография В. Я. Бромберга

Чтобы учить своего сына Сергея греческому языку, Лев Николаевич сам бросился в его изучение. Он трудился над грамматикой и над авторами и наконец с огромными трудностями и дикими головными болями овладел этим языком.

Л.Н. Толстой говорил, что в оригинальных текстах, имеющих вкус свежей и чистой воды источника, он находил в первый раз авторов, которых знал раньше только по «кипяченой и дистиллированной воде переводов».

По вечерам почти всегда Толстой читал вслух своим детям. Часто он читал повести и рассказы, которые впоследствии переписывал и отбирал для своей «Азбуки» или «Круга чтения». Он хотел видеть, какое впечатление эти вещи производят на его собственных детей, нравятся ли они им, понятны ли. Конечно, он тогда думал о своих будущих читателях, особенно тех, которые были ему близки к сердцу, — крестьянских детях.

Лев Николаевич любил, чтобы после чтения дети пересказывали то, что от него слышали, и он просил их описать личности, которые их особенно заинтересовали.

Книги его любимые были: басни Лафонтена, «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу, «Дон Кихот» Сервантеса, «Робинзон Крузо» Дефо, поэмы Гомера, романы Гюго. Среди его любимых писателей был Жюль Верн. Не найдя иллюстраций в книге «80 дней вокруг света», Толстой их сам нарисовал для своих детей. Но Диккенс был и оставался его любимцем, особенно «Давид Копперфильд». Даже свою любимую собаку он назвал Дорой в честь героини этого романа. Он был очень смущен, когда в Ясную Поляну приехала молодая англичанка и ее звали Дорой. Он боялся, что она не захочет делить свое имя с собакой и будет обижена.

Толстой любил игры (конечно, я не хочу этим сказать о его страсти к игре в молодости). Он любил играть в теннис, в крокет; он играл в карты, в шахматы. Об игре Льва Николаевича в карты Горький пишет: «Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона»².

Моя мать любила повторять фразу, которую она слышала от своего отца: «Игра — вещь серьезная». Лев Николаевич находил, что в игре и спорте дети привыкают жить среди себе подобных, уважая правила, которым впоследствии они должны следовать в жизни.

Я хочу подчеркнуть важность игры как метода воспитания и обучения. Лев Николаевич придавал этому большое значение. Нельзя забывать Марию Монтессори, которая приучала ребенка играть с другими детьми и возобновляла этот метод воспитания, считавшийся некоторыми репрессивным и вредным. Не надо тоже забывать и новую технику психоанализа, которая заключается в том, что надо дать ребенку играть в присутствии специалиста, который, наблюдая его, понимает, какие у него проблемы и какой надо найти путь, чтобы решить их.

О важности игры, ее огромном значении в жизни ребенка Лев Николаевич говорил много раз. В 1888 году он записывает, что «важно играть с ребенком, утешая его». Почему игра утешает ребенка? Потому, думаю, что присутствие взрослого, который становится соучастником игр ребенка и интересуется его проблемами, вызывает доверие у маленького человека ко взрослому, так необходимое в жизни.



Т. А. Сухотина-Толстая с дочерью Танечкой.
Фотография 1909 г. (?)



С. А. Толстая с внучкой Танечкой Сухотиной. 1907 г. (?)
Любительская фотография. Публикуется впервые

По поводу отношений ребенка и взрослого человека Л.Н. Толстой писал А.А. Толстой: «Мы им хотим доказать, что мы разумны, а они этим вовсе не интересуются, а хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, сострадательны, есть ли у нас совесть, и, к несчастью, за нашим старанием выказаться только непогрешимо разумными видят, что другого ничего нет» (61, 122).

Не было ли это игрой, которая руководила Толстым всю жизнь, начиная с самого детства до его смерти в 82 года? Я хочу сказать об игре, которую его старший брат Николай, любимый брат, придумал. Дети Толстые прятались под стулья, покрытые шальями, и в темноте, прижимаясь друг к другу, с любовью слушали то, что Николай им

шепотом рассказывал. Он знал большой секрет, который сделает всех людей добрыми и счастливыми, так как все будут друг друга любить. Эта волшебная формула счастья написана на зеленой палочке, которая зарыта на краю оврага, недалеко от дома в Ясной Поляне. Маленький Лев любил эту игру и слушал своего брата с восторгом и радостью. Итак, уже тогда, четырехлетним ребенком, он мечтал о мире, в котором все люди будут соединены любовью. Мечта, к которой Лев Николаевич возвращался всю жизнь.

Уже старым он писал: «Началось это, как помнится, с игры в дорогу. Садились на стулья... устраивали карету или кибитку, и вот сидевшие-то в кибитке переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю Бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого» (34, 392).

Как известно, Толстой хотел, чтобы его похоронили в том месте, где, по словам Николеньки, была зарыта зеленая палочка.

Моя мать рассказывала, что один раз, возвращаясь верхом домой, ее отец, который ехал впереди, проезжая мимо оврага, обернулся и спросил: «Таня, ты помнишь?» «Ну конечно, папа, помню». И они продолжали свою рысь домой.

Когда в ноябре 1910 года Толстой умер далеко от своего родного дома, в домике начальника станции Астапово, его тело перевезли в Ясную Поляну и похоронили там, где была зарыта зеленая палочка с волшебной формулой всеобщего счастья. Этот символ детской игры, которая началась, когда он был совсем маленьким, руководил Толстым всю его жизнь, и Лев Николаевич унес его с собой в могилу в лесу Старый Заказ в Ясной Поляне.

Любовь к детям Л.Н. Толстой пронес через всю свою жизнь, о чем много пишет, заявляя, что чувствует себя «очень радостным с детьми». Он совсем не боялся, что могут считать его поведение детским, когда в 67 лет стал учиться ездить на велосипеде. И он любил говорить: «Будьте всегда радостны, как дети».

В своем дневнике 7 октября 1892 г. Лев Николаевич пишет: «...Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее» (52, 74).

Толстой верил в детскую мудрость и говорил: «Детей не обманешь, они умнее нас... Ребенок знает, что мы тверже, опытнее его и всегда сумеем удержать перед ним эту ореолу непогрешимости, но он знает, что для этого мало нужно, и он не ценит этой ловкости, а ценит краску стыда, которая выступила против моей воли на лицо и говорит ему про все самое тайное, хорошее в моей душе» (61, 122).

Толстой чувствовал ответственность перед ребенком и считал, что ни один взрослый человек не должен бы забыть это чувство. Он говорил: «Сделать ошибку перед ребенком, увлечься, сделать глупость... и покраснеть перед ребенком и сознаться, гораздо воспитательнее действует, чем 100 раз заставить покраснеть перед собой ребенка и быть непогрешимым» (61, 122).

Лев Николаевич любил цитировать мысль Амиеля, что самый прекрасный взрослый хуже какого-нибудь ребенка. «Благословенно детство!»

В 1895 г. умер Ванечка, семилетний любимый сынок. Отец его, Л.Н. Толстой, надеялся, что он стал бы тем из его детей, который продолжил бы его учение.



Парк Клины. Ясная Поляна. 1975 г.
Фотография Луиджи Альбертини

Это было огромное горе как для отца, так и для матери. В 1895 г., 31 марта, Л.Н. пишет А.А. Толстой: «Он был один на тех детей, которых Бог посылает преждевремен-но в мир, еще не готовый для них... как ласточки, прилетающие слишком рано и замер-зающие... Он жил для того, чтобы увеличить в себе любовь, вырасти в любви, так как это нужно было тому, кто его послал, и для того, чтобы заразить нас всех, окру-жающих его, этой же любовью, для того, чтобы, уходя из жизни к тому, кто есть лю-бовь, оставить эту выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею» (68, 70—71).

Через несколько дней после смерти Ванечки Толстой записывает в своем днев-нике: «Я думал, что хорошо поддерживать в себе любовь тем, чтобы во всех людях видеть детей — представлять их себе такими, какими они были 7-ми лет. Я могу де-лать это. И это хорошо» (53, 12).

Толстой, который любил Евангелие, настоящее простое учение Христа, пишет: «Иисус сказал: — Напрасно вы детей отгоняете. Детей не отгонять надо, а учиться у них надо, потому что они ближе, чем взрослые, к царству Божию. Дети не ругают-ся, не держат зла... не кланутся, ни с кем не судятся, не знают различия между сво-им народом и чужим. Дети ближе, чем взрослые, к царству небесному...» (37, 115). И еще: «Серьезные люди — дети», «их же есть царство Божие» (53, 25).

Я могла бы еще много сказать о Толстом и детях, о его любви к ребенку, о ма-леньких героях его произведений — Пете Ростове, Николенке Болконском в «Войне и мире», о сыне Анны Карениной, о девочке на печке из «Власти тьмы»...

Хочу только привести одну фразу как доказательство любви Льва Николае-вича к ребенку: «Ребенок знает свою душу и бережет ее, как веко защищает глаз. Без ключа любви он не позволяет никому проникнуть в свою душу».

И теперь, перед тем как кончить мой доклад, хочу сказать два слова о моем дедушке. Ведь когда я сама была ребенком, Толстой был мой дедушка. Я слышала его голос, его рука меня ласкала. У меня нет определенных воспоминаний, но мне ясен его образ.

В.Ф. Булгаков в своих воспоминаниях рассказывает: «Сладкое дедушка опять ел из одной тарелки с внучкой. «Это и приятно, — поучал он ее, — и полезно: мыть нужно не две, а только одну тарелку». И добавлял: «Когда-нибудь, в 1975 году, Татьяна Михайловна будет говорить: «Вы помните, давно был Толстой? Так я с ним обедала из одной тарелки»¹.

Раз, незадолго до смерти, мой дедушка взял меня на колени. «Хочешь, чтобы я тебе рассказал что-нибудь?» — сказал он. И когда он кончил, то спросил меня: «Хорошо я рассказал?»

Да, мой дедушка всю свою жизнь любил детей и всю жизнь любил рассказы-вать людям свои повести...

Рим. 1978 г.

¹ Сухотина Т.А. С. 117.

² Горький о литературе. М., 1955. С. 188.

³ Булгаков В.Ф. Л.Н. Толстой в последний год жизни. М., 1989. С. 71.

Н. И. Бурнашева

ИСТОРИЯ ТЕКСТА ФИНАЛЬНОЙ СЦЕНЫ РАССКАЗА «НАБЕГ»

Хорошо известно, как нелегко давалось Толстому начало любого произведения, будь то многотомный роман или маленький рассказ. Ничуть не менее трудно рождались финальные сцены и строки почти каждого сочинения. Не случайно писатель признавался, что не мог «положить» «известные границы» (13, 55) действующим лицам книги «Война и мир»: в любой сюжетной концовке виделся ему не конец, а только «завязка» какого-то нового сюжета. Эта особенность творческой манеры Толстого проявилась очень рано, уже в процессе работы над его первыми произведениями, в том числе над рассказом «Набег»: сохранившиеся рукописи свидетельствуют, как непросто создавались начало и конец. Рассказ, первоначально названный «Письмо с Кавказа», имел несколько вариантов начала: только в дошедших до нас рукописях насчитывается пять вариантов, а их было никак не менее семи. Столь же упорно работал Толстой над окончанием «Набега»: до нас дошли только две завершённые рукописи, но в них содержится четыре варианта финальной сцены рассказа. Таким образом, с учетом почти не сохранившейся первой редакции, законченной 23 мая 1852 г. («Докончил письмо <с Кавказа> довольно хорошо». — 46, 118), и наборной рукописи, финал «Набега», в окончательном тексте которого всего 15 строчек, имел не менее шести вариантов.

Можно только предполагать, чем завершалась первая черновая редакция «Письма с Кавказа», но не исключено, что это были размышления о храбрости, вопросы, особенно волновавшие Толстого в тот период. Через неделю после окончания первой редакции рассказа в дневнике отмечено: «Писал о храбрости. Мысли хороши» (46, 119).

Разговорами о храбрости заканчивалась вторая редакция «Письма с Кавказа». 14 июля в дневнике запись: «Читал, кончил брүльон п<исьма> с К<авказа>» (46, 134). Рукопись «брүльона» завершали строки коротких диалогов рассказчика-автора с солдатом и капитаном и размышления его о храбрости. Смертельное ранение в грудь молодого «грузинского князя» («князька»), впоследствии прапорщика Аланина, вызывало у рассказчика сожаление и вопросы: «Я лежал подле солдата. — Жалко, — сказал я сам себе невольно.

— Известно, — сказал солдат, — глуп ужасно, не боится ничего.

— А ты разве боишься?

— А небось не испугаешься, как начнут свистеть.

Однако видно б<ыло>, что с<олдат> не знает, что такое — бояться.

Кто храбр? [Г<рузинский> ли к<нязь>?] Генер<ал> ли? Солдат ли? Поручик ли? И уж не к<апитан> ли? Когда мы ехали с ним к н<ачальнику> о<тряда>, он сказал мне: «Терпеть не могу являться и получать благодарности. Какая тут благодарность! Ну, будь он с нами, а то нет. Говорят, ему надо беречься, так лучше пускай он вовсе не ходит, а приказывает из кабинета. В этой войне не нужно гения, а нужно хладнокровие и сметливость — как-то, право, досадно.

В это время подъехали один за другим два а<дъютанта> с прик<азаниями>.

— Вот шельманы, ведь там и не видать их, а тут сколько набралось, и тоже с приказаниями. Жалко к<нязя>, [глупая война] и зачем ему было ехать служить сюда? Эх, молодость!

— Зачем же вы служите? — спросил я.

— Как зачем? Куда же я денусь, коли мне не служить? [Вот история]»¹.

В этом раннем варианте финала «Письма с Кавказа» уже отчетливо слышен голос будущего автора севастопольских рассказов и «Войны и мира». Его мысли о том, что в «войне не нужно гения», отношение к «адъютантам с приказаниями», выраженные в словах капитана, много лет спустя прозвучат в мыслях и рассуждениях князя Андрея Болконского. Финал второй редакции рассказа не был окончательно проработан и остался черновым наброском; к этой версии финальной сцены Толстой больше не возвращался.

Новый вариант рассказа появился в третьей его редакции, названной «Рассказ волонтера». В начале декабря 1852 г. Толстой с усердием отделывал свое сочинение, уже обещанное Некрасову в «Современник». Но казалось: «Все написанное очень скверно. Ежели я еще буду переделывать, то выйдет лучше, но совсем не то, что я сначала задумал» (дневник, 7 декабря. — 46, 152). В это время день за днем в дневнике появлялись записи: «Решительно так плохо, что я постараюсь завтра кончить, чтобы приняться за другое», — это 8 декабря (46, 152). 9 декабря — «писал листа 2. Надеюсь завтра кончить» (46, 152). Наконец, 10 декабря — «докончил рассказ», но он не хорош: «Еще раз придется переделывать его» (46, 152). В тот же день Толстой писал брату Сергею Николаевичу: «...я ничего так не боюсь, как сделаться журнальным писакой и, несмотря на выгодные предложения редакции, пошлю в «Современник» — и то едва ли — один рассказ, который почти готов и который будет очень плох. Не беда! Это будет последнее сочинение г-на Л.Н.» (59, 215).

Третья редакция будущего «Набега» заметно отличалась от предыдущей: здесь были устранены сатирические характеристики и общий сатирический дух рассказа, против которых так «сильно говорило» «какое-то внутреннее чувство» (46, 151); изменена сама форма повествования: Толстой отказался от формы «письма» и рассказчиком сделал волонтера, человека неопытного, впервые оказавшегося в набеге. В этой редакции сохранились сюжет, композиция, основные персонажи, их характеристики, написанные прежде, но был введен ряд сцен, описаний, деталей, позволявших глубже проникнуть в такое явление, как война, рельефнее показать лица и ситуации рассказа. Сюжет заканчивался коротким описанием отряда, подходившего к крепости, разговорами офицеров, возвращавшихся из удачного набега. Этой финальной сцены не было во второй редакции сочинения, и здесь Толстой впервые попытался не только дать сюжетное завершение рассказа, но и сконцентрировать главную его мысль, обозначить то большое и важное, что открылось ему (и его волонтеру) в этом набеге.

Еще не была поставлена точка в работе над рассказом, и не раз Толстой будет переделывать заключительные строки сочинения, но именно в третьей редакции найдено столь необходимое решение, которое останется неизменным во всех последующих вариантах: повествование заканчивалось не смертью одного из главных персонажей, прапорщика Аланина, а выходило за пределы этого конкретного случая; отряд, возвращавшийся в крепость, был показан в пути, жизнь — в движении. Спустя несколько месяцев, 18 апреля 1853 г., один из братьев, Д.Н. Толстой, прочитав напечатанный в журнале «Современник» рассказ «Набег», писал Л.Н. Толстому: «Лева, я читал твой «Набег»... Все очень хорошо, зачем только ты остановился на интересном месте и не привел отряда домой, от этого рассказ не потерял бы своих хороших сторон»², — так казалось читателю Дмитрию Толстому. Для самого же Л.Н. Толстого было важно дать «открытый» финал, позволявший увидеть событие, случай в потоке вечной и бесконечной жизни. Этот художественный прием, найденный в процессе работы над финалом «Набега» и отразивший самую суть отношения к человеку и бытию, в дальнейшем использован практически во всех сочинениях Толстого.

Заключительная сцена в третьей редакции начиналась поэтическим описанием картины природы, переходившим незаметно в мир человеческих интересов и страстей, и заканчивалась звучанием «прелестного подголоска 6-ой роты». Первоначальная редакция этого отрывка выглядела так: «Уже солнце скрылось за [бе<лыми>] [дл<инными>] продолговатыми облаками и бросало из-за них последние багровые лучи, и молодой месяц, казавшийся прозрачным облаком, [начинал] белел и начинал бросать сомнительный свет, и гряда белоснежных гор начинала исчезать в тумане, когда войска широкой колонной подходили к крепости. Генерал ехал впереди, и по его веселому лицу можно было заключить, что набег был удачен. (Действительно, [рус<ские>] мы были в тот день в Макай-ауле — месте, в котором с незапамятных времен не была нога русских, и потеря была небольшая.) Саксонец Каспар Лаврентьич рассказывал, что он сам видел, как три черкеса целились ему прямо в грудь. [Офиц<ер>] В уме офицера Генерального Штаба слагалась реляция, которую он должен был написать. Капитан Чикин³ с задумчивым лицом шел перед ротой и тянул за повод [ранен<ую>] белую хромавшую лошадку. В обозе везли тело хорошенького прапорщика. В различных концах отряда звучали [песни] голоса, барабаны и торбаны. [Чу<десный>] Прелестный подголосок 6-ой роты слышался изо всех и далеко разносился по свежему вечернему воздуху»⁴.

В процессе писания Толстой внес в текст этой сцены некоторые исправления, а закончив ее, поправил еще раз, добавил уточняющие штрихи, изменил отдельные определения и позиции: так, солнце еще не скрылось за облаками, а «бросало последние багровые лучи на продолговатые и волнистые облака запада», месяц теперь «на высокой лазури белел и начинал собственным неярким светом освещать штыки пехоты», а войска «с песнями» подходили к крепости; капитан получил фамилию Хлапов, у «саксонца Каспара Лаврентьича» появился слушатель его рассказа «другой офицер», упоминание о «теле хорошенького прапорщика» было усилено эпитетом «мертвое», а место фразы об «офицере Генерального Штаба» с его «реляцией» теперь заняла другая: «В уме поручика Розенкранца слагался пышный рассказ о деле нынешнего дня». Такой финальной сценой заканчивалась третья редакция будущего «Набега».

Намереваясь еще раз переделывать рассказ (запись в дневнике 10 декабря), Толстой внимательно и с пристрастием прочел все написанное и оценил те или иные места своего сочинения оценками по пятибалльной системе: в рукописи (эта рукопись предшествовала наборной) на полях поставлены автором оценки от 0 до 5. На страницах около заключительной сцены Толстой поставил оценки «5».

Однако не суждено было этому финалу завершить «Набег». Готовя текст сочинения для отправки в Петербург редактору «Современника», Толстой тщательнейшим образом продолжал прорабатывать отдельные сцены, эпизоды, характеристики, описания, в результате чего фактически была создана четвертая редакция рассказа. «Я вожусь все с глупым рассказом», — записано 16 декабря о прожитом дне (46, 153). Большой переделке подверглась и финальная сцена рассказа. Случилось так, что в момент горячей работы над фигурой Розенкранца (в будущей третьей главе), видимо, не оказалось под рукой писчей бумаги и Толстой воспользовался чистой бумагой последнего листа рукописи, наверху которого находились всего две заключительные фразы рассказа, при этом одним диагональным росчерком пера перечеркнув уже написанные несколько строк. Лист этот с новым текстом о Розенкранце переместился в середину рукописи; остальной же текст финала остался незачеркнутым, теперь его завершала фраза: «В обозе везли мертвое тело хорошенького прапорщика». Так и не зачеркнув старый финал, Толстой принялся писать новый вариант окончания рассказа, причем за основу явно была взята уже имеющаяся в третьей редакции версия. Автор, хоть и оценил написанное пятеркой, решил подробнее описать эту сцену.

Новый, четвертый, вариант окончания рассказа открывался описанием возвращавшегося из набега отряда. В целом Толстой сохранил композицию предыдущего варианта сцены, но картины природы вынес в конец и тщательно проработал то, что называл «рассказами о бывшем деле»; теперь они заняли основное место в финале. Наряду с уже бывшими прежде, здесь появились новые персонажи: майор, адъютант, офицер генеральской свиты. Почти все названные лица принимали участие в «рассказах» и были представлены прямой речью. Единственная в третьем варианте фраза о «мертвом теле хорошенького прапорщика» в новом тексте была развернута в целый абзац. Завершали финал чрезвычайно красочное описание природы и уже известный «подголосок 6-ой роты». Вот что первоначально представлял собой новый текст финальной сцены: «Отряд подходил к крепости. По веселому и довольному лицу генерала можно было заключить, что набег был удачный. Действительно, в тот день мы с небольшой потерей были в Макай-ауле, в котором с незапамятных времен не была нога русских.

— J'espère, que Madame la comtesse ne sera pas encore couchée, quand nous reviendrons*, — говорил он майору.

На всех лицах заметно было удовольствие, и со всех сторон слышались рассказы о бывшем деле.

— Да, в арьергарде было жарко, — говорил Розенкранц, хмурясь и делая особенное ударение на последнем слове.

* Надеюсь, графиня еще не ляжет спать, как мы вернемся (фр.).

— Я сам видел, как четыре черкеса целились мне прямо в грудь. Хорошо, что я догадался... — говорил саксонец.

— Что не говорите, а теперь лучше всего поужинать да на боковую, — говорил адъютант с сонной улыбкой.

— *Vin de coccagne, Vin de Champagne**, — горловым голосом напевал офицер, стоящий в свите генерала.

Один капитан не подъезжал к кружкам и молча, спокойно [пус<кая>] покуривая трубочку, шел перед ротой и тянул за повод хромавшую белую лошадку.

На одной из повозок, составлявших обоз, [покрытое солдатской шинелью] ничком лежало мертвое тело хорошенького прапорщика и безжизненно встряхивалось, когда колесо попадало на кочку. В повозке, спустившись с грядок, сидел форштадский ездовой и лениво погонял усталых коней. На ногах трупа лежала припасенная ездовым вязанка сена и порыжевшая солдатская шинель.

Солнце только что скрылось за снеговыми горами и бросало последние пурпуровые лучи на длинное облачко, [остановившееся над горами] остановившееся над горизонтом. Снеговые горы [казались в] начинали скрываться в лиловом тумане, только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший полумесяц начинал белеть на темной лазури. Зеленъ травы и деревьев принимала черный оттенок и покрывалась росой. Воздух становился чист и прозрачен. Темные массы войск мерно двигались по широкому роскошному лугу. В различных концах [слы<шались>] звучали голоса, торбаны, барабаны. Подголосок 6-ой роты тянул одну грудную ноту, звучащую удивительною полнотою жизни и силы, звуки его голоса далеко разносились по свежему вечернему воздуху⁵.

Текст нового финала был написан почти без попутных исправлений, за исключением самой последней фразы о «подголоске 6-ой роты», над которой автор бился довольно долго. Первоначально это был «чудесный подголосок 6-ой роты», в дальнейшем Толстому не понадобятся никакие эпитеты для обозначения «подголоска», который «тянул одну грудную ноту» — действие, остававшееся неизменным в нескольких вариантах этой фразы в новой редакции финала. Важно было показать, как звучала эта нота, этот голос; Толстой пробовал и отбрасывал вариант за вариантом: «и звучал (как и пре<жде>) чувством и силой»; «и звучал жизнью, полной чувства и силы»; «звучащую полнотою жизни и силы»; «[у<дивительно>] звучащую удивительною полнотою жизни и силы». Колебался писатель в определении «вечернего воздуха», по которому разносились звуки голоса: «по ясному вечернему воздуху» — так было первоначально; «по свежему вечернему воздуху»; и вновь — «по ясному вечернему воздуху».

Характерно, что во всех вариантах непременно оставался эпитет «грудной» (голос, нота): для Толстого это было самое замечательное и высокое достоинство голоса, самое важное его определение, о чем говорилось еще в ранних редакциях повести «Детство»: «Можно петь двояко: горлом и грудью. Не правда ли, что горловый голос гораздо гибче грудного, но зато он не действует на душу? Напротив, грудной голос, хотя и груб, берет за живое. Что до меня касается, то, ежели я, даже в самой

* вино волшебное, вино шампанское (фр.).

пустой мелодии, услышу ноту, взятую полной грудью, у меня слезы невольно навертываются на глаза» (1, 208). И не случайно офицер, «состоящий в свите генерала», напевал «горловым голосом», а у «подголоска 6-ой роты», строки о котором еще не раз впоследствии будет править автор, во всех вариантах финала рассказа останется его «грудной» голос.

Довольно быстро написанный четвертый вариант финальной сцены по окончании подвергся существенной правке. Толстой вносил дополнительные сведения, детали, завершающие штрихи; так, было внесено уточнение, что «отряд широкой колонной с песнями подходил к крепости», а затем появилось и новое начало фразы: «Уже было поздно, когда отряд...» Об удачном набеге говорило уже не только «веселое и довольное лицо генерала»: «По удовольствию, выражавшемуся на лице генерала и отражавшемуся на лицах всех его окружающих, можно было заключить, что набег был удачный». Сначала слушателем генеральской шутки вместо майора стал «улыбавшийся граф Чикин», а потом автор и вовсе вычеркнул речь генерала, более уже не появлявшегося в финале. Это объяснялось и желанием Толстого снять сатирический тон повествования, и, вероятно, опасением, что генерал А.И. Барятинский, реальный прототип генерала в рассказе, «узнает себя» (46, 160) в «Набеге».

«Рассказы о бывшем деле» в новой редакции текста финала «слышны были» «в [кружках] группах офицеров», и Толстой внес новую черту в эти «рассказы»: «как будто тот, кто рассказывал, один участвовал в нем». Это очень точное наблюдение волонтера позднее не раз еще появлялось на страницах военных рассказов: достаточно вспомнить хвастливые речи капитана Крафта из «Рубки леса» о том, как он брал «завалы», или рассказ об участии в вылазке юнкера барона Песта во втором севастопольском рассказе. Уже в военных рассказах освоенное как художественный закон, это наблюдение широко использовал Толстой и в книге «Война и мир».

Небольшая правка была сделана в характеристике Розенкранца: теперь он говорил, «самодовольно хмурясь», — и капитана, который «молча [сосал свою трубочку] [и] [зло] шел перед ротой, сосал свою трубочку и с недовольным видом поплевывал по сторонам». В следующем абзаце, где речь шла о погибшем прапорщике, автор устранил определение «мертвое», показавшееся лишним, и в конце абзаца уточнил, что лежало «на ногах трупа»: «мешок, старая шинель ездового и припасенная им где-то вязанка сена».

Как и в предыдущем варианте, значительные исправления были внесены в описание картины природы. Как и прежде, картина эта освещалась «солнцем», но оно «только что скрылось за [снеговыми горами] [снеговым хребтом] [горизонтом гор] снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное узкое облачко». В последних трех вариантах финала Толстой неизменно вводил «солнце» и как необходимо действующего участника того, что происходит на земле, согретой и освещенной его лучами, и как существеннейшую часть вечного и бесконечного «мира», живущего по своим законам и независимого от человеческих страстей и судеб. Эта роль «солнца», «светила» сохранится и в финале «Севастополя в декабре», и в «Севастополе в мае», и в батальных сценах «Войны и мира». Солнечные лучи пронизывали весь «Набег»; они появились и в финале, сначала «багровые», и это в сочетании с облаками выглядело неправдоподобно и зловеще; в следующем варианте лучи «пурпуровые», и наконец Толстой увидел «розовые» лучи заходящего солнца, освещающие облако.

Это «облачко» писатель искал с упорством художника-пейзажиста: в первоначальной картине (в третьей редакции) не было никакого «облачка» и лишь месяц казался «прозрачным облаком». Затем в том же варианте финала появились «продолговатые и волнистые облака запада». В новой картине это уже «длинное облачко, остановившееся над [горами] ним <снеговым хребтом>», но и это не годилось; «[одно длинное и узкое облачко] длинное узкое облачко, остановившееся над горизонтом» — такой вариант пока (до наборной рукописи) устроил автора. Полумесяц в новом тексте наделен эпитетом «прозрачный», и вся картина неба стала динамичной и законченной: «прозрачный полумесяц начинал белеть», т. е. постепенно наполнялся светом и сам стал источником света. Естественно, что далее, чуть ниже, зачеркнуто: «Воздух становился чист и прозрачен».

В четвертом варианте финала картина природы получилась чрезвычайно живописной. Автор сумел найти не только цвет («розовые» лучи в сочетании с цветом «облачка», «снеговые горы... в лиловом тумане», «багровый» закат, «темная лазурь» неба, «зелень травы и деревьев» с «черными оттенками», «темные массы войск»), но и осветить все светом солнечных «розовых лучей», «багровым светом заката» и белым холодным светом полумесяца.

Толстой тщательно прорабатывал и звуковой фон, искал отвечающую жизненной правде гамму звуков: [«голоса торбанов и барабанов»] [«звуки песен»] [«звуки веселых песен, [бар<абанов>]»] — и наконец остановился: «С различных сторон слышались барабаны, торбаны и веселые песни». Завершался финал уже известным звучанием «подголоска 6-ой роты»; автор еще раз исправил эту фразу, чтобы написать окончательно: «Подголосок 6-ой роты звучал [удивительной полнотой чувства и жизни] изо всех, и исполненные чувства и силы звуки его сильного грудного голоса далеко разносились по ясному вечернему воздуху».

Четвертый вариант заключительной сцены, кропотливо правленный и проработанный писателем, все же не удержался в качестве окончательного текста финала рассказа: Толстой размашистыми диагональными чертами через всю страницу зачеркнул три страницы, оставив незачеркнутым только последний абзац с изображением картины природы. Эти несколько строк (т. е. пятый вариант финальной сцены) завершали рассказ, прежде чем он был переписан набело: «Солнце только что скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное узкое облачко, остановившееся над горизонтом. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане, только верхние линии их обозначались с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный полумесяц начинал белеть на темной лазури, зелень травы и деревьев принимала черные оттенки и покрывалась росой. Темные массы войск мерно двигались по широкому роскошному луку. С различных сторон слышались барабаны, торбаны и веселые песни. Подголосок 6-ой роты звучал изо всех, и исполненные чувства и силы звуки его сильного грудного голоса далеко разносились по ясному вечернему воздуху».

В процессе переписывания «Набега» набело и окончательной доработки текста Толстой не мог не вернуться к заключительным строкам рассказа. Не имея наборной рукописи, нельзя проследить, как шла эта работа, но, конечно, в финальную сцену были внесены некоторые изменения.

В сопроводительном письме к редактору «Современника» сказано: «Ежели, против чаяния, цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то, пожалуйста, не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне. На последней странице я означил X и * два варианта, которые я сделал в двух местах, за которые я боюсь в этом отношении; просмотрите и вставьте их, ежели найдете это полезным» (59, 221). Можно предположить, что один из знаков относился к заключительной сцене: взамен не зачеркнутого в третьем и зачеркнутого в четвертом варианте финала Толстой мог создать текст, вовсе опущенный в «Современнике». Последний абзац (картина природы) в журнале (1853. № 3. С. 116) отличается некоторыми деталями от пятого варианта в преднаборной рукописи.

В этот, шестой (и окончательный), вариант заключительной сцены рассказа, вероятно, внес какую-то редакторскую «лепту» и Некрасов, но сейчас поправки, определенно принадлежавшие ему, назвать невозможно, за исключением одной. В последней фразе «Набега» «Современник» печатал: «Подголосок 6-ой роты звучал из всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора...» Очевидно, что к бывшему у Толстого «звучал из всех» (так дважды в преднаборной рукописи), т. е. выделялся из всех остальных голосов и звуков, был слышнее и красивее всех, чужой рукой добавлено инородное «сил»; мало того, что исказился смысл фразы, получилась еще и стилистическая несообразность — «звучал из всех сил, и, исполненные... силы, звуки... тенора...».

Текст финала «Набега», опубликованный в «Современнике» как глава XII, слово в слово был перепечатан в книге «Военные рассказы» в 1856 г.⁶ и во всех последующих прижизненных изданиях рассказа. В 1910 г. С.А. Толстая и С.Л. Толстой, готовя к изданию 12-е собрание сочинений Л.Н. Толстого, решили восстановить по имевшимся в их распоряжении рукописям тексты некоторых ранних произведений, в свое время пострадавших от цензуры. В числе этих сочинений был рассказ «Набег». За помощью обратились к самому Л.Н. Толстому, о чем 18 апреля 1910 г. в своей тетради записал Д.П. Маковицкий: «После обеда Сергей Львович застенчиво, боясь утруждать и отнимать много времени, спросил Л<ьва> Н<иколаевича>, может ли он пять минут посвятить «Набегу», и прочел пропущенные цензурой места. Оказалось, — Л.Н. помнил, — что они пропущены не Некрасовым, не по его литературным соображениям, а по цензурным...»

— Надо вставить, что пропущено, — сказал Л.Н.

Л.Н. хотел вспомнить фамилию капитана из «Набега»: «Ах, капитан батареи, он был старший, спокойный, тихий, прекрасный человек!»

На вопрос Софьи Андреевны и Сергея Львовича: «А в печатном есть прибавки (против рукописи), очевидно, твой?» — И Сергей Львович прочел некоторые.

Л.Н.: «Разумеется, мое».

— Печатать по рукописи с этими прибавками?

Л.Н. согласился, но ответил: «Сделайте, что хотите» (верно, чтобы его оставили).

Л.Н.-чу, очевидно, были очень интересны эти воспоминания, рукопись, вставки, но он не хотел им уделять времени в ущерб теперешним писаниям и поэтому предоставляет Софье Андреевне и Сергею Львовичу делать, как они хотят?⁷

С.Л. Толстой, получив разрешение отца «печатать по рукописи с этими прибавками», как сумел, соединил два текста рассказа (напечатанный в «Современнике»

и текст преднаборной рукописи). Контаминированным оказался и финал «Набега»: после первой фразы двумя абзацами была вставлена часть текста из третьего варианта финала, от слов: «Генерал ехал впереди» до: «В обозе везли мертвое тело хорошенького прапорщика».

В тексте финала, напечатанном в 12-м собрании сочинений⁸, было немало ошибок, в том числе и в последней фразе («...звучал изо всех сил...»). Эта явная ошибка «Современника» по сей день повторяется во всех изданиях «Набега»; ее наконец необходимо исправить в академическом Полном собрании сочинений Л.Н. Толстого.

¹ ОР ГМТ. «Набег», оп. 1, лл. 27об.—28. Все тексты рукописей «Набега» приводятся по автографам, хранящимся в ОР ГМТ.

² Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990. С. 142.

³ Одна из первоначальных фамилий будущего капитана Хлопова.

⁴ ОР ГМТ. «Набег», оп. 3, лл. 52—52 об.

⁵ ОР ГМТ. «Набег», оп. 3, лл. 53—55. Публикуется впервые.

⁶ Военные рассказы графа Л. Толстого. СПб., 1856. С. 56—57.

⁷ ЯЗ. Кн. 4. С. 227.

⁸ Сочинения графа Л.Н. Толстого. Ч. II, изд. 12. М., 1911. С. 101—102.

Э. М. Жиликова

ТРАДИЦИИ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ

А. Н. ТОЛСТОГО 1850-х гг. («КАЗАКИ»)

В работах отечественных литературоведов неоднократно отмечался факт глубочайшего влияния Руссо на Толстого, были исследованы точки соприкосновения их философской и этической систем, показана обусловленность важнейших особенностей художественного мышления Толстого (детализация и генерализация) процессом творческого осмысления эстетики и поэтики сентиментализма¹. Эти работы создали хороший фундамент для дальнейшего исследования важной теоретической и историко-литературной проблемы сентиментальных традиций в творчестве Толстого. Обращение Толстого к наследию сентиментализма необходимо осмыслить как отражение процесса духовного приобщения писателя к философским и нравственным идеям Просвещения эпохи его расцвета и кризиса, озаменованной творчеством писателей-сентименталистов. Этот процесс характерен не только для этапа становления и формирования художественного метода Толстого, но и определяет важнейшие центры всего художественного творчества.

В этом отношении необычайно интересна и важна повесть «Казачья». Создаваемая на протяжении десяти лет, она явилась итоговым произведением в отношении 1850-х годов и открыла собой эпоху эпического Толстого. Тем важнее посмотреть на повесть в аспекте проблемы сентиментальных традиций.

Центральная тема «Казачья» — история духовного самоопределения главного героя, Оленина. Ведущим началом в этом духовном процессе явилось чувство, что и определило нравственный облик героя. Не случайно в третьей главе, где говорится о встрече Оленина с горами, автор выделил особым шрифтом слово «почувствовал»: «Он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы» (6, 14). Акцентировка стихии чувства у Толстого напрямую связана с ориентацией на сентиментальные традиции и прежде всего на Руссо, утверждающего приоритет нравственного чувства в духовном развитии личности. Центром нравственных исканий героя, повествователя и автора становятся размышления и переживания Олениным любовного чувства. Проблема любви в повести оказывается стержневой, она является одновременно философской, нравственной, социальной. Задача художественного воплощения динамики чувства потребовала от Толстого разработки эстетических принципов, во многом опирающихся на сентиментальные традиции.

Раздумья Толстого о природе любовного чувства как выражении нравственного существа личности в ее общении с другими людьми в 1850-е годы были связаны с попыткой разрешить диалектику двух начал в содержании этого чувства: христианской

любви для других, самопожертвования и любви естественной, не рассуждающей, природной. Сложность и мучительность положения Толстого заключались в том, что он, испытывая равно огромную власть этих двух начал, выражающих своей диалектикой тип русского самосознания и культуры, стоял перед необходимостью найти гармоническое разрешение подобной дилеммы. Такова была логика развития его личности, устремленной к нравственному совершенствованию. В письме к гр. А.А. Толстой от 14 апреля 1858 года он пишет о невозможности отказаться от «идеала жизни», потому что «идеал не выдумка, а самое дорогое, что есть для меня в жизни. Без него я жить не хочу» (60, 260). Неотступность раздумий о том, как строить жизнь, что есть добро в сфере нравственных отношений, обусловила необычайную напряженность духовной жизни Толстого, о чем он писал Б.Н. Чичерину 13 апреля 1858 года: «...Ты свой термометр завесил до того высшего пункта, до которого раз доходила температура жизни, и ниже этого не хочешь его изменений. Как ни широк твой взгляд в мире действительном, здесь, в душевном, он ужасно узок; а мой термометр попрыгивает себе то вверх, то вниз, и я радуюсь, глядя на него» (60, 258).

Размышляя о природе любовного чувства, Толстой, с одной стороны, следуя за просветительской традицией, отдает предпочтение любви христианской. В письмах он нередко сокрушается, обнаруживая в себе «гадкие стремления»: «Где ее взять — любви и самопожертвования, когда нет в душе ничего, кроме себялюбия и гордости? Как ни подделываясь под самоотвержение, все та же холодность и расчет на дне» (60, 257). Весь роман с Валерией Арсеньевой протекал под знаком духовного совершенствования, воспитания в себе «нравственного добра, т. е. любви к ближнему, поэзии, красоты» (60, 112). В письмах Толстой настойчиво объясняет Валерии различие между любовью к красоте («Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать» — 60, 96) и чувством, просветленным трудом и неустанной заботой о других: «Ах, ежели бы вы могли понять и прочувствовать, выстрадать так, как я, убеждение, что единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью!» (60, 105). В другом письме Толстой отрицает возможность «любви с эгоизмом»: «Вы сами в предпоследнем письме говорите, что вы чувствуете, что любили меня с эгоизмом. Это очень верно; только, значит, вы вовсе не любили. Любить для своего наслаждения нельзя, а любят для наслаждения другого» (60, 116).

Идея любви-самопожертвования носила у Толстого ярко выраженный антиромантический характер. Писатель неоднократно повторял, что он не признает «высокой любви» в духе Вертера: «Это больше ничего, как желание целовать ручки хорошенькой девушки... Я не люблю нежного и высокого, а люблю честное и хорошее» (60, 127). Претворяя в творчестве свое представление о любви, обращенной на мир другого человека и лишенной эгоизма, Толстой формулирует художественные принципы, ориентированные, с одной стороны, на отказ от романтических традиций, а с другой — на творческое развитие сентиментальных. В связи с работой над «Казачками» Толстой пишет П.В. Анненкову в мае 1857 года из Кларана: «Дело в том, что эта субъективная поэзия искренности — вопросительная поэзия, — и опротивела мне немного и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я пустился в необъятную и твердую положительную, объективную сферу...» (60, 182).

Следует заметить, что образ Вертера и стилистика романа Гёте воспринимаются Толстым не столько в свете сентиментальной традиции, сколько предромантической — как образец «субъективной искренности». Ориентирами сентиментальной традиции, открывающей возможности поэтически воссоздать созидющую, «положительную, объективную сферу», в 1850-е годы представлялись Толстому Руссо, Стерн, Карамзин, Гольдсмит.

В 1857 году в «Люцерне» Толстой художественно выразил антибуржуазную концепцию человека, прямо апеллируя к трактату Руссо о враждебности цивилизации, буржуазного прогресса очищению нравов. В «Семейном счастье» Толстой поставил проблему нравственной природы чувства и исследовал вопрос о соотношении любви и долга, так занимавший Руссо в «Новой Элоизе» и Н.М. Карамзина в его сентиментальных повестях. В образе героя романа, Сергея Михайловича, Толстой разрабатывает тип героя, генетически восходящий к сентиментальным истокам. В основе преемственности лежало понимание исторической миссии русского дворянства, связанного с коренными основами русской жизни: с ее культурой, историей, духовным строем и бытом. Отсюда такая высокая требовательность к нравственному содержанию личности. Можно прочертить линию, идущую от Карамзина к Толстому и составляющую важнейшую особенность русской литературы: «Дубровский» и «Капитанская дочка» Пушкина, «Дворянское гнездо» Тургенева, хроники Аксакова — в центре всех произведений стоит тип героя, унаследовавшего от Сен-Пре глубину чувств, пылкость воображения, приверженность к природе и красоте.

Деревенская утопия в романе «Семейное счастье» становится воплощением толстовской антибуржуазности и демократизма. После «Утра помещика», где Нехлюдов искал, но так и не обрел идеала счастья в крестьянском быту и обратился к семье, деревенская идиллия предполагала у главного героя, Сергея Михайловича, глубокую заинтересованность в делах мужиков. Тема крестьянского труда даже в сознании Маши сопряжена с проблемой личного счастья и духовной гармонии, хотя вопросы об отношениях с мужиками возникают лишь на периферии сюжета.

В «Семейном счастье» Толстой обращается к разработке одной из центральных идей философии и этики Руссо — к идее свободы нравственного чувства. Первая часть романа вся исполнена пафоса поэтического воссоздания любви как чувства, воспитывающего и облагораживающего душу. Исповедь Маши, ее нравственный облик, пылкость и душевная чистота, собственно самоанализ души, развивающейся под воздействием любви, — все это находится в сфере идей и образов романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Но во второй части романа, в которой Б.М. Эйхенбаум отметил следы «светской повести»², намечается полемический диалог Толстого с Руссо: происходит переосмысление самого критерия нравственного чувства. В полемике с Руссо Толстой опирается на национальную традицию, идущую от Карамзина.

Н.М. Карамзин первым в русской литературе сначала в «Письмах русского путешественника» и «Бедной Лизе», а затем и в светской повести «Юлия» (1794) поставил проблему счастья в зависимости от исполнения долга. Повесть «Юлия» явилась своеобразным прологом русского психологического романа. Опыт Карамзина оказался перспективным для русской психологической прозы XIX века прежде всего потому, что в основу конфликта его произведений положена гуманистическая

просветительская концепция равенства и естественности как проявления общечеловеческого, антииндивидуалистического начала.

Толстой как бы «повторил» в «Семейном счастье» сюжет «Юлии» Карамзина, построенный на коллизии любви и долга. Толстой, как и Карамзин, провел свою героиню через три этапа духовного развития: сначала пылкая и страстная любовь для себя, затем охлаждение и отчуждение, порочная страсть и, наконец, обретение душевного покоя в любви во имя долга перед семьей.

После публикации роман «Семейное счастье» вызвал глубокое разочарование и даже внутреннее отторжение Толстого от своего создания. Причины для того были: и кажущийся анахронизм нравственно-этической проблематики в момент жгучего общественного интереса к крестьянскому вопросу, и личностный характер материала, связанного с историей отношений с Валерией Арсеньевой. Но главная причина, вероятно, заключалась во внутренней художнической неудовлетворенности Толстого от прямого и властного авторского разрешения коллизии долга и счастья. Толстой чувствовал неправомерность и неплодотворность такой концовки романа. Его собственная духовная жизнь, напряженные раздумья над природой чувства делали невозможной такое идиллически спокойное разрешение драматического узла: это было правильно с точки зрения требований идеала и христианской нравственности, но недостаточно глубоко и истинно по отношению к действительной жизни.

Письма и дневники Толстого этой поры показывают, что, отдавая предпочтение христианской любви, он утверждает жизненность и право человека на личное чувство и видит в нем проявление природной, естественной мощи. Одновременно с завершением работы над «Семейным счастьем» был написан рассказ «Три смерти», который при общем положительном отношении критики и читающей публики вызвал некоторое недоумение. Характерен отзыв И.С. Тургенева. Он писал Толстому 11 февраля 1859 года: «Три смерти» — здесь вообще понравились — но конец находят странным и даже не совсем понимают связь его с двумя предыдущими смертями, а те, которые понимают — недовольны». В этом же письме Тургенев замечает о гр. А.А. Толстой, с которой у Толстого развернется спор о рассказе и об истинном смысле жизни и смерти. Тургенев пишет: «Она очень хорошая и умная женщина; водиться с нею должно быть очень «здорово» для души; но в ней есть какая-то резкая окончанность убеждений, слов и движений даже, которая меня слегка смущает»¹. В мае 1858 года Толстой пишет письмо гр. А.А. Толстой, необычайно важное для понимания его концепции чувства и личности. Судя по контексту, гр. А.А. Толстая в письме, которое, к сожалению, не сохранилось, упрекала писателя в отсутствии христианского подхода в изображении смерти мужика и дерева. Толстой отвечал очень развернутым письмом, выводя в качестве аргументов свое мировосприятие и излагая свою «религию»: «Вчера я ездил в лес, который я купил и рублю, и там на берегах распустились листья и соловьи живут, и знать не хотят, что они теперь не казенные, а мои, и что их срубят. Срубят, — а они опять вырастут, и знать никого не хотят. Не знаю, как передать это чувство, — совестно становится за свое человеческое достоинство и за произвол, которым так кичимся, — произвол проводить воображаемые черты и не иметь права изменить ни одной песчинки ни в чем — даже в себе самом. На всё законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду, — везде — Он. — Совершенно к этому

идет мое несогласие с вашим мнением о моей штуке. Напрасно вы смотрите на нее с христианской точки зрения. Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и жжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить?.. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее... и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. Une brute*, вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не жжет, не ломается, не боится, не жалеет» (60, 265—266). В споре с гр. А.А. Толстой писатель утверждает свое понимание необходимости духовной привязанности к земному существованию, отстаивает идею, восходящую к сентиментализму, о красоте естественности и гармоничности чувства причастности человека ко всему миру: «Его религия — природа».

Важно заметить, что в описании природы в рассказе «Три смерти», в самой структуре повествования отчетливо проступили основные принципы сентиментальной поэтики, выражавшие собою идею созидającego и целесообразно устроенного мира, развивающегося через постоянную борьбу и уравнивание внутренних противоречий: «Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбежались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, шептали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом» (5, 65). Динамика соотношения темы жизни и смерти в многообразных способах противопоставления и уравнивания становится у Толстого, как это было свойственно сентиментальной поэтике, и способом создания пейзажа, и выражением философской идеи автора, и приемом психологического анализа душевного состояния повествователя.

Рассуждению Толстого о рассказе «Три смерти» в письме к гр. А.А. Толстой предшествует описание весеннего состояния духа писателя. Оно завершается строками из стихотворения Ф.И. Тютчева «Весна»: «Пришла весна, как ни вертелась, а пришла. Воочью чудеса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухой сук — вдруг в листьях... Уж вы меня простите, ежели письмо это будет диковато. Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю вам того же от души. Бывают минуты счастья сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья.

И ринься бодрый, самовластный

В сей животворный океан.

Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки» (60, 264—265).

Стихотворение «Весна» в контексте рассуждений Толстого приобретает символический смысл как апофеоз естественной, органической «божески-всемирной жизни», красоту которой разделяет душа человека:

Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам⁴.

Диалог писателя с гр. Толстой завершается итогом, со всей очевидностью обнаруживающим глубину и неоднозначность толстовского мироощущения: «Во мне есть, и в сильной степени, христианское чувство; но и это есть, и это мне дорого очень. — Это чувство правды и красоты, а то чувство личное, любви, спокойствия. Как это соединяется, не знаю и не могу растолковать; но сидят кошка с собакой в одном чулане, — это положительно» (60, 266). Толстой не только констатирует психологическую сложность человеческой души, но утверждает это противоречие как условие духовного развития.

Так поставленная проблема чувства истоками уходит к Руссо, к сентиментальной концепции личности, которая, с одной стороны, основана на глубочайшем демократизме и просветительстве, а с другой, ведет полемику с просветительским рационализмом, выдвигая на первый план идею свободы чувства. Дialeктика общего и частного в сентиментальной эстетике, не устранив противоречия, носила созидательный характер, утверждая приоритет общих интересов (тому основа — христианская идея нравственного долга и самопожертвования) и вместе с тем глубокое уважение к личности. В сентиментализме эта диалектика двух начал носит открытый характер, являясь основой психологического анализа.

Восприятие Толстым руссоистских идей протекало в контексте русских проблем и национальной традиции, при соприкосновении с фактами современной жизни. Характерно толстовское отношение к Н.В. Станкевичу. В письме к Б.Н. Чичерину от 21 и 23 августа 1858 года он передает свое чувство: «Читал ли ты переписку Станкевича? Боже мой! что это за прелесть. Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы на глазах. — Я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать. Больно читать его — слишком правда, убийственно грустная правда. Вот где ешь его кровь и тело. И зачем? за что? мучилось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо» (60, 272). Толстого восхищала в Станкевиче, как показала Е.Н. Купреянова, создаваемая им система нравственного совершенствования, в которой ведущим было стремление к общему благу. «Любовь для Станкевича, — пишет Е.Н. Купреянова, — как потом и для Толстого, — это та психологическая способность и нравственная сила, через которую осуществляется единение человека со всем существующим, посредством которой человек возвышается до своей подлинно человеческой сущности, устремляясь от своей «отдельности» к гармоническому единению с природой и другими людьми»⁵. Вся переписка Станкевича проникнута глубоким интересом к так называемой домашней, личной стороне человеческой жизни, получающей особую значимость в нравственном мире Станкевича

как сфера проявления сердечной, естественной потребности души. Толстой не мог не быть захвачен раскрывавшимся в переписке Н.В. Станкевича необычайно напряженным процессом духовных исканий, воедино соединявших все стороны бытия человека в его природных и христианских ипостасях, и трагической обреченностью на смерть: «Что за чистота, что за нежность! что за любовь, которыми он весь проникнут, и такой человек мучался всю жизнь и умер в мученьях...» (60, 274).

Таким образом, дневники, письма и художественное творчество Толстого второй половины 1850-х годов свидетельствуют не только об интенсивности духовных исканий, но и о сложной концепции нравственного мира человека. Толстовская концепция включала в себя потребность личности совершенствоваться в стремлении любить во имя другого и вместе с тем утверждала необходимость удовлетворения естественной, природной потребности любви, вступающей в сложную диалектику с христианскими принципами. Отказ от авторского предпочтения одной из сторон этой концепции был для Толстого мучителен, но он вырабатывался ходом самой жизни, при этом усложнял и обогащал художественную структуру произведений, сказался на изображении характера в «Казаках».

Новизна образа Оленина, по сравнению с «Семейным счастьем», состояла в том, что Толстой, не пересматривая требования любви во имя другого, как бы открыл шлюзы — и «позволил» своему герою испытать не только любовь-самоотвержение, но и страстное чувство для себя во всей полноте, не угнетая и не омрачая его рефлексией по поводу безнравственности эгоизма. Толстой достиг целостности изображения сильной и сложной натуры, развивая обе линии, заложенные в сентиментальной концепции личности и используя при этом художественные формы, выработанные сентиментальной литературой.

При этом следует заметить, что одним из исходных моментов обращения Толстого к сентиментальной поэтике явилось исповедально-биографическое наполнение духовных исканий героя, что в целом характерно для художественного метода Толстого. Оленин, покидающий Москву и уезжающий в горы, чтобы очиститься душой, повторяет жизненный сюжет Толстого 1857 года, когда тот бежал из парижского содома в Швейцарию, поселился в Кларане, «в той самой деревне, где жила Юлия Руссо» (60, 190), — так писал он тетушке и путешествовал, подобно Сен-Пре, по горной Савойе. Восторги Оленина при виде снежных вершин, ставших в романе символом духовного восхождения героя, перекликаются и с ощущениями Толстого во время путешествия по Швейцарии, и с чувствами Сен-Пре. Герой Руссо писал своей возлюбленной: «Размышления принимают какой-то значительный и возвышенный характер, под стать величественному пейзажу, и порождают блаженную умиротворенность, свободную от всего злого, всего чувственного... В горном ландшафте есть что-то волшебное, сверхъестественное, восхищающее ум и чувства»⁶. — «С этой минуты, — пишет Толстой о своем герое, — все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор» (6, 14).

Печать влияния Руссо и его романа «Новая Элоиза» проявилась в демократическом пафосе Толстого, развивающего в «Казаках» мысль Руссо о превосходстве «бессмертных начал нравственности» (75), так ярко проявляющихся в народе, над «пустыми предрассудками» (76) светской морали. Сен-Пре в письмах к Юлии

отмечает «простой уклад жизни» жителей гор, «уравновешенный характер и блаженный покой, который делает их счастливыми»: «свобода царит в домах и в республике, и семья является прообразом государства» (70, 72).

Оленин тоже находит утешение и чувствует обновление души в кругу станичных казаков — Лукашки, Ерошки, Марьяны. Бесспорно, выбор толстовской ситуации был опосредован русской разработкой руссоистской концепции — и прежде всего в «Цыганах» Пушкина. Но в данном случае можно говорить и о прямой зависимости Толстого от Руссо, поскольку акцент в «Казаках» поставлен на проблеме становления личности через обращение к неиспорченным основам народной жизни.

Сентиментальная традиция проявилась в изображении любовного чувства героя. Оленин в романе переживает две кульминации, и обе восходят к сентиментальным истокам.

Первая кульминация описана в XX главе, когда Оленин, оказавшись один в «совершенно ясный, тихий и жаркий день» в лесу, испытал «странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему», когда ему открылась «новая истина»: «Счастье в том, чтобы жить для других... Любовь, самоотвержение!» (6, 77–78). И как ни относился критически Толстой к «Дворянскому гнезду» Тургенева, глава об Оленине, рассуждающем под жужжание комаров, «что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар» (6, 77), частица этого великого мира, соотносима с XX главой романа Тургенева, где Лаврецкий, подобно будущему герою Толстого, размышляет о вечной реке жизни, в которую можно вступить, оставив в стороне честолюбивые страсти и личные порывы.

Обращает на себя внимание общая для Толстого и Тургенева в этих главах, знаменующих момент высшего морального состояния героев в их стремлении к общей жизни, особенность пейзажной манеры — поэтизация самых прозаических и неярких деталей. У Тургенева Лаврецкий слышит «жалобное жужжанье мух», писк комара, «гуденье толстого шмеля», «бабий голос», видит, как «под окном коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает зоря свой сочный стебель... и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле»⁷. В повести Толстого Оленин оказался среди «мириад насекомых», комаров, которые «так шли... к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды», что ему стало ясно, что он «просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него» (6, 77). Поэтизация обыкновенного, создание эпического колорита, выражающего авторскую идею, связанную с просветительской акцентировкой приоритета общего мира, осуществляется Толстым на основе сентиментальных традиций. В «Казаках», построенных на двух сюжетах — эпическом, связанном с событиями из жизни Оленина, и лирическом, реализуемом на уровне повествования, — пейзажи прославляют весь текст, сохраняя непрерывность лиро-эпической интонации повествователя с характерным широким зачином глав («Был тот особенный вечер...», «Солнце уже приближалось к снеговому хребту...», «Ночь была темная, теплая и безветренная...»). При этом структура самого пейзажа отличается постоянством сочетания точного в деталях описания, спокойного повествовательного ритма с теплотой и задушевностью тона, воссоздающих в своей совокупности представление о большом мире природы и человека — целой

вселенной эпического бытия. Содержание и структура пейзажных картин соотносимы с типом описательно-философской пейзажной лирики, образцы которой дала английская сентиментальная поэзия. Для примера можно сравнить два отрывка с описанием природы (из знаменитой «Элегии» Грея в переводе В.А. Жуковского и из пятой главы «Казак»):

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопой
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.
В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.
Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмущившего полуночным приходом
Ее безмолвного владычества покой*.

«Солнце зашло за горы, но было еще светло...
Девки в подоткнутых рубашках, с хворостинами,
весело болтая, бегут к воротам навстречу скоти-
не, которая толпится в облаке пыли и комаров,
приведенных ею за собой из степи» (6, 18–19).

«Равномерные ночные звуки шуршанья камы-
шин, храпенья казаков, жужжанья комаров и те-
чения воды прерывались изредка то дальним вы-
стрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то
всплеском большой рыбы, то треском зверя по
дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела
вдоль по Тереку, задевая ровно через два замаха
крылом о крыло. Над самую головую казаков
она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не
через раз, а уже с каждым взмахом задевала
крылом о крыло и потом долго копошилась, уса-
живаясь на старой чинаре. При всяком таком
неожиданном звуке слух неспавшего казака уси-
ленно напрягался...» (6, 31).

При видимой неповторимости собственно локального колорита, при очевидной краткости зарисовок в лирическом тексте и развернутом пейзаже в прозе улавливается близкий по структуре тип описания природы, в котором фрагментарность и детализация (в форме синтаксических повторов) сочетаются с простотой и элегантностью тона повествования, выражающих лиро-эпический характер переживания повествователя.

Вторая кульминация в повести связана с апофеозом любви Оленина к Марьяне. Особенность самого переживаемого чувства состоит в том, что оно созидательно: в нем нет разрушительной рефлексии, отделяющей от мира, более того — в нем залог возможного приобщения к людям: «Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир Божий, вся природа вдавливают любовь эту в мою душу и говорят: любви» (6, 123).

В поисках формы выражения страстного чувства героя Толстой обратился к эпистолярной традиции. XXXIII глава — исповедь Оленина в виде письма: «Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина» (6, 120). Это очень характерный момент: эпистолярная форма была широко распространена

в сентиментальной и романтической прозе. Толстой отталкивается от романтической традиции, в истоках которой для него виделся гетевский «Вертер» («субъективная поэзия искренности»).

Герой вертеровского типа не отвечал этическим требованиям Толстого: дважды имя Вертера упоминается в его письмах в печальном для Толстого контексте в связи с отношениями Валерии Арсеньевой и Мортье. Письмо Оленина корреспондирует к другому источнику — к роману Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Содержание и стилистика XXXIII главы позволяют говорить о близости образа Оленина к типу героев, ведущих начало от Сен-Пре. Прежде всего это проявилось в страстности, безоглядной пылкости, исповедуемой свободе нравственного чувства, перевернувшего душу героя: «Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем! Самоотвержение — все это вздор, дичь» (6, 123). Только через общение с вольными казаками Оленин становится равен им в свободе чувствовать. Вопреки нормам, правилам света он заговорил о личном счастье, о возможности жениться на простой казачке.

Через письмо Оленина, как и через письма Сен-Пре, проходит мотив драмы, коллизии неравенства, когда герои осознают свое несовершенство перед воссиявшей перед каждым из них красотой. Сен-Пре постоянно сокрушается по поводу социального неравенства, искажающего чувства. Оленин называет свое прошедшее «сложным, негармоническим, уродливым», а себя «исковерканным, слабым существом» (6, 122). В финале повести Толстого, как и романа Руссо, порывы сердца вступают в противоречие с жизненными обстоятельствами, за которыми непреклонно стоят требования нравственного долга, — такова логика Руссо, автора сентиментального романа, и Толстого, усвоившего просветительские принципы.

Таким образом, в творчестве 1850-х — начала 1860-х годов Толстой предпринял создание типа героя, в котором эпическая природа проявилась в процессе приобщения героя к общей жизни — крестьянской (в «Семейном счастье»), вольных казаков (в «Казаках»). Духовная значимость героя и перспективность его жизненного пути обусловлена у Толстого, с одной стороны, стремлением личности к нравственному совершенствованию через воспитание в себе любви во имя другого, а с другой — свободой естественного, природного чувства. И оба начала, по Толстому, важны и жизненны, хотя заряжены драматизмом нравственных коллизий. Ориентация Толстого на сентиментальные традиции была обусловлена своеобразием философской и этической позиции писателя и проявилась в особенностях характерологии, сюжета, стиля повествования, определив важные центры поэтики Толстого.

¹ Купреянова Е.Н. Эстетика Л.Н. Толстого. М.; Л., 1966; Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 555—604; Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. Пг.; Берлин, 1922; Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1971; Лазарчук Р.М. Переписка Толстого с Т.А. Ергольской и А.А. Толстой и эпистолярная культура конца XVIII — первой трети XIX в. // Л.Н. Толстой и русская культурно-общественная мысль. Л., 1979. С. 85—98; Алексеев-Попов В.С. Лев Толстой и Жан-Жак Руссо. // Французский ежегодник, 1982. М., 1984. С. 88—100 и др.

² Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Книга первая, 50-е годы. Л., 1928. С. 362.

³ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 28-ми томах. М.; Л., 1961. Письма. Т. 3. С. 270—271. В дальнейшем сноски на это издание даются в тексте с указанием в скобках тома и страницы.

⁴ Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2-х томах. М., 1989. Т. I. С. 95.

⁵ Купреянова Е.Н. Указ. соч. С. 75.

⁶ Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. М., 1968. С. 69, 70.

⁷ Тургенев И.С. Указ. изд. Сочинения. Т. 7. С. 189—190.

⁸ Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: В 12 томах. СПб., 1902. Т. I. С. 15.

ПОЭТИКА ПРИЧИННОСТИ В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ

А. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

Хотя проблема причинно-следственных связей в романе-эпопее А.Н. Толстого «Война и мир» уже давно привлекает внимание исследователей¹, она требует дальнейшего осмысления. Исследователей интересует прежде всего философский аспект этой проблемы, тогда как поэтика причинности произведения Толстого или совсем не затрагивается, или о ней говорится лишь попутно. В данной статье делается попытка причинно-следственные связи романа-эпопеи Толстого исследовать именно в плане поэтики (разумеется, в нужных случаях не упуская из виду и философскую проблематику произведения).

Решая философский вопрос о границах свободы и необходимости в личной жизни человека и в историческом процессе, Толстой приходит к следующему выводу: «Все без исключения случаи, в которых увеличивается и уменьшается наше представление о свободе и необходимости, имеют только три основания:

- 1) отношение человека, совершившего поступок, к внешнему миру
- 2) ко времени
- 3) к причинам, произведшим поступок» (12, 329).

Постановка Толстым вопроса о причинности объясняется тем, что писатель исходит из мысли, что человек неразрывно связан как с природой, так и с обществом и, следовательно, независимо от своей воли включен в причинно-следственные связи природы и общества. Причинно-следственные связи бытия, являясь необходимыми, по мнению Толстого, связями, тем не менее не исключают возможности человеческой свободы, ибо любое человеческое действие потому и совершается, что представляет собой практическое разрешение противоречия между необходимостью и свободой, и жизнь человека, полагает Толстой, есть непрерывно совершающееся «соединение этих двух противоречий» (12, 327).

Выводя своего героя из «заколдованного круга» необходимости, Толстой испытывает его посредством оружия великого анализатора разума, который постоянно прибегает к услугам «памяти рассудка», и оружия все синтезирующего сознания, прибегающего к услугам «памяти сердца», интуиции. Толстой считает, что всякое знание объективной действительности «есть только подведение сущности жизни под законы разума» (12, 337), что без разума человек перестанет ориентироваться во времени, в пространстве и причинности, перестанет быть человеком. Он полагает, что разум, опирающийся на «память рассудка», связует «концы» и «начала» индивидуальной человеческой жизни и жизни всего человечества, отличая тем самым человеческое

от нечеловеческого. Но вместе с тем разум вкупе с «памятью рассудка», по мнению Толстого, не в состоянии отличить подлинно человеческое от бесчеловечного, ибо они лишены нравственного начала, их определения только условны, только относительны.

Человечное и бесчеловечное, с точки зрения Толстого, способны отличить сознание и «память сердца», ибо только они, вследствие своей органичности и безусловности, могут дать целостно-ценностное представление о том, что волнует человека, и несут в себе нравственно-ориентационное начало.

Так, после дуэли с Долоховым Пьер Безухов размышляет: «Я виноват и должен нести... Что? Позор имени, несчастье жизни? Э, все вздор, — подумал он, — и позор имени, и честь, все условно, все независимо от меня.

Людовика XVI казнили за то, что *они* говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив — и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась *она* и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи» (10, 29–30).

На смену сухим, схематичным доводам разума, апеллирующего к «памяти рассудка», к Пьеру приходит целостное и ненавистное представление ее, красавицы Элен, диктуемое сознанием и «памятью сердца», в результате чего герой начинает действовать, тем самым непроизвольно, стихийно выводя себя из состояния зависимости. Совершая «безрассудные» поступки (ср. эпизод ссоры Пьера Безухова с Долоховым, повлекший за собой дуэль), герой открывает в себе запас свежих нравственных сил и освобождается от того, что его тяготило в жизни (в данном случае брачные узы с Элен).

Толстой уверен, что, если бы «сознание свободы не было отдельным и независимым от разума источником самопознания, оно бы подчинялось рассуждению и опыту; но в действительности такого подчинения никогда не бывает и оно немыслимо» (12, 324). Не зависящие от рассуждения и опыта, сознание и интуиция («внутренний голос» у Толстого) помогают героям «Войны и мира» познавать самих себя, свое внутреннее «я», совершенно недоступное разуму, с помощью которого человек только «наблюдает сам себя» (12, 323). Толстой пишет: «Всякий человек, дикий и мыслитель, как бы неотразимо ему ни доказывали рассуждение и опыт то, что невозможно представить себе два разных поступка в одних и тех же условиях, чувствует, что без этого бессмысленного представления (составляющего сущность свободы) он не может себе представить жизни. Он чувствует, что как бы это ни было невозможно, это есть; ибо без этого представления свободы он не только не понимал бы жизни, но не мог бы жить ни одного мгновения» (12, 324–325).

Жизнь постоянно экзаменует героев Толстого, ставя их в те или иные критические, «неразумные», с их точки зрения, ситуации, которые не признают иной альтернативы, кроме безоговорочного «да или нет». Нередко от этого «да» или «нет» зависит

жизнь героя, поэтому данная альтернатива, будучи границей свободы и необходимости, является средством выявления подлинных возможностей и способностей человека, средством определения человеческой природы.

Оказавшись в кризисной ситуации, герой Толстого видит перед собой нелепицу, абсурд, мир заваливается у него на глазах. Однако в конечном счете выясняется, что это не мир заваливается, а человеческий разум, точнее, его логика перестает соответствовать новому состоянию мира. Кризис разума всегда является у героя Толстого преддверием к уяснению, а затем и претворению в жизнь идеи свободы, ибо этот кризис есть кризис одной цели, на смену которой обязательно должна прийти другая цель. Здравый смысл в таких случаях заменяет парадоксальная идея, но эта-то идея и оказывается истинной в изменившихся условиях.

Так, именно в условиях необходимости плена Пьер, как никогда ранее, чувствует себя внутренне свободным, ибо именно здесь он «узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что как нет на свете положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был вполне несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка...» (12, 152).

Толстой проводит Пьера через целую цепь парадоксальных идей (от идеи масонской филантропии к идее убийства Наполеона, затем к идее Платона Каратаева и т. д.). Такая же цепь парадоксальных идей характеризует и путь духовно-нравственных исканий Андрея Болконского (у которого на смену идее Тулона приходит идея Аустерлица, затем идеи Петербурга, Бородин и т. д.), других ищущих героев «Войны и мира».

Толстой полагает, что мир, который осваивают его герои, сам по себе ни разумен, ни нера разумен, что его законы есть существующие извечно законы необходимости, которые в большей или меньшей степени способен постигать человеческий разум. Иррациональное существует не в мире, а в человеческом сознании, которое, отождествляя себя с миром, полагает себя «вне причины», ибо человек чувствует себя «причиной всякого проявления своей жизни» (12, 336), это-то отношение между миром и сознанием и фиксирует разум как острейшее противоречие, так как разум говорит: «Связь причин и последствий не имеет начала и не может иметь конца» (12, 336). Следовательно, иррациональное, по мнению Толстого, возникает не тогда, когда мир противоречит человеческому бытию, а когда сознание противоречит разуму, и снять это противоречие можно только практически, теоретически же это противоречие можно объяснить лишь с помощью разума, и это объяснение, разумеется, может быть сделанным, с точки зрения Толстого, только посредством фатума. Толстой пишет: «Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение» (11, 6).

Совершенно справедливо, на наш взгляд, замечает А.П. Скафтымов: «По Толстому, в историческом процессе осуществляется скрытая ведущая целесообразность. Для каждого человека деятельность в ее субъективных целях является сознательной и свободной, но в сложении итогов многих и разных деятельностей получается не предусматриваемый и не сознаваемый людьми результат, осуществляющий волю «провидения»².

Получается, что Толстой видит в истории результат сочетания бессознательной, общей, роевой жизни человечества, с одной стороны, а с другой — плод сознательных усилий всех индивидуумов, принимающих участие в историческом процессе. Толстой пишет: «Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы», при этом «человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение» (11, 6). Кстати говоря, Толстой отнюдь не уравнивает в правах всех участников исторического процесса, как утверждают многие исследователи творчества писателя³. «Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, — утверждает Толстой, — тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее predeterminedность и неизбежность каждого его поступка» (11, 6).

В конечном счете писатель приходит к выводу, что ничто в мире не причина, а если так, то не самими по себе причинами, а законами, лежащими в основе этих причин, должен заниматься исследователь человеческой жизни (будь то историк с его понятийным аппаратом или художник, раскрывающий жизненные закономерности посредством системы образов), ибо все в жизни «только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие» (11, 7).

Законы же эти, по мнению Толстого, лежат в точке пересечения детерминизма и индетерминизма, и права, на наш взгляд, Г.Б. Курляндская, утверждая: «Точка зрения детерминизма, отрицающая свободу воли и отстаивающая обусловленность воли извне, и точка зрения индетерминизма, утверждающая самопричинность воли, в одинаковой степени не приемлемы для Толстого. Он стремится эти две концепции совместить и примирить»⁴. Правда, на наш взгляд, здесь следует говорить именно о совмещении, о наложении этих двух точек зрения, но отнюдь не о их примирении, ибо тогда получилось бы, что Толстой примиряет своих героев детерминистов и индетерминистов, что, разумеется, совсем не свойственно духу «Войны и мира». Основу человеческой жизни, по Толстому, составляют естественные потребности, бессознательные влечения и связанные с ними физические движения, действия, поступки людей, ибо только в этих проявлениях человеческого «я» осуществляется совмещение принципов детерминизма и индетерминизма, практически происходит соединение необходимости и свободы.

Интуитивно почувствовав себя внутренне свободным, несмотря на внешнюю несвободу (плен), Пьер не только «понял всю силу жизненности человека», но и практически стал применять «спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает

лишний пар, как только плотность его превышает известную норму» (12, 153). Эту «спасительную силу перемещения внимания», которая в конце концов перерастает в силу деяния, испытывают и другие толстовские герои.

Характеризуя плачевное состояние, в котором находилась Наташа Ростова после смерти любимого ею человека, Толстой пишет: «Уединение это изнуряло, мучило ее, но оно было для нее необходимо». Но вот однажды Наташа услышала «из-за двери страшный, грубый крик матери», получившей известие о гибели сына: «Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услышав из-за двери страшный грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе» (12, 175).

Следует отметить, что Толстой (исходя даже из этих примеров, где, как видим, психическое сравнивается с физическим) не был сторонником интроспекционизма, согласно которому реальность психической жизни определяется ее прямой данностью сознанию субъекта, что психическое есть непосредственно переживаемое. Напротив, Толстой полагает, что физическое и психическое представляют собой единство (не тождество!), хотя это и противоречивое единство. Толстой отнюдь не считает, что душа есть обособленная от тела сущность; источник душевных движений писатель видит в исходной деятельности органов чувств.

Толстой был в курсе новейших достижений психологической науки, в частности, интересовался исследованиями Г. Гельмгольца (1821–1894), который сводил к единой причинной связи все явления живой и неживой природы, доказал, что орган ощущений не только воспринимает внешние импульсы, но и обучается построению чувственных образов, что мышца совершает операции, сходные с мыслительными. Не принимая теорию символов Гельмгольца, Толстой вместе с тем шел в одном русле с немецким психологом, когда утверждал бессознательный характер психической деятельности, лежащей в основе умозаключений.

Толстой знал и работы русского физиолога И. М. Сеченова (1829–1903), который в 1863 году выпустил в свет «Рефлексы головного мозга», а в 1866 году «Физиологию нервной системы». По мнению Сеченова, сигналы, посылаемые мышцей, воспроизводят отношения, связанные с основными формами существования окружающего мира: пространством, временем и движением, и мышца выступает не только как орган действия, но и как орган познания, притом, в противовес утверждениям Гельмгольца, познания наидостовернейшего, первоисточника рождающейся на основе этого взаимодействия мысли. Толстой был знаком и с исследованием английского ученого Ч. Дарвина (1809–1882) «Происхождение видов» (1859), где доказывалось, что психические функции являются важнейшим фактором эволюции человека, способствуя его выживанию, и утверждалось, что инстинкты имеют слепой, бессознательный характер, но только эта бессознательность и способствует выживанию человека. «Бессознательные умозаключения» Гельмгольца, «бессознательные ощущения» Сеченова, «бессознательные инстинкты» Дарвина, «бессознательная деятельность» Толстого как основа жизни, безусловно, тесно связаны друг с другом и соответствуют исканиям научной и художественной мысли второй половины XIX столетия вне

зависимости от того, знали об аналогичных выводах их авторы или не знали. Таким образом, художественно исследуя проблему причинно-следственных связей мира и проблему цели, которую ставит перед собой герой, Толстой в известной мере шел в русле не только философских исканий Канта, Гегеля и Шопенгауэра (это было отмечено в работах Г.Б. Курляндской⁵ и Я.С. Лурье⁶), но исканий и современной ему физиологии и психологии.

Анализируя «бесконечно малые элементы свободы» (12, 339), благодаря которым только и может жить человек в царстве строгой необходимости, Толстой приходит к выводу, что существуют два рода свободы: свобода сознания и свобода воли, причем обе эти формы свободы у Толстого отличаются активным, деятельным характером. Образы сознания у героев Толстого потому и возникают, что эти герои не только фиксируют тот или иной действительный или воображаемый (в воспоминаниях, грезах, мечтах) предмет, а *описывают* его, т. е. совершают определенное действие, воспроизводящее предмет и одновременно выражающее впечатление, которое он произвел. Вот, например, процесс рождения и развития образа у князя Несвицкого при виде переправы через реку Энс: «Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые, шумные, невысокие волны Энса, которые, сливаясь, рябя и загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные живые волны солдат, кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно-усталыми выражениями и движущиеся ноги по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался между солдатами офицер в плаще, с своею отличною от солдат физиономией; иногда, как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или житель; иногда, как бревно, плывущее по реке, окруженная со всех сторон, проплывала по мосту ротная или офицерская, наложенная доверху и прикрытая кожами, повозка.

— Вишь, их, как плотину прорвало, — безнадежно останавливаясь, говорил казак. — Много ли вас еще там?» (9, 169—170).

В свою очередь, в основе волевого жеста, готовящегося или свершающегося поступка у героев Толстого нередко лежит образное начало. Так, например, Толстой пишет, что у явно нервничающего при переправе через Энс Николая Ростова «в одно болезненно-тревожное впечатление», во власти которого он находился, слились «страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни» (9, 180). Окрыленный любовью к Наташе Ростовой, Андрей Болконский, по словам Толстого, при второй встрече с дубом «окончательно, беспрерывно» решил, что «жизнь не кончена в тридцать один год», и это «весеннее чувство радости и обновления» вновь заставило пережить героя все знаменательные минуты его жизни: «И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему» (10, 158).

Толстой полагает, что деятельный характер свободы воли людей в конечном счете приводит к двойным последствиям: с одной стороны, к разгулу темных иррациональных сил, которые являют себя, в частности, в нашествии Наполеона, в бесновании толпы, терзающей невинного человека (сцена с Верещагиным), в нездоровом,

лихорадочном ажиотаже карточной игры (сцена в Английской гостинице), в смятении чувств героев (увлечение Наташи Ростовой Анатодем Курагиным), с другой стороны, к торжеству нравственного сознания народа, вершащего правое дело борьбы с врагом.

Характерно, однако, что социально-экономические и природные начала, формирующие человеческое и народное, обуславливающие войну и мир, предстают в романе-эпопее Толстого как неоднозначные начала. Социально-экономический фактор вызывает здесь не только зло, а природный — не только благо. Социально-экономическое благосостояние формирует «разнополюсные» типы цивилизованных людей (ср. Наполеон и Кутузов, семейство Курагиных и семейство Болконских и т. д.). Точно так же физическое, телесное, природное благополучие порождает не только «ростовский» тип, но и «полярный» ему тип Курагиных.

С точки зрения автора «Войны и мира», человек, всецело отрешенный от эгоизма, перестает быть человеком, ибо это есть отрешение от жизни (ср. психологическое состояние Андрея Болконского перед смертью). С другой стороны, человек, живущий лишь роевым чувством, внутренне обезличивает себя, теряет свою неповторимую индивидуальность и практически также становится нежизнеспособным (ср. образ Платона Каратаева). Не принимая полное отрешение от эгоизма, Толстой в то же время не оправдывает добровольное саморастворение личности в «роевом» начале человеческого бытия, ибо то и другое есть в известной степени «надуманное» человеком состояние.

Полноценный человек, по мнению Толстого, «не теряя себя», бессознательно стремится к совмещению своих жизненных интересов с жизненными интересами других людей, в идеале — всего человечества (ср. путь идейно-нравственных исканий Пьера Безухова, который, меняясь, остается самим собой, и потому, повторяясь, всегда предстает перед нами неповторимым).

Заветная мысль Пьера Безухова состоит в том, что «ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто» (12, 294). Эта мысль является заветной и для самого писателя, ею он руководствовался, когда писал «Войну и мир», когда исследовал причинно-следственные связи мира, решая вопрос о свободе и необходимости.

Не случаен обостренный интерес Толстого к проблеме свободы и необходимости именно в 1860-е годы, в период, когда производственные отношения России, как необходимые отношения, явно перестали соответствовать характеру производительных сил, как свободных сил. Глубоко закономерно также новое обращение Толстого в эти годы именно к художественной деятельности, ибо нигде писатель не мог себя чувствовать столь свободным, как в сфере творчества, тем более творчества, художественно исследующего одну из ключевых страниц истории русского народа.

Роман-эпопея «Война и мир» начинается со *свободного* слова пустой светской болтовни, которую ведут «известная» фрейлина Анна Павловна Шерер и не менее «известный» князь Василий Курагин. Завершается произведение *необходимым* словом философского отступления, которое мотивирует неизбежность отказа от несуществующей свободы, дабы «признать не ощущаемую нами зависимость» (12, 341). Между противостоящими друг другу полюсами (*свободного, но пустого слова и необходимого и существенного дела*) вращается мысль писателя на протяжении всего

романа-эпопеи, сосредоточиваясь в конечном счете на неизвестных бородинских солдатах, которые «не говорят, но делают» большое дело своего освобождения.

Всем движением художественных образов «Войны и мира» Толстой доказывает, что, когда есть личность, есть стремление к свободе, когда личности нет, есть только исполнение необходимости, но в то же время, когда есть максимум свободы, нет личности, когда же имеется лишь минимум свободы, появляется личность; поэтому Толстой утверждает мысль о том, что для человека необходимо иметь «бесконечно малую величину» свободы во времени, ибо этой величины достаточно, чтобы он стал осознавать себя человеком и практически самораскрываться именно как человек.

¹ См.: Асмус В.Ф. Причина и цель по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» // Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.; Л., 1959; Скафтымов А.П. Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого «Война и мир» // Нравственные искания русских писателей. М. 1972; Курляндская Г.Б. Нравственный идеал героев Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. М., 1988.

² Скафтымов А.П. Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого «Война и мир» // Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 87—188.

³ См. об этом: Асмус В.Ф. Причина и цель по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» // Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.; Л., 1959. С. 209.

⁴ Курляндская Г.Б. К вопросу о философских истоках решения проблемы свободы и необходимости в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // Толстовский сборник. Тула, 1970. С. 69.

⁵ Курляндская Г.Б. К вопросу о философских истоках решения проблемы свободы и необходимости в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // Толстовский сборник. Тула, 1970. С. 83. Нравственный идеал героев Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. М., 1988. С. 39—44, 104—108.

⁶ Лурье Я.С. Дифференциал истории в «Войне и мире» // Русская литература, 1978. № 3. С. 57.

ИСТИНА — В СМЕРТИ

В толстоведении давно уже общепринят тот факт, что прообразом Николая Левина в романе «Анна Каренина» является родной брат Толстого Дмитрий, умерший от туберкулеза в 1856 году, почти за 20 лет до написания романа. Представляется, что сравнение вымышленного героя Николая Левина с тем, что мы знаем о реальном Дмитрии Толстом, даст нам какие-то средства (хотя и скудные, и неадекватные) для раскрытия таинственных связей жизни и искусства, их соотношения и взаимопроникновения, одним словом, поможет проникнуть в творческую лабораторию писателя, понять, что происходит, когда реальный кровный брат Толстого трансформируется в персонаж его романа.

Впрочем, термин «творческая лаборатория» не совсем верен. Он все же предполагает механический процесс: вы как бы вкладываете в некую машину существующую реальность и в результате получаете художественный образ. Однако все авторские приемы при трансформации существующей реальности в художественный вымысел: бесчисленные поиски главного и второстепенного, тщательный отбор фактов, предпочтение одних другим, выделение отдельных нюансов, — все это отнюдь не механический процесс. Реальность и возникающие в подсознании образы, сплетаясь в сложный клубок противоречий, порождают новый образ, который будет жить по законам художественного произведения. Настоящее исследование является попыткой выявить одну из закономерностей во взаимоотношениях искусства и жизни. В какой мере мотивы создания образа Николая Левина определялись чисто художественными законами или хотя бы оправдывались общим художественным замыслом; или все же талант Толстого не просто воскрешал прошлое, но и сублимировал его, подчиняя художественный материал определенным задачам внутреннего порядка?

Судя по сохранившимся черновикам, у Константина Левина предполагалось наличие двух братьев. Есть у него и сестра, но Толстой держит эту загадочную «леди» где-то за границей. Это, вероятно, может показаться неправдоподобным, но она не только не утруждает себя приездом в Россию на свадьбу одного или похороны другого брата, но даже ни разу не навещает умирающего Николая в Соdene, где с ним встречается Кити Щербацкая (которая приехала за границу после неудачного романа с Вронским; Николай вызывает у нее острую неприязнь своей привычкой подергивать головой, а также тем, что напоминает ей Константина, которого она, в свою очередь, обманула). Совершенно очевидно, что в планы Толстого не входит физическое присутствие сестры Левина на страницах романа; кажется, что ее единственное

предназначение — владеть поместьями, которыми управляет Константин, демонстрируя таким образом великодушие и недюжинные администраторские способности. Эти обязанности, кстати, позволяют ему много разъезжать по окрестностям, и именно на пути в имение сестры Покровское происходит та мимолетная встреча, которая предопределила его дальнейшую судьбу: он увидел Кити в проезжающем экипаже, и это видение возрождает его естественное желание составить партию, соответствующую его положению, и разрушает иллюзию возможности счастья с простой крестьянкой. Итак, сестра Левина физически не присутствует на страницах романа. Образы двух братьев Константина играют более важную (хотя и тоже второстепенную) роль — они помогают полнее выявить характер главного героя.

Среди двух крайностей, двух полюсов — мнимо положительного героя Сергея Кознышева и скрывающегося под маской отрицательного персонажа Николая Левина — Константин Левин занимает центральное положение, являясь как бы центром симметрии. В ранних редакциях романа Сергей — кровный брат Левина; позднее Толстой снижает его роль, делая его братом по материнской линии, *сдиноутробным*, имеющим другую фамилию, в отличие от *единокровного* (т.е. по отцовской линии), что предполагает более тесную родственную связь. Такое «разжижение» родства, без сомнения, необходимо Толстому для того, чтобы подчеркнуть, что респектабельный Сергей Кознышев внутренне более далек от Константина, чем его беспутный кровный брат Николай. Это, вероятно, нужно и для того, чтобы показать, что Кознышев не имеет прототипа среди Толстых: в самом деле, ни один из двух других братьев Толстого не имеет с ним ни малейшего сходства. Основная роль Кознышева в романе — служить катализатором для младшего брата, который вначале кажется мелким и неинтересным на фоне этого знаменитого писателя и мыслителя, «известного всей России», но в итоге оказывается, что он превосходит его во всех отношениях (кроме, конечно, сомнительной писательской славы). В то же время Кознышев нужен Толстому и как мишень для социальной и идеологической сатиры. В последних главах он представляет этого академического интеллектуала весьма злобным существом, лишенным корней, чрезмерно умышленным горожанином. Он прочитал множество книг, но духовно беден, идеалы для него — всего лишь игрушка, а шахматные этюды способны поглощать его внимание не меньше, чем вопросы бессмертия души. Толстой абсолютно безжалостен к бедному Сергею Ивановичу: кажется, что он не пропускает ни малейшей возможности, чтобы не высмеять и не унижить его. Кознышев рассуждает о сельском хозяйстве, не имея никаких корней, никакой связи с землей; он совершенно лишен хозяйственной жилки. Он пребывает в постели, в то время как Левин занят физическим трудом, чувствует свою связь с народом в знаменитой сцене покоса. Кознышев разглагольствует о красотах природы (чего никогда не делают настоящие деревенские жители), а сам, направляясь на рыбную ловлю, пускает лошадей через луг, бездумно губя эту красоту. Будучи страстными охотниками (что некоторым кажется занятием более жестоким и кровавым, чем рыбная ловля), и Толстой, и Левин по некоторым соображениям считают рыбную ловлю пустым времяпрепровождением. И, как последнее унижение, Толстой не дает Кознышеву возможности поймать ни одной рыбы!

Более того, тапнит opus* Кознышева, книга с претенциозным названием «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России», плод шестилетних усилий, не получает признания. Чтобы отвлечься от этого разочарования, Кознышев удаляется в панславизм, собирая в России силы и средства для поддержки угнетенных балканских народов, стонущих под гнетом турецкого ига. Толстой обрушивается на этот неуместный энтузиазм Кознышева, обличая жульнические журналистские уловки и манипуляцию общественным мнением, которые он наблюдал, сталкиваясь со сторонниками этого течения.

Но самое тяжелое испытание, на которое Толстой обрекает Кознышева, — это его отношения с женщинами: по-рудински неудачное объяснение Сергея Ивановича с Варенькой, несмотря на все его благородные намерения, — одна из самых сильных сцен в романе, выказывающая превосходную осведомленность автора о той огромной пропасти, которая простирается между осознанной целью и неосознанным желанием (или страхом). Для усиления впечатления Толстой рисует сразу же вслед за ней сцену объяснения Кити и Левина, которая решена в лучших традициях благополучного романа викторианской эпохи; в их отношениях, по контрасту, много физической страсти.

Разочаровываясь по мере развития сюжета все более и более в своем брате, Левин как бы суммирует авторское (и, предположительно, наше) отношение к Кознышеву: ему недостает «жизненной силы, того, что называется сердцем». Получается, что он не только имеет неверное представление о жизни — он как бы неполноценный человек. И в сравнении с ним Левин выглядит все лучше и привлекательнее.

Теперь обратимся к Николаю. Прежде всего отметим, что образ Николая Левина, безусловно, подчинен решению той же авторской задачи, что и образ Сергея Кознышева: он «высвечивает» своего брата Константина с другой стороны. Ко времени появления на страницах романа Николай уже потерпел крах в жизни — и физический, и социальный, и экономический, и эмоциональный. Он промотал свою долю материнского имения (в то время как Константин рачительно хозяйствовал на своей); его несколько попыток сделать карьеру не увенчались успехом; он не женат, но живет с бывшей проституткой Марией Николаевной, или Машей, которую — романтический жест, столь популярный в романах XIX века — выкупил из публичного дома. Но в своем ежедневном проявлении даже этот благородный жест имеет изъян. Николай грубо обращается с Машей, несмотря на ее кротость и преданность, и, тяжелобольной, однажды прогоняет ее, как бы желая доказать себе, что не нуждается в сиделке.

Николай враждебно настроен по отношению к обоим братьям, утверждая, что они обманули его при разделе имущества матери; но его неприязнь к Кознышеву выражена сильнее. Кознышев отвечает ему тем же, проявляя присущую ему сухость и отсутствие «сердца», в то время как Константин, хотя Николай и заставляет его страдать, все же ощущает глубокую, неразрывную связь братской любви, доверия, понимания, связь, которую чувствует и Николай, несмотря на то, что пытается отрицать или преуменьшить ее.

* великое сочинение (лит.).

Наконец, Николай так же, как Кознышев, выражает идеологию, которую Толстой не одобряет, а именно — идеологию социализма. Толстой, правда, не дает ему возможности прямо высказать свои взгляды. Николай начал было излагать теорию прибавочной стоимости, но Константин, через восприятие которого мы и получаем представление об этой идеологической схватке, сводит его лекцию на нет, поглощенный мыслями о состоянии здоровья брата. Идеи Николая подаются как следствие его болезни и тем самым дискредитируются. Но мы все же узнаем, что их практическое приложение заключается в организации в деревне артелей или кооперативных гильдий. Автор рассчитывает, что читатель не поверит этому проекту не столько потому, что он изначально неприемлем, сколько потому, что Николай не имеет ни средств, ни сил для его осуществления.

Помимо хозяйственной и идеологической сфер деятельности, Константин Левин имеет еще два существенных преимущества перед своим братом: сексуальность и здоровье. В то время как сексуальной партнершей Николая становится бывшая проститутка, Константин после временной неудачи обретает чистую и прекрасную юную невесту из высшего круга — княжну, и ему самой судьбой предназначено стать прародителем целого выводка Константиновичей и Константиновн. Разумеется, Толстой подчеркнуто избегает малейших признаков снобизма в описании Марии Николаевны или в отношении к ней Константина Левина. Тот обращается к ней на Вы (что смущает и даже пугает ее) и, преодолев первоначальные сомнения, позволяет жене оставаться с ней в комнате у постели умирающего Николая (хотя в своей новой роли почтенной матроны Кити весьма неохотно, несмотря на родственные связи, принимает другую деклассированную женщину — Анну Каренину). Тем не менее Мария Николаевна не равня Кити: лицо ее испещрено оспой, она безвкусно одета и едва умеет читать и писать. В сценах у постели умирающего Николая именно она, Кити, а не Маша, проявляет завидное женское чутье в уходе за больным, совершенно недоступное толстовским мужчинам. За несколько часов она превращает грязный, зловонный номер в чистую и приветливую больничную комнату, тактично и ловко проделывает все необходимые больному процедуры. Превосходство Константина, таким образом, снова сильно подкрепляется (как это было и ранее) стараниями его восхитительной жены.

Среди всех событий жизни Николая Левина центральное место в романе занимает все же его болезнь и смерть: можно почти с уверенностью утверждать, что его назначение заключается в том, чтобы болеть, а затем умереть. В этом смысле его образ противопоставлен образу его брата Константина, полного жизненных сил и здоровья. Идея смерти, по Толстому, — это тот высший экзистенциальный факт, который он считал самым несправедливым из всего, что Бог предназначил человеку. Кроме того, болезнь и смерть Николая дают толчок для философских рассуждений Константина о конечности человеческого бытия, позволяя Толстому углубить характеристику самого Константина Левина, показав противоречивый клубок обуревавших его чувств, вызванных видом тяжело умирающего брата.

Вначале братские узы родства в сочетании со счастливыми воспоминаниями детства борются в Константине с раздражением, вызванным антисоциальным поведением Николая и его постоянной агрессивностью; позднее жалость при виде тяжелых

страданий умирающего сталкивается с раздражением, вызванным нежеланием Николая трезво оценить свое положение; и, наконец, в сцене смерти нетерпение от слишком затянувшегося процесса умирания сменяется чувством вины и ужаса от раскрытых в самом себе недостойных мыслей и ощущений. (Действительно, нетерпение от затянувшегося процесса умирания брата представляется в высшей степени достойным самого серьезного порицания, однако Левин не может отрицать, что в глубине души он испытывает это чувство.)

Все эти противоречивые чувства предельно правдиво изображены в главах, описывающих смерть Николая Левина, включая конечную, озаглавленную «Смерть», — единственную в романе, имеющую название. Они достойны войти в число самых сильных и впечатляющих в мировой литературе. «Заражение» читателя (пользуясь термином Толстого) чувствами Левина — жалостью, любовью, раздражением, разочарованием, ужасом, ощущением вины — совершается в полной мере. Мы с душевным трепетом сопереживаем Левину, когда ему приходится, помогая переворачивать больного, ощутить сквозь белое истощенное тело в его физической реальности или когда Николай берет руку брата и в последнем жесте примирения, благодарности, прощения прижимает ее к губам.

И все же, несмотря на предельную правдивость в изображении чувств Левина к брату — фактически, к обоим братьям, — есть еще одно знакомое чувство, которое, кажется, ощутимо присутствует на страницах романа, хотя явно нигде не обозначено. Это чувство соперничества, кровного соперничества, если прибегнуть к психологическому жаргону XX века. Создается впечатление, что Толстой видит и передает нам все чувства Левина, кроме этого одного. Но если бы нам удалось проникнуть в сокровенные глубины души Константина Левина, стоящего у смертного ложа брата, мы едва бы ошиблись, обнаружив там, пожалуй, самое сильное и, безусловно, самое отвратительное чувство (из всех возможных) — триумф. Мы не знаем, кто победил в той «подушечной» схватке, которую Константин помнит с детства, но он, несомненно, вышел победителем из всех других жизненных битв. В то время как жребий Николая имеет только черные метки — бедность, неудавшаяся карьера, любовница низкого происхождения и, наконец, болезнь и смерть, — Костя родился под счастливой звездой: относительное (хотя и не явное) изобилие, глубокие корни и эффективное управление родовыми поместьями; здоровье; независимые суждения по социальным вопросам; очаровательная, способная, любящая молодая жена, которая благополучно разрешается от первой беременности, пожалуй, даже слишком благополучно (причем сцена родов Кити следует сразу же после сцены смерти Николая); и, наконец, наиболее естественная победа — остаться живым, когда другой умирает, та победа с примесью вины, которую так остро ощущат все те, кто окружал умирающего Ивана Ильича. Как же может Левин не испытывать этой радости?

Однако чувство триумфа у тела брата, которого жалел и любил, несмотря на все его недостатки, — такое чувство, хотя и понятное, неизбежно повлекло бы за собой всплеск стыда и раскаяния. Ощущение вины после такого триумфа еще более усилило бы уже ранее испытанное чувство, вызванное нетерпением от затянувшегося процесса угасания. На это последнее чувство сам автор прямо указывает, его ощущает и герой; но о первом читатель должен догадаться сам. Поскольку Толстой-художник

уделяет так много внимания правдивому изображению глубинных психологических процессов, эта неспособность идентифицировать чувство братского соперничества и агрессии Константина Левина могла бы показаться художественным просчетом. Если это так, то можно было бы предположить, что всегдашняя безошибочная интуиция Толстого столкнулась здесь с какими-то эмоциональными переживаниями из его собственной жизни. Он не смог рассказать такую правду даже о некоем отдаленном, вымышленном alter ego (собственном двойнике). Для того чтобы перенести эту гипотезу из литературы в жизнь, очевидно, необходимо рассмотреть прототип Николая Левина, Дмитрия Толстого, и его отношения со своим знаменитым братом. Разумеется, трудности здесь немалые: наши сведения о Дмитрии Толстом ограничены, и их достоверность сомнительна. Кроме очевидных фактов его *cuticulum vitae*^{*}, наши знания о Дмитрии Толстом сводятся к тому, что его брат Лев захотел рассказать о нем либо в письмах и дневниках, написанных при жизни Дмитрия, либо в автобиографических заметках, написанных в последние годы. Но приходится иметь дело с тем, чем мы располагаем.

Два основных автобиографических документа, в которых Дмитрий занимает значительное место, — это «Исповедь», написанная вслед за «Анной Карениной», и незаконченные «Воспоминания», которые писались в 1902—1906 гг.^{**} Из этих источников мы узнаем, что в молодости Дмитрий Толстой, так же как и Николай Левин, пережил период интенсивного увлечения религией, когда он пунктуально исполнял все предписанные ритуалы — посты, говенья — православной церкви. Он жил строгой, воздержанной жизнью, избегая алкоголя, табака и связей с женщинами. За такой переизбыток пуританского рвения, как рассказывается в «Исповеди», друзья и сверстники Дмитрия, включая взрослых и братьев, высмеивали его и окрестили Ноем. Даже в самых откровенных автобиографиях все же существует проблема *Dichtung und Wahrheit* («вымысла и правды»), т.е. вопросы, касающиеся использования данного эпизода и его освещения. В «Исповеди» Толстой представляет эпизод с Ноем в качестве иллюстрации лицемерия, присущего современному ему христианскому обществу, представителя которого (по крайней мере, высшие классы) не слишком серьезно принимали религию, поэтому страстный порыв честного молодого человека подвергается здесь жестоким насмешкам. В «Воспоминаниях» тот же эпизод интересен Толстому сам по себе, поэтому здесь он представлен совершенно иначе. Прозвище «Ной» дают Дмитрию не все окружающие, а лишь один неприятный субъект — казанский инженер Ес., который ввалился в комнату Дмитрия, перемешал его коллекцию минералов, стал издеваться над его религиозностью и назвал его напоследок Ноем. Реакция Дмитрия на это, сознательно опущенная в «Исповеди», — взрыв бесконтрольной ярости. Он ударил своего мучителя по лицу и угрожал ему половой щеткой. Угроза эта была столь убедительна, что Ес. вынужден был спастись бегством в соседнюю комнату, где жили Лев и Сергей; оттуда он выбирался «почти ползком, через пыльный чердак» (34, 382), чтобы не попасться на глаза разъяренному Ное.

^{*} Хроники жизни (дат.).

^{**} Исключая здесь какое-либо предположение о Дм. Толстом как возможном прототипе Дм. Нехлюдова в «Юности», — Х. М.

Дмитрий Толстой только однажды появляется на страницах «Исповеди», но в «Воспоминаниях» ему уделено значительно больше места, чем другим братьям. В описании его внешности мы легко узнаем двойника Николая Левина: «...с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ, довольно силен — не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной» (34, 380). Более того, мы сразу же инстинктивно отмечаем характерный физический недостаток Николая Левина, а именно его привычку — «подергивание головой, как бы освобождаясь от узости галстука» (34, 381). Этот тик снова подтверждается в документе, относящемся к тому же времени, письме Толстому его брата Сергея от 14 июля 1852 г.: «Митенька посмотрел на меня очень пристально, сделал головой и шеей известное тебе движение и кликнул» (59, 187–188).

Узнаем мы и тот же трудный характер: с одной стороны, вспыльчивый, с другой — погруженный в себя, склонный к самоанализу, возможно, несколько прямолинейный в оценках норм общепринятой морали и самый замкнутый среди четырех братьев. В Казани Дмитрий, в отличие от братьев, отказался брать уроки танцев; завел себе бедного приятеля плебейского происхождения, имеющего по иронии судьбы фамилию Полубояринов, которого братья прозвали Полубезобедовым, и целые дни проводил у постели несчастной служанки их тетушки. Эта женщина страдала неизвестной болезнью, вызвавшей ужасающую опухоль ее лица, выпадение волос и зловоние тела. Это святой Юлиан, совершенно лишенный беззгливости, что часто подчеркивается в «Воспоминаниях», но начисто отсутствует в поступках Николая Левина.

Мы, конечно, можем лишь догадываться о причинах этого. Можно думать, что, склонный в последние годы жизни к самокритике и самобичеванию, Толстой в «Воспоминаниях» ставит задачу возвысить своего брата ценой собственного унижения, подчеркивая моральную силу Дмитрия и называя себя в числе его гонителей и насмешников.

В «Анне Карениной» канонизация Николая Левина или даже его временное моральное превосходство над Константином нарушило бы гармонию построения романа. Более того, одобрить суровый христианский аскетизм Дмитрия значило бы дискредитировать идеал семейного счастья и биологической плодovitости, который провозглашает Толстой через Константина Левина как решение вечно мучившей его проблемы интимных отношений.

В «Воспоминаниях» Толстой говорит, что он любил своего брата Дмитрия «простой, ровной, естественной любовью» (34, 379), которой он, по его словам, не замечал и не помнит и которая является естественным состоянием души, если она не подавляется страхом или не усиливается какой-либо особой, «специальной» привязанностью. К двум старшим братьям, Николаю и Сергею, он, Лев, испытывал эту «специальную» любовь, а к Николаю еще уважение и восхищение.

Итак, «специальная» любовь к Николеньке и Сереже и всего лишь «естественная» и «забытая» к Митеньке, ближайшему к нему по возрасту. Велик соблазн называть вещи своими именами и заключить, что Толстой любил Дмитрия гораздо меньше, чем других братьев, а возможно, и вовсе не любил.

Враждебность между двумя братьями при жизни Дмитрия не бросается в глаза, но все же есть некоторые указания на нее. Например, 13 февраля 1854 года, проезжая из Бухареста в Крым через Москву, Толстой записал в дневнике, что он повидал

всех трех братьев, дав две совершенно противоположные оценки: «Митенька огорчил, а Сережа порадовал меня» (46, 236). К сожалению, Толстой здесь не вдается в детали. Еще более очевидный намек, по крайней мере для тех, кто знаком с толкованием сновидений по Фрейд, мы находим тремя годами ранее. В 1851 году, живя на Кавказе, Толстой записал в дневнике: «Нынче, 22 Декабря, меня разбудил страшный сон — труп Митеньки. Это был один из тех снов, которые не забываются. Неужели это что-нибудь значит? Я много плакал после. Чувства вернее во сне, чем наяву» (46, 240).

На следующий день он написал об этом сне Сереже, опасаясь, что он может оказаться пророческим: «Что Митенька? Я его очень дурно видел во сне 22 Декабря. Не случилось ли с ним чего-нибудь?» (59, 132). Даже в этом письме мы ощущаем подозрительные признаки самоконтроля: Сергею Толстой пишет лишь о «плохом сне», но не о том, что он видел смерть Дмитрия.

Было бы неверным утверждать, что Толстой был постоянно враждебен по отношению к Дмитрию. Более вероятно предположить, что его чувство составляет скорее сложное сочетание положительного и отрицательного, что очень похоже на отношение Константина Левина к брату Николаю. Если все же раздражение и неприятие, не говоря уже о неосознанном желании его смерти, действительно являлись сильнейшим компонентом чувств Толстого к Дмитрию, то воспоминание о них, в свою очередь, вызвало бы чувство вины по поводу его болезни и смерти. А боль вины могла бы снять «преступление» или хотя бы уменьшить его.

В «Воспоминаниях», написанных в старости, Толстой утверждает, что он восхищался своим братом Дмитрием за его глубокую религиозность и особенно за полное равнодушие к мнению о нем окружающих — черта, присущая также и его старшему брату Николаю и совершенно отсутствовавшая, по признанию Толстого, у него самого. (Признавая тот факт, что именно жажда славы питала его литературную карьеру, Толстой с одобрением цитирует слова Тургенева, что Николай Толстой имел предпосылки (Толстой называет их недостатками), необходимые для того, чтобы стать писателем, кроме одной, — тщеславия).

В целом в «Воспоминаниях» Толстой всячески стремится представить Дмитрия в самом лучшем свете. Это чувствуется даже в подборе эпитетов: «серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужествен». В завершение всего он даже пытается сгладить жестокую несправедливость ранней смерти Дмитрия: «Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер» (34, 383).

Толстой познакомился с этой платоновской или индуистской концепцией бессмертия слишком поздно, чтобы применить ее при создании образа Николая Левина. Тогда же, в 1870-е годы, при извлечении из глубин памяти черт характера своего брата, Толстому приходилось принимать бесчисленные решения по поводу того, что включить, исключить или изменить при создании этого образа.

Прежде всего, по сюжету романа, Николай Левин появляется на его страницах лишь к концу своей жизни, ему оставлено слишком мало времени для чего-либо другого, кроме болезни и смерти. Именно в этот период проявляется его неуживчивая натура и испытывается терпение брата. Но если мы задействуем все моменты,

предшествующие этой отправной точке, его *Vorgeschichte* (предысторию), мы составим довольно подробную биографию Николая, которую можно сравнить пункт за пунктом с событиями реальной жизни Дмитрия Толстого.

Счастливое детство в Покровском, затем университет, который Николай, так же как и Дмитрий, закончил в Казани. (Здесь, между прочим, можно отметить, что Константин Левин у Толстого также окончил университет, в отличие от самого автора.) После раздела имущества родителей молодой Дмитрий Толстой сделал попытку осуществить на практике те призывы, с которыми обращался Гоголь к русским помещикам (в «Выбранных местах...»). Не отрицая институт собственности как таковой, он хотел выполнить свой материальный долг перед крестьянами, повышая их нравственный уровень путем наказаний. Это проявление настоящего крепостничества, конечно, исключено из характеристики Николая Левина, хотя напоминает нам героя ранней автобиографической повести «Утро помещика» или Дмитрия Нехлюдова в романе «Воскресение».

Это исключение может быть объяснено и просто разницей во времени. Делая своего alter ego Константина Левина больше чем на 10 лет моложе себя, Толстой сдвигает рамки повествования так, что действие «Анны Карениной», включая предисловие, происходит после освобождения крестьян. Таким образом, ни одному из героев не приходится испытывать угрызения совести по поводу отношения к собственности, хотя в сцене у Свяжского Толстой заставляет Левина упорно симпатизировать закоренелому крепостнику, чей трезвый реализм приятно контрастирует с либеральной болтовней самого Свяжского.

В любом случае Дмитрий Толстой, так же как и его брат Лев, не слишком долго упорствовал в своих попытках благотворительного хозяйствования. Впоследствии он решил, что нравственный долг дворянина заключается в служении государству.

Снова, подобно Гоголю, он купил адрес-календарь всех государственных учреждений. Просмотрев его, он решил, что законодательство — самое высокое поприще в государстве, и отправился в Петербург, чтобы проявить себя на этом поприще. Бюрократический аппарат, с которым он столкнулся, оказался столь же далеким от идеалистических представлений, как это случилось с Гоголем, и служебная карьера Дмитрия оказалась еще короче: он уехал из Петербурга, не прослужив и одного дня.

В одном из ранних набросков «Анны Карениной» Толстой приписал такое же наивное поведение Николаю Левину, заставив его избрать полем деятельности государственную службу, за что его брат Козньпшев, который мог бы помочь ему через связи получить место, пренебрежительно называет его младенцем и чудаком (20, 175). Эпизод этот был потом исключен из романа, возможно, как имеющий юмористический налет донкихотства. Очевидно, это показалось Толстому неуместным для характеристики Николая Левина, преобладающими чертами которого являются раздражительность и мрачность.

Еще более неподходящим был бы другой эпизод из жизни Дмитрия Толстого, имеющийся в «Воспоминаниях». Однажды в поисках хорошего места в Петербурге Дмитрий решил обратиться за советом и помощью к старому знакомому по Казани Дмитрию Оболенскому. Он без приглашения явился на вечеринку в дом Оболенских, одетый в нанковое пальто. Оболенский представил его гостям и предложил

снять пальто. Это оказалось невозможным, поскольку Дмитрий заявил, что под ним ничего нет! Он всегда одевался, по словам Толстого, так, чтобы «лишь прикрыть свое тело», и был абсолютно равнодушен не только к моде, но и к условностям.

Интимная жизнь Дмитрия Толстого и Николая Левина во многом совпадает. Оба эти Ноя ведут до 25 лет чистую, целомудренную жизнь. В этом возрасте с обоими происходит внезапная перемена. Дмитрий Толстой «стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам» (34, 385). Николай Левин делает то же самое, его товарищами в этих разгулах, по свидетельству Константина, становятся «самые дурные люди». В «Воспоминаниях» Толстой возлагал вину за падение Дмитрия на одного из таких «дурных» людей, друга семьи Константина Иславина, который был «внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек» (34, 385). Однако, по иронии судьбы, сам Толстой долгие годы поддерживал самые дружеские отношения с этим «глубоко безнравственным» человеком, и тот часто посещал Ясную Поляну. Не исключено, правда, что у Толстого не было выбора: Иславин доводился дядей Софье Андреевне.

Если бы не поздний Толстой с его моралью, многим из нас беспутный образ жизни, который вели в молодости Дмитрий Толстой и Николай Левин, мог бы показаться безобидным. Однако временами они заходили достаточно далеко: мы узнаем, что Николай был однажды арестован за буйство и провел ночь в полицейском участке. (Мне не удалось выяснить, случилось ли что-либо подобное с Дмитрием Толстым.) Были у него и другие поступки, с которыми трудно примириться. В окончательном варианте «Анны Карениной» Николай Левин обвиняется в следующем: он взял из деревни мальчика, чтобы подготовить его для поступления в университет, но в приступе гнева так избил его, что ему был предъявлен иск (в набросках романа это сделала мать мальчика. — 20, 174). В «Воспоминаниях» подобный случай, происшедший с Дмитрием Толстым, несколько видоизменен. Толстой рассказывает, что по приказу их тетушки-опекуни Пелагеи Ильиничны Юшковой каждому из четырех осиротевших братьев Толстых по приезду в Казань был придан крепостной мальчик для личного обслуживания. Мальчика Дмитрия звали Ванюшей, и Толстой вспоминает, что «Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю, кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении» (34, 380). В «Воспоминаниях» Толстой не говорит о каком-либо судебном деле против Дмитрия, а в «Анне Карениной» нет никакого намека на угрозы совести. В данном случае мы, вероятно, сможем заглушить в себе подозрения психологического характера и приписать такую модификацию подчинению чисто художественным задачам. Не исключено, что Толстой, желая подчеркнуть контраст между Николаем и Константином, хотел сделать Николая Левина хуже, чем был Дмитрий Толстой. Для большей простоты и логичности после эпизода с Ноем в жизни Николая начинается падение по наклонной плоскости.

Чтобы ускорить это падение, Толстой приписывает Николаю еще несколько проступков, не имевших места в жизни Дмитрия Толстого. Во время службы на западной границе он избивает старшину, а в одном из набросков романа мы узнаем, что «он взял у одной барыни (кредитные. — Х. М.) билеты, чтобы разменять, и украл их» (20, 612).

Несмотря на то, что прототип и персонаж чрезвычайно схожи в том, что касается финансовых вопросов, Толстой, очевидно, вновь стремится «сгустить краски», описывая финансовые сделки Николая. Ко времени последней болезни он вверг Николая в полную нищету, из которой его временами выручали братья, и наконец — смерть. Ничего подобного не было в жизни Дмитрия Толстого. Финансовые отношения между четырьмя братьями Толстыми (и одной сестрой) были достаточно сложными, чтобы давать здесь их детальное описание. После полного раздела родительского имущества их деловые отношения складывались непросто: они занимали деньги друг у друга, продавали и покупали недвижимое имущество, в отсутствие кого-то из братьев другой мог управлять его имением, как это делает Константин Левин в имениях брата и сестры.

Вероятно, все братья Толстые (в том числе и Лев) растратили немало денег в карточной игре, но все же к моменту смерти Дмитрий вовсе не был нищим, хотя и испытывал ограничения в наличных средствах. Более того, его отношение к финансовым делам было куда менее безответственным, чем у Николая Левина. Например, в письме к брату Льву 20 октября 1854 года он сообщает о своем финансовом положении: «Долгов у меня осталось 6800 р. с., но мне должны 4 т. р. с., то остается 2800 р. с.» (59, 268). Из суммы 6800 руб. он задолжал 4500 руб. некоему Федору Дохтурову, но к моменту смерти в 1856 г. Дмитрий выплатил 1400 руб. из этой суммы. Очевидно, что Дмитрий предпринимал в последние годы жизни серьезные попытки поправить свои дела.

Ни одного поступка такого рода не дано было предпринять Николаю Левину. Однако другой, менее благоприятный эпизод финансовой деятельности Дмитрия добросовестно перенесен в роман. В кратком перечне проступков брата Константин Левин упоминает, что Николай, проиграв значительную сумму в карты, подписал долговую расписку, но впоследствии объявил, что его обманули, и отказался платить. Такое поведение сводило на нет кодекс джентльмена, воплощенный для нас во Вронском: джентльмен всегда отдавал предпочтение карточным долгам в отличие от долга портному и прочих долгов черни. Даже обычно равнодушный к таким делам Кознышев шокирован этим нарушением этикета и платит долг чести Николая, получив в ответ письмо с ругательствами. Вероятно, что-то очень похожее произошло с Дмитрием Толстым, судя по письму Сергея Льву от 12 апреля 1853 года. Дмитрий, по словам Сергея, «делает всё страшные глупости... проиграл довольно много и глупым манером, разным лицам дал заемные письма... быв на то принужден насильственным образом, и что он теперь платить не желает. Одним словом, гадко. Живет в Москве, устраивает какую-то аптеку» (59, 228). В ответном письме Толстой не касается карточной игры, а затрагивает лишь коммерческую деятельность, которую он, очевидно, считает не только не подходящей для джентльмена, но и просто непристойной: «От Митиньки я получил письмо, в котором он просит меня рекомендовать (очевидно, в армии. — Х. М.) какие-то химические припасы из его лавки. Очень грустно» (59, 242). В «Анне Карениной» Константин Левин употребляет по отношению к поведению брата Николая тот же эпитет «гадко», хотя тут же пытается смягчить его, говоря, что проступки Николая могут показаться хуже тем, кто не знает историю его жизни и его сердце так, как он, Константин, знает их.

Аптека Дмитрия Толстого также находит свое место в литературе, хотя и в художественно гиперболизированной форме. В не вошедшем в роман наброске Толстой заставляет Николая Левина сердиться на Кознышева за то, что последний отказывается продать имение, которым они владеют сообща, для того чтобы он, Николай, мог воспользоваться своей долей для покупки химической фабрики, «которая должна была осчастливить и обогатить целую губернию» (20, 174). Эта химическая фабрика, в духе Мидаса, была исключена из последней редакции, возможно, потому, что в данном случае не доставало налета моральной деградации, которая нужна была Толстому для описания предыстории Николая.

Что же касается основной идеи романа, то самое заметное отличие Дмитрия Толстого от Николая Левина заключается в их взглядах. В заключительной редакции, как уже отмечалось ранее, Николай — социалист, в противовес академическому либерализму (а позднее панславизму) Кознышева, а также анархизму и антигородской, в духе Толстого, пейзагофилии Константина Левина. Превращение Николая в социалиста происходит, по сюжету романа, довольно поздно. Оно всплывает в процессе описания различных общественных течений 1870-х годов, в которые Дмитрий Толстой, конечно, не мог быть вовлечен. В ранних набросках интеллектуальные увлечения Николая Левина были менее современны. В одной из версий мы находим его переводящим Библию, которую он с воодушевлением обсуждает с братом (хотя и в пьяном виде) (20, 174).

Взгляды, которые он высказывает, циничны и исполнены пессимизма — он скорее «социал-дарвинист», чем социалист. Он приветствует разочарование Константина земствами, называя эти институты не чем иным, как «враньем, игрушками и перетасовкой всего того же самого, самого старого и глупого... Один закон, — считает он, — руководит всем миром и всеми людьми, пока будут люди. Сильнее ты другого — убей его, ограбь, спрячь концы в воду, и ты прав, а тебя поймут, тот прав. Ограбить одного нельзя, а целый народ, как немцы французов, можно (во время франко-прусской кампании. — Х. М.). И тот, кто видит это, чтобы пользоваться этим, тот негодяй, а тот, кто видит это и не пользуется, а смеется, тот мудрец, и я мудрец» (20, 171).

По этой же причине в ранних набросках романа посетитель, с которым Константин сталкивается у Николая Левина в Москве, не бывший студент-радикал Критский из последней редакции, бросивший университет, чтобы помогать бедным студентам и преподавать в воскресных школах для рабочих, а просто юрист-неудачник, которого Николай нанял для того, чтобы получить огромный картонный долг сомнительного свойства.

Социалистические убеждения Николая, появившиеся в последней редакции, казалось бы, противоречат общей концепции, как говорилось выше, согласно которой ошибки и проступки Николая кажутся более предосудительными и достойными порицания, нежели те, в которых был повинен Дмитрий Толстой. С уверенностью можно сказать, что по крайней мере большинство из нас относится к социализму лучше, чем к социал-дарвинизму, который проповедует Николай в ранних редакциях романа, и совершенно очевидно, что Толстой думал так же, несмотря на то, что не одобрял социалистов за их материализм, отсутствие интереса к духовным и моральным ценностям и уверенность в экономическом происхождении социального зла.

Можно только догадываться о причинах такого изменения. Вероятно, философия социал-дарвинизма, с его верой в безграничную общую агрессивность индивидуумов, классов и наций во имя выживания сильнейшего, могла повредить Николаю, которого, по мысли Толстого, мы должны считать изначально наделенным добрым сердцем, каким бы ошибочным и иррациональным ни было его поведение.

Теперь нам остается только сравнить кульминационный момент проявления натуры Николая Левина — его смерть от туберкулеза — со смертью прототипа.

Дмитрий Толстой умер в Орле 21 января 1856 года под присмотром преданной ему Маши и тетеньки Татьяны Александровны Ергольской. В то время Толстой все еще числился в полку, квартировавшем в Петербурге. Двумя неделями ранее, 9 января, он взял короткий отпуск и приехал на один день в Орел навестить умирающего брата. Его дневниковая запись за этот день лаконична, но впечатляюща: «Я в Орле. Брат Дмитрий при смерти. Как дурные мысли, приходившие мне бывало насчет него, уничтожились в прах... Мне ужасно тяжело. Я не могу ничего делать, но задуываю драму» (47, 65).

По возвращении в Петербург Толстой не знал о смерти Дмитрия до 2 февраля. Его дневник за этот день лишь констатирует свершившийся факт: «Я в Петербурге. Брат Дмитрий умер, я нынче узнал это». И продолжает без перерыва: «Хочу дни свои проводить с завтра так, чтобы приятно было вспоминать о них. Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма Пелагее Ильиничне и старосте и набело «Метель», и вечером захожу к Тургеневу, утром час гуляю» (47, 65). Как видим, неизбежного горя нет и в помине.

Какое-то выражение печали, надо отдать должное, мы все же находим в письме Толстого к П.И. Юшковой, написанном (по-французски) на следующий день: «До вас уже дошла, вероятно, печальная весть о смерти Митеньки. — Я уже подготовлен был к этому, когда увидел его и, скажу даже, что нельзя было этого не желать. Я никогда не видел сильнее страданий, и он переносил их терпеливо и молил Бога отпустить ему его грехи. Умер он как христианин, и это всем нам большое утешение; и все-таки вы себе представить не можете, как для меня, и именно для меня... тяжела эта утрата» (60, 51). Он добавил по-русски «именно для меня», как бы желая внести какую-то нотку искренности в это письмо.

Отметим, что этот кусок следует после пространных рассуждений по поводу планов переселения тетушки и в этой связи о его собственных матримониальных планах (вероятно, потому, что она могла бы решить поселиться с ним): «...сознаюсь вам откровенно, что с некоторых пор я серьезно подумываю о женитьбе, что невольно смотрю на всех встречаемых мною девушек с точки зрения женитьбы, что думаю об этом часто и что ежели это не совершится нынешней зимой, то не будет никогда» (60, 51): Характерно, что Толстой вспоминает о смерти Дмитрия в связи со своими мечтами о женитьбе.

Пятьдесят лет спустя, оглядываясь назад, Толстой сурово осудит себя за такой кажущийся бесчувственным отклик на смерть брата: «Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то,

что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали» (34, 385).

Это самообличительное признание отчасти подтверждается, отчасти противоречит ранним воспоминаниям родственницы и наперсницы Толстого графини Александры Андреевны Толстой. В тот самый день, когда Толстой получил известие о смерти брата, по ее словам, в доме ее сестры была вечеринка (а не придворный спектакль), на которую Толстой был приглашен. В то утро она получила записку от Толстого, в которой он сообщал, что не может присутствовать из-за полученных им известий. К ее удивлению, он в тот вечер все же появился. Когда она с неудовольствием спросила о причине, он ответил: «Зачем? Потому что то, что я вам написал сегодня утром, было неправдой. Вы видите, я пришел: следовательно, я мог прийти». Более того, несколько дней спустя Толстой признался ей, что после вечеринки был в театре: «И, вероятно, Вам было очень весело, — говорю я с еще большим негодованием». — «Ну нет, не скажу. Когда я вернулся из театра, у меня был настоящий ад в душе. Будь тут пистолет, я бы непременно застрелился». Толстая приписывает такое поведение не столько равнодушию или бессердечию Толстого, сколько его пристрастие к психологическим экспериментам над самим собой. «Он любил, бывало, затрагивать те или иные струнки своей души, а затем как бы отходить в сторону и любоваться полученным результатом. «Я хочу изучить себя досконально», — часто говорил он»¹.

Во всяком случае, картина, которую рисует Толстой в «Воспоминаниях», запечатлевшая его брата Дмитрия за две недели до смерти, несомненно, близка так хорошо знакомому нам по «Анне Карениной» образу:

«Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее» (34, 385).

В описание смерти Николая Левина Толстой, в дополнение к своим собственным воспоминаниям о внешности и поведении брата, очевидно, включил и некоторые подробности из письма «глубоко безнравственного» Константина Иславина. Именно Маша, писал ему Иславин, приехала из Орла в Москву с известием о смерти Дмитрия. Она рассказала, что за несколько часов до смерти Дмитрий осознал наконец безысходность своего положения. Он послал сначала за священником, потом за доктором. Он хотел знать, возможно ли перевезти его в Ясную Поляну, где бы он мог спокойно умереть. Если же это невозможно, он просил продлить его жизнь хотя бы на два часа, чтобы он мог написать завещание. Он был очень беспокоен перед смертью, и доктор дал ему успокоительные капли. Он уснул и больше не проснулся. Незадолго перед смертью он выразил желание быть похороненным в Ясной Поляне, что и было исполнено².

Если принять все это во внимание, то кажется, что картина смерти Николая Левина во многом очень точно воспроизводит не только внешние обстоятельства смерти Дмитрия, но и поведение умирающего во время его последней болезни. Провинциальная гостиница, Маша, упорное нежелание примириться с неизбежностью смерти,

тщетные надежды, страстные молитвы перед иконой, требование еще большего количества врачей и еще большего количества лекарств, борьба за жизнь, перешедшая в смирение только к самому концу, — во всем этом литература верно воспроизводит реальность. Однако самые выразительные эпизоды в сцене смерти Николая Левина в романе не были извлечены из памяти: умелая и трогательная забота о Николае со стороны его красавицы-золовки Кити и муки ее мужа, чья глубокая нежность и жалость борются с раздражением и нетерпением, в то время как жестокая правда смерти брата заставляет его задуматься о смысле жизни. «Сцепление» образов искусства преодолевало реальную правду бытия.

Смерть Дмитрия была первой из двух смертей братьев от туберкулеза, которые пережил Толстой задолго до написания «Анны Карениной». Второй, гораздо более горестной и мучительной утратой стала для Толстого смерть старшего брата Николая, которая последовала четыре года спустя, 20 сентября 1860 г. Николай был самым любимым, обожаемым братом, образцом для подражания в детские годы, собратом по приключениям на Кавказе, литературным консультантом, даже соавтором (48, 4). Это он придумал знаменитую легенду о зеленой палочке, на которой был начертан секрет избавления от всех людских бед и несчастий.

Толстой не покинул умирающего Николеньку на другой день, он проводил долгие бессонные ночи у его постели в течение нескольких недель утасания больного. Правда, он принял на себя эту обязанность лишь в последний период болезни брата. Ранее Николай вместе с Сергеем отправился на воды в Соден. Сам Толстой выехал за границу месяц спустя, но не сразу присоединился к братьям. Он сопровождал в Берлин сестру Марию с детьми, затем отправил их в Соден, а сам занялся изучением системы образования, позднее сочетая это занятие с лечением на другом курорте — Киссинген в Баварии. (Он страдал, как писал своей «тетеньке» Татьяне Ергольской, от страшной зубной боли, мигреней и геморроидальных припадков. — 60, 346). Но когда Сергей в конце июля вернулся в Россию, ответственность за Николая, Марию и ее детей легла на плечи Льва. В середине августа все они переехали из Германии в Гьер, близ Тулона, на средиземноморском побережье. Месяц спустя Николай там скончался. Толстой оставался с ним все это время, и Николай в буквальном смысле умер на его руках.

Хотя эта смерть должна была оставить более прочный и мучительный след в душе Толстого, чем смерть Дмитрия, она занимает сравнительно мало места в его литературном наследии. Месяц спустя после смерти Николая Толстой назвал пережитое им «самым сильным впечатлением всей жизни» (48, 30), но это впечатление было, вероятно, слишком сильным, чтобы выразить его словами. Он не сделал ни одной записи в дневнике с 29 августа до 13 октября. Немедленный и самый полный отклик на это событие содержится в письме к Сергею, написанном сразу после смерти Николая, 24—25 сентября (6—7 октября) 1860 года:

«Ты, я думаю, получил известие о смерти Николиньки. Мне жалко тебя, что ты не был тут. Как это ни тяжело, мне хорошо, что все это было при мне, и что это подвигнуло на меня, как должно было. Не так, как смерть Митиньки, о которой я узнал в Петербурге, вовсе не думая о нем. Впрочем, это совсем другое дело. С Митинькой были связаны воспоминания детства и родственное чувство — и только, а это был положительный человек для тебя и для меня, которого мы любили и уважали больше

всех на свете. Ты это знаешь эгоистическое чувство, которое последнее время приходило, что чем скорей, тем лучше, а теперь страшно это писать и вспоминать, что это думал. До последнего дня он с своей необычайной силой характера и сосредоточенностью делал все, чтобы не быть мне в тягость...

Страдать он страдал, но он только раз сказал дня за два до смерти, что ужасные ночи без сна... В день смерти он заказал комнатное платье и вместе с тем, когда я сказал, что ежели не будет лучше, то мы с Машенькой не поедem в Швейцарию, он сказал: «разве ты думаешь, что мне будет лучше?» таким голосом, что, видно, он чувствовал, но для меня не говорил, а я для него не показывал; однако с утра я знал как буд-то и все был у него. Он умер совсем без страданий (наружных, по крайней мере). Реже, реже дышал, и кончилось... Я чувствую теперь то, что слышал часто, что, как потеряешь такого человека, как он для нас, так много легче самому становится думать о смерти» (60, 353–354).

Более позднее письмо к Александре Толстой тоже звучит как откровение: «Два месяца я час за часом следил за погасанием, и он умер буквально на моих руках. Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни, — это был мой лучший друг... не то, что половина жизни оторвана, но вся энергия жизни с ним похоронена» (60, 356).

И, наконец, еще одно письмо к Фету, написанное в тот же день: «Мне думается, что вы уже знаете то, что случилось. Нашего 20 Сентября он умер, буквально на моих руках. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говорил, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н.Н. Толстой, для него ничего не осталось. Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что ж это такое?» — Это он ее увидел — это поглощение себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше...

До последней минуты он не отдавался ей... все старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаньях, советовал. Но все это, мне казалось, он делал уже не по внутреннему стремлению, а по принципу... Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят: «как удивительно спокойно, тихо он умер», а я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня... К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всюю мерзостью подлости, лжи, самообманыванья, и кончатся ничтожеством, нулем для себя. Забавная штука. Будь полезен, будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив, говорят века друг другу люди да мы, и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде, а правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние, для которого бы мы не нашли слов (мы либералы), ежели бы человек поставил бы другого человека в это положение. Хвалите Аллаха, Бога, Брамму. Такой благодетель» (60, 357–358).

Константин Левин в заключении романа «Анна Каренина» также преисполнен гневом к Создателю за то, что Он приговорил всех нас к смерти и закату, хотя цензура (или предчувствие Толстым цензуры) едва ли позволила бы ему столь явно

высказать такие криминальные мысли. Тем не менее параллели поразительные: «В первый раз тогда, поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться. Но он не сделал ни того, ни другого...» (19, 378).

Итак, ясно, что смерть брата Николая в 1860 году явилась тяжелым ударом для Толстого, с новой силой обнажив перед ним вопрос, мучивший его с детства, — вопрос о конечности человеческой жизни, более всего его собственной, и вытекающую отсюда мысль о тщетности любых человеческих устремлений перед лицом этого безжалостного факта.

Представляется более чем очевидным и то, что Толстой опирался на пережитый им опыт в связи со смертью Николая не столько с точки зрения поведения умирающего (Николай Толстой был, вероятно, гораздо более мужествен перед лицом смерти, чем Николай Левин или Дмитрий Толстой), сколько с точки зрения собственных переживаний, которые он, Лев Толстой, испытывал как свидетель этой смерти. А также еще и потому, что смерть Николая стала для Толстого не источником проведения психологических экспериментов над самим собой, как это было в случае смерти Дмитрия, — она была для него жестокой реальностью.

Какие же выводы можно извлечь из этого скрупулезного исследования генетических связей романа с жизнью самого романиста? По правде говоря, о наличии этих связей давно уже известно, но, может быть, есть какая-то польза в том, чтобы проследить их многочисленные аспекты более детально. В описании смерти Николая Левина в «Анне Карениной» и реакции на нее Константина Левина Толстой, несомненно, использовал свои собственные впечатления от смерти брата Дмитрия, в значительной мере, видимо, дополняя их воспоминаниями о смерти брата Николая. Без этого опыта он вряд ли смог бы добиться такого совершенства в описании последних дней Николая Левина. Художественное мастерство Толстого интроспективно, его превосходная безошибочная интуиция явилась результатом многих лет пристального самонаблюдения.

Однако при трансформации реальности в художественное произведение всегда имеют место существенные изменения. Некоторые из них кажутся внешне, как бы механически, мотивированными изменением даты или историческими обстоятельствами, поскольку события в романе разворачиваются спустя более чем десятилетие после смерти обоих братьев. Другие необходимы автору для того, чтобы добиться большей уравнищенности, стабильности или, наоборот, интенсивности в характеристике Николая Левина; он выглядит, по крайней мере, человеком более сложным и непредсказуемым, чем реальный Дмитрий Толстой. Наконец, некоторые из этих изменений служат для удовлетворения эмоциональных нужд автора, в данном случае как средство самореабилитации, необходимой ему для смягчения вины, которую он испытывал к брату Дмитрию, к его смерти и, возможно, просто в отношении того элементарного факта, что он остался жив, в то время как два его кровных брата погибли, хотя в этом и не было его вины.

Есть несомненная опасность в том, когда роман, особенно роман, сила воздействия которого в значительной степени зависит от психологической достоверности (или от того, что читатель принимает за психологическую достоверность), становится

средством воображаемого самоудовлетворения автора: он рискует превратиться в эмоциональную подделку, мелодраму. Искусство становится прикрытием, а не откровением. И если Толстой избежал этой ловушки, то лишь потому, что в перекрестном огне безжалостной самокритики, которой он подвергал и себя, и даже такого своего любимого героя, своего alter ego, каким является Константин Левин, не осталось места сентиментальности.

И если даже Толстой через Константина Левина представил собственное поведение у постели умирающего брата Дмитрия в более выгодном свете, чем это было в действительности, он тем самым лишь описал свои преисполненные преданности и сочувствия действия у постели брата Николая. И если он силой воображения заставил свою жену Софью Андреевну ухаживать за умирающим деверем, которого она даже не знала, то это произошло оттого, что ко времени написания «Анны Карениной» он наблюдал ее самоотверженность у постелей многочисленных больных, включая самого себя, и во время по меньшей мере двух смертей (их сын Петр умер в младенчестве, в 1873 году, а сын Николай — в 1875 году).

Казалось бы, подобная дотошность в исследовании образа Николая Левина привела нас к доказательству все того же основного парадокса искусства, и особенно реалистического искусства: «правда» в искусстве и «правда» в жизни несовместимы. Художественный вымысел неизбежно включает в себя как элементы жизненного опыта, так и воображения. Некоторые моменты переносятся в произведение в нетронutom виде, другие автор изменяет или преобразует; и те и другие могут быть пересыпаны полностью воображаемыми событиями и персонажами. Мотивы таких преобразований могут иногда быть плодом внехудожественных эмоций, вытекающих из личной жизни автора, включая самоудовлетворение, отречение, самооправдание; но следует помнить, что измененные таким образом достоверные биографические факты могут оказаться настолько верными с точки зрения законов художественного произведения, что будут передавать глубокую и универсальную правду о человеческой жизни.

¹ ПАТ. С. 14.

² Гусев. Материалы, II. С. 20.

ИДЕЯ НЕПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ НАСИЛИЕМ В НАРОДНЫХ РАССКАЗАХ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Идея непротивления злу насилием становится краеугольным камнем философии Льва Толстого. Именно она составила основу тех радикальных социологических выводов, которые впоследствии привели к конфликтным отношениям с догматической церковью. Важнейшим философским выражением этих идей в 1880-е годы были трактаты «Исповедь» (1882) и «В чем моя вера?» (1884). Они демонстрировали новизну осознания религии писателем. Толстой-философ выступает здесь как реформатор, стремящийся переосмыслить основы общественного бытия в духе своего понимания воплощения Божеского в жизни человеческой. Постигание Божеского в трактате «В чем моя вера?» происходит путем углубленного вникания в смысловую многомерность кодекса христианской мудрости. Оценивая скрытые возможности евангельского текста, Толстой с пристальным вниманием останавливается на пятой главе Евангелия от Матфея (Мф. 5, 39) и пишет об откровении, осенившем его:

«Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу...» Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу». Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде» (23, 310).

Мысль о непротивлении злу насилием понята Толстым с точки зрения индивидуальной (неколлективной) этики как универсально применимая ко всем случаям жизни, как некий абсолют. Толстой комментирует свое «откровение» истины и выдвигает свою концепцию добра. Он пишет: «Не противься злему — значит не противься злему никогда, т. е. никогда не делай насилия, т. е. такого поступка, который всегда противоположен любви. И если тебя при этом обижают, то перенеси обиду и все-таки не делай насилия над другим. Он сказал так ясно и просто, как нельзя сказать яснее» (23, 313). Зло рассматривается Толстым как полная противоположность любви. Вернем антитезу ее исходный логический смысл: зло — антиномия добра и рядом поставим антитезу Толстого: зло — антиномия любви. Это противопоставление помогает нам понять, что подразумевает Толстой под добром именно любовь, истолкованную им в широком смысле этого слова как действенное общественно значимое явление, имеющее сильные побудительные мотивы для того, чтобы противопоставить законы справедливости разумной человечности антигуманности зла. Толстой выступает

против ограниченного понимания любви. Таким же образом проблемы нравственные обсуждаются в «Письме к индусу»: «Внушалось то, что это высшее нравственное чувство применимо только для личной жизни, годно, так сказать, для домашнего обихода, для общественной же жизни признавалось необходимым для блага большинства людей употребление против злых людей всякого рода насилия, тюрем, казней, войн, поступков, прямо противоположных самому слабому чувству любви» (37, 263).

Нравственные искания Толстого предусматривают политические выводы. Законы любви понимаются как общие законы социальных отношений. Человеколюбие рассматривается как высшая общественная категория, уничтожение которой приводит к драматическим социальным катаклизмам. Даже объяснение причин существующего неравенства между людьми усматривал Толстой в том, что «нет любви между людьми». Гармония общественных отношений оказывается трудноосуществимой. «Везде истина о том, что любовь есть высшее нравственное чувство, не отвергалась и не опровергалась, но везде так искусно соединялась с таким количеством разнообразной лжи, извращающей ее, что от признания любви высшим нравственным чувством ничего не оставалось, кроме слов» (37, 263).

Вопрос о необходимости новой проповеди христианства ставится Толстым в результате анализа взаимодействия религиозного и государственного сознания в современном ему мироустройстве, основанном на очевидном подчинении христианских идеалов политическим интересам. Этот порядок обличает Толстой: «По христианству же нашего общества и времени признается истинной и священной наша жизнь с ее устройством тюрем одиночного заключения, альказаров, фабрик, журналов, борделей и парламентов, и из учения Христа берется только то, что не нарушает этой жизни. А так как учение Христа отрицает всю эту жизнь, то из учения Христа не берется ничего, кроме слов» (23, 330). Поистине, «где любовь, там и Бог» (25, 35), утверждаем мы вслед за Толстым, сопоставив его взгляд на христианство, выраженный в трактате «В чем моя вера?», и понимание критериев нравственного в обращении «Письмо к индусу». Упрекая общество в отступничестве от христианской логики существования, Толстой упрекает его в нарушении высшей нравственной концепции — в отступничестве от человеколюбия. Система логических аргументов философских и публицистических работ у Толстого-художника обращена и к эстетическим выводам. В 1880-е годы христианские идеалы писателя, его проповедь идей непротivления злу насилием наиболее полно отражаются в народных рассказах. Они не становятся только иллюстрацией законов бытия, осмысленных писателем в «Исповеди» или в трактате «В чем моя вера?». Эти рассказы — мощное эстетическое обобщение нового философского опыта, накопленного писателем на протяжении всей его творческой жизни. Идея непротivления злу насилием свободно совместилась в них с идеями опрощения, ранее уже выраженными в рассказах «Утро помещика», «Люцерн», повести «Казачи», в романе-эпопее «Война и мир», и таким образом вся философская система Толстого приобрела здесь гармонический образ воплощенного учения, относительную философскую завершенность. Толстой создает новый тип философского рассказа, существенно отличающийся от всего, что в этом жанре было создано его современниками и ранее им самим. Уникальная плотность взаимодействия с библейской традицией и поэтикой древнерусской литературы и устного народного творчества, оригинальная

философская концепция, которую максимально доходчиво по форме изображения воплощает писатель. Притчевость, аллегоризм, обращение к религиозному чуду, назидательность составляют их органические свойства, точно так же как и лаконичная простота и убедительность художественной речи.

Над народными рассказами Толстой работает с 1881 по 1886 год. По замыслу они не составили самостоятельный цикл, но их идейно-художественная общность и единство художественной стилистики, ориентация на читателей из народа позволили их объединить общим названием — *народные рассказы*.

Идеальная забота о действенной любви, о христианском чувстве к человеку, забота о людях отражается в их гуманистической и философско-эстетической концепциях. Хронология создания рассказов совпадает с другими проявлениями действенной любви Толстого к народу, отразившимися в создании народного издательства «Посредник», в котором большинство рассказов и увидело свет. В философской пассивности и созерцательности Толстого нельзя обвинить. Пояснением идейных особенностей народных рассказов стали такие слова: «Направление ясно — выражение в художественных образах учения Христа, его 5 заповедей; характер — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку, и чтоб и тот, и другой заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя добрее» (63, 326). В приведенном высказывании особенного внимания заслуживает стремление «учение Христа, его 5 заповедей» выразить в художественных образах. Христианская проповедь Толстого обрела эстетическую форму рассказов о жизни народа.

Семантика рассказов со всей очевидностью обращает нас к этим пяти заповедям. Протицируем их по Евангелию от Матфея, на которое наиболее часто ссылается Толстой:

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37–40).

В прямом взаимодействии с ними находятся заповеди Нагорной проповеди, на которых и сосредоточивает свое внимание Толстой в трактате «В чем моя вера?» и в большинстве народных рассказов: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 39–45).

Все эти заповеди находят полное воплощение в народных рассказах. Идея непротivления злу насилием является общей идеей всех народных рассказов. Из 17 рассказов 13 содержат наиболее подробную проработку именно этой идеи. Этические проблемы, касающиеся отношения к различным проявлениям зла, обладали для Толстого первостепенной важностью, этим вопросам уделял он преимущественное внимание.

Из Нагорной проповеди Христа Толстой выявляет наиболее сложную в интеллектуальном и этическом смысле проблему и стремится составить систему аргументации, обращенную к жизненной конкретности и обладающую исчерпывающей убедительностью, наглядностью. Главным аргументом и главным мотивом рассказов становится случай из жизни, бытийно истолкованный.

Если посмотреть на эти рассказы как на идейное единство, то в развитии общей идеи можно выявить законы дедукции, развитие темы осуществляется от общего к частному. Общая эстетическая концепция символически представлена в первом рассказе «Чем люди живы». Последующие рассказы, несомненно, учитывают ее художественную проекцию. Так как речь идет, в первую очередь, об идее непротivления злу насилieм, то очевидно наличие конфликтной ситуации и конфликтующих сторон. Выбор конфликтных ситуаций подчинен стремлению Толстого в эстетически убедительной форме показать преимущества христианской этики, торжества добра над злом, продемонстрировать победоносную силу человеколюбия и жизни по-Божески.

Исключительно своеобразно представлен конфликт в первом рассказе — «Чем люди живы». Ангел, на земле принявший образ мастерового Михайлы, говорит: «Наказал меня Бог за то, что я ослушался Его. Я был ангел на небе и ослушался Бога» (25, 22). Конфликт не имеет антагонистического характера, это конфликт между всезнанием Бога и незнанием трех слов Божиих ангела небесного, путь к поискам которых открывает ему Бог в земной жизни. Не зло, а благо наказания и испытаний описывает Толстой в этом рассказе. Ангел не сомневается в справедливости той жизни, которая открывает ему путь к познанию и возвращению на небо. В спокойных трудах проходят его дни на земле в семье у Семена, пока не озарится он высшим светом познанной истины и не вернется на небо.

Символический смысл рассказа проецируется на все последующие сюжеты. Этическая концепция рассказа осознана в Божественной сфере, это придает выводам рассказа идеально-возвышенный смысл. Толстой формирует представление о накоплении опыта той духовной культуры, которая необходима человеку в его благородном стремлении мирного решения конфликтных ситуаций. Толстой в конфликтных ситуациях последующих рассказов стремится показать естественные искания духа человеческого обрести ангельскую стезю небесной жизни. Поэтому, не выдвигая прямо тезиса о непротivлении злу насилieм в первом рассказе, Толстой все-таки не упускает из вида идею, столь занимающую его в это время.

Каждое конкретное проявление зла становится формой дидактики, обращенной к пониманию философской общности явления зла. Художественный образ зла в поэтике рассказов многозначен. Это соответствует особенностям идеологии Толстого, усматривающего зло не только в насильственных проявлениях, но и в собственности, в деньгах, в злоупотреблениях. Документальным подтверждением этой мысли становится дневниковая запись Т.А. Сухотиной-Толстой: «Папа говорит, что деньги — это насилie»¹. Эта запись помогает нам постичь особенности концепции духовной жизни Толстого и осознать символический ряд понятия «зло», приобретающего разномименные величины.

Несмотря на разницу сюжетов рассказов «Два брата и золото» и «Ильяс», художественный образ зла имеет близкую символику: зло — золото, деньги, собственность.

Чудесным образом приходит откровение к Афанасию, герою рассказа «Два брата и золото», который пожелал золота. Ангел обращается к нему с наставлением: «Тот дьявол, который положил это золото, чтобы соблазнить тебя, научил тебя и словам этим». И тогда обличила Афанасия совесть его, и познал он, что не для Бога делал он дела свои, и он заплакал и стал каяться» (25, 30). В трудовой жизни, лишенной собственности, нашел свое счастье Ильяс, герой одноименного рассказа. Его понимание духовной полноты простого существования вызывает одобрение муллы, для подтверждения праведности слов Ильяс ссылающегося на Писание. Таким образом, в понимании зла-богатства Толстой стоит на христианских позициях, и рассказы «Два брата и золото» и «Ильяс» свидетельствуют об этом.

Своеобразной классификацией зла в рассказах становится проявление дьявольской сути в поведении заблуждающихся героев. Таков Алеб в рассказе «Вражье лепко, а Божье крепко». Став избранником дьявола, он пытается досаждать своему хозяину. Нарушение этики человеколюбия трактуется здесь как проявление дьявольской силы, которой хозяин смог противопоставить добро. Мудрость доброго поступка, противостоящего злу, не позволила углубить конфликт, а способствовала его искоренению. Окончателюность победы над злом изображается в финале рассказа: «А дьявол заскрежетал зубами, свалился с дерева и провалился сквозь землю» (25, 61).

Толстой в народных рассказах создает своего рода эстетические формулы, универсально применимые ко многим обстоятельствам человеческой жизни: деньги — насилие; богатство — зло; жестокий досаждающий поступок — проявление воли дьявола. В других случаях самостоятельность вывода заменяется ссылкой на Библию, например, в рассказе «Девчонки умнее стариков». Миром разрешается детская ссора Малашки и Акулюшки, взрослые чуть не усугубили конфликт. Думая заступиться за детей, они затеяли новую ссору, но дети указали им выход — «опять по любви вместе» (25, 63). Их малый опыт ведет Толстого к индуктивному обобщению, приводимому в виде цитаты из Библии: «Аще не будете как дети, не войдете в царствие Божие» (25, 63).

В решении проблемы непротivления злу насилием рассказ «Упустишь огонь — не потушишь» занимает центральное место. Разработка темы отличается в нем наибольшей подробностью и тщательностью, здесь учитывается повседневный опыт народного быта, в противоположность притчевости предыдущих рассказов, связанных с апокрифами и житийной литературой, здесь четко выражена реалистическая позиция писателя. Именно в этом рассказе звучит народный перифраз Нагорной проповеди Христа. Он приводится в речи отца Ивана Щербакова, наделенного мудрым сердцем и большим пониманием. Старик взывает к своему сыну, чтобы тот не имел зла на соседа Григория, ставшего его врагом, «об душе-то» подумал. Он ссылается на опыт Христа: «Нет, милый, Христос по земле ходил, не тому нас, дураков, учил. Тебе слово, а ты смолчи, — его самого совесть обличит. Вот как Он нас, Батюшка, учил. Тебе плюху, а ты под другую подвернись: на, мол, бей, коли я того стою. А его совесть и зазрит. Он и смирится, и тебя послушает. Так-то Он нам приказывал, а не гордыбачить» (25, 52).

Старик наставляет сына действовать в соответствии с христианской заповедью. Он поучает: «Ты вот что, Ваня! Послушай ты меня, старика. Поди ты, запряги чалого,

поезжай ты тем же следом в Правление, прикрой ты там все дела и поди ты на утро к Гавриле, попросись ты с ним по-божески, да к себе позови, завтра же праздник (дело было под Рождество Богородицы), поставь самоварчик, полштоф возьми и развяжи ты все грехи, чтоб и вперед их не было, и бабам и детям закажи» (25, 52—53). Такова традиционная этика народного поведения в решении бытового конфликта мирным путем.

Толстой справедливо обращает внимание на то, что постижение опыта праведной жизни непросто дается людям. Мудрость отца трудно усваивается Иваном. Его личный опыт формируется ценой ненужных потерь, бедствий, лишений. Не смог Иван по-доброму подойти к Гавриле, и от оскретки соломы, подожженной Гаврилой, занялась изба, а потом сгорела и вся деревня. Жестоко наказан Иван и все его соседи за непонимание законов человеческого общежития. Драматизм ситуации усиливается незначительностью повода, из-за которого происходит ссора. «Упущен огонь» был в самом начале, когда жена Ивана повздорила с соседкой из-за куриного яйца. Развитие темы «упустишь огонь — не потушишь» приобретает зловеющий оттенок горящих крестьянских изб, очевидной жестокости, обрушившейся не только на враждующие стороны, но и на невинных людей, пожаром вовлеченных в конфликт.

Пострадавший от пожара отец Ивана и перед смертью не отступает от своей проповеди смирения, он добивается раскаяния сына («и пал на колени перед отцом, заплакал...» — 25, 57). Изменилась этика общения Ивана Щербакова с людьми. «И помнит Иван Щербаков наказ старика и Божье указание, что тушить огонь надо в начале.

И если ему кто худое сделает, норовит не другому за то выместить, а норовит, как дело поправить; а если кто худое слово скажет, норовит не то что еще злее ответить, а как бы того научить, чтобы не говорить худого; и так и баб и ребят своих учит. И поправился Иван Щербаков и стал жить лучше прежнего» (25, 58).

Толстой показывает, как жизненная практика оправдывает мудрость христианской заповеди. Выводы писателя не лишены идеализации, однако это сознательное внушение идеальной концепции бытия, дарующей благополучие людям.

С еще большей очевидностью идеальная концепция выражена в рассказе «Свечка». Он продолжает тему праведничества. Образ праведника был представлен в предыдущем рассказе «Упустишь огонь — не потушишь» образом старика, проповедующего истину учения Христа, а в финале рассказа потерпевший жизненные поражения Иван Щербаков и сам становится праведником и выступает с наставлениями. В рассказе «Свечка» образ праведника Петра Михеева представлен по-иному. Картина праведничества изображает трудовую деятельность. В этом труде есть и тайна, и чудо. Староста так рассказывает приказчику о встрече и разговоре с Петром Михеевым: «Светится, ровно огонек. Подъехал ближе, смотрю — свечка восковая 5-тикопеечная приклеена к распорке и горит, и ветром не задувает. А он в новой рубахе ходит, пашет и поет стихи воскресные. И завораживает и отряхивает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне, переложил палицу, завел соху, все свечка горит, не тухнет!

— А сказал что?

— Да ничего не сказал. Только увидел меня, похристосовался и запел опять.

— Что же говорил ты с ним?

— Я не говорил, а подошли тут мужики, стали ему смеяться: вон, говорят, Михенч ввек греха не отмолит, что он на Святой пахал.

— Что ж он сказал?

— Да он только сказал: «на земле мир, в человецех благоволение!», опять взялся за соху, тронул лошадь и запел тонким голосом, а свечка горит и не тухнет» (25, 111–112).

Символом света истины, света небесного становится свечка. Это жертва, приносимая Богу, и лаконичная мольба о том, чтобы молитва была услышана. Обращение к Богу в этом образе лишено речевой характеристики, оно раскрывается только через образ-символ. Негаснущая свечка аллегорически изображает одобрение поступка мужика свыше. Этот образ благословенного труда сокрушительно действует на приказчика: «Пропап я... победил он меня» (25, 112). Вопрос о насильственном выходе из конфликта между приказчиком и народом решается Толстым с оглядкой на представление о религиозном чуде, присущем апокрифической литературе.

С поучением обращается писатель и в заключительном выводе рассказа: «не в грехе, а в добре сила Божия» (25, 113).

В рассказе «Крестник» проблема непротivления злу насилем сформулирована цитатой из Евангелия от Матфея в эпиграфе: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб; а я говорю вам: не противься злому» (25, 147). Эпиграф подчеркивает ориентацию всего смысла рассказа на художественное воплощение заповеди. Идея непротivления злу насилем находит ступенчатое развитие в сюжете рассказа, помогая в нем увидеть взаимодействие двух сюжетных звеньев. Первое подсказывает целесообразность вывода о непротivлении злу насилем: «нельзя зло злом изводить» (25, 155). Второе — отвечает на вопрос, как зло «изводить надо» (25, 155). Первое сюжетное звено повествует о том, как крестник находит своего крестного и через тридцать лет счастливой жизни в его доме нарушает запрет хозяина и, получив чудесным образом власть всеведения, стремится наказать зло. Но его участие в жизни ближних только увеличивает их беды. Моральная сентенция становится логическим итогом действия, это вывод, к которому приходит герой, размышляющий о своих поступках. Второе звено рассказа имеет тактическое значение. Здесь показывается тип поведения в конкретной ситуации: крестнику угрожает разбойник. Добро и зло столкнулись в образах героев-антагонистов. Однако воплощающий идеи праведничества крестник стремится не испытывать антагонистических чувств к своему врагу. «Брат милый» (25, 160), — называет он разбойника. Крестник взывает к душе преступника, он стремится увидеть в нем то, что в рассказе «Чем люди живы» нашел ангел в людях — Бога. «Ведь в тебе дух Божий» (25, 160), — говорит крестник разбойнику. «Перемени свою жизнь» (25, 160), — со слезами молит он. Двадцать лет, прошедшие после первой встречи крестника с разбойником, стали для преступника и годами подготовки к той эволюции, которая произошла в нем в результате последней встречи с праведником. Этапы этого процесса так определяет разбойник: «А задумался я... над твоими речами только тогда, когда ты от людей уходил и узнал, что тебе самому от людей ничего не нужно... А повернулось во мне сердце тогда, когда ты смерти не побоялся... А растаяло во мне вовсе сердце, только когда ты пожалел меня и заплакал передо мною» (25, 161).

Бескорыстная доброта, бесстрашие, искреннее и глубокое сочувствие крестника открыли путь к взаимопониманию. Гармония простой жизни праведника, опыт его добросердечия помогли одержать верх над злом. «Победил... ты меня, старик» (25, 160), «покорилось непокорное сердце» (25, 161). Встал разбойник на новую жизненную стезю, стал жить, «как велел ему крестник, и так людей учить» (25, 161).

Лаконизм отличает художественное решение проблемы нравственного совершенствования. Духовное подвижничество праведника создает устойчивую систему нравственных ориентиров, которые способствуют обновлению человеческого духа даже в преступнике, напутствуя его к продолжению развития праведничества.

Идея непротивления злу насилием, ставшая центральной идеей в народных рассказах Толстого, находит разные формы эстетического воплощения: она получает художественную разработку в сюжетах, произносится в виде перифразы заповедей героями или высказывается ими как самостоятельный итог жизненных наблюдений и познания, цитируется по Евангелию от Матфея. Толстой, эстетически осмысливая идею, устами своего героя из рассказа «Крестник» дает ей новое афористическое звучание: «зло от зла умножается» (25, 153), вводя в функцию народного общения выражения, воплощающие традиции малых жанров фольклора, пословиц.

Многосюжетное осознание идеи непротивления злу насилием позволяет Толстому привести обилие разнообразных фактов, подсказывающих пути применения заповедей в жизненной практике людей. Толстой открывает путь к всестороннему и глубокому осознанию сложной философской и этической проблемы, осуществляемому в рамках христианского идеализма. Стремясь быть последовательным и убедительным в своей христианской проповеди, Толстой добивается локализации сюжета, как правило, вокруг одного события или мотива, способствующего выявлению антагонистических сторон и открывающего поле деятельности приложению идеи непротивления злу насилием для разрешения конфликта. Торжество добра и осуществление его на деле обладает у Толстого творческой концепцией. Это выход из сложной в житейском смысле ситуации, который находит сам герой, руководствующийся человеколюбием. Доброта, не позволяющая героям испытывать враждебные чувства к своим противникам, становится универсальным качеством, обеспечивающим победу над злом.

Христианская проповедь, о которой говорит Толстой, принимаясь за народные рассказы, нередко выливается в пропаганду праведнического образа жизни, действий. Жизнь по-Божески, то есть в соответствии с христианскими заповедями, считает Толстой единственно мыслимой в мужицкой среде, открывающей путь к добрососедскому сосуществованию в народном коллективе.

Для более рельефного представления проблемы Толстой находит свой собственный лаконичный и афористический стиль, развивающий традиции библейской стилистики и народного сказа. Он отличается удивительной простотой, доходчивостью, словесной информативностью и речевой экономией, то есть максимально ориентирован на запросы народного общения и восприятия.

Забота о жизни народной Руси, о здоровье народного духа подсказала Толстому новое эстетическое решение волнующего его идеологического вопроса, привела к созданию нового типа философского рассказа, включенного в генезис

исторического развития духовных идей благодаря точной ориентации на традиции древнерусской литературы и старинных форм народного творчества.

В народных рассказах Толстой выступает как активный борец за победу христианской этики человеческого существования.

¹ Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник. М., 1979. С. 138.

² Там же. С. 136.

Н. Г. Михновец

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ В «КРЕЙЦЕРОВОЙ СОНАТЕ» Л. Н. ТОЛСТОГО

В произведениях Л.Н. Толстого восьмидесятых годов, в сравнении с его художественным творчеством предшествующего периода, резко усиливается этический пафос. Автор отстаивает свое миропонимание, указывая героям и читателям на «должные», с его точки зрения, истины, своими произведениями стремится прямо вмешаться в «мирскую» жизнь. Диалогическое в «Смерти Ивана Ильича», в «Крейцеровой сонате» связано с этим усилением этического пафоса в творчестве художника.

Непосредственно в споре персонажей диалогическое в «Крейцеровой сонате» развиваться не будет. Уже в первых двух главах между героями повести вспыхивает спор, обнаруживая противоположные воззрения на любовь и брак. Однако спор вглубь не разворачивается: каждый из героев (купец, дама, адвокат) уверенно, без тени сомнений излагает в нескольких фразах суть своих представлений, возражения же другой стороны во внимание не принимаются. Один Позднышев всесторонне будет обосновывать свою позицию, но сама сюжетная ситуация спора с другими героями при этом снята. Попутчик же Позднышева становится скорее только слушателем: главному герою заранее известны все его вопросы, на них после долгих раздумий уже найдены ответы. И только один раз вопрос слушателя о том, какова дальнейшая судьба детей Позднышева, остается для последнего и неожиданным, и сложным. Сразу ломается ритм его речи, звучат отрывистые фразы. Но сбой тут же преодолевается: детская тема действительно важна в дальнейшем ходе рассуждений Позднышева.

С самого начала движение диалогического происходит на другом «уровне» повести. Постараемся проследить это.

Противопоставленность Востока Западу выявляет современная исследовательница, рассматривая символическую систему в «Крейцеровой сонате»¹. В самом деле, в начальных вариантах повести всему русскому отчетливо противопоставлено чуждое, французское, западное. «Домострой», памятник средневековой литературы, становится здесь и символом исконно русского, и своеобразным ориентиром (для героев повести и для ее читателей): по нему можно было судить, насколько направление, по которому движется современная (западная и российская) жизнь, «далеко расходится с надлежащим». В первой редакции повести раскаявшийся герой принимает правду купца, правду «Домостроя».

В окончательном тексте сложившаяся оппозиция присутствует, однако художественная функция ее меняется. Значительную эволюцию от редакции к редакции

претерпевает, как уже было отмечено в критической литературе, образ купца: купец утрачивает свое благообразие и благочестие. Сам «Домострой» во многом пародийно переосмысливается автором. Вспомним: «Домострой» заканчивается кратким «Посланием и наказанием от отца к сыну», Сильвестр примером своей жизни убеждает сына в правоте проповедуемых заповедей. В повести Толстого сама ситуация поучения старшего — младшему остается, но меняется существо поучения: «блудное срамословие» (безоговорочно отрицаемое в «Домострое») теперь становится содержанием наставлений купца, его вовсе не смущает «смехотворие» молодого приказчика, купец сам засмеялся, оскалив «два желтых зуба»². Взгляды, излагаемые в споре, купец со своей жизнью сводить и не собирается. «Это статья особая», — отвечает он рассказчику, напомнившему ему о кутежах на ярмарке. Чем обусловлено такое переосмысление «Домостроя» в печатном тексте повести? Думается, в процессе работы над повестью Толстому все больше и больше открывалось, что в семейных отношениях между людьми, без каких-либо исключений, были утрачены основные нравственные начала, и Толстой ставит под сомнение семейные отношения как таковые. Пародийным переосмыслением «Домостроя» автор снимает противопоставление Востока Западу. Самое наполнение спора меняется: в него включается автор. В споре определяются две противоположные позиции: сложившийся (западный и восточный) взгляд на любовь, брак — авторское, толстовское понимание. Именно этот диалог пройдет через всю «Крейцерову сонату» от начала до конца.

С третьей главы следует рассказ Позднышева о своей жизни. Перед нами, собственно, обвинительная речь, вскрывающая всю лживость представлений современного общества. Герой здесь близок автору. Вместе с тем существует и второй план в этом же рассказе. Позднышев, настаивая на необходимости иных отношений между людьми, сам с неприязнью, даже злобой относится к посторонним, появляющимся в вагоне, он и теперь не может преодолеть подчас чувство ненависти к своей жене. В этой плоскости рассказа разница в позициях героя и автора, безусловно, есть. Герою еще многое предстоит в себе преодолеть. Нравственное очищение героя будет происходить в самом ходе его повествования.

Диалогическое по-разному проявится в каждой плоскости рассказа. В рассказе-обвинении «чужое» слово войдет в систему повествования от первого лица. Спор Позднышева не заканчивается с уходом адвоката, с появлением его слова («эпизод») в дальнейшем рассуждении главного героя происходит расслоение повествования, разведение точек зрения до их диалогизации.

И все же слово героя стремится к монологичности. Уверенным, доказательным его делает складывающийся литературный контекст. В пятой главе «Крейцеровой сонаты» возникают ассоциативные соотнесения с рядом рассказов Мопассана («На реке», «Лунный свет», «Подруга Поля», «Поездка за город») и с романом «Жизнь». Мотив страшного одиночества человека, непроницаемости даже самых близких людей друг для друга в современном мире — и у Толстого в «Крейцеровой сонате», и в произведениях французского писателя.

Рассказом о «неестественном и для всех остальных отталкивающим пороке» (30, 290), о гибели отчаявшегося Поля заканчивается «Подруга Поля». Чувственность охватывает героев рассказа «Поездка за город»: «Гребец так загляделся на свою

спутницу, что уже ни о чем не думал, и им овладело волнение, парализовавшее его силы»³. Вспомним, по черновикам «Крейцеровой сонаты» своего рода «*partie de plaisir*» — увеселительной прогулкой — считались в современном обществе любовь, брачные отношения (27, 414). И в сознании Позднышева поэтическая устремленность к идеалу тесно переплеталась с тем несомненным удовольствием, которое он испытывал рядом с красивой девушкой в лунную ночь на воде. Состояние, испытанное в тот вечер, спустя годы Позднышев относит только к чувственности: «Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же было только то, что джержи было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости» (27, 21). Литературный контекст помогает реально ощутить, как катастрофически быстро стало «все навыворот, все навыворот» (слова Позднышева), ощутить неотвратимость отчуждения между людьми, какую-то безысходность обиденной жизни и страшную глубину нравственного растрепывания «молодых людей», «офицеров», «парижан».

Однако слово Позднышева не становится и в этой главе монологичным. Толстой отмечает: Мопассан писал «свои романы, наивно воображая, что то, что считается прекрасным в его кругу, и есть то прекрасное, которому должно служить искусство.

В том же кругу, в котором вращался Мопассан, этим прекрасным, которому должно служить искусство, считалось и считается преимущественно женщина, молодая, красивая, большею частью обнаженная женщина, и половое общение с ней» (30, 15—16). Современник Мопассана французский ученый Э.-Ж. Ренан (с его произведениями Толстой познакомился в восьмидесятые годы⁴) утверждал, что женская красота «стоит добродетели»: «...красивая женщина точно так же выражает одну из сторон божественной цели, одно из намерений Бога, как и гениальный мужчина или добродетельная женщина». Красивая женщина, по его мнению, хорошо знает, что «и без ума, без талантов, без серьезных добродетелей она составляет одно из лучших проявлений божества» (30, 17).

«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро, — продолжает Позднышев свой рассказ. — Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное... Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна» (27, 21). Как видим, для Позднышева понятие красоты тоже сведено к женской красоте. Для него так же, как и для Ренана, женская красота и есть добро. И все-таки разница здесь огромная. Позднышев после всего пережитого, передуманного резко разграничивает приятные ощущения, получаемые от общения с красивой женщиной (что не есть добро, по Толстому), и живущую, не исчезающую в человеке устремленность к возвышенному, нравственному (что есть добро, по Толстому). В одном из своих писем Толстой подчеркивал: «Все, что соединяет людей, есть добро и красота; все, что разъединяет их, — есть зло и безобразие» (64, 95).

Обнаруживается различное понимание жизни двумя художниками. В книге «Царство Божие внутри вас» Толстой размышляет о Мопассане: «Он выставляет перед нами всю жестокость противоречия сознания людей и деятельности и, не разрешая его, признает как бы то, что это противоречие должно быть и что в нем

поэтический трагизм жизни» (28, 122). Сказанное Толстым можно, думается, соотнести прежде всего с романом «Жизнь». Одна из характернейших особенностей художественного мира этого романа — многочисленные сюжетные рифмы. Любое событие в жизни главной героини рифмуется с другими событиями либо ее жизни, либо ее близких. Происходящее в мире людей перекликается с жизнью животных. Жанна, узнав об изменах мужа, неприязненно относится к физической близости между мужчиной и женщиной. И она же пойдет на разные уловки в отношениях с мужем, страстно желая рождения второго ребенка. Из писем, обнаруженных после смерти матери, ей пришлось с горечью узнать об адюльтерной истории и этого столь дорогого для нее человека. Жанна не может не признать естественного хода природы, веченное совокупление животных не вызывает в ней омерзения.

Таким образом, отдельное явление в романе поворачивается различными своими гранями. Многочисленные сюжетные рифмы как бы уравнивают обозначившиеся крайности. Разные точки зрения, разные позиции здесь не диалогизированы, но сопряжены. Открывается трагическое противоречие жизни, но его разрешение вряд ли возможно.

Герой Толстого, Позднышев, пытается найти из безвыходного, по Мопассану, положения выход. «У Флобера и Мопассана, — пишет С.Г. Бочаров, — решается и не может решиться вопрос, есть ли частное существование судьба человечества. И русская литература Толстым (в «Войне и мире». — Н. М.) это решение вырабатывает»⁵. В восьмидесятые годы Л. Толстой вновь берется за решение этого вопроса — «Крейцеровой сонатой».

Позднышев в ряде последующих глав обстоятельно излагает свои новые убеждения. Он объясняет — и от слушателя (читателя) требуется только понимание. Диалогическое в этом случае как бы ослабляется, но не исчезает.

Теперь обратимся ко второму плану рассказа Позднышева. Путь к нравственному воскресению будет прокладываться через столкновение в самом герое его прошлого и настоящего. «Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

— А ведь в этом-то и главная мерзость, — вскрикнул он» (27, 16—17).

В рассказе о юности есть в свою очередь два уровня осмысления героем своей жизни: во-первых, раскрывается, как понимал ее персонаж в прошлом и, во-вторых, как осознает ее в настоящем. Рассказ, казалось бы, осуществляется в условиях уже традиционного для художественной прозы двойного авторско-литературного времени. Но в том-то и дело, что в «Крейцеровой сонате» появляется для толстовской прозы не традиционный — третий временной пласт повествования! Неожиданный звук, время от времени Позднышевым издаваемый, волнение героя обнажают одну важную особенность этого рассказа: герой не просто с позиций настоящего рассказывает о прошлом, в момент рассказа ему открывается многое с новой стороны, и уже настоящие его убеждения уточняются, углубляются.

Складывается, следовательно, несколько временных срезов: прошлое, настоящее, сиюминутное. Временные пласты в «Крейцеровой сонате» не сопряжены, прошлое и настоящее, сиюминутное находятся в драматическом взаимодействии, разрывая сознание героя. Диалогичность продвигает время действия в настоящее, сиюминутное. Такое продвижение — характерная и, на наш взгляд, обязательная черта драматизованного повествования.

Два плана рассказа (рассказ-обвинение и рассказ-прозрение) героя сведены в сюжете. На идеологическом уровне повести ниспровергается жизнь по Дарвину, утверждается жизнь по Моисею. «По решению вопроса Моисеем... выходит, что разнообразие видов живых существ произошло по воле Бога и бесконечному могуществу Его; по теории же эволюции выходит, что разнообразие живых существ произошло по случайности и по разнообразным условиям наследственности и среды в бесконечно долгое время. Теория эволюции, говоря простым языком, утверждает то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите может выйти все, что хотите», — пишет Толстой в трактате «Так что же нам делать?» (25, 338–339). В прошлой (событийной) жизни Позднышева, о которой он рассказывает, и разворачивается жизнь по Дарвину, закономерная кульминация этой жизни — убийство Позднышевым своей жены. Вместе с тем в Позднышеве с первых страниц повести, как мы уже отметили, начинается напряженная внутренняя работа по набиранию человеческого. Он в споре с буддистами, с «Шопенгауэрами и Гартманами», эволюционистами берется выяснить, по Дарвину или по Моисею идет жизнь человечества, — и тем самым понять смысл человеческого бытия. Две своеобразные модели жизни (по Дарвину и по Моисею) неумолимо набирают силу и в конце сходятся в решительной схватке за человеческую душу. Так диалогическое определяет и сюжетное построение.

В «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате» Толстой ведет своих главных героев к нравственному, христианскому прозрению, утверждает его возможность и необходимость для любого человека; конечная истина изначально открыта автору. Возникает определенная опасность для творчества писателя: подобный этический пафос не может не сужать возможности художественного воссоздания жизни.

«Крейцера соната» — диалогическое по своей природе произведение, авторская точка зрения — господствующая в нем. Не случайно поэтому в повести «сворачивается» спор персонажей, спор, в перспективе своей подразумевающий обоснование каких-то иных позиций (первая и вторая главы), не складываются и многочисленные сюжетные рифмы, позволяющие вскрыть всю неоднозначность явлений действительности (как это было в романе Ги де Мопассана «Жизнь»). Пространственно-временные рамки художественного мира повести сужены, пейзаж, интерьер, портреты персонажей предельно лаконичны. Они важны автору постольку, поскольку вносят свой «вклад» в доказательство «должного».

Интересно, что диалогическое же (правда, складывается оно совершенно по-другому) противостоит в повести отмеченной тенденции. Постараемся показать это.

Толстой, утверждая истинность своих представлений, стремится опереться на «народный взгляд на вещи». Е.Н. Купреянова впервые обратила внимание на присутствие мотивов древнего эпоса и древнерусской литературы в позднем творчестве Л.Н. Толстого. Исследовательница отметила, что Толстой придавал особое значение

во время своей работы над народными рассказами тождественности используемых им фольклорных сюжетов и сюжетов древней литературы. Эта тождественность свидетельствовала «...об их народности и в то же время древности, подтверждая тем самым неизбежность и всеобщность нравственных воззрений и эстетических вкусов народа»⁶. Рассмотрение народных рассказов, повести «Отец Сергей», романа «Воскресение» позволило Е.Н. Купреяновой сделать вывод: «...взятые на вооружение Толстым символически осмысленные элементы древнерусской литературы и фольклора, утверждая утопическую правду должного, обнажали... и реальнейшую правду сущего», религиозная символика «народной литературы» выступала «...эстетическим знаком всеобщности проповедуемой им нравственной и в основе своей крестьянской истины»⁷.

Выдерживается ли в «Крейцеровой сонате» народный «взгляд на вещи»? Остается ли Толстой в пределах народного патриархально-крестьянского миропонимания здесь? Обратимся к этическим воззрениям, приносимым в повесть мотивами «народной литературы» (к произведениям «народной литературы» Л. Толстой, как известно, относил древний эпос и древнерусскую литературу).

В черновиках повести сцена убийства соотнесена автором с библейской историей о Давиде, Вирсавии, Урии (27, 404). Библейская история с ее ясными определениями добра и зла, выработанными, по Толстому, всей предшествующей жизнью человечества, высвечивает происходящее на наших глазах событие. Слова, заканчивающие библейскую историю: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа», оставляют в повести изначальную вину в случившемся за Трухачевским и шире — за развращенным Парижем, Иерусалимом нового времени. Библейский мотив не снят художником и в печатном варианте повести. Позднышев, вернувшийся с выставки, застаёт в своем доме Трухачевского. Ревность героя взметнулась от внезапной ассоциации с историей Урии (27, 58). Библейскую историю теперь уже трудно соотнести с происходящим, она не дает сюжетного «хода». Тем отчетливее проявляется желание автора привести в произведение жесткое и однозначное осуждение прелюбодеяния.

В «Наставлении» Сильвестра из «Домостроя» четко разграничены праведники и блудники, прелюбодеи. Сильвестр убежден, что жить должно «по закону — во славу Бога и ради вечного царства, а любодеев и прелюбодеев осудит Бог»⁸. И вновь перед нами жесткое осуждение «любодеев и прелюбодеев».

Есть в повести и фольклорные мотивы, они восходят к песне о Ваньке Ключнике, к былинам о Чуриле и Катерине. Симпатии сложивших песню были, без сомнения, на стороне Ваньки Ключника, а не на стороне карающего князя. В одном из вариантов песни прямо звучит: «понапрасну князь Волхонский две души загинул»⁹. Заканчивая историю о Чуриле и Катерине, сказитель далек от мысли дать моральную оценку своим героям: «Да потонуло две головушки, Да что хорошие головы, не лучшие»¹⁰. «Не лучшие» «головушки» у Катерины и Чурилы, но и не худшие — «хорошие»! Сказитель былины не берется ни судить, ни оправдывать героев. Как видим, этические представления простого народа, художественно воплощенные в песне о Ваньке Ключнике и в былинах о Чуриле Пленковиче и Катерине, не были созвучны библейскому утверждению, заканчивающему историю о Давиде, Вирсавии и Урии, они во многом расходились с тем, что в XVI веке стремился закрепить «Домострой».

Очевидно, что привносимые библейской историей, «Домостроем», фольклорными мотивами представления о любви, семейной верности не сводимы к однозначной этической формулировке. Все эти разные представления вбирал в себя веками нажитый людьми опыт любви и брака.

Выводится ли из этого опыта провозглашаемая толстовским героем истина? «Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вождением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене», — заявляет герой (27, 31). Позднышев утверждает необходимость не духовного брака даже — целомудрия.

Провозглашаемые Толстым и его героем истины не находят в «Крейцеровой сонате» опоры в народных христианских представлениях. «Символически осмысленные элементы» (Е.Н. Купреянова) «народной литературы» не становятся показателем всеобщности проповедуемых автором истин, скорее напротив — подчеркивают их субъективный характер.

В повести складывается своеобразная многоголосица. «Крейцера соната» изнутри оказывается противоречивой и как бы свободной от воли автора. Возможно, перед нами тот редкий случай в творчестве Л.Н. Толстого, когда последнее единство произведения сложилось нетрадиционно, когда «последнее слово» не во всем определяется автором.

На отсутствие «центра христианских убеждений» (86, 274) указывал В.Г. Чертков, один из первых читателей повести, он настаивал на «более всестороннем освещении вопроса» во имя примирения и приведения «к большему единству» всего написанного в ней (86, 273).

Ощущение внутренней противоречивости повести в восприятии самого Толстого, возможно, и стало источником ее проповеднического накала. Исследователь П.В. Николаев подчеркивает публицистический характер «Крейцеровой сонаты», ее близость проповеди выявлением сходства отдельных элементов ее поэтики с характерными особенностями «Поучения Владимира Мономаха»¹¹. Закономерна соотнесенность «Крейцеровой сонаты» с этим древнерусским произведением. И все же каждое соотнесение такого рода требует и выявления различий.

Владимир Мономах в правильности своей этической системы не сомневался¹². Толстой же не нашел опоры своей правде «должного» в произведениях «народной литературы». При этом толстовское повествовательное слово качественно меняется: оно уже не может не сомневаться в своей объективности, в своем праве указывать на «должные» истины.

Повесть наталкивается и на другое сопоставление — с «Житием протопопа Аввакума». Д.С. Лихачев отмечает, что Аввакум свои сочинения пишет «как бы беседуя». Однажды, сомневаясь в правильности своего поступка, Аввакум оставляет «в рукописи несколько чистых строк для ответа своему читателю. Чужою рукою... вписан ответ... Так «Житие» превратилось в данном эпизоде в подлинную беседу. Но Аввакум прибег к такому способу изложения лишь один раз: он не сделал из него литературного «приема»¹³.

Такая ответная реакция, разрешающая сомнения в правильности доводов, необходима герою толстовской повести уже постоянно. В драматическом состоянии

своем Позднышев обращен к слушателю. Внутреннее единство человеку, как открывается в повести, теперь уже невозможно обрести без связи с другим человеком. Самая форма повествования от первого лица позволила автору обнажить разворачивающуюся внутреннюю драму героя и одновременно — самому этому герою напрямую выйти к читателю. Читатель втягивается в диалог с героем. Читательская позиция становится чрезвычайно важной для автора «Крейцеровой сонаты».

И все же в понимании Толстого истинность его новых убеждений не могла быть опровергнута какими бы то ни было сомнениями в ней. Об этом он напишет в «Послесловии» к повести: «Я ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было. И как ни противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как ни противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их» (27, 88).

«Думал о том, что вожусь с своим писаньем Кр<ейцеровой> Сон<аты> из-за тщеславия; не хочется перед публикой явиться не вполне отделанным, не складным, даже плохим. И это скверно. Если что есть полезного, нужного людям, люди возьмут это из плохого. В совершенстве отделанная повесть не сделает доводы мои убедительнее. Надо быть юрочивым и в писании» (50, 129–130).

Толстой обозначил свою позицию как позицию юрочивого, возможно, еще и потому, что предвидел дальнейшую судьбу своей повести. «Крейцера соната» и необычностью своего содержания, своей формы призвана была «возбудить» равнодушных, повернуть к должным, по Толстому, истинам. А.П. Чехов отмечал, что она «до крайности возбуждает мысль»¹⁴. Повесть в мире, по словам самого Толстого, делала свое дело: «...продолжала буровить»¹⁵. Повесть в своем страстном диалоге с жизнью в эту жизнь прямо вторгалась. Мирская жизнь в диалоге с правдой «должного», по Толстому, не могла не отстаивать свое естество. Именно «Крейцера соната» вызвала мощную волну читательских откликов.

«Еще думал о том, что послесловие Кр<ейцеровой> С<онаты> писать не нужно. Не нужно п<отому>, ч<то> убедить рассуждениями людей, думающих иначе, нельзя. — Надо прежде сдвинуть их чувство, предоставив им рассуждать о том, что они правы. <...> Нужно сдвинуть его (человека) с дороги. А это дело не рассуждения, а чувства», — записывал в своем дневнике Толстой (51, 17–18).

Считает, что писать послесловие не надо, — и пишет его. «Толстой увидел, что «Крейцера соната» без объяснительных строк недостаточно определенно высказывает мысли автора», — справедливо утверждает В. Срезневский¹⁶. В «Послесловии» Толстой со всей определенностью выскажет свою правду «должного», но сложность жизни все-таки останется за его пределами. Именно «Послесловие» назовет «юрочивым»¹⁷ вернувшийся с Сахалина Чехов.

Для Толстого, страстно желавшего жизни не на прежних, а на новых основаниях, диалог с жизнью оказался драматичным. Это остро уловил Н.Н. Страхов. В одном из своих писем он заметил о Толстом: «В «Крейцеровой сонате» разве не прямо кровь его сердца?»¹⁸

Диалогическое в «Крейцеровой сонате» качественно изменяет характер взаимодействия художника и читателя, художника и жизни. Художественный мир Толстого остается открытым новым проникновениям и прозрениям.

¹ Переверзева Н.А. Художественная функция символа в повестях позднего периода творчества Л.Н. Толстого: Автореф. дисс. к-та филол. наук. М., 1986. С. 11.

² Желтый цвет в повести становится знаком чего-то неестественного, болезненного. Вот другой эпизод: Позднышев, находящийся в отъезде, получает письмо от жены. Ночью ему, измученному ревностью, становится «жутко» лежать в «темноте», он не может найти выход из «крута неразрешимых противоречий» — зажженная свеча освещает желтые обои комнаты.

³ Мопассан Г. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1992. Т. 1. С. 132.

⁴ См.: *Опульская*. С. 215, 222–224.

⁵ Бочаров С.Г. Л. Толстой и новое понимание человека. «Диалектика души» // Литература и новый человек. — М., 1963. С. 236–237.

⁶ *Купрянова*. С. 278.

⁷ Там же. С. 288.

⁸ Домострой // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. — М., 1985. С. 163.

⁹ Песни, собранные П.В. Киреевским. — М., 1863. Вып. 5. С. 157.

¹⁰ Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 184.

¹¹ Николаев П.В. Публицистические элементы в диалогии Л.Н. Толстого «Крейцера соната» и «Дьявол» // Проблемы литературных жанров. Томск, 1978. С. 75–76.

¹² Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1975. С. 129.

¹³ Там же. С. 303.

¹⁴ Чехов А.П. Письма: В 12 т.—М., 1976. Т. 4. С. 18.

¹⁵ Русская литература 1870–1890 годов. Свердловск, 1977. С. 141.

¹⁶ Цит по: Толстой Л.Н. Полн. собр. худ. произв.: В 15 т. М.; Л., 1929, Т. 12. С. 234.

¹⁷ Чехов А.П. Там же. С. 270.

¹⁸ Лев Толстой в письмах Н.Н. Страхова к А.А. Фету. Публикация И.Г. Ямпольского // *Ясн. сб.*, 1978. С. 118.

О. В. Журина

РЕЛИГИОЗНО–ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ Л. Н. ТОЛСТОГО И РОМАН «ВОСКРЕСЕНИЕ» (ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА)

Религиозно-философские трактаты Л.Н. Толстого традиционно рассматриваются как выражение прежде всего нового мировоззрения писателя после перелома. На связь их с другими произведениями указывалось главным образом лишь в плане содержания. Нам представляется целесообразным рассматривать трактаты не только как идейную, но и как творческую лабораторию писателя, так как наряду с умозрительными рассуждениями они включали в себя и широкие художественные картины, предвалявшие многие элементы поэтики «Воскресения».

С другой стороны, сам роман создавался во исполнение той же религиозно-проповеднической сверхзадачи, что и трактаты, и содержит немало априорных суждений. Таким образом, параллельное рассмотрение этих произведений способствует их взаимопояснению, позволяет выявить некоторые особенности идейных и творческих исканий позднего Толстого.

Религиозные взгляды Л. Толстого являются предметом нескончаемых споров. Одни видели в нем религиозного реформатора (А.С. Пругавин, С.Н. Булгаков, В.Ф. Булгаков), другие вообще отказывали Толстому в какой бы то ни было вере, во всяком случае в христианской (Т. Буткевич, Д.С. Мережковский, отчасти — Н.А. Бердяев); священник о. Иоанн Шаховской в деятельности позднего Толстого усмотрел явление одержимости духом антихриста, а другой священник — о. Василий Зеньковский — считал конфликт Толстого с церковью роковым недоразумением, самого Толстого — подлинным христианином по устремлениям и чаяниям; Н.А. Бердяев называл его религию скорее буддийской, чем христианской, видел в ней своеобразную форму пантеизма. Близкой точки зрения придерживались И.А. Бунин и Д.Ю. Квитко; зарубежные исследователи говорят о протестантизме и религиозном экзистенциализме Толстого. В традиции советского литературоведения большее внимание уделялось «обличительной» стороне учения Толстого, религиозную же рассматривали как «слабую сторону» либо стремились ее «оправдать» путем сведения к этике, к эстетическим метафорам, художественным аллегориям.

Список подходов к изучению взглядов Толстого можно продолжить, каждый из них по-своему оправдан, их разноречие обусловлено противоречивостью самого предмета исследования. Но именно поэтому необходимо, на наш взгляд, отказаться от попыток окончательно идентифицировать учение Толстого, вписать его в какую-либо определенную, уже существующую религиозную или философскую систему. По отношению к любой такой системе взгляды Толстого слишком непоследовательны, случайны.

Причем эти многократно отмеченные критиками непосредственность, противоречивость, эклектичность учения Толстого мало заботили самого учителя. Наоборот, его недоверие вызывали как раз строгость и стройность какой бы то ни было системы как результат диктата внешней формы над сущностью. Эклектизм же и произвольность обращения с чужими текстами возводился едва ли не в методологический принцип. «Система, — записывает он в дневнике, — философская система, кроме ошибок мышления, несет в себе ошибки системы. В какую форму ни укладывай свои мысли, для того, кто действительно поймет их, мысли эти будут выражением только нового мирозерцания философа... Даже у больших мыслителей, оставивших системы, читатель, для того чтобы ассимилировать себе существенное писателя, с трудом разрывает систему и разорванные куски... берет себе» (48, 344–345).

Именно таким образом — «разрывая на куски», отбирая нужное, — и поступал Толстой с чужими учениями. Не избежало такого редактирования и Священное Писание. Не случайно Н.А. Бердяев утверждал, что Толстой «лишь злоупотреблял словом «христианство». Евангелие было для него одним из учений, подтверждающим его собственное учение». Но и собственное учение Толстой отнюдь не собиравшись канонизировать: «Никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в Евангелиях» (53, 168).

Возникает вопрос: что же является мерилom истинности при реконструкции этого «учения истины», какими критериями руководствовался писатель для отделения существенного от несущественного? В статье «Что такое религия и в чем сущность ее?» Толстой дает три основные характеристики истинной религии:

- 1) трансцендентность (связь с бесконечным);
- 2) рациональность — как главная характеристика этой связи;
- 3) способность руководить человеческими поступками — как ее главная функция.

Основным из указанных критериев нужно признать первый (связь с бесконечным), остальные два производны по отношению к нему.

Многие ученые и критики говорили о «точке зрения вечности» как краеугольном камне в мировоззрении позднего Толстого. Разум, вера, буква Священного Писания, всевозможные авторитеты — все это свободно привлекалось и так же свободно отбрасывалось Толстым по мере надобности. Вечность же, из которой он пришел и в которую готовился уйти, постоянно притягивала в эти годы его внимание, была единственным мерилom истины: «Читал Евангелие. Везде Христос говорит, что все временное ложно, одно вечное, т. е. настоящее» (48, 70). Парадоксальная синонимия вечного и настоящего вполне закономерна для трансцендентного мировидения позднего Толстого: перед лицом вечности теряют смысл земные категории времени, пространства, материи. Они становятся лишь знаками преходящей, а значит, неподлинной реальности, и Толстой стремится всячески дискредитировать их, показать их относительность, чтобы тем самым разоблачить и «самозванную» реальность. Толстой как бы выстраивает гигантскую дробь, подводя подо все явления мира, «в знаменатель», бесконечную величину, совершенно уничтожающую их значение: «Материальный мир в пространстве — это единица, деленная на бесконечность, то есть ничто»¹.

«Точка зрения вечности» служит водоразделом в оценочной классификации, которую Е.Н. Купреянова характеризует следующим образом: «Все, что сопричастно целому и бесконечному, — прекрасно и нравственно. Все, что центробежно ему, — безобразно и безнравственно»². Толстой видит мир распавшимся на два противоположных друг другу порядка явлений. В дневнике за 1889 год читаем: «Надо выписывать и собирать все, что поражает, — в 2-х направлениях. 1) Обвинительный акт и 2) наступление Царства Божия» (50, 92). Обращает внимание как контрастность этих направлений, так и тяготение их к абсолютности: глобальному отрицанию всего существующего Толстой стремится противопоставить столь же универсальный идеал. Но если отрицательное направление было очень широко представлено в творчестве позднего Толстого, то идеально положительное не могло найти воплощения в реалистических произведениях. Художественная реалистическая форма сопротивляется воплощению априорного идеала, поэтому автор вынужден прибегать к народной легенде, притче, сказке. Однако эти жанры значительно проигрывают по убедительности, не оказывают нужного Толстому действия «заражения», и писатель обращается к публицистике, к жанру трактата. Это позволяет проблеме идеала и путей к нему сделать специальным объектом исследования, метод же умозрительных концепций не воспринимается здесь как инородный.

В трактатах Толстой стремится обуздать стихию отрицания и даже поставить ее на службу утверждению идеала. Здесь мы встречаемся с излюбленным проповедническим и художественным приемом позднего Толстого: он нагнетает отрицания, сгущает краски с тем, чтобы создать ситуацию «бездны на краю», ситуацию кризиса, ибо она таит в себе возможность всеразрешающего катарсиса. Чем сильнее чувство отчаяния и безысходности, тем напряженнее поиски выхода, тем невозможнее промедление, когда выход указан. Яркой иллюстрацией этого приема является развернутая метафора пожара в трактате «В чем моя вера?»: «Горит цирк в Бердичеве, все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь, которая открывается внутрь. Является Спаситель и говорит: «Отступите от двери, вернитесь назад; чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь». Многие ли, один ли я услышал это и поверил — все равно; но услышавши и поверивши, что же я могу сделать, как не то, чтобы пойти назад и звать всех на голос Спасителя? Задуют, задавят, убьют меня — может быть; но спасение для меня все-таки лишь в том, чтобы идти туда, где единственный выход» (23, 401).

Вопрос ставится ультимативно: или гибель — или спасение. Толстой стремится показать, что мир вплотную подошел к краю пропасти. Он демонстрирует это и на примере единичных судеб (в частности, своей собственной в трактате «Исповедь») и разворачивая широкую картину распада всех смыслов и связей. Л. Шестов недаром говорил, что Толстой не столько хочет убедить своего читателя, сколько запутивает его³.

Как мудрый и опытный проповедник Толстой стремится воздействовать на свою паству всеми возможными средствами — не только эмоционально, но, когда это представляется возможным, и апеллируя к доводам разума, применяя параллельно с методом «запутивания» и метод убеждения. Опираясь на слова Христа «иго мое благо и бремя мое легко», Толстой настаивает на буквальном их толковании. Путь Христа, по Толстому, — не крестный путь, а оптимальный, наиболее удобный, даже выгодный,

ибо является самым прямым, а значит, кратчайшим путем к высшему благу и избавляет от бессмысленных блужданий, спровоцированных неправильным, иррациональным учением мира. Толстой доказывает, что Христос не требует жертв, «Христос просто учит людей не делать глупости». В трактате «В чем моя вера?» читаем: «Разум ничего не приказывает, он только освещает. Я в темноте избил руки и колена, отыскивая дверь. Вошел человек со светом, и я увидел дверь. Я не могу уже биться в стену, когда я вижу дверь, и еще менее могу утверждать, что я вижу дверь... но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться коленками об стену... Только ложное представление... может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их же признанию, дает им благо» (23, 373).

Отметим особую значимость для Толстого метафоры поиска выхода, дверей, выводящих из темного или смертоносного пространства. Эта универсальная общекультурная метафора несет у позднего Толстого огромную смысловую нагрузку. Текст «Воскресения» как нельзя более показателен в этом отношении. Он буквально пронизан образом дверей, причем функция их здесь по большей части обратная: они не выводят на свет из гибельного пространства, а вводят в него. Это тюремные двери, аналогичные вратам ада: помещения, куда они ведут, описываются при помощи лексики, имеющей помимо своего конкретно-бытового еще и инфернальное значение смерти и тления*: «Надзиратель, гремя железом, отпер замок и, растворив дверь камеры, из которой хлынул еще более вонючий, чем в коридоре, воздух, крикнул: — Маслова, в суд! — и опять притворил дверь, дожидаясь. Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город. Но в коридоре был удручающий тифозный воздух, пропитанный запахом испражнений, дегтя и гнили, который тотчас же приводил в уныние и грусть всякого вновь приходящего человека» (32, 4).

Первая глава «Воскресения» очень невелика по объему — не превышает двух листов обычного книжного формата — и состоит из описания весны и тюремной сцены. Кроме нарочитой контрастности этих описаний, многократно отмеченной исследователями, обращает внимание и чрезвычайная насыщенность первой главы романа образом дверей. На малом участке текста слово «дверь» встречается девять раз, и дважды — слова «выход» и «калитка». Писатель здесь особенно подчеркивает репрессивную, ограждающую функцию дверей. Они не столько выпускают, сколько запирают людей, дают их, отпираются внутрь камер, а выпустить могут только в еще более ужасные круги тюремного ада: «Надзиратель хотел уже запереть дверь, когда оттуда высунулось бледное, строгое, морщинистое лицо... старухи**». Старуха начала

* Очевидны параллели сюжета «Воскресения» со структурой волшебной сказки, описанной В.Я. Проппом: герой проникает в царство смерти, выдерживает различные испытания и выходит преобразенным. Объясняется это не столько литературной ориентацией позднего Толстого, сколько тяготением его к тому типу первобытного родового мышления, который отражен в фольклоре.

** Продолжая аналогию с формулой В.Я. Проппа, отметим, что не случайно из тюрьмы (царство мертвых) Маслову провожает и наставляет именно старуха (мертвец). Сходство с мертвецом подчеркивают и толстовские эпитеты.

что-то говорить Масловой. Но надзиратель надавил дверь на голову старухи, и голова исчезла... Они спустились вниз по каменной лестнице, прошли мимо еще более, чем женские, вонючих и шумных камер мужчин, из которых их везде провожали глаза в форточках дверей» (32, 5).

Слово «выход», вызывающее мысль об освобождении, и слово «калитка», с его мирной, «домашней» семантикой, оказываются в данном контексте ложными, дезориентирующими по отношению к своему первоначальному, буквальному смыслу: «В двери главного выхода отворилась калитка, и, переступив через порог калитки на двор, солдаты с арестанткой вышли из ограды и пошли городом посередине мощеных улиц» (32, 6). Маслову выводят из тюрьмы для того, чтобы препроводить в суд, который, как мы знаем, приговорит ее к еще более длительной и тягостной неволе — каторге. Но и пространство города является свободным лишь относительно — по сравнению с тюремным (так весенний воздух в городе характеризуется как «чистый, сравнительно с острогом»). Слова «город» и «ограда», поставленные писателем почти вплотную, актуализируют свое генетическое родство. Город для Толстого — именно «огороженное место», место порабощения естественно-природной жизни дурной цивилизацией, — не случайно сразу вслед за «городом» упоминаются «мощеные улицы», которые отсылают к аналогичному образу в описании весны, где подчеркнута семантика насилия («как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней...» — 32, 3). Фраза «вышли из ограды и пошли городом» прочитывается, таким образом, как переход из одной ограды в другую и воспринимается в ряду описанных выше шествий по различным кругам тюремного ада. Автор стремится предупредить возможную ошибку читателя, привыкшего считать свободой пространство по ту сторону тюремных стен, ему важно указать идеал подлинной, в его понимании, свободы — «Царство Божие» и «единственный выход» к ней — закон Христа.

Итак, наряду с амбивалентным описанием весны, язг тюремных засовов, прозвучавший на первой же странице романа, служит важным смысловым и интонационным ключом к его содержанию, к решению авторской сверхзадачи. Этот звук будет рефреном повторяться на всем протяжении романа, сопровождая все более сгущающуюся атмосферу распада и тления, которая достигает апогея в 18-й главе 3-й (последней) части романа, где Толстой вводит столь значимый для него образ ребенка, спящего в зловонной жиже возле кадки-параши. Это квинтэссенция толстовского «обвинительного акта», предельное выражение противоестественности существования человека в тюремноподобном мире.

Только проведя своего героя по мукам, через горнило очищающего катарсиса, Толстой выводит его к подлинному выходу. Описание спящего среди нечистот мальчика оказывается кульминационным, переломным моментом в странствиях героя, после чего вектор его пути меняется на противоположный, устремляется наконец-то к положительному полюсу. «Выйдя из ворот, Нехлюдов остановился и, во все легкие растягивая грудь, долго усиленно дышал морозным воздухом» (32, 410). Так заканчивается 18-я глава. В 19-й главе эта метафора наполняется нужным для автора содержанием: Нехлюдов постигает причины существующего зла, приходя к тем выводам, которые многократно излагались Толстым в трактатах. В 21-й главе описывается встреча Нехлюдова со странствующим стариком — носителем свободной веры.

Эту главу Толстой включил затем в «Круг чтения» под названием «Свободный человек». Герой ее действительно свободен почти от всех человеческих связей, находится вне общественных структур и даже как будто вне времени и пространства: «Я от всего отрекся: нет у меня ни имени, ни места, ни отечества, — ничего нет. Я сам себе. Зовут как? Человеком. «А годов сколько?» Я, говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду... Нет... у меня ни отца ни матери кроме Бога и земли» (32, 419). Несколько глав спустя открываются тюремные двери перед Катюшей, затем следует сцена с англичанином-миссионером, который воплощает, по мысли Толстого, узко-поверхностное, неправильное понимание христианства и встречает отпор со стороны вышеупомянутого «свободного старика». И, наконец, после проведенного таким образом размежевания с догматическим богословием Толстой позволяет своему герою в последней главе романа открыть Евангелие и увидеть тот «единственный выход», который указан, по убеждению писателя, в Нагорной проповеди.

Мы проанализировали лишь некоторые параллели между романом и трактатами. Очевидно, что они проходят в области не только содержания, но и формы: прием контраста, пафос отрицания, прием остранения, нигде не применявшийся столь часто, как в романе и трактатах. Непосредственно к трактатам восходят некоторые описания и сатирические портреты «Воскресения», его ключевые образы и метафоры.

Особенно обращает на себя внимание композиционное совпадение этих произведений. Роман «Воскресение» имеет те же структурные элементы и часто в той же последовательности, что и большинство трактатов: 1) рассказ о единичной судьбе, зашедшей в тупик (судьба автора «Исповеди», судьбы Нехлюдова и Катюши); 2) пересмотр решений проблемы, предлагаемых «учением мира», вывод об их несостоятельности; 3) прозрение тотальной искаженности человеческого бытия и причин этого явления; 4) обретение абсолютной истины в Нагорной проповеди Христа. Такое совпадение объясняется, на наш взгляд, тем, что роман «Воскресение», подчиненный в значительной степени проповеднической задаче Толстого, строится не только по законам художественной организации, но и следует многократно апробированной в трактатах, выверенной толстовской формуле доказательства, оптимальной логике подведения к нужному выводу.

Тем не менее роман Толстого нельзя рассматривать только как своего рода «доказательство теоремы», как басню, созданную для иллюстрации априорного морального тезиса. Последнее сопоставление может быть уместно лишь в свете анализа басни, проведенного А.С. Выготским, который показал, что художественный текст живет по своим законам, независимо от навязанной ему иллюстративно-доказательной функции, не совпадая, а подчас и противореча ей в своем общем эстетическом воздействии.

Сопоставление художественных и публицистических произведений Толстого позволяет обнаружить два «нераздельных и неслиянных» (формула Блока) начала в его художественном мышлении. Мы говорим о синтетическом, собственно художественном начале и начале аналитическом, рационально-умозрительном. Взаимодействие их чрезвычайно сложно и не может быть объяснено в свете теории «двух Толстых» — мыслителя и художника — или, используя метафору Н.К. Михайловского,

теории «десницы и шуйцы Льва Толстого». Большинство критиков сетовали на слабость Толстого-мыслителя, выражали пожелание, чтобы он чаще пользовался в своих писаниях «десницей», нежели «шуйцей». Для самого же Толстого не существовало столь четкого водораздела между указанными двумя началами, он не мог провести его даже тогда, когда сознательно стремился к этому. Ни в допереломную эпоху, когда явно преобладало синтетическое, художественное начало, ни после перелома, когда значительно усилилось начало аналитическое, Толстой не мог пожертвовать «второстепенным» началом в пользу «первостепенного»: так, он не может отказаться от философских отступлений в «Войне и мире», не может отказаться и от «бескорыстного» творчества, после неоднократно декларированного отречения от него. Очевидно, что художник чрезвычайно дорожил тем и другим началом, они, хотя и противоборствовали, не были для Толстого взаимоисключающими, взаимозаменяемыми. Писатель редко удерживался в рамках какого-либо из них: в трактат врываются художественные картины, а в художественные произведения — умозрительные рассуждения.

Л. Шестов отмечает, что неудовлетворительность некоторых рассудочных построений Толстого происходит не от того, что Толстой — слабый мыслитель, а от того, что «слабой», ограниченной оказывается сама рассудочная форма, не способная вместить то, что ему необходимо высказать⁴. Недостаточной, как мы знаем, оказалась и художественная форма. Напряженный поиск «слов, формы» (62, 352), обращение то к одному, то к другому способу высказывания, разочарование в них — все это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что поздний Толстой ощущал себя призванным передать людям некое открывшееся ему ценнейшее знание и постоянно искал адекватную форму для его воплощения.

¹ Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 272.

² Курянова. С. 141.

³ Шестов Л. Избранные сочинения. М., 1993. С. 97.

⁴ Там же. С. 87.

Т. Т. Бурлакова

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ «ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА»

Русская история полна загадок. Немало в ней событий, овеянных настоящими легендами. Иные из них будоражили воображение нескольких поколений. К таким принадлежит и легенда о таинственном старце Федоре Кузмиче, умершем 20 января 1864 года на заимке купца Семена Феофановича Хромова, в четырех верстах от Томска, и похороненного в томском Богородице-Алексеевском монастыре. Личность этого старца даже некоторые историки идентифицировали с царем Александром I.

Эта легенда, содержащая огромный литературно-художественный потенциал, привлекла внимание Л.Н. Толстого и легла в основу повести «Посмертные записки старца Федора Кузмича».

Неоконченная повесть Толстого сравнительно мало изучена. Скучны сведения об этом произведении и в комментариях к собраниям сочинений писателя. Ряд интересных моментов, связанных с историей создания «Посмертных записок...», ускользнул от внимания толстоведов. Например, как возник замысел этого произведения и почему работа над ним неожиданно прекратилась? Требуется выяснения и вопрос об источниках этой удивительной повести.

Первое упоминание о замысле «Посмертных записок старца Федора Кузмича» мы находим в дневниковой записи от 25 января 1891 года (52, 6), последнее — 27 декабря 1905 года (55, 178). Между этими двумя датами 15 лет, годы напряженного труда, создание многих произведений. В этом ряду стоит также изучение литературы, посвященной александровской эпохе.

Особый интерес представляют источники знакомства писателя с необычайной историей. Обращение к яснополянской библиотеке Толстого помогает многое уяснить в этом вопросе.

К концу 1880-х — началу 1890-х годов Толстому уже хорошо была известна легенда о жизни и смерти русского императора. Он неоднократно рассказывает ее в кругу родных и близких. Слышала ее и приезжавшая в Ясную Поляну в начале июля 1891 г. А.А. Толстая. Примечательно, что 10 июля 1891 года А.А. Толстая посылает писателю фотографию с портрета старца Федора Кузмича, сопровождая ее такими словами: «Посылаю дорогому Льву героя его будущей легенды. Он так хорошо ее рассказал, что я заранее предвкушаю наслаждение, которое ожидает нас, если он осуществит свое намерение» (36, 584).

14 июля этого же года в дневнике Л.Н. Толстого появляется запись: «К Александру I. Солдата убили вместо его. Он тогда опомнился» (52, 45).

В письме от 16 июля Толстой благодарит А.А. Толстую за присылку фотографии: «Очень благодарен за карточку. Она очень поощряет к работе. Если бы Бог велел, хотелось бы попробовать написать» (66, 17). К моменту появления первой дневниковой записи Толстого о замысле нового произведения материалы о Федоре Кузмиче были опубликованы в «Русской старине». Так, в 1880 году в XI книге журнала была напечатана заметка князя Н.К. Голицына «Народная легенда об Александре-отшельнике», в которой под именем Александра-отшельника автор описывает старца Федора Кузмича.

В 1887 году там же (выпуск за октябрь-ноябрь-декабрь) были опубликованы сразу две статьи: «Отшельник Александр (Федор) в Сибири» В. Долгорукова и «Отшельник Федор» И. Смирнова. В своей небольшой заметке последний автор вспоминает о слышанных им в Петербурге рассказах о мнимой смерти императора, вместо которого был будто бы похоронен солдат, выданный за Александра I.

Наконец, в 1889 году журнал выпустил «Альбом портретов достопамятных русских людей» с портретом Федора Кузмича и кратким биографическим очерком.

В личной библиотеке Толстого хранятся номера «Русской старины» за 1884–1885, 1888, 1890–1891, 1903–1904, 1907–1910 годы. Журналы с указанными статьями отсутствуют, но известно, что огромное количество литературы поступало Толстому из библиотек, от издателей, затем эти издания возвращались назад. Часто так бывало и в 1880-е — 1890-е годы с «Русской стариной».

9 марта 1878 года в Петербурге Толстой познакомился с редактором «Русской старины» Михаилом Ивановичем Семевским. Это знакомство оказалось очень ценным для писателя. Семевский был владельцем целого собрания рукописей. В его личном собрании хранились автографы известных писателей, письма и дневники декабристов. Бесценные материалы — записки Бестужева, барона Штейнгеля, письма других декабристов — присылались Толстому Семевским в период работы над романом «Декабристы».

Известен факт присылки Семевским рукописных материалов, не попавший в поле зрения исследователей и требующий уточнения.

Обратимся к «Летописи жизни и творчества Л.Н. Толстого» Н.Н. Гусева. В записи за 2 июня 1891 года читаем: «М.И. Семевский посылает Толстому для его романа о декабристах рукопись о народных слухах в 1826 г.». Далее следует замечание Н.Н. Гусева: «Толстой к работе над «Декабристами» не вернулся, и рукопись осталась неиспользованной»¹.

Однако в письме от 2 июня Семевский только спрашивает Толстого, нуждается ли он еще в материалах о «народных слухах, ходивших в России в 1825–1826 гг.». Он пишет, что несколько месяцев назад слышал от Н.Н. Гё, что Толстому требуются эти материалы для одного из его трудов, и, найдя теперь в своем архиве копию с подлинного дела 1826 года, предлагал ее выслать, если надобность не миновала. На конверте письма Семевского Лев Николаевич сделал надпись: «Благодарить за уведомление. Если не трудно выслать, то обяжет. Сообщить, когда вернуть» (65, 338).

Письмо Семевского и надпись Толстого на конверте (текст ответного письма неизвестен; известно лишь, что написан он Татьяной Львовной) не входили в сферу внимания исследователей, занимавшихся изучением последних произведений писателя,

а они представляются нам очень важными, так как уточняют ряд моментов, связанных с замыслом «Посмертных записок старца Федора Кузмича». Н.Н. Гусев пишет, что рукопись из архива Семевского была необходима писателю для романа о декабристах. Но известно, что Толстой, в этот период работавший над «Отцом Сергием», «Воскресением», трактатом «Царство Божие внутри вас», не думал о декабристах. Как мы знаем, уже появилась мысль о создании произведения об Александре I.

Видимо, Семевский вскоре действительно присылает копию рукописи, и к приезду А.А. Толстой в Ясную Поляну писатель успевает прочитать, а в начале июля рассказывает легенду в домашнем кругу.

Возникает вопрос: что же это за рукопись о народных слухах? Можно предположить, что речь шла о записи слухов, собранных дворовым человеком Федором Федоровым. Рукопись, включавшая 51 легенду, хранилась в архиве канцелярии военного министерства. В качестве доказательства обратимся к записи Л.Н. Толстого в записной книжке за июнь-июль 1891 года: «К Александру I. Солдата убили вместо него. Он тогда опомнился» (52, 180). Сравним с записью слухов, собранных Ф. Федоровым. В слухе 32-м говорится о том, что солдат, предупредивший императора о готовящемся покушении, был убит вместо него, похоронен как государь, а «Александр бежал неизвестно куда». В 39-м слухе рассказывается о том, что в Таганроге вместо царя был изрублен солдат, а государь бежал.

В этом же архиве хранилось дело о двух отставных солдатах: унтер-офицере Медведеве и рядовом Крутикове, служивших при московском архиве иностранных дел и распространявших слухи насчет императорской фамилии. Дело было начато 28 мая, закончено 10 августа 1826 года.

В последующие годы Толстой не оставляет своего замысла написать повесть о русском императоре. Упоминания об увлекательном сюжете встречаются не раз в дневниках и записных книжках писателя за 1895, 1897 годы.

В списке художественных сюжетов, составленном в июле-августе 1903 года, вновь упоминается «Александр I». В декабре 1904 года Толстой включает замысел «Александр-Кузмич» в новый список сюжетов. Расширяется круг источников. Особый интерес представляют работы Н.К. Шильдера и Е.В. Захарова, хранящиеся в яснополянской библиотеке Толстого с пометами писателя.

Николай Карлович Шильдер, известный русский историк, генерал-лейтенант, сын известного военного инженера, участника войны 1812 года Карла Андреевича Шильдера, принадлежал к сторонникам той точки зрения, что Федор Кузмич — это русский император Александр I. Труд Шильдера «История Александра I, его жизнь и царствование» в 4-х томах был прислан Толстому В.В. Стасовым в Ясную Поляну 29 июля 1905 года. С этого дня начинается изучение «Истории Александра I».

6 октября 1905 года в дневнике Толстого такая запись: «Продолжаю быть здоров, но работал за это время мало. Кончил *Конец века* и читал с отметками Александра I. Уж очень слабое и путаное существо. Не знаю, возьмусь ли за работу о нем» (55, 164).

Отметки в «Истории Александра I» знаменовали уже новый этап работы.

Из «Записок» Маковицкого: «За это время Л.Н. прочитал четыре тома Шильдера «Александра», начал читать его «Николая» и записки Порошина о Павле. Читая эти книги, выбирает из них материал для своей намеченной работы. Где находит

место интересное, отмечает его на полях чертой и туда вкладывает длинную бумажку (вроде рецепта), а на ней делает пометки — о чем, и в тексте делает пометки»².

В то же время в записной книжке за 1905 год Толстой составляет подробный конспект сочинения Шильдера, а также мемуаров А. Чарторижского и Брюкнера, труды которых были присланы в Ясную Поляну В.В. Стасовым 1 ноября 1905 года и впоследствии возвращены ему, поэтому в библиотеке Толстого эти труды отсутствуют. В круг чтения этого периода входит еще одна книга Н.К. Шильдера «Император Павел I», а также две книги великого князя Николая Михайловича, присланные Толстому автором и хранящиеся в яснополянской библиотеке: «Граф И.А. Строганов. Историческое исследование эпохи Александра I» (в трех томах) и «Князя Долгорукие, сподвижники императора Александра I в первые годы его царствования. Биографические очерки».

По мере того, как Толстой погружался в александровскую эпоху, менялось и его отношение к личности императора. Образ все больше и больше увлекал.

В дневнике 12 октября 1905 года отмечено: «Ничего не писал. Федор Кузмич все больше и больше захватывает» (55, 165).

Наконец в дневнике от 22 ноября 1905 года встречается первое упоминание о работе над повестью: Толстой записывает, что «начал Александра I», — но тут же добавляет, что «отвлёкся «Тремя неправдами». Не вышло... Очень хочется писать Александра I... Очень живо воображаю» (55, 170).

Следующая дневниковая запись, посвященная «Посмертным запискам...», относится лишь к 9 декабря. В этот день, отмечая окончание работы над «Божеским и человеческим» и «Концом века», Толстой записывает: «Вчера продолжал Александра I». С перерывами работа велась до конца декабря 1905 года.

Что же более всего привлекало Толстого в его герое? Сравнительный анализ текста незаконченной повести и помет на источниках этого произведения, хранящихся в яснополянской библиотеке Толстого, позволяет многое прояснить в этом вопросе.

Наибольший интерес для нас представляет «История Александра I» Шильдера, так как характер помет, сделанных Толстым во всех четырех томах, сохранившиеся закладки к I и II томам, а также сравнение их с текстом повести дают основание считать, что труд Шильдера стал для Толстого главным источником сведений о жизни и царствовании русского императора.

С удивительной точностью Толстой воссоздает историческую канву детской жизни будущего императора. В этом писатель остается верен себе: когда он пишет историческое, он стремится быть верен действительности. Воспоминания Федора Кузмича заполнены подлинными именами людей, описанием событий и обстановки. Сравним два текста — повести Толстого и «Истории...» Шильдера.

Текст Шильдера: «Во вторник 12 (23-го) декабря 1777 года, в десять и три четверти утра, великая княгиня Мария Федоровна в Зимнем дворце разрешилась от бремени сыном; новорожденному дано, по желанию императрицы, имя Александра, в честь Александра Невского, святого народного для России...»³

А вот текст Толстого: «Родился я ровно 72 года тому назад, 12 декабря 1777 года в Петербурге, в Зимнем дворце. Имя дано мне было, по желанию бабки, Александра, в предзнаменование того, как она сама говорила мне, чтобы я был столь же

великим человеком, как Александр Македонский, и столь же святым, как Александр Невский» (36, 66).

И второй текст Шильдера: «Крещение великого князя Александра Павловича происходило в небольшой церкви Зимнего дворца 20-го декабря. Новорожденного несли на глазетовой подушке герцогиня Курляндская; подушку и покрывало поддерживали обер-шенк Александр Александрович Нарышкин и генерал-аншеф Николай Иванович Салтыков... восприемницей же была сама государыня, а заочными восприемниками: император римский Иосиф II и король прусский Фридрих Великий»⁴.

И текст Толстого: «Крестили меня через неделю в большой церкви Зимнего дворца. Несла меня на глазетовой подушке герцогиня Курляндская; покрывало поддерживали высшие чины, крестной матерью была императрица, крестным отцом был император австрийский и король прусский» (36, 66).

Даже при беглом сравнении этих фрагментов бросается в глаза текстуальная близость описываемых деталей. Но в то же время ощутимо и различие. Обусловлено оно установкой Толстого на житийный жанр, где важна не столько историческая подробность, сколько среда, формирующая личность, и психологическая акцентировка духовного мира героя, равнодушие к конкретным историческим именам. Как мы видим, он опускает имена и Салтыкова, и Нарышкина, и имена королей.

Другой аспект житийного жанра — его нравственно-философская насыщенность, переходящая в назидательность, — возникает сразу же, как только мы обращаемся к сравнению пометок Толстого на «Истории» Шильдера и текста «Посмертных записок...»

Так, на стр. 16 первого тома «Истории» Толстой подчеркивает строки, приводимые Шильдером из дневника Екатерины II, о развитии Александра: «...копает землю, фехтует, ездит верхом, из одной игрушки делает двадцать; у него удивительное воображение, и нет конца его вопросам. Однажды он хотел знать, отчего есть на свете люди и зачем сам явился на свете или на земле».

На закладке к этой странице, тезисно излагая ее содержание, Толстой записывает то, что больше всего привлекло его внимание: «Вопрос, зачем живут люди. Ломают игрушки. Внушают ему, что все равны».

Последнего замечания оказалось достаточно, чтобы в воспоминаниях Федора Кузмича появились такие строки: «...я плакал... о том... что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы, а легкомысленные стараются... забыть» (36, 71).

Мы видим яркий пример того, как сказанные как бы вскользь слова Екатерины II о развитии Александра Толстой разворачивает в глубокое философское раздумье о жизни и смерти, о предназначении человека на этой земле, об отношениях между людьми.

Толстого привлекает противоречивость поступков и устремлений его героя, его характера, сложившегося в сложных нравственных условиях дворцовой жизни. Пометы Толстого и многочисленные надписи на закладках фиксируют эту невероятную противоречивость Александра Павловича: ребенком он размышляет о вопросах

жизни и смерти и в то же время он двенадцатилетний красавец, в него влюбляются, его хвалят. Уже тогда воспитатель Александра Протасов замечает самоуверенность, лживость, упрямство, бесчувственность, тщеславие своего воспитанника, медлительность, склонность к праздности и лени. Эти строки из «Записок» Протасова Толстой в тексте Шильдера подчеркивает двойной чертой. Позднее он испытывает страсть к парадам, к вину, груб с женой, любит балы, ухаживает за женщинами. Читая «Историю», Толстой неоднократно обращает внимание на театральность Александра. На закладке делает запись: «он — большой актер», а в тексте выделяет слова: «он от природы большой мимик». А рядом с этим Толстой старается зафиксировать то, что могло бы в дальнейшем противостоять злу и безобразию. Александр способен на добрые поступки. Толстой записывает в связи с этим: «Работник убился. Забота о нем». Александр I трогательно любит своего наставника Лагарпа, республиканца, долгое время воспитывавшего его, тяжело переживает разлуку с ним. На закладке к стр. 109 имеется следующая надпись: «Разлука с Лагарпом, ненавидит двор». В тексте Шильдера Толстой подчеркивает на этой же странице и большой абзац со строками из письма Александра Лагарпу, в котором он благодарит своего воспитателя, сообщает об огорчении, зная о предстоящей разлуке, особенно сознавая, что остается один при этом дворе, который он ненавидит, чувствуя свою обреченность на положение, «одна мысль о коем заставляет его содрогаться». В Александре постоянно борются два чувства: отвращение ко двору, желание уйти и желание царствовать. На стр. 128 подчеркнуты строки о разговоре Екатерины II с Александром о необходимости задуманного ею государственного переворота. На закладке Толстой тезисно изложил содержание этого эпизода: «Разговор с Екатериной о наследстве и с отцом. Расстрясся». Ту же мысль встречаем в записной книжке: «двойственность Александра I: и хочет царствовать, и жалко, и страшно».

Подобный отбор материала для содержания будущего произведения и в записной книжке 1905 года. Составляя конспект 4-х томов Шильдера, Толстой, с одной стороны, отмечает театральность императора («Умиляется перед самим собой и плачет»), его фальшивость («Религиозность, фальшиво»), с другой — намечает признаки будущего раскаяния: набожность Александра, возникающее все чаще желание отречься, особенно после посещения Киево-Печерской лавры и Валаама, «простоту, религию», «искренность», к которым он пришел после попыток обратиться к различным религиям.

Перед Толстым стояла трудная задача: создать образ раскаявшегося царя. Перед его героем стоит дилемма: или признать, «что делается то, что должно, или изменить свою жизнь». Герой Толстого решает «все бросить, уйти, исчезнуть». Но это желание проходит своеобразную эволюцию: прежнее желание отречься от престола было связано с желанием удивить, опечалить людей, показать им величие души, с рисовкой. (Не случайно Толстой подчеркивает театральность императора.) Новое желание, осуществленное Александром, было искренним, так как было «уже не для людей, а только для себя, для души», для Бога.

Большой интерес представляет и хранящаяся в яснополянской библиотеке книга Е.В. Захарова «Сказание о жизни и подвигах великого раба Божия старца Федора Кузмича». Оба издания этой книги — 1891 и 1892 годов — переплетены вместе.

Переплет — из темно-коричневой кожи, корешок — из кожи светло-коричневого (рыжего) цвета. На фронтисписе второго издания имеется автограф: «Из книг Александра Жалудского № 327». И здесь же сделана карандашная запись рукой В.Ф. Булгакова: «Отметки Л.Н.».

Издатель книги, находясь по делам в Томске 7 августа 1889 года, заинтересовался личностью Федора Кузмича и 8 августа 1889 года посетил купца Семена Феофановича Хромова, у которого в последние годы жил и скончался в 1864 году знаменитый старец. Сведения, изложенные Е.В. Захаровым, составлены на основе уже упоминавшихся воспоминаний Хромова и статей из «Русской старины». Автор также посетил и келью Федора Кузмича, которая сохранялась еще к тому времени.

В книге имеется 8 помет, принадлежащих Л.Н. Толстому. Часть сведений нашла отражение в незаконченной повести. Так, записки старца начинаются с упоминания о «бесценном друге Иване Григорьевиче». Толстой делает сноску: «Иван Григорьевич Латышев — это крестьянин села Краснореченского, с которым Федор Кузмич познакомился и сошелся в 39 году и который после разных перемен места жительства построил для Кузмича в стороне от дороги, в горе, над обрывом в лесу келью» (36, 60).

Сравним этот фрагмент с текстом Захарова, который Толстой на стр. 15 отметил дважды загнутым уголком: «Проживши около Коробейникова 3 года, старец Федор Кузмич снова переехал в Краснореченское, причем Латышев устроил ему в стороне от дороги, в самой горе, над обрывом, в густом кустарнике, новую келью...»

Другие отчеркивания в книге представляют факты биографии Федора Кузмича, однако Толстой не включил их в текст «Посмертных записок...», и это еще раз подтверждает особую установку писателя на жанровую природу произведения.

Значение этой книги состоит не столько в использовании Толстым текстов, которые он отметил, сколько в самой форме произведения, представляющей собой не что иное, как житие старца Федора Кузмича, и, возможно, именно книга Захарова натолкнула Толстого на форму, в которую он облек «Посмертные записки старца Федора Кузмича». Думается, было бы правильно отнести «Посмертные записки...» не только к житийной, но и исповедальной литературе. И здесь очень важна книга Захарова.

В дневнике Толстого от 27 декабря 1905 года находим такие строки: «Еще ясная пришла характеристика Александра I, если удастся довести хоть до половины. То, что он искренно, всей душой хочет быть добрым, нравственным, и всей душой хочет царствовать во что бы то ни стало. Показать свойственную всем людям двойственность иногда прямо двух противоположных направлений желаний» (55, 178).

Это была последняя запись, относящаяся к работе над «Посмертными записками старца Федора Кузмича». Замыслу этому не суждено было воплотиться в законченном произведении. К работе этой Толстой так и не вернулся, хотя в разговорах с родными и близкими, с посетителями Ясной Поляны еще долго обсуждал александровскую эпоху. 2 февраля 1906 года после чтения вслух Татьяной Львовной переписки Александра I со Строгановым сказал: «Очень характерная. Видно из нее, какая обязательная личность был Александр I»³.

Но интерес к теме у Толстого к этому времени значительно упал, и об этом говорит достаточно яркий факт, что 13 февраля 1906 года с уезжавшей в Москву

Софьей Андреевной Толстой передает для возвращения в московские библиотеки 40 книг и много номеров журнала «Русская старина», в которых, возможно, были и статьи, посвященные старцу Федору Кузмичу.

7 марта 1907 года Толстой убрал из кабинета исторические книги: о декабристах, Екатерине II, Павле, Александре I, Николае I и Александре II. Часть книг неделей раньше он возвратил в петербургские и московские библиотеки через С.А. Стахович и Сергея Львовича, а некоторые остались неотосланными. Лев Николаевич не мог вспомнить, из каких они библиотек, а штемпелей на них не было. Душан Петрович Маковицкий в своих «Записках» перечислил 25 книг, убранных в этот день из кабинета.

Больше к этому замыслу, занимавшему писателя 15 лет, он не возвратился.

2 сентября 1907 года, благодаря великого князя Николая Михайловича за присылку его книги «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузмича», в которой автор опровергал тождество Александра I и старца, Толстой писал: «Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалко. Прелестный образ» (77, 185).

Это письмо по-иному позволяет взглянуть на причины прекращения работы Толстого над повестью. Анализ источников этого произведения и сохранившееся его начало позволяют сделать вывод о грандиозности задуманного замысла. Как верно заметил В.А. Жданов, легенда явилась синтезом нескольких художественных опытов тех лет, и в том числе замысла о декабристах. Ведь не случайно Толстой в своей незавершенной повести трижды упоминает тему декабристов.

21 июня 1910 года Толстой разговаривал с приехавшим в Ясную Поляну скопцом А.Я. Григорьевым. Беседа коснулась и хорошо знакомой легенды. Григорьев сказал, что в Сибири «в ходу, что Александр в виде старца Федора Кузмича продолжал жить в Сибири», и упрекнул Толстого в том, что он не верит в эту легенду. 17 августа он советовал Льву Николаевичу читать книги об Александре I, на что писатель ответил: «Про Александра Павловича хорошо знаю... Это все пустое, не нужно все это. Это все бесполезно. Как жить, как надо мне прожить — нужно знать»⁶.

В это время Толстой думал уже о собственном «уходе», от которого его отделяло чуть больше двух месяцев.

¹ Гусев. Летопись, II. С. 32.

² ЯЗ. Кн. 1. С. 420.

³ Шильдер Н.К. Император Александр I, его жизнь и царствование: В 4 т. СПб., 1894. Т. I. С. 1.

⁴ Там же. С. 2.

⁵ ЯЗ. Кн. 2. С. 38.

⁶ Там же. Кн. 4. С. 324.

ВОСПОМИНАНИЯ.
ПИСЬМА.
КНИГИ



А. М. Сагацкая-Толстая

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Публикация А. Н. Полосиной

Сагацкая-Толстая Александра Михайловна (1905—1986), внучка Л.Н. Толстого, родилась в Москве в семье А.В. и М.Л. Толстых. С 1920 года вместе с родителями в эмиграции. После окончания лицея в предместье Парижа работала в ателье прибалтийского барона Крайслера по изготовлению искусственных цветов вместе со своей троюродной сестрой Т.М. Толстой. Училась актерскому мастерству у М.А. Чехова. Играла сваху в домашнем спектакле «Женитьба». Была замужем первым браком за И.К. Алексеевым, сыном К.С. Станиславского, вторым — за И.И. Сагацким. Не раз приезжала в Россию. Умерла в Париже. Воспоминания о Ясной Поляне впервые были опубликованы в Париже в «Возрождении» (июнь 1961 г., № 114).

Моего деда я не помню. Знаю только от моей матери, что, когда он приезжал к нам в деревню, его поразила манера нашей старой няни укачивать нас, близнецов, моего брата и меня.

Няня одной рукой сильно трясла кровать и в то же время стучала кулаком в стену, и при этом пела во всю мощь своего высокого голоса: «Будешь в золоте ходить, бриллиантики носить!»

Услышал этот странный шум дедушка и пришел посмотреть, что случилось в детской. Он очень смеялся такому странному способу укачивать детей. Поразительней всего то, что мы почти немедленно засыпали, вероятно, совершенно ошавев от няниной качки.

Это единственный случай, связывающий меня непосредственно с дедом. Помню, как нам сказали о его смерти, было мне пять лет. Показалось нам это очень важным, большим событием. Мы не плакали о нем, мы его не знали, но атмосфера горя, какой-то черной тучи, нависшей над нашим светлым домом, была очень сильна. Помню расстроенное лицо моей матери и спешные сборы в дорогу в Астапово. Отца с нами не было, он был уже там и вызвал ее.

Хотелось бы рассказать о всем том, что я помню о Ясной Поляне и об отдельных случаях из жизни моего деда, о которых мне говорили мой отец, мать и в особенности моя тетя, Татьяна Львовна, которую я горячо любила и близко знала.

Бывала я в Ясной, увы, уже после смерти Льва Николаевича, мне было лет десять-одиннадцать, но я так все хорошо помню. А отдельные картины просто врезались в мою память. Мы очень любили гостить в Ясной Поляне и, к счастью моему, бывала я там и весной и летом, осенью и зимой.

Дедушки не было, но все жило его духом, все напоминало его: казалось, вот он сам откроит дверь и войдет. В его комнатах было все совершенно так, как при нем: на письменном столе в кабинете были те же обгорелые свечи в бронзовых подсвечниках, чернила в чернильнице, любимые им портреты и миниатюры на стенах, низенькое креслице перед столом, а в старинных вазах букетики полевых цветов, которые он так любил.

С особенным уважением и интересом относились мы к кожаному старому дивану, на котором родились дедушка, его три брата и сестра, а также мой отец и все его братья и сестры. Из кабинета дверь вела в спальню. Постель была покрыта вязаным шерстяным одеялом, которое вязала бабушка (у моего отца и у меня были тоже такие одеяла ее работы), на ночном столике — стакан с водой, свеча, спички, колокольчик, изюм, который он любил, в углу висел его халат, стояла палка — все его привычные вещи... Через светлые окна с широкими старинными подоконниками так же, как при нем, зеленели старые липы, поблескивал пруд, плыли облака, и все это особенное, величавое, спокойное... Большое итальянское окно-дверь в кабинете открывалось на балкон. Помню я себя маленькой девочкой на этом балконе. Был летний теплый вечер, солнце садилось. Небо было желто-розовое, быстролетные ласточки чертили по нему зигзаги, ловя невидимых комаров и мух, а я воображала себя какой-то пленной принцессой, и сладко сжималось сердце, я чего-то ждала, было грустно и очень хорошо.

Из кабинета входил в гостиную, очень скромную; в ней редко кто сидел, и через нее попадаешь в залу.

Большая, светлая комната со старинным паркетом, белыми оштукатуренными стенами. В простенках, между окнами, зеркала, вставленные в золоченые рамы с резьбой в форме тонких листьев. Под ними мраморные подзеркальники на золоченых ножках. На стенах портреты дедушек и бабушек.

Посреди комнаты длинный обеденный стол, всегда покрытый белой скатертью, вокруг него простые стулья. В углу, у окна, круглый стол красного дерева, за ним диван и несколько кресел. В этом углу всегда все сидели по вечерам, читали вслух, работали, слушали музыку. У стены два рояля, на которых играли такие музыканты, как Танеев, Гольденвейзер и другие, и под звуки которых мы отплясывали с наслаждением, когда кто-нибудь играл для нас «Барыню» или «Камаринского». Помню я, как моя *grande tante**, Татьяна Андреевна Кузминская, пела под аккомпанемент моего отца. Ей было тогда лет 70, но голос ее звучал, как у молодой, она вся вспыхивала, черные глаза ее блестели. Удивительно было думать, что это поет Наташа Ростова.

Мы очень любили тетеньку, как все называли ее. Она была тонкая, веселая и живая. Про нее есть много всяких рассказов, которые очень ее характеризуют.

Когда-то дедушка жил в Ясной с двумя дочерьми без прислуги. Они сами себе готовили простую вегетарианскую пищу, всякие каши, вареную картошку, как вдруг получают из Москвы письмо, что тетенька Татьяна Андреевна хочет приехать погостить в Ясную. Тетки мои заволновались, как быть? Тетенька избалована, вегетарианское кушанье есть не будет, а резать для нее кур никто не согласится. Дедушка их успокоил, говоря, что все образуется и все будет хорошо.

* двоюродная бабушка (фр.).

В день приезда входит тетенька в залу к завтраку, и что же она видит! К ножке ее стула привязана живая курица, а на тарелке лежит огромный кухонный нож.

«Вот, Таничка, — сказал, улыбаясь во весь рот, дедушка, — ты, если хочешь есть курочку, сама и зарежь ее, даже нож уже тебе приготовили!» — «Ах, Левочка! Вот глупости», — замахала руками тетенька. Все смеялись до упаду, и больше всех, верно, сама тетенька.

Очень я люблю историю переписки дедушки с тетенькой. Как-то раз дедушка ей написал, что она неправильно ставит знаки препинания; в ответ на это получает он письмо без единой точки или запятой. Все эти знаки собраны в конце письма и приписка тетеньки: «Ты, Левочка, уж как-нибудь сам их расставь!»

В молодости тетенька была страстная охотница и наездница, часто ездила на охоту со Львом Николаевичем.

Как-то на охоте выскочил русак. «Ату его!» — закричал дедушка, спустил собак и без памяти поскакал вслед за ними; тетенька, конечно, тоже, как вдруг чувствует, седло ее поехало на сторону, подпруга ослабла и она непременно упадет.

— Левочка, падаю! — закричала она.

— Погоди, голубушка! — прокричал дедушка, как буря, пронесшийся мимо.

У Толстых есть свой особенный язык, родившийся из событий, происходивших в семье, и, конечно, автором этого своеобразного языка был Лев Николаевич Толстой.

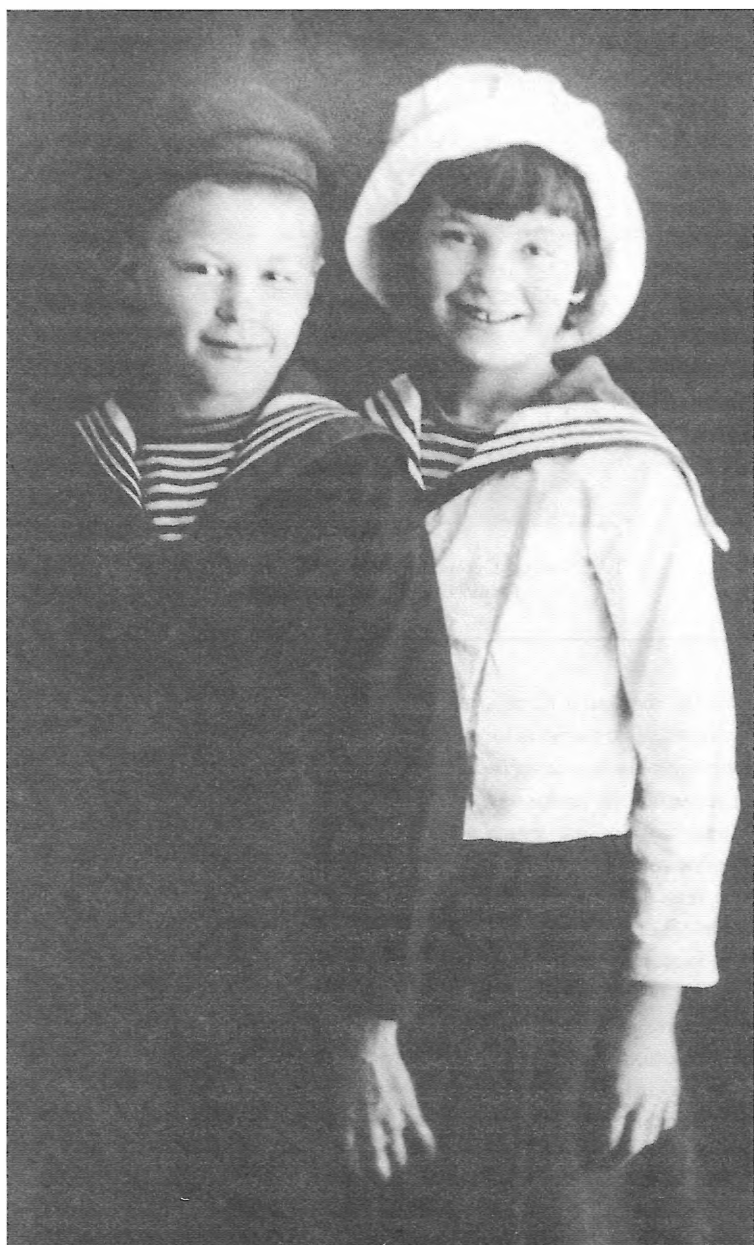
— Потерял амбушуру, — так говорил старый крепостной, игравший на флейте в домашнем оркестре князя Волконского.

Не знаю, сохранился ли старый вяз в яснополянском парке, вокруг которого собирались музыканты. Каждое утро, точно в определенный час, выходил старый князь на утреннюю прогулку. В это время должен был играть оркестр. Вероятно, старый музыкант, игравший на флейте, от старости стал фальшивить. Он потерял амбушуру.

«Для Прохора», об этом пишет мой дядя Илья в своих воспоминаниях. Как-то раз дедушка, сидя у себя в кабинете, слышит через гостиную доносящиеся до него из залы необыкновенно бравурные рулады на рояле. — Кто бы это? — подумал он и пошел посмотреть. Видит, за фортепьяно сидит мой дядя Илья, обыкновенно ленившийся играть, а у окна плотник Прохор выставляет оконную раму. «А, это для Прохора», — подумал дедушка. Так и пошла эта поговорка, определяющая того, кто хочет иметь легкий, незаслуженный успех.

Между двумя комнатами построили новый порог. Тот же дядя Илья, неуклюжий и толстый, споткнулся об него, упал и разбил чашку, которую ему только что подарили и которую он нес показать матери. — «Архитектор виноват!» — завопил он чуть ли не со слезами, так обидно ему было и жаль чашку. Эту фразу говорят у Толстых обыкновенно, когда кто-нибудь хочет свалить свою вину на другого.

В Ясную Поляну часто с Тульского шоссе заходили странники и всякого рода люди. Был один замечательный странник, называл себя князем Блохиным. Когда его спрашивали, почему он не работает, он отвечает, что он «всех чинов окончил» и живет «для разгулки времени». Так и дедушка добродушно дразнил того, кто ленился, называл такого князем Блохиным и «что он всех чинов окончил», работать ему не надо, так как он живет «для разгулки времени». Все эти выражения живы до сих пор и мы часто в семье употребляем их.



Александра и Владимир Толстые — дети М. А. Толстого.
1916 г. (?) Москва



Т. А. Толстая-Сухотина с внучкой Мартой Альбертини.
Рим 1947 г. Редкая фотография

Когда мы гостили в Ясной, жива еще была бабушка. Мы, дети, очень любили ее. Она удивительно умела нами заниматься, и всегда нам было с ней легко и просто, она именно была наша родная бабушка. Вечно была она чем-то занята и все же много времени уделяла нам, своим внукам.

Помню, как она нас учила по-французски «accord du participe passé»*, учила плести венки из маргариток, которые мы набирали охапками, как показывала нам китайские тени на стене и играла с нами в шарады.

В круглом столе в углу залы, за которым все сидели по вечерам, были необыкновенные, казалось нам тогда, выдвижные ящики, в которые были сложены всякие игры, краски, ножницы, декалькомани и т. д. Бабушка вырезала нам из бумаги каких-то удивительных чертиков. Они могли стоять, упираясь на хвост, и быстро скользить по столу, если на них дуть сзади. Чертики эти казались нам особенными, бабушкиными, только она, думали мы, умела их вырезать.

В тех ящиках лежали бабушкины альбомы в полотняных переплетах. В них она рисовала все яснополянские цветы, начиная с самых первых весенних цветочков: подснежников, фиалок, желтых лютиков, и последовательно переходя к цветам, расцветавшим летом; кончался этот альбом грибами. Помню коренастый белый грибок с красно-бурой шапочкой и зеленым мхом у ножки. Бабушка была очень близорука, и рисунки у ней выходили как живые, вот как будто на лист бумаги положили настоящий

* согласование причастия прошедшего времени (фр.).

цветок: все тончайшие жилки были видны. Помню, как мы ходили с бабушкой на могилу. Бабушка легко шла, почти бежала по лесной дорожке и вдруг упадет, вскочит и опять бежит. Ножки у нее были маленькие, обутые в башмачки с французским каблучком.

Особое, тихое чувство чего-то торжественного охватывало душу на могиле. Тихо кругом, ветер покачивает верхушки деревьев, шурша упадет сухая ветка, невольно вздрогнешь. Странно было думать, что под этим холмиком лежит дед, а в доме по-прежнему живут и все осталось так же, как и при нем.

Девочкой я очень жалела бабушку, понимала, какое живое горе было в ней, когда она, стоя на коленях, близорукими глазами оглядывала могилу, снимала засохшую палочку и сухие листья. Голова у ней немного тряслась, тогда я думала, что от старости, но конечно, от всего тяжелого ею пережитого.

Очень любила я посидеть у бабушки в комнате. В углу был большой образ Спасителя. Все стены были сплошь завешаны photographиями так тесно, что почти не было промежутков между ними. На одной стене, между окнами, большая photographия Ванечки, последнего любимого сына бабушки, умершего семи лет, и на столе под photographией его игрушки. Пахло в этой комнате чем-то чистым, старинным, может быть, духами, все было аккуратно и просто.

Хотелось бы передать особую поэзию, которая была в Ясной Поляне и которую мы все чувствовали. Может быть, старый дом, видевший столько поколений, сохранил в своих стенах отблеск их жизни. В автобиографии дед пишет, что в доме не было ничего тяжелого, все были здоровы, веселы, дружны и все любили друг друга. Между прочим, в семье деда была особенная манера, здороваясь и прощаясь, целовать друг у друга руку.

Природа, окружавшая этот старый, милый дом, была удивительная. Огромные леса, казенная засека, тянувшаяся на много десятков верст, где можно было заблудиться, где такие были чудесные тропинки и поляны, ягоды, грибы, орехи, а в тени густых ветвей, из-под сухих листьев расцветали весной синие подснежники, цвели ландыши, ночные красавицы, недалеко извивалась река Воронка, куда мы бегали купаться и где так часто купался дедушка.

А как свежо, пышно цвела черемуха в нижнем саду. Помню эту белую, душистую пену цветов и матовые черные стволы деревьев. Помню старые липовые аллеи «Клины», как их называли, куда страшновато было ходить и где в солнечные жаркие дни было прохладно от дрожащих теней на дорожке. Под окнами комнаты «под сводами» цвела сирень. Мы спали в этой комнате и любили так же, как наш отец и дяди, перелетать, хватаясь руками за большие кольца, ввинченные в сводчатый потолок. Надо было перелетать от одного кольца до другого, не касаясь ногами пола. Эти кольца были вделаны в потолок, чтобы к ним подвешивать колбасы или окорока ветчины, так как при князе Волконском эта комната была кладовой. Потом из нее сделали жилую комнату и одно время она служила кабинетом Льву Николаевичу.

В кустах сирени под окнами так пели и щелкали соловьи, а на прудах звенели и квакали лягушки, что трудно было заснуть. Казалось все волшебным, и старый дом, и парк, и пруд.

А зимой, когда все было завалено снегом и больно было глазам от ослепительной белизны, снег сверкал и переливался на солнце. Деревья стояли как стеклянные от блестящего на них инея и тонко-тонко вырисовывались узором своих веток на синем небе.

На крышах домов лежал пухлый снег, как шапки, и дома казались от этого ниже, видны были легкие следы птичьих лапок, будто крестики. Пруды были замерзшие и тихие, весело было бросать палки на лед, они кружились от удара и быстро скользили набок по поверхности льда. Аллеи завалены снегом и только в середине их протоптаны скользкие, скрипящие дорожки. Под вечер снег казался синим от теней, падающих на него, и блескел кое-где еще заметными искорками.

Мороз щипал уши и нос. Любили мы со всего размаха бросаться спиной в сугроб. Надо было осторожно подняться из него, чтобы не испортить «портрета», так назывался отпечаток, оставленный телом в снегу. Научили нас этому дядя Сергей Львович и тетя Таня, а их, конечно, дедушка.

Хорошо было вернуться с мороза домой, снять мягкие, теплые валенки и погреться у голландской печки; щеки горят и пылают, в доме тепло, уютно, в зале накрывают на стол, горит лампа под белым абажуром, сейчас будем обедать, а после обеда читать вслух или петь песни все вместе у рояля.

Вот прошло столько лет, как я уехала из Ясной Поляны, более сорока, а все вспоминается и никогда не забудется. Часто представляю я себе деда, как живого. Вижу его веселым, ласковым, суровым, серьезным, вижу его светлые острые глаза



Александра Михайловна Сагацкая (урожденная Толстая)
с двоюродным братом Владимиром Ильичом Толстым. 1960-е гг.

из-под нависших седых бровей. Под их взглядом человек чувствовал себя как бы обнаженным, нельзя было притворяться и сказать неправду, все равно некуда спрятаться, глаза видят тебя насквозь и все понимают.

Но, пожалуй, ярче всего представляю я его себе больным стариком, в жару, выходящим из вагона в Астапове. Вижу его худенькую сгорбленную фигуру. Представляю себе весь ужас, беспокойство и волнение окружавших его людей. Как жалко его, и как трагичны последние минуты его жизни.

Не могу не любить его, хотя никогда его не видела. Странно думать, что в маленькой сгорбленной фигуре старика жила тогда еще такая удивительная душа, полная сильнейшими духовными переживаниями, мыслями, чувствами. И вот жизнь эта прекратилась через несколько дней, на железной кровати в чужом доме, где-то на затерянной станции.

Сколько людей о нем писали, говорили, изучали его, и все же до конца таким, каким он был, понять его никто не мог.

Е. Е. Долбе, Н. Х. Абрикосов

РУКОПИСЬ Х. Н. АБРИКОСОВА «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»

В архиве Хрисанфа Николаевича Абрикосова (1877—1957) бережно хранится рукопись под названием «Семейное счастье», написанная им, очевидно, в 1955—1957 годы.

В основу рукописи легли его дневники и переписка с женой, отцом и матерью, охватывающие период с 1902 по 1955 год — год смерти его жены Натальи Леонидовны Оболенской, внучатой племянницы Л.Н. Толстого.

Х.Н. Абрикосов был последователем Льва Николаевича Толстого, его добровольным помощником (1902—1905). С 1905 года, после женитьбы, он — владелец хутора Затишье Мценского уезда Орловской губернии, куда неоднократно заезжал Лев Николаевич. После Октябрьской революции — заведующий совхозом «Затишье», а с 1923 года — заведующий пчеловодством и огородничеством совхоза «Лесные Поляны» под Москвой.

С 1929 года Хрисанф Николаевич работал агрономом-зоотехником в Наркомземе РСФСР. Им написан ряд книг по пчеловодству, а также сделан перевод «Пчеловодной энциклопедии». Работой в Наркомземе и своими печатными трудами Абрикосов способствовал развитию пчеловодства в нашей стране. В 1944 году Хрисанф Николаевич — заведующий библиотекой Научно-исследовательского института пчеловодства. Свою трудовую деятельность он закончил библиографом-переводчиком Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ.

Проведя много лет в общении с Л.Н. Толстым, Абрикосов опубликовал свои известные воспоминания — «Двенадцать лет около Толстого»¹. Рукопись «Семейное счастье» дополняет их. Приведем несколько отрывков из рукописи Х.Н. Абрикосова.

В январе 1908 года по приглашению Софьи Андреевны Толстой Абрикосов с супругой и дочерью Верой приезжает в Ясную Поляну и в течение 20 дней гостит в семье у Льва Николаевича. Вот как описан этот приезд Абрикосовых в Ясную Поляну.

Умывшись, я бегу наверх в залу... Там застаю уже вернувшегося с утренней прогулки Льва Николаевича, в конце длинного стола он разбирает почту с помощью своего секретаря Н.Н. Гусева.

Мы поцеловались. Он любовно и внимательно расспрашивал, как мы доехали и, главное, зажил ли Верин пальчик?

...Лев Николаевич радовался на нашу дочку, забавлял ее, делал из бумаги японских петушков и не раз сам кормил ее кашкой или киселем.

...Я всегда скажу про Льва Николаевича, что личность его была обаятельная. Ум? Знаменитость? Нет, нет, не то, не то. Какой-то свет внутренний, ласка и внимательность

ко всем, простота. Вспоминаешь, что умного сказал он, ничего, ничего особенного, а дорого, дорого его слово, его улыбка, его нежное прикосновение...

...Мне в Ясной Поляне работа всегда находилась. В это мое пребывание Софья Андреевна дала мне переписывать письма Л.Н. к В. Арсеньевой, с которой у него был в молодости роман, нашедший отражение в его повести «Семейное счастье». Так как повесть написана в виде дневника Маши, то мне интересны были как бы ответные чувства его к ней. Я думал найти в его письмах такие идеальные переживания, какие выражались в дневнике Маши. Но этого я не нашел. Я увидел, что весь роман «Семейное счастье» есть художественный вымысел.

В течение всего нашего пребывания в Ясной Л.Н. был здоров и очень бодр. Каждый день он или ездил верхом, или гулял, а иногда просил меня выехать ему навстречу к условленному месту.

Приехал Чертков на несколько дней из Англии по своим делам и привез несколько больших фотографических портретов Льва Николаевича.

Л.Н. дал нам с Наташей выбрать один портрет и надписал на нем: «Милым Хрисанфу и Наташе в знак любви настоящей. 20 января 1908 года».

...В начале июня 1909 года Лев Николаевич решил поехать в Кочеты к своей дочери Татьяне Львовне. Имение Кочеты находилось от Затишья в 18 верстах. Кратчайший путь из Ясной Поляны в Кочеты был по железной дороге до Мценска и далее на лошадях мимо Затишья. Предполагалось, что по дороге Л.Н. остановится у нас. Но в начале июня шли дожди, дорога испортилась и потому Л.Н. поехал на Орел и по Елецкой ж. д. до станции Благодатная, откуда до Кочетов было 15 верст.

Узнав, что Л.Н. в Кочетах, 14 июня я один поехал в Кочеты. Наташа не могла поехать со мной, чтобы не оставлять детей одних.

Лев Николаевич любил отдыхать в Кочетах от многочисленных посетителей, утомляющих его в Ясной Поляне.

После обычного своего отдыха Л.Н. в 6 часов вечера вышел к обеду. Поздоровавшись со мной, он спросил меня:

— А Наташа приехала?

— Она осталась с двумя нашими детьми и просила поцеловать вас.

— Жаль, я был бы рад повидать ее! Но, впрочем, на возвратном пути я непременно заеду к вам, мне хочется видеть, как вы живете, и подробно все у вас рассмотреть.

За обедом был общий разговор... Посторонних никого не было, так что нам никто не мешал после обеда усестись вдвоем в уголке гостиной и поговорить. Я так ценил уединенные беседы со Л.Н.! А теперь мне необходимо было выяснить некоторые интимные вопросы, которые волновали меня...

...Когда я уезжал, прощаясь со мной, Л.Н. сказал Татьяне Львовне:

— Как хорошо мы поговорили с Хрисанфом!

Через три недели, 6 июля 1909 года, часа в три я был на своем пчельнике, который находился у меня в то время в яблочном саду. Иду оттуда с сеткой в руках и вижу — тройка въехала в наши ворота, и идет Л.Н. с Татьяной Львовной.

Лев Николаевич увидел меня, закричал: «А вот и сам Хрисанф!»

Первые его слова были — восторг от красоты нашей местности. Он совсем не ожидал, что здесь так хорошо.

Дорога из Кочетов шла мимо Горбовской усадьбы, расположенной на высоком берегу Зуши, потом через поле и лес круто спускалась к Олешне и мимо Гремучего ключа и живописной мельницы поднималась на гору к нам.

Наташа в это время сидела с работой около дома, за углом крыльца, рядом с ней стояла колясочка, в которой лежал только что проснувшийся Николаша. Она взяла его на руки и подошла к высаживающемуся из коляски Льву Николаевичу. Они расцеловались. Л.Н. внимательно взглянул на нее и сказал: «Как хорошо ты выглядишь, и сын твой имеет прекрасный вид!» В это время подбежала с визгом Веруша, игравшая за углом дома, и со словами: «Вот Ве...» Л.Н., ласково поцеловав ее, воскликнул:

— Три года, какой милый возраст.

Я предложил пройти за угол дома, где с восточной стороны была удобная скамейка со спинкой. Л.Н. взял Верушу за ручку. Идя, он сказал Наташе:

— Ты счастлива, мне нечего спрашивать тебя об этом — это чувствуется по твоему виду.

— Безмерно счастлива, — ответила Наташа, крепко прижимая сына и глядя на Верушу и меня.

— Вы говорили, — сказал я, — ты обязан быть счастливым, и тогда жизнь твоя будет хороша, и потому мы счастливы.

— Надо уметь быть счастливыми и тогда, когда жизнь будет не так хороша, а это всегда может случиться, — прошептал задумчиво Лев Николаевич.

Мы все сели на скамейку... Перед нами открылась даль, в долине покрытая дымкой от тумана, поднимающегося над Зушей, освещенная ярким солнцем.

— Как хорошо! — снова воскликнул Л.Н. — Какой прелестный уголок!

— Да, всем, кто бывает у нас, нравится, — сказал я.

— А что Лизанька давно у вас не была? — обратилась Татьяна Львовна к Наташе.

— Она каждое лето приезжает к нам и подолгу живет у нас, вот и теперь мы ждем ее. Ей очень нравится у нас. Недавно были у нас сестра Маша с мальчиками и с моей няней Олей, и Саша с Леночкой. Все в восторге от Затишья.

Веруша стояла присмирив, прижавшись ко мне. Л.Н., взглянув на нее, сказал:

— Ну, Вера, покажи мне свое хозяйство.

Веруша встрепелась и промолвила:

— Хорошо, но ведь мои любимые гости — коровки — не пришли.

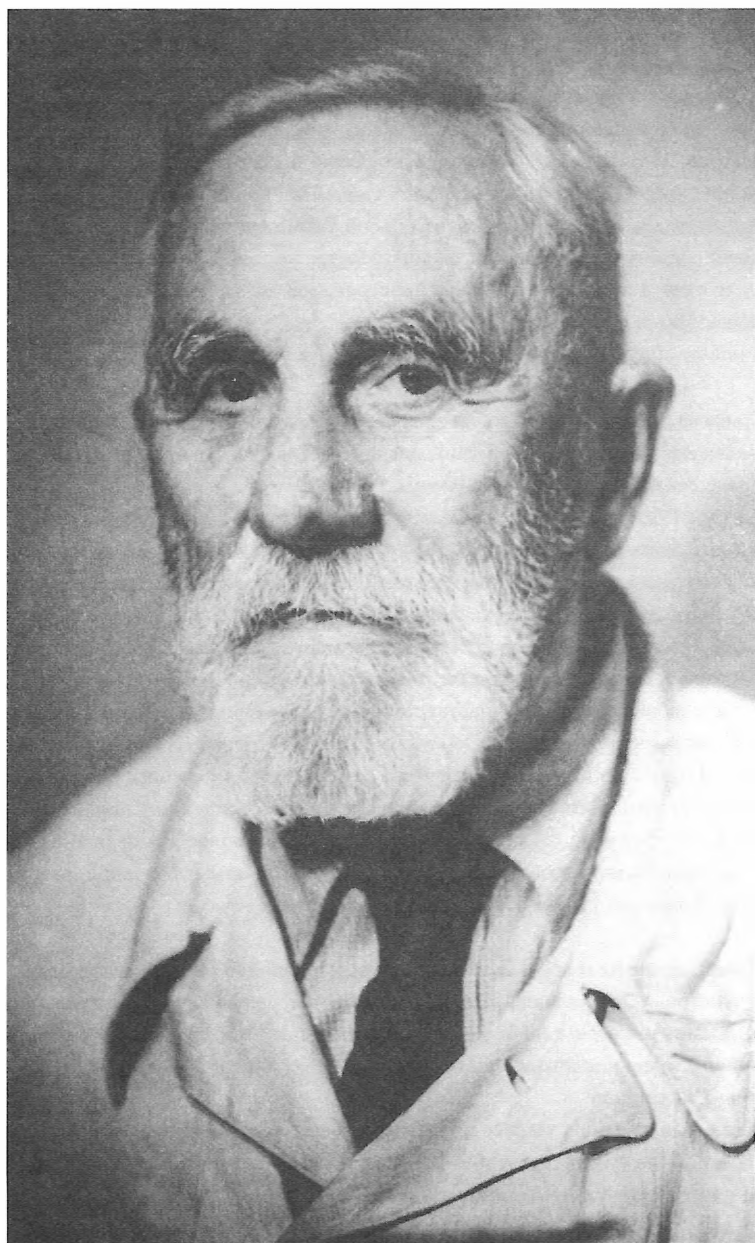
Л.Н. взял ее за ручку и мы пошли, обошли двор, гумно и вдоль опушки леса прошли в поле. Л.Н. обратил внимание, с каким интересом Веруша относится к нашему хозяйству, и все восхищался:

— Как хорошо, какое спокойствие, какой уют!

Потом обратился ко мне:

— Вы написали об Архангельском², теперь вам наказ: пишите о вашем семейном счастье, указав на главные причины счастья.

— На пчельник мы пойдем под вечер, а теперь я проведу вас отдохнуть, — сказал я. После отдыха, когда я зашел в комнату, где Л.Н. отдыхал, он похвалил мне Наташу, сказав, что она девушкой никогда не имела такого хорошего вида и прямо похорошела, несмотря на своих двух детей.



Х.Н. Абрикосов. 1950-е гг.

На террасе Наташа за самоваром с Татьяной Львовной и Верушей поджидали нас. Льву Николаевичу был подан обед, какой он любит: вегетарианские щи и цветная капуста.

Л.Н. похвалил наше хозяйство и поинтересовался, со сколькими рабочими я обхожусь, сколько у нас лошадей и скота. Перед отъездом на станцию Мценск он захотел пройти на пчельник. Он заинтересовался тем, что у меня среди рамочных ульев одна колода. Я объяснил, что пчелиную семью в колоде купил у местного однодворца и не стал перегонять ее, предоставляя ей свободно роиться; рои отсаживаю в рамочные ульи. Л.Н. одобрил этот способ укомплектования пчельника. Он остановился среди ульев с пчелами, заложил руки за пояс и с наслаждением вдыхал аромат цветов и меда, который распространялся от тяжело нагруженных пчел, возвращающихся со взятка...

Я поехал проводить их до станции Мценск.

Хрисанф Николаевич подробно описывает поездку в Мценск и прощание с Львом Николаевичем на вокзале. Лев Николаевич настоял на поездке в вагоне третьего класса, где ехали в этот раз переселенцы.

В январе 1910 года Хрисанф Николаевич едет в Ясную Поляну, откуда 5 января пишет своей жене: «Здесь все очень хорошо. Л.Н. здоров и очень бодр. Жизнь здесь, как всегда, бьет могучим ключом. В один день я пережил столько, сколько другой раз не переживешь за месяц. Хорошо говорил со Л.Н.; украшали елку для маленькой Танечки. Читали письма со Л.Н. Письма к нему и его письма. Была елка. Сергей Львович играл, все развеселились и даже танцевали (я с Татьяной Львовной полку). И в конце концов Л.Н. зазвал всех к себе в кабинет, читал свою новую статью «Сон», которая вызывала горячие споры, сам Лев Николаевич волновался и горячился, а Софья Андреевна волновалась за него».

В 1910 году Лев Николаевич еще два раза заезжал в Затишье к Абрикосовым. 20 мая из Кочетов Лев Николаевич приехал в сопровождении Татьяны Львовны, Маковицкого, Черткова, Булгакова и фотографа-англичанина. На поляне под бугром фотограф снял Льва Николаевича одного, потом с Татьяной Львовной, затем детей и супругу Хрисанфа Николаевича. Вот что пишет Абрикосов:

Милой, я уже не говорю интимной, дружественной беседы не могло быть. Я все время чувствовал осуждающий взгляд Черткова, выражающий неприятие моего образа жизни и моего хозяйства. В то время как Лев Николаевич в прошлый свой приезд только радовался на нашу жизнь и хозяйство, в Черткове я все время чувствовал порицание.

Когда сели за чай на террасе и Наташа позвала Василису — девушку, служащую у нас, попить чаем Верушу, чтобы самой быть свободнее и заняться гостями, каким пронзающим взглядом он взглянул на меня.

22 сентября 1910 года Лев Николаевич опять заехал из Кочетов к Абрикосовым на хутор Затишье. Его сопровождали Александра Львовна и Душан Петрович Маковицкий. Чувствовалось, что Лев Николаевич тяжело переживал гнетущую атмосферу Ясной Поляны и очень хотел поделиться своими переживаниями.

Вот как описан у Абрикосова этот последний приезд Льва Николаевича в Затишье:

Как только он приехал, я его провел отдохнуть. Через несколько времени я вошел; он уже не спал и ласково меня окликнул. Я сел подле него и он грустно сказал мне: «Вы, вероятно, все знаете от Лизаньки, мне послано испытание — это хорошо, но не хорошо то, что должно было легко переносить его, а мне тяжело...»

Мы пошли в соседнюю комнату повидать троих наших детей. Сидел с ними и спрашивал Наташу про них. Потом пил с нами чай, спрашивал о нашем домике, как мы его построили и почему такие низкие комнаты, тепло ли в нем зимой.

Я рассказал ему, как мы постепенно строили наш дом, как в игре в домино прикладывают к костяшке костяшку, так мы прикладывали сруб к срубу по мере увеличения семьи, и как скудны были наши средства в начале нашей жизни в Затишье, поэтому я строился очень экономно, от этого и потолки низкие, я заботился только о том, чтобы было тепло зимой, и это мне удалось.

...Прощаясь, звал в Ясную: «Я люблю общение с вами, я беру с вас обещание побывать у меня», — сказал он.

Было очень приятно и хорошо с ним. На станцию я не поехал его проводить... ему хотелось быть одному, и он поехал один в нашей пролетке на наших лошадях, а сзади за ним на извозчике поехали Александра Львовна и Душан Петрович.

Каким жалким и грустным он показался нам...

Из газет Хрисанф Николаевич узнает об уходе Льва Николаевича из Ясной Поляны. Он едет в Кочеты к Сухотиным, надеясь узнать подробности ухода и болезни Льва Николаевича. Они с Михаилом Сергеевичем Сухотиным ежедневно получали письма и телеграммы от Татьяны Львовны со станции Астапово. Во время похорон Льва Николаевича Абрикосов был в Ясной Поляне. В рукописи он приводит выдержку из своего дневника от 17 ноября 1910 года, описывая чувства к своему учителю. Он записывает: «Со смертью Л.Н. я лишился не только близкого мне любимого человека, я лишился как бы духовного руководителя, своего рода «старца», которым он был для меня с 20-летнего моего возраста, вопреки его желанию, но приходится признать, что это было так. И поэтому смерть его для меня была большим ударом и переживанием...»

После смерти Льва Николаевича приверженность Хрисанфа Николаевича к религиозным воззрениям Толстого поколебалась, что, как видно из рукописи, вызывает у него большие душевные муки.

11 декабря 1911 года он пишет жене: «Лев Николаевич при жизни своей занимал для меня слишком большое место (это даже было нехорошо). Он умер, стало пусто и одиноко. Он выработал для себя Бога, слишком абстрактного для меня, для нас, простых смертных. Бог этот слишком абстрактен и потому недоступен, и потому мы слишком одиноки».

Заметим, что религиозные воззрения Льва Николаевича, и особенно его взгляды на нравственность, все еще недостаточно изучены и систематизированы. Многими они пока сводятся только к «непротивлению злу».

Нам представляется, что рукопись Х.Н. Абрикосова «Семейное счастье» может в какой-то мере дать ответ на многие интересующие исследователей и читателей вопросы.

¹Абрикосов Х.Н. Двенадцать лет около Толстого. — *Летописи*. С. 377—463; Он же: Мои воспоминания о Л.Н. Толстом. «Пчеловодство», 1948. № 9. С. 57—60.

²Александр Иванович Архангельский (1857—1906) — ветеринарный фельдшер, живший в г. Бронницы Московской губернии, автор статьи «Кому служить?», прочитанной Л.Н. Толстым в рукописи и высоко им оцененной (70, 12). Впервые опубликована в Болгарии в 1911 году; у нас издана в 1920 году. Х.Н. Абрикосовым составлена биография А.И. Архангельского, просмотренная в рукописи и исправленная Толстым. Под заглавием «Жизнь Александра Ивановича Архангельского» напечатана в 1910 году в Бургасе (Болгария).

ТАРХАНСКАЯ НАХОДКА

(письма из прошлого)

Публикация О. С. Пугачева

Бег времени неотвратим... С этой истиной никто не спорит, разве только фантасты, философы, да дерзновенные ученые. Но человеческая природа устроена так, что желание проникать даль времен в сторону прошлого и будущего никогда нас не оставляет. И как рады бываем мы, встречаясь с немymi или говорящими свидетелями прошедшего, невозвратимого. Письма из прошлого... Они не предназначались для нас (за редким исключением), они пронизаны духом и заботами *той* современности, и все-таки, читая их, мы больше постигаем себя, историю, человеческое в человеке.

О письмах из прошлого, их авторах и получателях мы и хотим рассказать читателю. Есть на пензенской земле уголок, который дорог каждому почитателю таланта М.Ю. Лермонтова, — это Музей-заповедник «Тарханы», несколько лет тому назад отметивший свой полувековой юбилей. В Тарханах, имении бабушки, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (урожденной Столыпиной), поэт провел половину своей короткой жизни, сюда стремился он «из дальних странствий», здесь обрело последний покой его тело, привезенное в 1842 году из Пятигорска. В 1973 году, во время реставрационных работ в барском доме, один из мастеров-реставраторов обнаружил в старинном секрете в стиле ампир толстую пачку писем. Оказалось, что они принадлежали семье Виктора Николаевича Мартынова, самого младшего из детей печально известного Н.С. Мартынова. В родословной Мартыновых, составленной А.Н. Нарцовым, содержатся следующие сведения о В.Н. Мартынове: «Родился в 1858 г. Камергер, инспектор уделов на Кавказе; женат на Софье Михайловне Катениной, дочери бывшего наказного атамана Оренбургского казачьего войска. Опекун малолетних Шереметевых...»¹ Эти данные вполне совпадают с материалами писем, в которых В.Н. Мартынов описывает свои служебные поездки, упоминает о намерении представиться государю, сообщает жене о смерти своей родственницы — Ольги Шереметевой и об опекунстве над ее детьми, о том, что начальство представило его в камергеры², и т. п.

Почти все найденные письма адресованы жене В.Н. Мартынова Софье Михайловне. Ее имя в нашей литературе упоминалось лишь в сносках как «знакомой Л.Н. Толстого»³, а в книге А.Ф. Лосева о Вл. Соловьеве было сказано, что «в 1892—1894 годы он увлекался некоей С.М. Мартыновой»⁴. В опубликованной в 1990 году работе (написана в 1978—1981 гг.) А.Ф. Лосев процитировал следующий отрывок из книги С.М. Соловьева-младшего, племянника знаменитого философа:

«Любовь Соловьева и на этот раз носила глубоко мистический характер. Лучшее из стихотворений, вызванных личностью Мартыновой, «Зачем слова?» написано им в «телепатическом настроении». Как будто в лице Софьи Михайловны он последний раз увидел и «розовое сияние» вечной Софии и двойственную душу мира, «ниву Христову, которую сатана засеивает своими плеведами». Но сравнительно с длительной, «мучительной и жгучей» любовью его весны и, скажем смело, всей жизни, любовь эта носила романтический, фантастический и иногда не вполне серьезный характер»⁵.

Нам пока неизвестно, на какие данные опирался А.Ф. Лосев, когда давал С.М. Мартыновой следующую неслестную характеристику: «...в конце 1891 года он (Соловьев. — О. П.) сблизился с Софьей Михайловной Мартыновой (опять «Софья»!), светской замужней дамой, любившей наряды, удовольствия и вообще светскую жизнь, а кроме того, имевшей к этому времени двоих детей. Той духовности, которой обладала С.П. Хитрово, у С.М. Мартыновой, по-видимому, совсем не было»⁶. Содержание писем, публикуемых ниже, вероятно, убедит читателя в обратном. Если взять на себя смелость дать предварительную оценку тарханской находки (а она включает в себя не только письма, но и две фотографии, записки, срезанные «для памяти» детские локоны, книгу с записью приданого и даже засушенный век назад цветок), то можно сказать, что мы имеем дело с ценным памятником русской культуры конца XIX — начала XX века. Страницы писем пестрят фамилиями, широко известными в России не только в прошлом: Голицыны, Толстые, Шереметевы, Апраксины, Данилевские, Вяземские, Клейнмихель, Трубецкие, Фридерикс и др. В круг знакомых и друзей Софьи Михайловны входили Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, кн. С.Н. Трубецкой, В.Г. Чертков, А.М. Лопатин, В.А. Величко... Может быть, современному читателю некоторые из этих имен ничего не говорят (а мы перечислили далеко не всех тогдашних знаменитостей, с кем была знакома С.М. Мартынова), но тем интереснее, видимо, будет с ними познакомиться, ибо они составляли часть того тонкого и раннего слоя, который называется русской культурой.

Об истории тарханской находки автору удалось сообщить в 1980 году со страниц районной газеты «Сельская новь»⁷. Областная газета «Пензенская правда» хотя и подготовила заметку к публикации, но печатать не решилась: по-видимому, смущали «классово чуждые» фамилии, и особенно Мартыновы... Молчала и центральная «Неделя». А может быть, тогда, 18 лет назад, все это было неинтересно «народу»? Кажется, напротив, очень интересно, если судить по той реакции, которую проявляли люди, когда после экскурсии по музею мне приходилось отвечать на многочисленные вопросы, в том числе и о том, «та» эта мебель в барском доме или не «та». И вот тут-то кстати был мой рассказ о старинном секретере, привезенном в 1939 году то ли из ГИМа, то ли из Дмитровского хранилища⁸ в Тарханы первыми экспозиционерами. Датируется он 40-ми годами прошлого века и в собственность государства перешел во время революции, скорее всего из села Знаменского (тогда подмосковного) — родового имения Мартыновых. Вполне возможно, что секретер принадлежал и самому Н.С. Мартынову, застрелившему на дуэли Лермонтова. Вот так, по странной иронии судьбы, в барском доме, в комнате бабушки поэта оказался мартыновский секретер, за давностью лет называвшийся вещью, которая принадлежала ей...

Первые исследователи писем, установив, что они принадлежали семье Мартыновых, надеялись отыскать в них прежде всего новые сведения о дуэли или еще что-либо, относящееся к Лермонтову или Мартынову, или их окружению. Но ничего подобного в письмах не оказалось, чем, видимо, и можно объяснить тот факт, что они остались в свое время без должного внимания.

Авторство В.А. Величко, Т.А. Толстой, В.Г. Черткова и некоторых других легко устанавливается по подписям, а вот письма В.С. Соловьева были атрибутированы мной вначале по косвенным данным, а затем их фотокопии были посланы на графологическую экспертизу, подтвердившую первоначальное предположение. Авторство некоторых записок и писем пока остается неустановленным, не везде выявлено, о ком или о чем идет речь. Словом, изучение находки должно продолжаться.

Отбирая материал для данной публикации, мы исходили прежде всего из принципа содержательности его и известности имени автора письма. И, конечно, многое еще остается вне данной работы, что достойно подобного исследования и публикации: это некоторые письма В.Н. Мартынова, протоиерея И. Восторгова и др. Выражаю надежду, что публикуемые материалы будут небесполезны для историков, литературоведов и всех неравнодушных к истории русской культуры.

Письма к С.М. Мартыновой

1. Т. А. Толстая

19-ое ноября. 1896.

Ясная Поляна.

Дорогая Софья Михайловна,

никак я не ожидала, что мне придется быть у вас в Тифлисе, а вот случилось так, что мне приходится просить вашего гостеприимства. В начале декабря еду на Кавказ, чтобы навестить и, если возможно, как-нибудь облегчить судьбу духоборцев. До нас доходят о них ужасные сведения: говорят, из ста человек один здоровый, так как от голода и лишений между ними завелись разные болезни. Вот уже два года, как никто из них не женится и не выходит замуж, потому что они считают стыдным думать о новых семьях, когда те, которые есть, лишены необходимого и находятся в таких ужасных условиях.

Прощайте, милый друг, я ужас как радуюсь увидеть вас, и постараюсь привезти вам из Москвы побольше свежих новостей о всех ваших знакомых. Через неделю думаю там быть, а еще через неделю или две выеду на Кавказ. Пожалуйста напишите мне два слова в Москву. А о моей поездке лучше никому не говорите, потому что я боюсь, что меня могут не допустить до духоборов.

Крепко целую вас и ваших прекрасных, исключительно хороших детей, которых всегда вспоминаю с любовью и с похвалой вам за их воспитание.

Ваш друг Т. Толстая.

2. В. С. Соловьев

Милая Софья Михайловна,
 мой друг Левушка Лопатин⁹ передал мне, что вы на меня обижены. Напрасно!
 Я сохраняю к Вам лучшие чувства, и в те минуты, когда воображаю себя Офе-
 лией, поминаю Вас в своих молитвах. В начале лета я был в Москве на три дня
 по делу и не успел повидать даже своего любимого брата Мишу¹⁰. Осенью соби-
 рался в Тифлис, но ничего не вышло.

Надеюсь, до свидания летом.

Всем Вашим сердечно кланяюсь.

Влад<имир> Сол<овьев>.

11 окт. <18>96.

Мой центральный адрес: Петербург, Галерная 20.

Редакция Вестника Европы¹¹.

3. В. С. Соловьев

Милая Софья Михайловна.

Вопиющий контраст между вчерашнею тишиною, благоуханием и благополу-
 чием и сегодняшним адом на Никольской улице ощущается мною так мучи-
 тельно, что быстроту моего отъезда из Знаменского следует понимать как
 некий аскетический подвиг, в чем я и нахожу себе утешение, повторяя девиз
 моего друга Победоносцева¹²: «уж нам не до жиру, а лишь бы быть живу».

Истиною этого афоризма более или менее проникнуты и те несколько
 произведений, больших и маленьких, которые я по возвращении в Петербург
 пришлю Вам.

Приехав ночью в гостиницу, я нашел пакет, посланный Трубецким¹³ и шед-
 ший из-под Москвы в Москву трое суток. Я рад, что мой диалог уже нашел вни-
 мательных читателей в администрации Московской губернии¹⁴, но все-таки
 свое оправдание Вам пошлю заказным на Крюково. Если это неправильно, то из-
 вестите Петербург. Галерная 20, редакция Вестника Европы.

Не знаю, позволит ли мне наш с Победоносцевым девиз вернуться через месяц
 в Знаменское или приехать осенью на Кавказ¹⁵. Во всяком случае — до свидания.

Сердечно приветствую Ваш подрастающий цветник.

Очень рад был встрече с Евгенией Егоровной, которая мне кажется почему-
 то давнишнюю знакомой.

Душевно Вам преданный

Влад<имир> Соловьев.

14 июля 1899.

4. В. Г. Чертков

Многоуважаемая
Софья Михайловна,

За несколько часов до выезда моего из России в изгнание¹⁶ на неопределенный срок, обращаюсь к Вам с просьбой, которую, я в том не сомневаюсь, Вы со свойственной Вам сердечностью исполните не только во имя наших прежних добрых отношений, но и потому, что самый предмет просьбы не может не вызвать Вашего сочувствия.

Изложить этот предмет письменно я сейчас не имею возможности. Скажу только, что прошу Вас отыскать в Тифлисе одного большого друга моего и, в чем можете, помочь ей лично в том трудном положении, в котором она сейчас находится, и оказать Ваше посильное содействие в том деле, которое меня с нею соединяет. Остальное все она расскажет вам сама, если Вы ее увидите.

Быть может, Вы с нею найдете удобным, чтобы дальнейшие деньги, которые будут высылаться по этому делу, высылались на ваше имя для передачи Вами кому следует.

Имя и адрес следующие:
Княгиня Елена Петровна Накашидзе.
Тифлис.
Мало-Коргановская № 11.

По приезде в Англию, где я думаю поселиться, надеюсь написать Вам более обстоятельно. Сейчас же вынужден ограничиться этими несколькими строками ввиду особенной спешности этого дела.

Очень прошу вас ответить мне, вложив Ваше письмо в два конверта, причем на наружном написать только следующее:

Москва.
1-ая Мещанская.
Капельский переулок.
Дом № 9, Соколова.
Павлу Александровичу Буланже,
а на внутреннем — мое имя.

Не могу высказать Вам, Софья Михайловна, как я рад, что имею возможность обратиться к Вам с этою просьбою в полной уверенности, что она не покажется Вам докучливой, и что Вы сделаете все возможное для оказания содействия моему другу и ее делу.

Почтительно и сердечно
Вам преданный
В. Чертков.
18-го февр. <18>97 г.

5. В. Г. Чертков

13.12. <18>99_н<ового> с<тиля>

Многоуважаемая Софья Михайловна,

С удовольствием исполняю Ваше поручение и высылаю при сем 2 экз. «Воскресения» Л.Н. Толстого — двух первых частей. Третью часть буду высылать Вам в листах по мере выхода по тому же адресу.

Весь роман с доставкой в Россию стоит 6 руб. Следовательно за эти два экземпляра нам следует получить 12 руб., которые можно выслать русскими ассигнациями в заказном конверте.

Я был очень рад получить Ваше письмо, которое тронуло меня Вашей доброй и столь незаслуженною мною памятью обо мне.

Простите, что не ответил на Ваше письмо, написанное Вами в ответ на мое несколько лет тому назад. Я получил его в очень хлопотливое для меня время, и оно до сих пор лежит в числе неотвеченных мною писем, на которые все собираюсь когда-нибудь и, вероятно, никогда не придется ответить. Сказать же Вам по его поводу я только хотел, что вполне понял те соображения, по которым Вы тогда стеснялись исполнить мою просьбу. Не знаю, впрочем, помните ли Вы еще, чего она касалась.

Теперь у меня к Вам есть другая маленькая просьба: не можете ли Вы спросить у В<еликого> К<нязя> Николая Михайловича¹⁷, согласился бы ли он разрешить мне от времени до времени посылать на его имя письмо для моей двоюродной сестры и его друга Нелли Бярятинской, которое он пересылал бы ей по почте или иным путем? Таким образом письма эти миновали бы пограничную цензуру. Посылал бы я ей только п и с ь м а , а не книги или брошюры.

Затем мне хотелось бы доставить Вам несколько написанных и изданных мною брошюр, которые я хотел бы попросить Вас принять от меня ради некоего взаимного душевного общения. Можно ли их выслать через него же?

Передайте, пожалуйста, мой почтительный привет Вашему мужу. От души желаю Вам всего самого лучшего и всегда вспоминаю Вас с самым хорошим и приятным чувством.

Искренне уважающий Вас и Вам преданный
В. Чертков.

6. В. Г. Чертков

24.III.1900

Многоуважаемая

Софья Михайловна,

Простите меня, что так долго не отвечал на Ваше последнее письмо. Деньги получил и благодарю Вас.

Меня очень огорчает, что Вы так долго не получили высланного Вам.

Может быть, с тех пор получили. Но я на всякий случай высылаю Вам с этою же почтою тем же путем другой экземпляр нового иллюстрированного издания¹⁸. Если Вы предыдущий экз. получили, и этот Вам не понадобится, то Вы, наверное, легко найдете кому его уступить. (Если будете присылать деньги, то высылайте, пожалуйста, русскими ассигнациями в заказном конверте.)

От души желаю Вам всего хорошего.

Искренне преданный Вам
В. Чертков.

7. В. А. Величко

София Михайловна!

Не знаю, как благодарить Вас за милое, благородное письмо, которое мне дорого даже не столько тем, что оно явно проникнуто сочувствием к злополучному изгнаннику, сколько тем, что В а с оно показало во весь рост! Я давно уже верю только в исключения, а к «массе» отношусь научно-филантропически. Особенно дорого встречать светлые, искренно ценимые исключения именно среди людей, с которыми сама судьба сближает общностью умственных интересов и симпатий: это все равно что для человека, ищущего благ земных, выиграть 200 тысяч. Я, положим, считал Вас «счастливым билетом», но «выиграть» пришлось именно в годину бедствия, что вдвойне дорого... Спасибо, великое спасибо за то, что Вы такая хорошая!.....

Дорогого Виктора Николаевича, оказавшегося вполне на высоте своей прекраснейшей половины, я видел всего один раз и был сердечно тронут его милой ко мне. Оказалось, что в нем принципы берут верх даже над родственными связями: для человека, прожившего на Кавказе и по рождению принадлежащего к той или иной «coterie»*, это довольно сильно!..

О делишках пока особенно нечего писать, т. к. они пока еще в периоде подготавливательном: в России очень скоры только на ругань или сумасбродство, а на дело не так уж... *Mais je crois avoir servi déjà pauvre vieux prince son petit chocolate***.

Здесь его поступком возмущены весьма многие и я нашел платоническую симпатию в таких сферах, о которых во время самых тщеславных «снов» не мог и мечтать человек, прогнанный, как лакей. Я, впрочем, не возгордился, ибо от природы «прост и мил»... С печатью произошло нечто курьезное: «либеральная» печать, т. е. «Россия», «Ст<оличные> Ведомости», «Новошты», «Шин Атэчэства» и т. п., воспользовалась случаем, чтобы меня разругать, а «Новое Время», «Московские Ведомости» и даже «Гражданин» встали за меня горой...

Мария Георгиевна здравствует и посылает к Вам нежностью. Простите, что так долго не отвечал Вам: но чтобы бороться с таким Голиафом, «Давиду» пришлось бегать с утра до ночи, высунув язык и давая ему работу...

* партии (фр.).

** Но, думаю, я уже достаточно угостил бедного старого князя (фр.).

Посылаю Вам «Денницу»¹⁹, как воспоминание о моей литературной «ночи». Взойдет ли еще для меня денница? Не ручаюсь: только теперь я чувствую, как глубоко устал: не тянет ни к бывшей работе, ни даже к жизни! И представьте: как это ни глупо, но мне даже мучительно испытывать презрение к человеку, в котором я соответственных недостатков долго не хотел видеть и которого даже любил как идею или как свою патристическую мечту!..²⁰

От души целую Ваши ручки.

24 янв. 1900.

Весь Ваш В. Величко.

¹ Нарцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904. Ч. 1. С. 98.

² Виктор Николаевич был самым младшим из сыновей Н.С. Мартынова. Позднее он занял место ушедшего в отставку знаменитого российского винодела кн. Голицына. Кроме Виктора в семье было еще 10 детей: самый старший, Сергей, служил в министерстве юстиции товарищем прокурора, членом суда. Затем был земским начальником. Именно он, уже после смерти отца, выступил в печати со статьей в его защиту, обвиняя секунданта и поэта, а Н.С. Мартынову отводя роль «слепого орудия Провидения». Отрицательное впечатление от встречи с Сергеем Николаевичем осталось у А.М. Горького, что объясняется, может быть, и известной психологической «установкой». (См.: Письмо Горького С.Н. Сергееву-Ценскому из Сорренто от 28 марта 1927 года, в кн.: Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956, С. 14–15). Второй по старшинству — Дмитрий — имел почетное звание гофмейстера Его Величества, занимал пост губернатора Варшавы; третий — Анатолий — лейтенант флота, в отставку вышел, имея чин надворного советника; четвертый — Владимир — служил в Ахтырском гусарском полку, в найденных письмах есть сведения о его смерти; пятый — Борис — капитан 2-го ранга, командир судна в Порт-Артуре; некоторые из дочерей жили за границей.

³ В своих дневниковых записях Л.Н. Толстой не раз упоминает о семье Мартыновых (Толстые и Мартыновы, как и многие другие дворянские роды, находились в родстве); известно его письмо к С.М. Мартыновой (90, 310), где речь идет о духоборах, как и в публикуемом здесь письме Т.Л. Толстой. В Юбилейном издании ошибочно указан год смерти С.М. Мартыновой (1931) — она умерла в 1908 году.

⁴ Лосев А.Ф. Вл. Соловьев (Мыслители прошлого.) М., 1983. С. 40. Строго обозначенные видным философом временные рамки увлечения Вл. Соловьева вряд ли нужно понимать буквально. С С.М. Мартыновой Соловьев познакомился в 1887 г. в гостях у Е.И. Баратынской, как это сказано в комментариях к изданию: Владимир Соловьев. Неподвижно лишь солнце любви: Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников / Сост., вступит. статья, коммент. А.А. Носова. М., 1990. С. 400. Здесь же ошибочно указано, что муж С.М. Мартыновой был племянником Н.С. Мартынова, тогда как он был сыном последнего.

⁵ Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. Литературные размышления философа. М., 1990. С. 184. Работа «Жизненный путь Вл. Соловьева» составила первую главу другой книги: Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990.

⁶ Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 308.

⁷ Пугачев О.О чем рассказали письма // Сельская новь (Белинский район Пензенской области). 1980 г. № 31, 6 марта. С. 4.

⁸ Письма хранятся в фондах лермонковского Музея-заповедника «Тарханы», где автору в 1977–1979 гг. посчастливилось работать в качестве научного сотрудника. Разбором и исследованием находки я занимался по рекомендации и плану, утвержденному В.А. Арзамасцевым, тогда генеральным директором объединения музеев области, и Т.М. Мельниковой, директором музея «Тарханы». Помнится, именно Тамара Михайловна подсказала версию, по которой секретер мог попасть в Тарханы. Она же посоветовала для уточнения написать письмо одному из первых экспозиционеров, работавших при создании музея, известному лермонтоведо и искусствоведу Н.П. Пахомову, что я и сделал. Но Николай Павлович был уже тяжело болен, а вскоре было получено известие о его смерти, так что он вряд ли успел ознакомиться с моим письмом. По версии, изложенной в статье ст. научного сотрудника Т. Кальян (предположение высказано зав. фондами музея В.А. Рыбаковой), опубликованной в районной газете «Сельская новь» (1991 г. № 128. 24 окт. С. 4.), «секретер попал в музей из Дмитровского хранилища, куда после революции свозились вещи из подмосковных барских усадеб. До революции он находился в селе Знаменском, родовом имении Мартыновых».

⁹ Лопатин Лев Михайлович (1855–1920), видный русский философ, близкий друг Соловьева, которого считал своим учителем и с которым вел полемику по некоторым философским вопросам. Редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1894 г.) и председатель Московского психологического общества (с 1899 г.).

¹⁰ Соловьев Михаил Сергеевич (1862–1903), младший брат В.С. Соловьева; филолог и историк, преподавал в гимназии; переводчик Платона.

¹¹ В «Вестнике Европы» Соловьев поместил много своих статей. «Центральным» адрес назван потому, что философ до конца дней вел «полукочевой» образ жизни, так и не обзаведшись собственным домом.

¹² Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), известен как обер-прокурор Св. Синода (1880–1905), до вступления на эту должность был профессором гражданского права в Московском университете, а также преподавателем у Александра III и Николая II. Вл. Соловьев подозревал, что за ним по отношению Победоносцева учрежден полицейский надзор, так что слово «друг» по отношению к последнему звучит иронически. Более подробно о взаимоотношениях Вл. Соловьева и К.П. Победоносцев см.: Лосев А. Владимир Соловьев и его время. С. 471–476.

¹³ Имеется в виду скорее всего кн. Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920), видный русский философ, друг Вл. Соловьева и во многом его последователь. Автор труда «Миросозерцание Вл. Соловьева» (М., 1913. Т. 1 и 2).

¹⁴ Видимо, намек на перлюстрацию.

¹⁵ Письмо написано за год до смерти. Соловьев не раз выражал ее предчувствие.

¹⁶ В 1897 г. В.Г. Чертков был выслан из России за воззвание о помощи кавказским духоборам.

¹⁷ Николай Михайлович, великий князь (1859–1918), знакомый Толстого и В.Г. Черкова. Лев Николаевич находил в этом знакомстве «что-то ненатуральное»:

«Вы — великий князь, богач, близкий родственник государя, я человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом» (76, 31–32).

¹⁸ Роман Л.Н. Толстого «Воскресение».

¹⁹ Речь, видимо, идет о сборнике стихов поэта Василия Львовича Величко (1860–1903), иногда помещавшего свои произведения под псевдонимом «В. Воронцовский». Автор одной из первых биографий Вл. Соловьева, был близким другом знаменитого философа и его вдохновенным почитателем.

²⁰ Остается пока невыясненным, о ком идет речь.

А. С. Усачева

ЧЕТЫРЕ КНИГИ ИЗ МУЗЕЙНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Уникальность личности Л.Н. Толстого, широкий круг его интересов, литературная и общественная деятельность, его нравственные искания, его роль в отечественной и мировой культуре определили тематику коллекции печатных изданий Государственного музея Л.Н. Толстого.

Прежде всего это произведения самого Толстого от первых публикаций, первых отдельных и других прижизненных изданий до современных на языках народов всего мира; среди них — книги, приговоренные цензурой к уничтожению, литографированные, гектографированные и другие издания, книги, напечатанные за рубежом для нелегального распространения в России.

Это критические работы о его творчестве от первых рецензий в журналах 1852 года до современных работ отечественных и зарубежных исследователей; биографические материалы, в том числе гербовники и родословные книги; источники произведений и книги из круга чтения, среди которых есть «ровесники» Толстого и более ранние — из времени героев его исторических произведений (начало XIX в.) или его «литературных собеседников» («Наказ» Екатерины II, XVIII в.).

Многие книги как издания являются библиографической редкостью, а как экземпляры уникальны, так как содержат пометы, автографы, дарственные надписи. Среди них автографы самого Толстого, С.А. Толстой, их детей Сергея, Татьяны, Александры, их внуков С.А. Толстой-Есениной, С.М. Толстого; автографы писателей (Н. Лескова, В. Розанова, Д. Мережковского, А. Белого, Л. Леонова, К. Корсакаса, Э. Межелайтиса, Р. Роллана и др.), исторических и общественных деятелей (императора Александра III и революционера П.А. Кропоткина), друзей и единомышленников Толстого (В.Г. Черткова, П.И. Бирюкова, А.Б. Гольденвейзера, Н.Н. Гусева, В.Ф. Булгакова).

Предметом нашего внимания будут четыре книги: первые отдельные издания произведений Толстого «Детство и Отрочество», «Военные рассказы», «Власть тьмы» и книга Андрея Белого «На рубеже двух столетий».

В «Книге поступлений в Библиотеку Толстовского музея» есть такая запись от 2 августа 1930 года:

«Детство и Отрочество: Сочинение графа Л.Н. Толстого. СПб.: Тип. Э. Праца, 1856. Получено от Величко в обмен на 82 тома творений св. отцов».

Экземпляр этот принадлежал М.Н. Толстой и содержит автограф:

«Любезной сестре и лучшему другу Маше от автора»¹.

Нам не удалось установить, кто такой Величко, связан ли он с духовной обителью, имеет ли какое-либо отношение к истории этой книги проживание Марии Николаевны в Шамординском монастыре. Но любопытен сам факт обмена творений св. отцов на сочинение Толстого, отлученного от церкви.

М.Н. Толстая была единственной сестрой Толстого.

Незаурядность характера, страстность натуры, музыкальность, обаяние, при- сущая Толстым духовность привлекали внимание к личности Марии Николаевны.

О ней и ее отношениях с братом рассказывается в воспоминаниях ее дочери Е.В. Оболенской, племянников И.Л. и С.Л. Толстых, племянницы М.С. Биби- ковой, в письмах И.С. Тургенева, в очерке внучатого племянника С.М. Толстого, в статье Н.П. Пузина «И.С. Тургенев и М.Н. Толстая»² и др.

Раннее замужество, неудачный брак, попытка найти счастье в новом союзе, вос- питание детей, духовный перелом, поступление в монастырь — вот контур ее драма- тической жизни. Но молодость ее освещена дружбой с И.С. Тургеневым, и на протя- жении всей жизни ее сопровождало любовное и духовное участие Льва Николаевича.

«Они всегда любили друг друга, и в молодости она была ближе с ним, чем с дя- дей Сергеем Николаевичем. За последние же 20—25 лет, когда цель обоих была в при- ближении к Богу, хотя и разными путями, они стали еще нежнее относиться друг к другу, еще больше понимать друг друга», — вспоминает ее дочь Е.В. Оболенская³.

«В первые годы увлечения тети Маши православием... между нею и моим отцом возникали горячие споры, но скоро оба поняли, что переубедить друг друга они не могут... — пишет С.Л. Толстой в книге «Очерки былого». — А в тете Маше удиви- тельно сочетались наивная вера в обряды и чудеса с сочувствием нравственным основам мировоззрения брата»⁴.

Об этом же говорит И.Л. Толстой: «Как это ни странно, но его, совершенно от- рицавшего всякую обрядность, и ее, строгую монахиню, соединяло общее обоим страстное искание Бога, которого они оба одинаково любили, но которому молились каждый по-своему, по мере своих сил. И оба чутко прислушивались друг к другу»⁵.

«Милый друг Машенька, — пишет Л.Н. Толстой 10 апреля 1907 года, — часто думаю о тебе с большой нежностью, а последние дни точно голос какой все говорит мне о тебе, о том, как хочется, как хорошо бы видеть тебя, знать о тебе, иметь обще- ние с тобой...» И заканчивает письмо: «Очень люблю тебя... Брат твой и по крови и по духу — не отвергай меня...» (77, 77).

«Нет, она не отвергала его; она была смиренна, считала себя грешной, а его любила всей душой...» — замечает Е.В. Оболенская⁶.

«...Когда отец решил навсегда покинуть Ясную Поляну... он не мог не при- ехать к тете Маше, которая одна только была в состоянии понять то, что он пере- живал, и могла вместе с ним поплакать и хоть немного его успокоить»⁷, — пишет И.Л. Толстой.

Рассказывая в письме к С.А. Толстой от 22 апреля 1911 года о своем последнем свидании с братом, Мария Николаевна сообщает, что Толстой «...думал нанять избу у мужика и тут жить. Мне кажется... его тяготила яснополянская жизнь... и вся об- становка, противная его убеждениям, он просто хотел устроиться по своему вкусу и жить в уединении, где бы ему никто не мешал...».

«Каково же было на другой день... удивление и отчаяние» Марии Николаевны, узнавшей о внезапном отъезде Л.Н. из Шамордина.

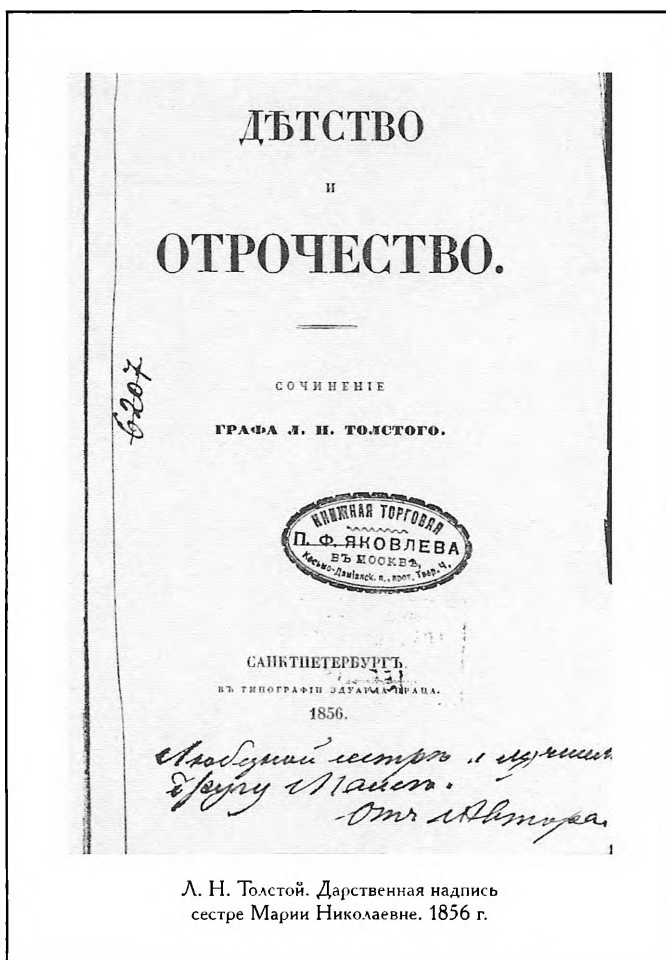
«Как он сам был необыкновенный человек, так и кончина его была необыкновенная...»

«Не знаю, в состоянии ли я буду приехать летом на могилу Левочки; после его смерти я стала очень слаба...»⁸ — сомневается Мария Николаевна.

Летом 1911 года она побывала на могиле брата несколько раз.

Мария Николаевна пережила своего брата на полтора года и умерла в 1912 году, как и Л.Н., от воспаления легких.

В одном году с книгой «Детство и Отрочество» вышел сборник «Военные рассказы графа Л.Н. Толстого», отпечатанный «В типографии Главного штаба Его императорского величества по Военно-Учебным заведениям», как указано на обороте титульного листа.



В состав сборника входят рассказы: «Набег», «Рубка леса», «Севастополь в декабре», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года».

В «Годовом отчете Толстовского общества в Москве за 1915 год» (М., 1916) значится: «Музей обогатился... приобретенной за плату книгой «Военные рассказы» Л.Н. Толстого с автографом императора Александра III» (с. 4).

Автограф такой: «Читал с удовольствием. Александр. Царское Село. 10 окт. 1859 г.» (Публикуется впервые.)

Императором Александр стал в 1881 году, а в 1859 году ему было 14 лет. Интерес юного великого князя к рассказам Толстого, как и наличие книги в придворной библиотеке, не были случайны.

Есть свидетельства, что рассказ (или, как говорил Толстой, «статья») «Севастополь в декабре» был известен императору Александру II. В дневнике Толстого за июнь 1855 года читаем: «...Вчера... получил письмо и статью от Панаева. Меня польстило,

Читал с удовольствием.

1859. X 26

Александр

Царское Село.

10 октября.

1859 год.

«Военные рассказы» Л. Н. Толстого
с автографом Великого князя Александра Александровича
(будущего императора Александра III)

что ее читали государю» (47, 46); и еще: «Действительно, я кажется начинаю приобретать репутацию в Петербурге. «Севастополь в декабре» Государь приказал перевести по-французски» (47, 48). Перевод появился в официозном органе русского правительства «Le Nord», издававшемся в Брюсселе.

Этот факт послужил поводом к созданию легенды о том, как под воздействием чтения рассказа Толстого царь приказал перевести его из Севастополя в более безопасное место.

С.А. Толстая записывает в дневнике 11 августа 1902 года: Толстой «рассказал, как он попросился в Севастополе в дело, и его поставили с артиллерией на четвертый бастион, а по распоряжению государя сняли; Николай I прислал Горчакову приказ: «Снять Толстого с четвертого бастиона, пожалеть его жизнь, она стоит того»⁹. В записи В. Лазурского Толстой так ответил на вопрос одного из собеседников, как объяснить приказание царя: «Просто, при дворе читают, хвалят. «А где он? Ах, под Севастополем! Ma chère, как опасно! Надо его перевести»¹⁰.

Об этом эпизоде из жизни писателя, связывая его то с именем Николая I, то Александра II, упоминается в нескольких биографиях, составленных при жизни Толстого, во многих мемуарах его современников. Н.Н. Гусев, проверивший все факты, утверждает, что невозможно установить определенно, кто был инициатором перевода»¹¹.

Александр III читал «Военные рассказы» на заре писательского успеха Толстого. Царствование же его (1881–1894) пришлось на расцвет славы Толстого в России и становление его известности за рубежом. Время это было очень значительным в жизни Толстого.

Поиски смысла жизни и уяснение ее нравственной основы нашли отражение в религиозно-нравственных и публицистических произведениях писателя. Им были написаны «Исповедь» и «В чем моя вера?», трактат «Так что же нам делать?», книги «Исследование догматического богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», трактаты «О жизни», «Царство Божие внутри вас», статьи «Религия и нравственность», «Для чего люди одурманиваются?» и другие. Эти работы осуждали существующий строй и официальную религию, объявляли безнравственной жизнь имущих, жизнь за счет эксплуатации чужого труда. Книги эти не могли быть допущены к печати и распространялись нелегально в рукописных, гектографированных и литографированных копиях, издавались за рубежом или входили в собрание сочинений в неполном и искаженном цензурой виде. (Коллекция нелегальных изданий хранится в фонде особо редкой книги музея.)

Документы показывают, что стражи цензуры неуклонно докладывали о каждом «крамольном» произведении Толстого. Особый интерес представляет история печатания трактата «В чем моя вера?». В надежде на более легкое получение цензурного разрешения книга эта была отпечатана в количестве 50 экземпляров по цене в 25 рублей каждый. Председатель Комитета духовной цензуры архимандрит Амфилохий, по словам С.А. Толстой, заметил: «В этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он со своей стороны не видит причин не пропустить ее»¹². Но Московский комитет духовной цензуры пришел к заключению, что книга порицает все церковные и государственные установления и потому подлежит запрещению и конфискации. Однако это решение не было исполнено полностью.

«Книга моя... вышла и запрещена, — пишет Толстой А.С. Бутурлину 19 февраля 1884 года, — но не сожжена, а увезена в Петербург, где, сколько мне известно, те, которые запретили ее, разбирают ее по экземплярам и читают. И то хорошо» (63, 155). То же Толстой сообщал Н.Н. Ге 2 марта 1884 года: «Книгу мою, вместо того, чтобы сжечь, как следовало по их законам, увезли в Петербург и здесь разобрали экземпляры по начальству. Я очень рад этому. Авось кто-нибудь и поймет» (63, 160).

В перечне экземпляров, «разобранных по начальству», значится: «доложен государю-императору — 1»¹³.

В настоящее время «В чем моя вера?» издания 1884 года составляет большую библиографическую редкость. Один экземпляр этой книги есть в фондах библиотеки музея.

Цензурным преследованиям подвергались не только теоретические или публицистические работы Толстого, но и его художественные произведения. Одним из способов распространения новых произведений были публичные чтения, организуемые с целью создания общественного мнения.

Так, в 1887 году была запрещена театральная цензурой пьеса «Власть тьмы», написанная, по замыслу Толстого, для народных театров. Друзья Толстого организовали чтение драмы в высших придворных кругах, на одном из которых присутствовал царь, назвавший пьесу «чуждой вещью», и разрешил к постановке на сцене Александринского театра в Петербурге. Однако под давлением Победоносцева изменил свое отношение к возможности «давать эту драму на сцене», так как она слишком «реальна и ужасна по сюжету», хотя и «написана вся пьеса мастерски и интересно»¹⁴.

Запрещенная к постановке драма «Власть тьмы» была разрешена к печати не только в собрании сочинений, но и в издательстве «Посредник», основанном друзьями Толстого в 1884 году.

«В течение первых месяцев 1887 года «Власть тьмы» была напечатана в количестве свыше 100 000 экземпляров, причем наиболее многотиражное (5-е «Посредника» — 40 000 экземпляров) продавалось по 3 копейки»¹⁵.

Под воздействием К.П. Победоносцева, который нашел в драме «отрицание идеала», «унижение нравственного чувства», «оскорбление вкуса», Александр III написал в записке министру внутренних дел по поводу «Власти тьмы»: «Надо бы положить конец этому безобразию Л. Толстого. Он чисто нигилист и безбожник. Недурно было бы запретить теперь же продажу его драмы «Власть тьмы», довольно он уже успел продать этой мерзости и распространить ее в народе»¹⁶.

Последствием такого отношения царя к «Власти тьмы» было запрещение продажи отдельного издания драмы, а также ее перепечатки. В последующие годы драма «Власть тьмы» выходила лишь в собраниях сочинений.

Первое отдельное издание драмы «Посредником» сейчас стало библиографической редкостью. В библиотеке имеется уникальный экземпляр с автографом Н.С. Лескова.

Книга поступила в музей в 1923 году вместе с коллекцией других книг из библиотеки «Общества истинной свободы в память Л.Н. Толстого». Общество это было создано в 1917 году. Учредителями и его членами были люди, близкие Толстому, среди них В.Г. Чертков, П.И. Бирюков, поэтому вполне закономерно,

Анатолий Иванович Фаресов, беллетрист и журналист, познакомился с Лесковым в конце 1880-х годов и стал впоследствии близким ему человеком.

В библиотеке музея хранится оттиск из журнала «Русское обозрение» (1890. № 6) «Час воли Божией (сказка)», с дарственной надписью: «Любезному приятелю моему Анатолию Ивановичу Фаресову на добрую память. 14 дк. 90 г. Н.С. Лесков». (Публикуется впервые.) Известно, что сюжет легенды был дан Лескову Толстым.

В 1898 году Фаресов познакомился с Толстым и о своей встрече с писателем подготовил статью для журнала «Исторический вестник». Вскоре после ее написания статья эта стала известна Толстому. В ответ на письмо М.О. Меньшикова, в котором тот сообщал, что Фаресов «записал — с какою точностью, Бог весть, — весь разговор с Вами», — Толстой ответил 22 марта 1898 года:

«Фаресов описал меня и разговоры наши. Не говоря о том, что многое неточно, а предметы спорные и задорные, есть такие вещи, как суждения мои о Короленко и другие, которые прямо сделают мне врагов. За что? Это мне было бы ужасно больно. Только одного и желаешь: быть в любви со всеми, а тут за неосторожность в разговоре быть так строго наказанным. Попросите его очень, если он не хочет сделать мне большого огорчения, не печатать этого» (71, 333).

Исполняя желание Толстого, Фаресов не напечатал своей статьи¹⁸. При жизни Толстого вышла в свет книга Фаресова «Против течений» (СПб., 1904), посвященная Лескову, в которой приводятся высказывания писателей друг о друге.

Значительную часть книг с автографами составляют книги, переданные авторами с дарственными надписями, посвященными музею.

Одна из них — это книга, подаренная Андреем Белым.

«Самым выдающимся явлением русской жизни XIX столетия» назвал А. Белый Толстого в статье, опубликованной в журнале «Русская мысль»¹⁹. Художественный гений Толстого, его нравственное учение, сама личность — «магнит, притягивающий весь мир» — вот круг проблем, рассматриваемых Белым в этой статье и других («Лев Толстой и культура»²⁰, «Учитель сознания Лев Толстой»²¹).

Личность Толстого привлекала А. Белого с детства. Он был приятелем его сына Михаила Львовича и бывал в хамовническом доме. Впечатления от личных встреч с Толстым нашли отражение в его «Воспоминаниях о Л.Н. Толстом»²².

На экземпляре книги Белого «На рубеже двух столетий» (М.; Л., 1930), хранящемся в библиотеке музея, — дарственная надпись автора: «Толстовскому Музею с глубоким уважением к его деятельности и с чувством благоговения к памяти Льва Николаевича Толстого. Андрей Белый. Кузино. 10 июня 30 года». (Публикуется впервые.)

Дар А. Белого не был случайным. А.Б. Гольденвейзеру 12 апреля 1926 года он писал: «...На днях читал где-то в газетах, что в Толстовском Музее собирают литературу о Толстом. Конечно — я был бы счастлив присоединить мою маленькую работку о Л.Н. (речь идет о работе «Кризис культуры и Лев Толстой» — «100 страниц мелкого почерка») ... Если бы при случае Вы мне сообщили, что она приемлема, я... принял бы шаги к получению копии с нее (ремингтонной) и представил бы в Музей»²³.

Этой работы в отделе рукописей Музея Л.Н. Толстого нет²⁴. Но 12 июля 1930 года А. Белый «представил» в Толстовский Музей через С.А. Толстую-Есенину свою книгу «На рубеже двух столетий».

Подготовленному музею с глубоким уваже-
нием к его деятельности

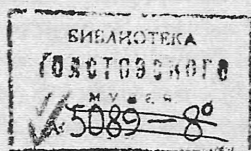
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Б-43

и с чувством
благодарности к памяти
Аллы Ивановны Мостовой.

НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ

Андрей
Белый
Музейно-Библиот.
Золото



1 9 3 0

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

А. Белый. Дарственная надпись
музею Л.Н.Толстого на книге. 10 июня 1903 г.

О давнем и близком знакомстве Андрея Белого с внучкой Л.Н. Толстого свидетельствуют его письма, сохранившиеся в фонде Софьи Андреевны Толстой-Есениной в отделе рукописей музея.

В одном из них Белый объясняет обстоятельства жизни, вынуждающие его отказать от свидания с Софьей Андреевной в установленное время, выражает надежду, что она не обидится, и просит перенести дату встречи. Письмо датировано 10 марта без указания года, на конверте нет почтового штампа. Из контекста письма можно понять, что А. Белый бывал в Москве в это время наездами. Летопись жизни Белого, составленная А.В. Лавровым²⁵, позволяет отнести это письмо к 1917 году.

Второе письмо от 4 декабря 1931 года посвящено вопросу о назначении пенсии писателю. Этот драматический документ, рассказывающий о житейских и творческих трудностях, о душевной усталости Андрея Белого, предлагается вниманию читателей. (Публикуется впервые.)

«Дорогая и Глубокоуважаемая Софья Андреевна,

Мне было очень приятно получить от Вас весточку; и грустно, что придется писать в виде желания скорей ответить спешно, т. е. формально; и кроме того: я до ужаса косолап и косноязычен в письмах.

Это же Ваше письмо меня двояко взволновало: и грустно, и приятно.

Приятно потому, что я измучен и устал до полусмерти от ряда тревожений, пережитых за последний год; и кроме того: переработался (давно); моя продукция, из которой лишь малая часть увидела свет, измеряема десятками печатных листов в год, из которых и те, которые я хранил для себя, ныне по независящим обстоятельствам разметаны; а книги, в которые я убил жизни уже $1\frac{1}{2}$ <г.>, застряли в «ГИХЛЕ». И работать после пережитого трудно, и проводить книги все трудней и трудней. А сердце уже изношено до припадков. Единственная большая радость на мрачном для меня фоне 1930—1931 годов наш «закс» с Кл. Ник²⁶; и то, что она стала моей женой — единственная поддержка жизни.

Я пишу, что известие о пенсии меня волнует радостно: пенсия дала бы возможность мне отдохнуть, прийти в себя; я ведь без усталости работаю с 1925 года; и уже не могу временами работать; чувствую себя заезженной лошастью.

Но в этом известии досадно мне и больно то, что (и это конфиденциально) вопрос о пенсии превращается в какую-то игру в жмурки, от которой чувствуешь лишь усталость. В этом году, в марте меня обрадовала весть от Лидина²⁷, что группа писателей без моих ходатайств и ведома возбудила этот вопрос обо мне. Меня взволновало сочувствие ко мне писателей-друзей.

Но летом до меня дошли слухи, что вопрос о пенсии повис в воздухе; и я считал его ликвидированным.

Недели 2 назад меня начали поздравлять (Петров-Водкин²⁸, Шишков²⁹, ряд писателей и т. д.) с тем, что мне назначена с 1-го ноября пенсия в размере 225 р. и что об этом было сообщено в ленинградских газетах. Я не верил, ибо не читал сам этого сообщения; но в течение 2-х недель меня уверили, что это факт, что иначе газеты не писали бы так определенно о дне назначения пенсии, о сумме и т. д. И я стал склоняться к мысли, что не я, а мои друзья правы. И вот узнаю из Вашего письма, что вопрос о пенсии лишь в стадии предварительной: он — желание ходатайствовать обо мне

членов Союза (а мне передавали, летом, что Союз был против); тогда: что же значит сообщение ленинградских газет, лишь вводящее в обман, ибо меня уже несколько раз извещают о пенсии; и потом этот вопрос застилается в месяцах туманом, что для очень усталого человека с больным сердцем есть лишь предлог к ненужным волнениям.

Я от пенсии не откажусь и приму ее с благодарностью, ибо действительно устал и стою на грани утраты работоспособности; мне нужен хотя бы временный отдых...

Но я никогда бы не стал просить пенсии, ибо не мне знать, заслуживаю ли я ее (вероятней всего, что нет); как бы то ни было: за 30 лет литературной работы я ухлопал здоровье; и одна мысль, что предстоят месяцы анкетных выяснений моих работ, моего здоровья, и я останусь в конце концов после всех приятных волнений и хлопот лишь с еще более расширенным сердцем, ибо неприятно, поверив в возможность не выбиваться из сил, все же продолжать выбиваться из сил.

Мне хотелось бы знать, ибо я менее всех знаю в вопросе о пенсии: что — правда? Сообщение ли, что с 1-го ноября мне назначена пенсия в таком-то размере, или лишь то, что о пенсии мне возбуждает ходатайство Союз писателей, которому приношу сердечную товарищескую благодарность за доброе и чуткое отношение. Если бы Вы меня ориентировали, в чем правда, я был бы Вам глубоко благодарен.

Сообщаю на отдельном листе анкетные сведения; они не полны: 1) у меня нет под рукой библиографии своих работ; я путаю года, заглавия и кое-что не восстанавливаю в памяти; 2) у меня нет расписок, квитанций и черновиков деклараций фину (они где-то спрятаны в Москве). Моя анкета приблизительна. Я не знаю, куда она адресуема, и не озаглавливаю ее. Если она нужна Вам, используйте ее. Боюсь, что



Конверт письма Андрея Белого к Софье Андреевне Толстой-Есениной

составленная в один вечер, она неприличный черновик; но я так устал и так бешено работаю срочно, что, при спешном письме, выходят не внятные фразы, а какое-то полутрамотное чревоуещание. Во всяком случае посылаю ее Вам. Озаглавьте ее сами, если знаете, куда она подается. Остаюсь искренне уважающий Вас и благодарный за сообщение Б. Бугаев.

Р.С. Что касается до выставки «Союза»: я переехал в Детское недавно; и пока живу налегке; у меня нет ни одного экземпляра книг своих; они в Москве у друзей, ключ от сундука в Детском. Вероятно в начале января буду в Москве; и тогда охотно, если не поздно, предоставлю материал для выставки.

Р.Р.С. Еще раз простите меня, дорогая Софья Андреевна, за это не личное, а спешное, исполненное усталости, косноязычное письмо; сейчас 5-й час ночи, и я спешно дострачиваю его; весь день работал; моя жена, Кл. Ник., больна, и я волновался за нее. Кроме того: живем неустроенно. Много времени берет домашняя работа (колка дров, топка печей, хождение в очереди). Все часы заняты. Работаю главным образом ночью; а письма пишу на рассвете. От этого они полны усталости и часто неряшливы по форме. А очень бы хотелось увидеться с Вами и поговорить вне той неврастении, которая делается со мною при взгляде на почтовый лист, напоминающий бессонную ночь, усталость руки, уже отписавшей свою порцию.

Еще раз спасибо за уведомление».

Вместе с этим письмом сохранился конверт с надписью: «С.А. Есениной для передачи в Союз советских писателей от Б.Н. Бугаева». Конверт пуст. По-видимому, Софья Андреевна передала присланные документы по назначению. Скорее всего ходатайство членов Союза писателей не понадобилось: персональная пенсия Белому была назначена Советом Народных Комиссаров РСФСР 23 ноября 1931 года.

Мы рассказали о четырех книгах, о событиях и судьбах, с ними связанных. Но есть в коллекции музея и другие уникальные издания, рассказ о которых был бы не менее интересен.

¹ Текст неоднократно публиковался. См.: Толстой в Москве. М., 1978. С. 51; То же. М., 1985. С. 51; Ж. «Библиотекарь». 1978. № 11. С. 39; Ясн. сб., 1986. С. 74.

² Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич // Летописи Гос. лит. музея. Кн. 2. Л.Н. Толстой. М., 1938. С. 279–331; Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1987. С. 248–256; Толстой С.Л. Очерки былого. 4-е изд., испр. и доп. Тула, 1975. С. 279–292; Бибикова М.С. В семье Толстых // Л.Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С. 17–31; Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. Письма. В 13 т. М.; Л. 1961–1963. Т 2–4; Толстой С.М. Единственная сестра // Прометей: Ист. биограф. альманах... М., 1980. С. 269–278; Пузин Н.П., Архангельская Т.Н. Вокруг Толстого. 2-е изд. Тула, 1988. С. 46–61.

³ Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич. Указ. изд. С. 298.

⁴ Толстой С.Л. Указ. соч. С. 287–288.

⁵ Толстой И.Л. Указ. соч. С. 250.

⁶ Оболенская Е.В. Указ. соч. С. 298–299.

⁷ Толстой И.Л. Указ. соч. С. 252.

⁸ Там же. С. 252, 253.

⁹ ДСТ. Т. 2. С. 74.

¹⁰ Лазурский В.Ф. Дневник // ЛН. Т. 37–38. М., 1939. С. 497.

¹¹ Гусев. Материалы, I. С. 560–561.

¹² Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., 1936. С. 246.

¹³ ЛН. Т. 22–24. М., 1935. С. 508.

¹⁴ К.П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг., 1923. Т. 1, полутом 2. С. 643.

¹⁵ Опульская. С. 63.

¹⁶ Там же. С. 68.

¹⁷ Лесков Н.С. Соб. соч. В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 334.

¹⁸ См.: Фаресов А.И. Мое знакомство с Л.Н. Толстым // Летописи Гос. лит. музея. Кн. 2. Л.Н. Толстой. М., 1938. С. 438–445.

¹⁹ Белый А. Лев Толстой // Русская мысль. 1911. № 1. С. 88–94.

²⁰ О религии Льва Толстого. М: Путь, 1912. С. 142–171

²¹ Знамя. 1920. № 6, 8. С. 36–41.

²² Смена. 1986. № 8. С. 22, 24; См. также: Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 638–644.

²³ Перспектива-87: Сборник. М., 1988. С. 490.

²⁴ Рукопись хранится в РГАЛИ.

²⁵ Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 790.

²⁶ Васильева Клавдия Николаевна (1886–1970, с 18 июля 1931 г. — Бугаева).

²⁷ Лидин В.Г. (1894–1979), писатель.

²⁸ Петров-Водкин К.С. (1878–1939), живописец и график.

²⁹ Шишков В.Я. (1873–1945), писатель.

ТРИ ПИСЬМА РОМЕНА РОЛЛАНА

К Т. А. СУХОТИНОЙ-ТОЛСТОЙ

Публикация Н. А. Калининой

Внучка Л.Н. Толстого Татьяна Михайловна Альбертини, передавая в дар Государственному музею Л.Н. Толстого свыше двух тысяч документов из зарубежного архива своей матери Татьяны Львовны Сухотиной, справедливо заметила: «Моя мать переписывалась со всем миром». Татьяне Львовне писали как старые знакомые, встречавшиеся прежде с Л.Н. Толстым, так и новые, которым имя великого писателя было дорого. Друзья и почитатели Толстого видели в его старшей дочери хранительницу наследия, продолжательницу общественной деятельности отца. Среди корреспондентов Т.А. Сухотиной были И.А. Бунин, Л.О. Пастернак, И.Е. Репин, Ф.И. Шаляпин, М.И. Цветаева, многие деятели зарубежной культуры, в том числе Поль Дежарден, Андре Моруа, Франсуа Порше, Ромен Роллан.

Переписка Р. Роллана с Татьяной Львовной явилась естественным продолжением его переписки с Л.Н. Толстым, начавшейся еще в 1887 году. Знаменательно, что первое личное письмо писателя к Роллану от 3 октября 1887 года написано рукой Т.А. Сухотиной, а исправлено и подписано Толстым (64, 84–98). В отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого хранится 5 писем и 1 телеграмма Р. Роллана к Т.А. Сухотиной, из них четыре письма подарены музею Т.М. Альбертини.

Публикуемые ниже письма Р. Роллана написаны в 1927–1928 гг. В это время писатель, живший в швейцарском городке Вильнев, усиленно работал над книгой «Очерк мистики и действия живой Индии», где рассказывал о Рамакришне и Вивекананде. Еще ранее, в 1924 году, вышла другая книга Роллана — «Махатма Ганди». В связи с предстоявшим в 1928 году 100-летием со дня рождения Л.Н. Толстого готовилось новое издание книги Роллана «Жизнь Толстого». Все эти вопросы, волновавшие тогда французского писателя, нашли отражение в его письмах к Татьяне Львовне, которая еще в 1911 году высоко оценила книгу Р. Роллана о своем отце. Она писала ему: «Я уверена, что мой отец был бы глубоко взволнован Вашим широким исследованием и ясным пониманием не только его творчества, но и всего его существа, — в этих моих словах заключается лучшая похвала Вашей книге. Очень часто я плакала над ней. Чувства радости, признательности и волнения охватывали меня при мысли о том, что моего отца мог так хорошо понять человек, столь отличный от него по возрасту, национальности, воспитанию, среде и говорящий на иностранном языке» (Ромен Роллан. Мастер искусства живого. Из дневника // Коммунист. 1978. Авг. С. 84.)

24 мая 1927 г. Вильнев (Во), вилла «Ольга»

Милый друг,

Позвольте мне попросить Вас об одном одолжении. Если Вы выберете свободный момент (я знаю, что это бывает редко и в те минуты Вы нуждаетесь в отдыхе), не могли бы Вы на экземпляре моей книги «Жизнь Толстого»¹, который я Вам посылаю с тем же курьером, отметить наиболее существенные ошибки, которые следует

исправить. Издательство Hachette хочет по случаю столетнего юбилея выпустить в будущем году дорогое издание моей книги, и я как раз вношу дополнения в текст. Я бы воспользовался Вашими указаниями. Я только что закончил для этого нового издания дополнительную главу «Ответ Толстому из Азии»², в которой воспользовался документами, приведенными Бирюковым в книге «Толстой и Восток»³. (Кстати, после Вашего пребывания здесь я перечитал эту книгу и должен принести повинную Бирюкову: я слишком строго судил это сочинение в разговоре с Вами, поскольку читал его только в рукописи и тогда в нем были купюры. Я вижу, что Бирюков его значительно улучшил и, действительно, это очень интересная книга.)

На днях я получил письмо от Бирюкова. Он, кажется, очень подавлен, и это тем более удивительно, что обычно он проявляет даже несколько чрезмерный оптимизм. Он подтверждает то, что вы сообщили нам: что издание полного собрания сочинений Вашего отца не продвигается, что неизвестно какое «пассивное сопротивление» задерживает его продвижение. Я написал Николаю Гусеву и жду ответа⁴. Я заметил, что замечательное письмо Вашего отца к Ганди от 7 сентября 1910 г.⁵ написано в Кочетах⁶. Это же под Вашей крышей и почти при Вашем участии написаны эти страницы, которые останутся в будущем как Евангелие непротivления, освященное активным героизмом всей жизни Ганди. Не сохранилось ли у Вас об этом какого-нибудь воспоминания?

Как я сожалею, что Ваш отец не смог повстречаться с величайшим религиозным деятелем Индии Вивеканандой (о котором он неоднократно говорил с восхищением)! Вивекананда приезжал в Европу, в Париж, в 1900 году, но никто из недалеких французских друзей, окружающих его, не удосужился направить его в Ясную Поляну. Меня вовсе не утешает то, что я не знал его тогда. Я мог бы стать посредником между Толстым и Вивеканандой. Это был человек могучего пламенного духа, а Вы знаете, что он умер в 1903 году в возрасте 39 лет⁷.

Ваш проезд через Вильнев оставил у нас дорогое впечатление. Надеюсь, что Вы возобновите его вскоре и мы будем иметь удовольствие познакомиться с Вашей дочерью. Простите, если я Вам скажу, что, хотя мы мало виделись и переписывались, у меня такое чувство, что мы старые друзья. Да разве Ваш отец не был для меня «гуру» (как говорят индусы) — моим учителем-отцом?

Примите уверения в моей сердечной преданности.

Ромен Роллан.

Я написал Клоду Саливу, директору «Tablettes», чтобы он послал Вам номер, посвященный Толстому, если у него еще остался⁸. Он мне ответил, что найдет экземпляр, чтобы послать Вам. Будьте добры, сообщите мне, какие книги Вам хотелось бы прочитать.

Не имея пока возможности подарить Вам фотографию, посылаю Вам (с книгой) открытку⁹.

Вильнев (Во), вилла «Ольга». 16 октября 1927 г.

Милый друг,

Я был так потрясен Вашей лекцией о Вашем отце и матери, так восхищен и поражен прозвучавшей в ней беспристрастностью, что не мог не рассказать о ней моим друзьям, а именно, главному редактору журнала «Еurore», горячо убеждая его попросить Вашего разрешения опубликовать эту лекцию¹⁰.

Я знаю, что главный секретарь редакции Жак Роберт Франс должен был написать Вам¹. Позвольте мне повторить просьбу, конечно, если Вы уже не распорядились рукописью. Журнал «Еигоре» один из редчайших больших литературных журналов с прогрессивными взглядами (не будучи коммунистическим или революционным), какие еще остались в Париже, где реакционный дух охватил почти всю интеллигенцию, тайно или явно. Он готовит номер, посвященный Толстому. В любом случае я желаю, чтобы Ваша статья была широко опубликована, чтобы закрыть рты тяжелой и лживой болтовне, которая не замедлит распространиться в большом изобилии в будущем году. Вот у меня в руках пьеса, написанная Стефаном Цвейгом, — «Побег к Богу»¹², эпилог к незавершенной драме Льва Толстого «Свет и во тьме светит», где выведены на сцену Ваши отец, мать, сестра Александра и разные прочие обитатели Ясной Поляны в октябре 1910 г. в Ясной и в Астапове. Я еще не прочитал этого сочинения, но какова бы ни была литературная манера (которая не может быть посредственной, так как автор — один из лучших и достойнейших писателей Германии), тяжело видеть все эти интимные конфликты, выставленные на сцене! Мне кажется совершенно необходимым опубликовать Вашу прекрасную статью в журнале или брошюрой. Вы простите меня, что я принуждаю Вас к этому?

Надеюсь, что Вы здоровы. Я был серьезно болен сильным бронхитом весь сентябрь и до сих пор не совсем поправился. Не хотите ли Вы снова этой зимой приехать на озеро Ломан? Будем счастливы Вас повидать. Передаю привет Вам от моей сестры и уверяю Вас, милый друг, в дружеском почтении.

Ромен Роллан.

Понедельник, 23 июля 1928.

Вильнев.

Дорогой друг,

Только что читал и перечитывал Ваши прекрасные странички, простые, правдивые, полные человеческого понимания и любви, о смерти Вашего отца. И хочу Вам сказать, насколько они мне понравились, насколько взволновали меня и мою сестру.

Наше мнение о днях скорбной памяти совпадает с Вашим. Как странно, что я никогда не видел Вашего отца! Со времен моей юности он всегда был со мной, реальный и живой, более чем все живые. Но в старости я особенно сожалел, что не повидался с ним. Молодым я не осмелился бы, мне нечего было ему принести. О, как мне его не хватает в сегодняшней Европе, так ограниченной в нравственном смысле! Есть некоторые слова, которые я мог бы сказать только ему. Я их ему говорю.

Передайте мои дружеские приветы Вашей милой Танюше, о которой Ваша мать говорит с такой трогательной любовью. Уверяю Вас, милый друг, в моей преданной дружбе.

Ромен Роллан.

¹ «Жизнь Толстого» Р. Роллана была впервые издана в Париже в 1911 году издательством «Nachette». В сборнике Государственного толстовского музея (М., 1937) опубликовано письмо Роллана к Т.А. Сухотиной от 2 ноября 1911 года, написанное в ответ на ее отзыв о книге «Жизнь Толстого». Р. Роллан писал: «Благодарю Вас

бесконечно за Ваше чудесное письмо и за то, что Вы потрудились прислать мне Ваш экземпляр с Вашими замечаниями. Я воспользуюсь ими для следующего издания...»

Книга Р. Роллана во Франции выдержала много изданий. На русском языке она впервые была издана в 1915 году. Спустя 12 лет появилось новое издание книги, которое автор пополнил примечаниями, используя в них переписку Толстого, опубликованную после его смерти, а также тайную переписку царских властей о Толстом, ставшую известной в 1917 году. Очевидно, что с комментируемым письмом была прислана книга этого издания.

² В 1928 году парижское издательство «Nachette» переиздало книгу Р. Роллана «Жизнь Толстого». Одна из глав этой книги «Ответ Толстому из Азии».

³ Бирюков П. И. Толстой и Восток. Цюрих-Лейпциг, 1925 (на немецком языке). В первой части книги приведены письма Л.Н. Толстого ко многим деятелям восточных стран: индусам, китайцам, японцам и т. д. Во второй части — статьи, содержащие изложение восточных религий.

⁴ Письмо Р. Роллана к Н.Н. Гусеву неизвестно.

⁵ Письмо опубликовано: ПСС. Т. 82. С. 137—141. Ганди не успел ответить, так как получил письмо за несколько дней до смерти Л.Н. Толстого. 26 ноября 1910 г. Ганди опубликовал это письмо в своем журнале «Indian Opinion». Переписка Л.Н. Толстого с вождем национально-освободительного движения Индии М.К. Ганди (1869—1948) опубликована: ЛН. Т. 37—38. М., 1939. С. 339—352.

⁶ С 15 августа по 22 сентября 1910 года Толстой гостил у Т.А. Сухотиной-Толстой в имении Кочеты Орловской губернии.

⁷ Р. Роллан ошибся. Свами Вивекананда умер в 1902 году.

⁸ Неизвестно, был ли послан и получила ли Т.А. Сухотина-Толстая указанный номер журнала.

⁹ Какая именно открытка была прислана Т.А. Сухотиной-Толстой вместе с книгой Р. Роллана «Жизнь Толстого» — неизвестно.

¹⁰ Речь идет о воспоминаниях Т.А. Сухотиной-Толстой. На французском языке они были опубликованы в 1928 году в журнале «Еигоре» (Париж, № 67). В 1960 году они там же вышли отдельным изданием. В 1961 году эти воспоминания, озаглавленные «Дочь Толстого о его уходе и смерти» (с предисловием Б.С. Мейлаха) были опубликованы на русском языке. — ЛН. Т. 69. Кн. 2. М., 1961. С. 244—285.

¹¹ В письме от 30 сентября 1927 года секретарь журнала «Еигоре» просил Татьяну Львовну разрешить опубликовать ее лекцию (воспоминания) в специальном номере журнала, посвященном 100-летию со дня рождения Толстого. В своем ответе 27 ноября 1927 года Татьяна Львовна дала согласие. 20 июля 1928 года Жак Роберт Франс прислал ей экземпляр журнала «Еигоре» с десятью оттисками ее воспоминаний и одновременно сообщил, какой огромный успех они имеют у читателей.

¹² Стефан Цвейг. «Побег к Богу». Эпилог к незавершенной драме Л.Н. Толстого «И свет во тьме светит». «Национальный театр», Берлин.-Иена, 1928. № 2. На русский язык пьеса не переводилась. В 1943 г. она была поставлена в Стокгольме группой немецких актеров-антифашистов (реж. Курт Трепте). В 1960 г., к 50-летию со дня смерти Толстого, режиссер К. Трепте возобновил спектакль в г. Кведлинбурге (ГДР).

С. Кокрелл

ЗАМЕТКИ О ПОСЕЩЕНИИ ЛЬВА ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ 12 ИЮЛЯ 1903 г.

Публикация Т. Г. Никифоровой

29 июня 1903 года Л.Н. Толстого в Ясной Поляне посетили американец Роберт Хантер, его жена Каролина и англичанин Сидней Кокрелл. Гости провели в Ясной Поляне весь день. Хантеры приехали в Россию, чтобы повидать Толстого.

«Вчера у меня был некто m-г Hunter с своей женою. Они американцы и очень мне понравились за свое искреннее религиозное стремление жить по-Божьи. С ними был тоже англичанин Cockerell, бывший секретарь W. Morris'a и хорошо знавший Ruskin'a. Он мне был тоже очень интересен» — писал Толстой А.К. и В.Г. Чертковым 30 июня 1903 года (88, 300).

Сидней Кокрелл (1867—1961) — искусствовед и писатель. В 1899 году он впервые написал Толстому, что прочитал с огромным интересом его трактат «Что такое искусство?» в английском переводе, и вот что его поразило: Толстой называет людей науки — Дарвина, Герберта Спенсера, Гранта Аллена в числе английских авторитетов по вопросам искусства и не упоминает ни о В. Моррисе, ни о Д. Рескине — двух людях, которые имели настоящее понимание предмета. Толстой не ответил на это письмо и только во время личной беседы Кокрелл получил ответы на свои вопросы.

С. Кокрелл только один раз встречался и беседовал с Толстым, их переписка продолжалась до 1907 г. Сохранилось 12 писем С. Кокрелла к Толстому и 3 письма Толстого. После посещения Ясной Поляны Кокрелл прислал Толстому через В.В. Стасова несколько книг В. Морриса и портрет Томаса Мора, о котором шла речь в беседе в Ясной Поляне.

Встреча с Толстым произвела сильное впечатление на его английского посетителя. Вернувшись из Ясной Поляны в Тулу, Кокрелл сразу же написал несколько писем своим друзьям в Англию с подробным описанием всего, что увидел в Ясной Поляне.

Одно из писем предназначалось У.С. Бланту, писателю, поэту, общественному деятелю, бывшему дипломату. У.С. Блант, также как и его жена Анна (внучка Байрона), были горячими поклонниками творчества Толстого.

Текст этого письма приводится в книге С. Кокрелла об У.С. Бланте, изданной в Лондоне в 1964 г. В отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого хранится экземпляр воспоминаний С. Кокрелла с его подписью-автографом, написанных, скорее всего, в 1928 году, к столетию со дня рождения Л.Н. Толстого. О существовании этих заметок известно исследователям творчества Л.Н. Толстого, но на русском языке они никогда не публиковались в полном виде.

Мы приехали в Тулу после путешествия по сильной жаре из Москвы, во второй половине дня в субботу 11/VII¹. Граф Толстой написал, что был бы рад увидеть двух американских друзей, с которыми я путешествовал, а я был третьим в этой компании,

о приезде которой он был предупрежден. По приезде в гостиницу мы были разочарованы, — нас ожидало его письмо, извещавшее, что он и его жена внезапно заболели и что могло пройти несколько дней, прежде чем он будет в состоянии нас принять.

Проделав такой большой путь, мы решили ждать сколько будет нужно и следующее утро посвятили осмотру Тулы, самого большого города между Москвой и Курском, известного своими ружьями и самоварами. Было весьма жарко и пыль лежала тучами, мелкая белая пыль, от которой не было возможности избавиться. Поэтому мы вернулись назад в гостиницу и готовились спокойно провести послеобеденное время в чтении и писании писем, когда нам была подана телеграмма о том, что Толстому лучше и он готов нас видеть.

Немного погодя мы ехали по большой дороге, которая ведет в Курск. Толстой живет вблизи деревни Ясная Поляна, приблизительно в 8 милях от Тулы. Вид по обеим сторонам был очень красив — большие пространства неогороженной пашни и леса, главным образом, из частых берез, таких высоких, каких я никогда не видал в Англии; высокие холмы, вдоль дороги широкие полосы лугов, усыпанные дикой синей геранью, живокостью, маргаритками и другими цветами, все это на открытых крупных пространствах, соответствующих такой огромной стране, как Россия. Стало прохладнее и пыль улеглась, так что мы смотрели по сторонам и чувствовали себя, естественно, возбужденными и довольными поездкой.

Проехав 6 или 7 миль по большой дороге, мы свернули на проселочную, часто нам встречались крестьяне в праздничных нарядах, наконец, мы свернули направо между двумя столбами у въезда в имение Толстого, миновали маленькую сторожку и пруд и поехали в гору по еще худшей дороге, которая скоро привела нас к дому — двухэтажному, средней величины, беловатому и крытому железом цвета морской волны — самый обычный цвет русских крыш.

Мы услышали голоса в открытой комнате или на веранде, и в следующую минуту нам пожимал руку Толстой. Он выглядел необыкновенно крепким, как на его старых фотографиях, а не таким, как на некоторых снимках, виденных нами в Туле, сделанных во время его почти смертельной болезни два года тому назад. Он был одет просто, в легкую чесучовую мужицкую блузу, подходящую для этой летней жаркой поры. Он подвел нас к большому обществу, состоящему из графини, старшего их сына, одной из дочерей, которая собиралась уходить, племянницы, доктора, знакомой девушки, маленького внука и очень красивого мальчика семи или восьми лет, сына племянницы². Подали чай, и убедившись в том, что мы чувствовали себя хорошо, и обменявшись несколькими словами с каждым из нас, Толстой пошел отдохнуть на часок, а между тем графиня, молодой граф и племянница, которые все, как и сам Толстой, прекрасно говорят по-английски, повели нас осматривать имение.

Я сперва шел с графом, который был в Канаде с духоборами³. Он рассказал мне, что после многих препятствий и затруднений они доехали очень хорошо, но после них другие больше не отправлялись в Канаду, так как оставшиеся в России члены секты нарушили неоспоримый принцип своих канадских единоверцев и согласились служить в армии.

Я задал несколько вопросов насчет положения России. В Тульском уезде крестьяне живут хорошо, так как могут сбывать свои продукты в город, но во многих

уездах они крайне бедны. Поступки правительства и полиции по отношению к тем, кто считается вредным или опасным, так же произвольны и немилосердны, как были 10 лет тому назад. Старые законы остаются в силе, и общественное мнение еще недостаточно сильно, чтобы добиться их уничтожения. Многие из друзей Толстого пострадали, но он сам никогда не был предметом преследований, за исключением запрещения, наложенного на некоторые из самых последних его книг, и определения Синода об отпадении Толстого от церкви (хотя это не было формальным отлучением), которое было принято в феврале 1901 г. Это, без сомнения, от него отдалило некоторых ему симпатизировавших крестьян, находившихся под влиянием церкви, но опозорило Синод в других слоях и побудило Толстого дать краткое и ясное изложение его воззрений, которое было с наивностью напечатано с ничтожными выпусками в церковном органе как повод к отлучению, но не разрешено впредь к печатанию⁴.

Потом я шел рядом с графиней, которая вышла за Толстого семнадцать лет, тогда как ему было 34⁵. Ей теперь 58, но выглядит она гораздо моложе, несмотря на то, что она родила 13 детей, из которых 8 живы, и несмотря на то, что управление имением перешло к ней с тех пор, как ее муж принял теперешние свои воззрения. Она шьет всю его одежду, «даже его шляпы», — прибавила она с улыбкой, и была его переписчицей, пока глаза не стали ей изменять и пока эта работа, требующая большого внимания, не перешла к одной из дочерей. Я читал где-то, что графиня переписывала «Войну и Мир» не менее семи раз, и спросил ее, правда ли это. «Ну, это трудно сказать, — ответила она. — Некоторые ее части были переписаны по крайней мере семь раз. Моей последней работой было чтение корректур последнего издания. Это, конечно, самая большая из всех его книг. Слава моего мужа распространилась по всему миру. Его книги переведены даже в Китае». Графиня, как и вся ее семья, обожает музыку.

Когда мы опять подошли к дому, мы нашли под деревьями накрытый к обеду стол, Толстой уже нас поджидал. Многие читатели трактата «Что такое искусство?»⁶ были удивлены тем, что он не упоминает о Рескине⁷ и Вильяме Моррисе⁸, тогда как указывает на многих незначительных английских писателей и таких ученых, как Дарвин, Герберт Спенсер и Грант Аллен, которым нельзя приписывать большого знания этого предмета и за которыми нельзя признавать большого авторитета. Один из нас взял на себя смелость это выразить. «Так ли это? — сказал он, — может быть, вы правы. У меня привычка делить людей на две категории, на глупых и умных (мудрых), и я причисляю всех ученых к первой категории. Что касается Морриса, я не много о нем знаю. Я читал «Вести ниоткуда»⁹, но я не люблю книги такого сорта. Это похоже на «Взгляд назад» Беллами¹⁰. Как может кто-либо предвидеть будущее? Если б римляне постарались описать теперешнее время, как бы они это сделали?»

Нам показалось, что эта оценка «Вестей ниоткуда» была не совсем справедлива, так как книга есть не столько попытка пророчества, сколько фантазия для проведения социалистических идей. Однако Толстой, как он сказал нам, не имеет никакой веры в социализм, уповающий на правительство и насилие, которые ему как анархисту, хотя и мирному, совершенно чужды. Мы дали ему прекрасную статью Летаби «Моррис как рабочий»¹¹, и она вызвала у него интерес.

«Я не представлял себе, что он был столько же рабочий, сколько писатель, — сказал он. — Каких лет он умер?» — «Шестидесяти двух». — «Это рано. Отчего он умер?» — «Он себя переутомил работой и преподаванием». — «Как грустно, — сказал Толстой, — это то, что убило великого Диккенса». — «Вы очень цените Диккенса?» — «Конечно, очень, — ответил он с чувством, — все его действующие лица мои личные друзья. Я постоянно их сравниваю с живыми людьми, и живых людей с ними. И сколько ума во всем, что он писал».

Без сомнения, никогда никем не было отдано большей дани уважения гению Диккенса и универсальности его типов, которые иногда считаются слишком специально английскими или даже лондонскими, как этим заявлением величайшего современного романиста.

О Рескине он говорил с неменьшим жаром. Он читал большую часть его книг, начиная с «Последнему, что и первому»¹². Знаем ли мы «Рескин и Библия»?¹³ Нет?

«Вы должны это достать. Это был человек, который читал Библию, и делал это с толком. Он был величайший человек. Я люблю его лицо, — прибавил он. — Я видел два его портрета в фас и в профиль, оба после того, как он отпустил бороду. Он был похож на русского мужика». Это последнее заключение гораздо больше подходит к самому Толстому, тип лица которого, с меньшей силой и меньшей остротой в глазах, но с теми же чертами, можно часто встретить на улицах Тулы и Москвы. Нет ничего тонкого, ничего аристократического в его наружности, несмотря на то, что его семья благородная и древнего рода. Его нос, в детстве причинявший ему огорчение, очень широк, губы его толсты, его руки и уши заметно велики. В манерах и разговоре он очень деликатен, всегда готов столько же слушать, сколько говорить, более похож в этом отношении на Рескина, чем кто-либо, кого я знал. Эти два человека должны были бы встретиться. У них было очень много общего, не говоря о любви к Диккенсу, о недоверии к науке и готовности принять дословно Евангельское учение. «История графа Толстого, — писал Рескин в начале 1888 года одному другу, который ему послал прекрасную статью Джорджа Кеннана в «The Century»¹⁴ от июня 1887 года, — благороднейшая вещь, какую я когда-либо читал».

В письме к тому же другу он сожалел о том, что не отказался от своего состояния. «Если бы я это сделал, — говорил он, — жил бы на чердаке и мог бы проповедовать королеве Виктории, чтобы она сделала то же самое. Я всегда считал, что единственный способ справиться с «Ист Енд»¹⁵ — это справиться сперва с «Вест Енд»¹⁶. Один из нас привел это замечание Толстому. «Меня это очень интересует, — сказал он, — потому что я в том же положении. А почему Рескин этого не сделал?» — «Ему это казалось слишком трудным. У него было так много обязательств, артистов, которых приходилось поддерживать и т. д.» — «А, — ответил он со вздохом, — это так, мы делаемся христианами, когда уже поздно, когда связаны обязательствами».

Нам дали прекрасный, но простой обед — перловый суп, гречневая каша, телятина, салат, квас и крымское столовое вино. К обеду присоединилась другая дочь¹⁷, ездившая верхом. Для самого Толстого были специальные вегетарианские блюда. Когда убрали со стола, графиня показала нам фотографии мужа и семьи, которые она сама делала, а потом мы опять пошли гулять по садовым дорожкам среди фруктовых деревьев.

Мой друг захотел посоветоваться с Толстым по личному вопросу. Когда маленькая конференция казалась почти оконченной, я к ним присоединился. «Я не могу вам советовать, — говорил он, — если вам надо учить других, это должно делать бессознательно». Он придавал большое значение этому слову. «Примером?» — спросил кто-то. — «Да, примером. Живите по закону Иисуса Христа, в любви друг к другу». — «Как вы относитесь к Христу?» — «Как к человеку. Я не могу сузить своего религиозного воззрения, говоря иначе. Один немец написал книгу, чтобы доказать, что Христос никогда не существовал¹⁸. Меня спрашивали, что я думаю об этом, и я ответил, что это, вероятно, так, но мне это совершенно все равно, существовал ли он. Его учение существует и есть Откровение Божие». — «Вы полагаете, что это одно исключительное Откровение?» — «О, нет, — сказал Толстой, — я верю, что все великие умы были источником откровения и что у всех религий оно общее. Но христианское Откровение кажется мне наивысшим из данных миру. Мы не можем сказать, что есть Бог. Мы даже не можем сказать, может ли быть один Бог или много Богов».

Разговор опять коснулся литературы. Все политические типы в «Воскресении» были взяты с людей, которых Толстой знал лично или о которых он слышал¹⁹. Он упоминал о Карлейле²⁰, Матью Арнольде²¹, «Автобиографии» Милля²² и еще о новой книге Эрнеста Кросби «Шекспир и рабочий класс»²³. «Я читал Шекспира, — сказал Толстой, — но я никогда его не любил и не мог понять почему. Эта книга многое объясняет. У Шекспира не было любви к крестьянам. Он никогда не вводит шута с иной целью, как чтобы поднять его на смех. Вот почему я не могу читать его с удовольствием. И Кросби указывает на то, что он появился только через пятьдесят лет после «Утопии» Мора»²⁴.

Мы ходили взад и вперед по фруктовому саду, когда до нас донеслось из деревни мычание скота. Толстой воскликнул: «Вчера я мог насилу взойти наверх, но сегодня я чувствую себя вполне сильным. Пойдемте на деревню, это вам будет интересно». Действительно, он выглядел сильным и энергичным, когда зашагал в своих высоких сапогах, и нам рассказывали, что он часто ходит или ездит верхом по несколько миль, хотя ему теперь 75 лет. Деревня Ясная Поляна похожа на другие русские деревни и состоит из двух рядов очень живописных хорошеньких домиков по обеим сторонам широкой улицы. Они большей частью крыты соломой и сложены из осиновых бревен, которые, как нам сказал Толстой, являются плохим материалом, так как разрушаются лет за 15 и очень легко горят. В деревне стояло также несколько новых домиков из красного кирпича, очень банального вида, под железными крышами, выкрашенными в зеленый цвет. Железо на крыши отпускается правительством с пятидесятипроцентной скидкой, но несмотря на это оно гораздо дороже соломы, которую, в противном случае, оно скоро заменило бы и окончательно вытеснило, так же, как красный кирпич будет вытеснять постройку из осины, если только какой-нибудь иной материал не войдет в употребление раньше, чем Россия окрепнет в экономическом отношении. В настоящее время в этих земледельческих уездах, во всяком случае, Россия находится на стадии развития, которая была достигнута в Западной Европе в конце средних веков. Впрочем, деревенские дома без садов с примыкающими к ним сараями для скота, так же, как живущие в них, имеют хороший, достойный вид.

Был праздник, и все деревенские жители были в праздничных нарядах: мужчины и женщины здоровые, быстроглазые, полные, сейчас же напомнимшие картину с крестьянами в «Джоне Болле»²⁵. Они обрабатывают свою собственную землю и выращивают собственных лошадей, овец или иной скот, который пасется на общем лугу, примыкающем к деревне.

Дорога из фруктового сада выходила через живую изгородь и шла между двух небольших холмов. Мы прошли мимо маленького, недавно родившегося жеребенка, и Толстой сказал нам, что он слишком позднего вывода, чтобы хорошо вырасти, и что он будет убит на кожу.

Нам встретился крестьянин, правивший лошадей; он обменялся приветствием с Толстым, на которого был несколько похож. Потом мы повернули на главную улицу. У Толстого находилось слово для каждого; разговаривая, он всякий раз приподнимал шляпу, и ничего не могло быть больше того почтительного простодушия, с которым его встречали. «Крестьяне многому меня научили, больше, чем я сумею вам рассказать, — сказал он. — В Англии ваши крестьяне пропускают h's*, но если вы хотите знать самый чистый русский язык, вы можете его услышать только от крестьян. Этот человек был моим лучшим учеником, когда я здесь преподавал. Я открыл свою школу в 1859 году. Этому человеку можно дать около 50 лет, не правда ли? А ему 65. Его мать была моей кормилицей».

Мы вошли в один из домиков, который опять напоминал «Джон Болла», до того там все было естественно и здорово. На улице женщины и дети были похожи на светлые картинки или цветы. Их одежда естественна и великолепных окрасок — ярко-красных, ярко-синих, желтых, зеленых, пурпурных, прекрасно гармонирующих с солнечным светом, и эта утонченная красота не есть результат чего-либо выработанного, а так же, как метод обучения, предлагаемый Толстым, произвольна и бессознательна. Мы не выдали ни одного городского платья. Блаузы и рубашки мужчин вышиты с большим искусством.

Солнце садилось, когда мы завершали свою прогулку по деревне. Мы опять вошли в ворота, поднялись по аллее и приготовились прощаться. Но Толстой сказал: «Вам некуда торопиться, ночь сегодня лунная». Так что мы вошли в дом, видели разные старинные картины, три бюста Толстого и один его портрет, сделанный, как он нам сказал, когда он был на половине «Анны Карениной»²⁶.

Дом очень просто обставлен. Рабочая комната Толстого без ковра, так же как у Вильяма Морриса. Мы немножко посидели на балконе, в кабинете опять говорили о Рескине. Потом мы вернулись на веранду, на которой встретились в первый раз, и выпили прощальную чашку чаю.

Когда мы уезжали опять по той же дороге, до нас доносилось пение жителей деревни, но все, что мы видели два часа назад, уже казалась сном, которому трудно было верить. Сколько еще пройдет времени, раньше чем красные кирпичные стены, все одного незатейливого образца, займут место деревянных, как бы выросших из земли; раньше, чем городскому платью будет оказано предпочтение и эти милые наряды будут сброшены; и раньше чем людям 50-ти лет можно будет дать 65.

* Особенность лондонского просторечия. — Т. Никифорова.

Степняк думал²⁷, что Россию как-никак может миновать коммерционализм, который так сильно разорил Западную Европу. Кто знает? Во всяком случае, Толстой живет, а его слова будут жить еще для многих поколений и указывать путь к добру.

Перевод с англ. Т.Г. Никифоровой

¹ Автор воспоминаний приводит дату посещения Ясной Поляны по новому стилю. 29 июня/12 июля — воскресенье, день Петра и Павла, окончание Петровского поста, начало сенокоса.

² В этот день в Ясной Поляне были: Сергей Львович Толстой, Татьяна Львовна Сухотина, внук Илья (Ильич), племянница Толстого Елена Сергеевна Денисенко с детьми Таней и Онисимом, доктор Дмитрий Васильевич Никитин, подруга Т.А. Сухотиной художница Ю.И. Игумнова.

³ Осенью 1898 года С.А. Толстой по просьбе отца поехал в Англию, где делами духовоборческой эмиграции занимались английские квакеры, для выяснения условий переезда. В декабре 1898 года С.А. Толстой отплыл в Канаду из Батума, сопровождая вторую партию духовоборов. Плавание благополучно завершилось в январе 1899 года, в марте С.А. Толстой вернулся в Россию. Впоследствии было отправлено еще два парохода (один — с переселившимися ранее на о. Кипр).

⁴ Ответ Л.Н. Толстого на определение Святейшего Синода с пропуском (около ста строк) наиболее резких мест был напечатан в журнале «Миссионерское обозрение» (1901 г. № 6) и перепечатан в книге «По поводу отпадения от православной церкви графа Льва Николаевича Толстого» (СПб., 1901). Дальнейшая перепечатка статьи была запрещена духовной цензурой. Полностью «Ответ на определение Синода» был напечатан В.Г. Чертковым в «Листках Свободного слова» (1901. № 22) и перепечатан рядом заграничных издательств.

⁵ С.А. Берс было 18 лет в 1862 г., когда она вышла замуж за 34-летнего Толстого.

⁶ Тракат Л.Н. Толстого «Что такое искусство?» в переводе Э. Моода появился в Англии в виде приложения к журналу «The new order» в январе-мае 1898 года.

⁷ Рескин Джон (1819—1900), писатель и теоретик искусства, деятельность которого оказала огромное влияние на формирование целых течений в искусстве, определила многие идеи и мотивы литературных произведений. Толстой высоко ценил деятельность Рескина, написал предисловие к сборнику мыслей Рескина «Воспитание. Книга. Женщина» (М.: «Посредник», 1899), где сказано следующее: «Джон Рескин один из замечательнейших людей не только Англии и нашего времени, но и всех стран и времен. Он один из тех редких людей, который думает сердцем (*les grandes pensées viennent du coeur*)*, и потому думает и говорит то, что он сам видит и чувствует и что будут думать и говорить все в будущем...» (31, 96).

⁸ Моррис Вильям (1834—1896) — английский поэт и художник. В конце 1850-х гг. В. Моррис вступил компаньоном в торговую фирму, основавшую фабрику художественных изделий для домашнего обихода, так как считал целью искусства создание красоты во всем окружающем. Обои, ковры, мебель, сделанные

* великие мысли исходят от сердца (*фр.*).

на фабрике «поэта-обойщика», как называли В. Морриса, стали необходимыми принадлежностями хорошо устроенного английского дома. Моррис занимался также социально-политической пропагандой, был президентом «социалистической лиги», стремился к созданию новых условий для жизни и труда рабочих.

⁹ Morris William. *News from Nowhere or An epoch of rest, being some chapters from a utopian romance*. London, 1891. Книга есть в яснополянской библиотеке Л.Н. Толстого. Кроме нее в ЯПБ есть еще шесть книг В. Морриса, в одну из которых вложен листок с надписью «From S.C. Cockerell» (от С.К. Кокрелла).

¹⁰ Утопический роман Э. Беллами «Взгляд назад» («Looking backward. 2000—1887», Boston, 1888) в русском переводе был напечатан в сокращенном виде под заглавием «В 2000-м году» в «Книжках Недели» (1890).

¹¹ Lethaby W.K. *Morris as WorkMaster. A Lecture*, London, 1901. Книга имеется в яснополянской библиотеке Л.Н. Толстого.

¹² «Последнему, что и первому» — серия очерков Д. Рескина, объединенных в книгу. Под «первыми» Рескин имел в виду богатых, а под «последними» — бедных и хотел если не равенства, то, во всяком случае, внимания к «последним», т. е. к беднякам. Книга есть в яснополянской библиотеке.

¹³ Brunhes H.J. *Ruskin et la Bible*, P., 1901. Русский перевод: Брюнгес, Генриетта. Рескин и Библия. М., 1902. Книга есть в яснополянской библиотеке.

¹⁴ Дж. Кеннан посетил Ясную Поляну в июне 1886 года. Свои впечатления о встрече с Л.Н. Толстым, подробную запись разговоров с ним он изложил в воспоминаниях под заглавием «Визит к графу Толстому», напечатанных в журнале «The Century», 1887. № 3, 4.

¹⁵ Дословно «Восточный конец» — район Лондона, в основном населенный бедняками.

¹⁶ «Западный конец» — фешенебельный район Лондона.

¹⁷ Александра Львовна.

¹⁸ Имеется в виду книга: Verus J.G. *Vergleichende Uebersicht der vier Evangelien*. Leipzig, 1897 (Верус И.Г. Сравнительный обзор четырех Евангелий). Толстой читал ее в 1899 году (записи в дневнике и письмо П.И. Бирюкову 1 августа 1899 года).

¹⁹ Можно назвать Е.Е. Лазарева, знакомого Толстого, Н. Армфельдт, А.А. Тихоцкого — революционеров, в облегчении участи которых Толстой принимал участие.

²⁰ Карлейль Томас (1795—1881) — английский философ, историк и публицист.

²¹ Арнольд Метью (1822—1888) — английский поэт, критик, историк литературы и богослов.

²² Милль Джордж Стюарт (1806—1873) — английский философ и экономист. «Автобиография» Милля вышла в свет на английском языке в 1873 году, после его смерти. Об этой книге Толстой писал в 1904 году: «В автобиографиях часто, совершенно независимо от воли авторов, проявляются в высшей степени важные психологические данные. Такие, я помню, поразили меня в автобиографии Милля» (75, 82).

²³ Кросби Эрнест (1856—1907) — американский поэт, публицист, общественный деятель. Толстой начал писать предисловие к статье Кросби «Шекспир и рабочий класс» в первой половине сентября 1903 года. Предисловие разрослось в самостоятельную большую статью «О Шекспире и о драме».

²⁴ Мор Томас (1478—1555) — английский гуманист, политический деятель и писатель, основоположник утопического социализма. Диалог «Утопия («Нигдения»)» появился в 1516 году. В. Шекспир родился в 1564 году, умер в 1616-м.

²⁵ Имеется в виду повесть В. Морриса «Сон про Джона Болла» (1888), действие которой происходит в средневековой Англии во время крестьянских волнений в графстве Кент (1381). Герой повести — Джон Болл, нищий странствующий священник, освобожденный из тюрьмы восставшим народом.

²⁶ Имеется в виду портрет Л.Н. Толстого работы И.Н. Крамского (1873).

²⁷ Кравчинский Сергей Михайлович, литературный псевдоним Степняк (1851—1895) — революционер-народник, публицист, писатель. В августе 1878 года он убил шефа жандармов Н.В. Мезенцева, после чего скрылся за границу. Кравчинский жил в предместье Лондона. Он не раскаивался в своей террористической деятельности, но всегда с ужасом вспоминал о той минуте, когда он вонзил кинжал в грудь Мезенцева.

Ф. Кочетков

ТОЛСТОЙ ОТЕЦ. ПАМЯТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Публикация З. Н. Ивановой

Федор Кочетков — крестьянин деревни Бабурино Крапивенского уезда Тульской губернии, расположенной близ Ясной Поляны. В «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого за апрель 1906 года упоминается как дворник в Ясной Поляне.

Воспоминания Федора Кочеткова печатаются по рукописям, хранящимся в Гос. музее Л.Н. Толстого, в архивном фонде Николая Николаевича Гусева. Они не датированы, но, скорее всего, написаны в 1911 году, как и другие крестьянские воспоминания, хранящиеся в музее Л.Н. Толстого, в том числе и те воспоминания того же Ф. Кочеткова, которые были опубликованы в книге «Воспоминания яснополянских крестьян о Л.Н. Толстом», Тульское книжное изд-во, 1960.

Печатаются с незначительными стилистическими исправлениями, но с сохранением диалектных выражений, бытовавших в Тульской губернии.

Толстой отец

В Ясной Поляне все изменилось и потемнело. Крестьяне не только что Ясной Поляны, но и все окружающие Ясную Поляну верст 35 кругом все ходят якобы сонные и чего-то у них не хватает и собираются кучами и одно толкуют, что умер наш отец и покровитель, теперь за нас застоять некому и помочь также. А особенно те люди, которые имеют сильную бедность и нужду. Например, вот один пример. Помер один крестьянин, и у него осталось пять человек детей. И бедная вдова не знала, что ей делать и как возрости детей. Муж ее остудился и в чахотке долго прострадал, наконец и Богу душу отдал. Схоронить было не на что. Она обратилась к священнику. Приходит к нему на кухню и говорит прислуге:

— Что, батюшка дома?

Прислуга сказала:

— Дома. А что?

— Муж помер и похоронить не на что. Хотела попросить его подождать, может весной ребятишек отдам скотину пасти, как-нибудь и заплачу.

Выходит священник, и она подошла под благословение и плача стала просить его похоронить мужа, но деньги попросила обождать за похороны. А священник крикнул:

— Что же жил, жил и ничего не приготовил к этому дню-то, небось знал, что помирать будет, и не мог приготовиться, даже попу и то заплатить нечем.

Баба заплакала и пошла. И побегла в Ясную Поляну к графу. Пришла поздно, усталая, разбитая и голодная. Целый день крошки хлеба во рту не было, и губы пересмагнули* от переутомления сердца и дум. И стала у дерева дожидаться кого-нибудь, кто из дома выйдет. Простояла не более как 20 минут. Вот и показался Лев Николаевич, подошел, поздоровался и спросил:

— Ну как поживаешь, Татьяна?

Потому что он знал всех людей наперечет в кругу 20 верст.

— Плохо, ваше сиятельство, — сказала баба. — Вот и Василий мой Богу душу отдал, такое горе, не знаю к чему и руки приложить, даже похоронить не на что. Ходила к священнику, а он сказал, что же он жил и к этому дню не мог подготовиться, или умирать не собирался, хлопнул дверью и пошел. Больше ничего не сказал. Я постояла немного и пошла домой. По дороге я зашла в лавку попросить лавочника что-нибудь отпустить в долг для детей, хотя 5 ф. хлеба. А тот сказал:

— У вас граф добрый, сходи и попроси его, он не откажет, а я не могу вас оделять. Я пошла к вам, ваше сиятельство.

— Ну пойдем со мной.

Пришли на кухню. Лев Николаевич сказал кухарке:

— Дай этой женщине хлеба.

Она дала. Они пошли в контору, где находился управляющий. Взял ключи и пошли в амбар. Он ей сам насыпал муки, как она могла донести. И достает из кармана 7 руб. и говорит:

— На вот, заплати попу, сколько надо, а я зайду после похорон к тебе.

Баба поблагодарила за подаяние, вышла из амбара, взвалила муку на плечо и побегла домой. Сама дорогой крестится, не помня себя от радости.

Прошло 2 дня. Лев Николаевич заходит к вдове и спрашивает:

— Ну как живешь?

— Плохо, — сказала. — Хлеба нету, весна подходит, картошки сажать тоже нету, овса сеять нету, не знаю, что делать.

— Ну хорошо, я скажу приказчику, чтобы он дал пока тебе 3 пуда муки. А потом приходи к 1-му числу, я тебе помогу, приходи к 5 часам вечера, когда он выдает помощь всем, кому надо.

И пошел домой. Сказал Татьяне:

— Не скучай. Что делать, хотя и жаль Василия, он еще не особенно старый, еще пожить бы надо.

С тем и вышел вон.

Пришла весна. Баба не знала, что и делать. А Лев Николаевич прислал к ней дворника своего и сказал, чтобы баба выходила в поле показать ему свою пашню. Баба разбудила девочку, которая постарше, а сама побегла в поле. Смотрит, а Лев Николаевич стоит около ее пашни и спрашивает:

— Это, кажется, твоя пашня, если я не ошибся.

— Да, моя, — сказала баба.

* обветривали. — Э. Илларио.

Лев Николаевич слез с телеги, выпряг лошадь из телеги, снял соху с воза. А на возу был овес и сноп соломы и стал лешить, а потом рясил ниву и стал пахать. Хотя и старый, но работа у него хорошо спорилась. Скоро он закончил свою ниву, пообедал, приехал домой, отдохнул и поехал на другое поле. Так закончил сев овса. Насыпал воз картошки и приехал на деревню и стал пахать под картошки. Кончил пахоту, стал нарезать гряды. Гряды нарезал, а баба с детишками за ним сажали. Закончили картошку. Взял заступ и стал копать гряду. Сделал как надо, взял грабли и оправил как надо. Потом полез в карман, достал пакет и стал сеять. Это была редька.

Как-то зашел посмотреть свой огород. Но действительно, все зеленело хорошо. Подошел, вынул редьку, но она была уже большая, такая славная.

— Эх, — говорит, — какая хорошая, и сам немного съел бы, только зубов нету, не укусишь.

С тем и пошел.

Но теперь нету отца и благодетеля. Так и остались кругом Ясной Поляны сироты.

Памяти Льва Николаевича Толстого

Мужички Ясной Поляны смотрят теперь, какая перемена будет в имении Льва Николаевича, особенно весной, что сразу похоже крестьянам. Бывало, как только настанет весна, то крестьяне (конечно земли у них не особенно много), то они собираются группами, человек по шести и более, и ведут усталых и рабочих лошадей на усадьбу Льва Николаевича, кто в луга, а кто и в сады. Конечно, хотя и запрещали и даже графиня Софья Андреевна приказывала даже забирать лошадей или коров, но как только настало утро, то мужики идут ко Льву Николаевичу, и он приказывает отпустить. Даже не редкий случай, было, что и мужичок придет просить лесу на помощь, хворосту для плетня или какую соху для двора или для сарая, то конечно, приказчик ему откажет, но он ждет, мужичок, Льва Николаевича, то он не откажет. Как один крестьянин просил приказчика, но он ему отказал, то мужик пришел домой и задумался. Баба его спросила:

— Что, Егор, невесело смотришь?

— Да как же, — сказал муж, — ходил на барский двор, просил 2 ш. сох, небось сарай-то завалился.

— Ну что?

— Что? конечно отказали.

— А ты бы графа-то попросил.

— Да в том-то дело, что его нету, он уехал в Пирогово. Неизвестно, когда и придет. Ну, хорошо! Что будет, то будет, — сказал мужик. — Нонче поеду, самовольно авось украду ночью. Но баба сказала:

— Не прогадай, мужик, хуже бы не было.

— Ну ладно.

Пришел вечер, мужик запрег лошадь, взял пилу и топор, взошел в избу, хотел позвать жену на подмогу, да с ребяташками некому.

— Ну ладно, я один как-нибудь справлюсь.

Сел и поехал. Приехал в лес, облюбывал дерево и хотел было резать пилой, но одному неудобно. Взял топор, хотел рубить, но нельзя, по зори стук слышен далеко, можно попасться. Ну и задумался, как ему поступить. Получше смотри, кто-то шуршит, слышно все ближе кто-то подходит. Мужик схватил пилу с топором и побежал к лошади. Но он говорит:

— Стой, Егор, куда бежишь? Ты зачем приехал?

Мужик смутился на время, а потом сказал:

— Да вот сошок на сарай не хватает. Ну и хотел согрешить, но Бог попутал, ваше сиятельство.

— А ты бы попросил, Егор, я бы тебе не отказал.

— Я ходил, но вас не было, ваше сиятельство, а графиня отказала.

— Ну, давай пилу, я тебе помогу.

Мужик подал пилу и стали пилить. Срезали дерево, и Лев Николаевич взял пилу и стал мерить от корня, а мужик взял топор и стал очищать сучья. Лев Николаевич намерил в каждом столбу по три аршина. $\frac{1}{9}$ аршина заметили и стали разрезать. Распилили, поворотил мужик лошадь, навалили вдвоем, завязали веревкой и мужик хотел было ехать, но Лев Николаевич его остановил:

— Стой, Егор, надо сучья убрать. Ты возьми их с собой. Они тебе дома пригодятся печку топить. А я корень землею затру, так что будет незаметно.

Убрались, распростились и мужик поехал домой, а Лев Николаевич пошел домой. На утро Лев Николаевич проснулся и пришел посмотреть к своему вчерашнему товарищу. Приходит, а мужик стоит и придумывает, какой столб куда поставить. Но еще одной не хватает.

— Здорово, Егор.

— Здорово, Лев Николаевич, — ответил мужик.

— Ну как твои столбы, годятся или нет?

— Хорошо, ваше сиятельство. Только вот еще одно не хватает.

— Ну хорошо, давай с тобой эти поставим.

Взял лопатку и стал мужику помогать копать ямы. Вырыли, поставили сохи.

— Ну хорошо, — и Лев Николаевич засмеялся. — Пойдем, Егор, я велю еще дать приказчику. Да скорее заканчивай сарай-то, а то хлеб не во что будет класть. Скоро ведь рожь косить, она почти готова.

И пошли. По дороге зашли в контору, Лев Николаевич приказал приказчику еще дать мужику сох. Мужик поблагодарил Льва Николаевича и разошлись. А теперь не только что да заехать в имение, даже на могилу пойти проведать своего благодетеля и то с того времени, потому что теперь не только что лошадей по усадьбе пасти, даже самим воспрещено ходить по усадьбе. На каждом месте прибит кусок холстины и на нем написано: «Ходить при усадьбе строго воспрещается посторонним». Так кому надо на могилу, то надо идти не прямо на могилу, а кругом усадьбы. Вот как дорога эта усадьба!

Т. В. Комарова

ПОМЕТКИ С. А. ТОЛСТОЙ НА ЯСНОПОЛЯНСКОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ «ПИСЕМ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО К ЖЕНЕ 1862—1910 гг.»

В яснополянском доме Л. Н. Толстого хранятся «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 гг.», подготовленные к публикации и изданные Софьей Андреевной Толстой в 1913 и 1915 годах. При подготовке первого издания 1913 года Софья Андреевна привела письма Толстого к ней в хронологическую последовательность, используя свои ответные письма, точно датированные; подготовила для типографии их список, сняла копии с оригиналов, хранящихся в Историческом музее, подготовила комментарии. В первое издание она включила 656 писем Л. Н. Толстого к ней, начиная с первого от 16—17 сентября 1862 года, до письма от 22 июня 1910 года, и семь записок 70-х годов. Второе издание она дополнила семью письмами, последнее датировано 31 октября 1910 года. Один из яснополянских экземпляров уникален. Он представляет собой разброшюрованный типографский экземпляр, дополненный чистыми листами, помещенными после каждой печатной страницы специально для пометок, и вновь переплетенный, только уже в две книги, из-за увеличившегося объема, в картонный переплет с холщовым корешком.

На корешке первой книги печатными буквами синими чернилами написано: «Л. Н. Толстой. Письма к жене. I книга — 62—87 гг.», на корешке второй книги: «Л. Н. Толстой. Письма к жене. II книга — 87—910 гг.». На обороте титульного листа I книги Софья Андреевна написала: «Новые пометки я начала вносить 4/17 января 1919 г. Гр. Софья Толстая». И до последних дней жизни верная своему принципу оставлять «живые, правдивые источники» Софья Андреевна вносила в письма Толстого к ней новые комментарии, вписывая их на чистые страницы рядом с текстом того или иного письма. Дополнила второе издание еще двенадцатью письмами Толстого к ней, перепечатав их на пишущей машинке и также поместив между печатными листами в хронологической последовательности. Пометки Софьи Андреевны — голос «милого друга», которому адресовал Толстой свои послания, тоскуя, тревожась, заботясь. В яснополянском экземпляре второго издания более семисот пометок Софьи Андреевны, самых разных по содержанию. Это сведения о друзьях, знакомых, яснополянских крестьянах, литературных, хозяйственных занятиях Толстого, его увлечениях охотой, разведением пчел, рассуждения о судьбе детей, пояснения к отдельным фактам.

При подготовке комментариев к 83 и 84 томам 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого, куда включены все письма, записки, телеграммы Толстого к жене, многие из этих замечаний, но далеко не все, были учтены. Из них мы узнаем интересные подробности о жизни писателя, известные только Софье Андреевне.

2 февраля 1884 года Лев Николаевич пишет Софье Андреевне: «Получил твое письмо и радуюсь, что у вас все хорошо и нет балов». В комментариях к этому письму, опубликованному в 83-м томе Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, приводится письмо С.А. Толстой от 31 января 1884 года: «...балы... оставили в моей голове такую пустоту, так я устала, что весь день как шальная сегодня... Теперь у нас жизнь будет более тихая. До спектакля Оболенских (12-ого) ничего не предстоит. Таня собирается ездить в школу; а я с детьми больше заниматься» (83, 422).

Пометка же Софьи Андреевны объясняет, что это были за балы, почему она на них выезжала: «Это был период выездов дочери Тани и мой для нее и с ней. Она имела большой успех среди выезжающей в свет молодежи, и мне это было тоже весело и приятно, тем более, что нас особенно радушно и любезно везде принимали»¹.

16 ноября 1866 года Толстой сообщает жене: «...Железная дорога уже ходит». В Полном собрании сочинений в комментариях дается ссылка на объявление в «Московских ведомостях» за 1866 год о начале движения пассажирских поездов на участке от Москвы до Серпухова 17 ноября 1866 года (83, 132). Пометка Софьи Андреевны дополняет эти сведения: «Только что пошла железная дорога из Москвы. Сначала до Серпухова, потом и до Тулы»².

Письмо Толстого Софье Андреевне из Нижнего Новгорода от 14 июня 1878 года подписано: «Гр.», затем «Гр.» зачеркнуто, и далее Толстой продолжает: «По привычке подписался было, и досадно». В комментариях в Полном собрании сочинений констатируется: «Зачеркнуто: Гр.» (83, 257). Софья Андреевна пометает: «По привычке буквы Гр. ...должны были означать Графа; а Лев Николаевич уже тогда сам перед собой решил графом не подписываться»³.

1 декабря 1864 года Л.Н. Толстой пишет Софье Андреевне: «...Брамапутров при- торговал и привезу с собой». В комментариях приводится письмо Софьи Андреевны от 5 декабря: «Спасибо тебе за брамапутров, я им очень рада. Боюсь только, что бабка моя их поморит. Я думаю взять их в кухню. Они скорее занесутся и будут сытее» (83, 71). Пометка Софьи Андреевны поясняет: «Брамапутры особенная порода кур. В то время Софья Андреевна много занималась птицей, и разными породами птиц»⁴.

К рассуждению Толстого в письме от 28 октября 1884 года: «Какова наша с тобой жизнь с нашими радостями и горестями, такова будет жизнь настоящая и наших 9 детей. И потому важно помочь им приобрести то, что давало нам счастье, и помочь избавиться от того, что нам приносило несчастье; а ни языки, ни дипломы, ни свет, ни еще меньше деньги не принимали никакого участия в нашем счастье и несчастье...» — Софья Андреевна добавляет: «Было время, когда Лев Николаевич приписывал большое значение приобретению средств: покупал Самарские земли, купил дом, продавал за большие деньги свои сочинения... За два издания «Войны и мира» он брал за каждую книгу по 10 рублей. В 1884 году в нем уже начинался духовный переворот и он начал отрицать и богатство и всякую собственность»⁵.

Заслуживает внимания пометка Софьи Андреевны на письме Толстого 25 апреля 1887 года, в котором он пишет о своем желании жить проще: «Это стремление к упрощению жизни и близости с простым народом — всегда было у Льва Николаевича. Но литературная и философская работа, воспитанье, порода, привычки, — все это мешало ему исполнить мечту простоты жизни»⁶.

2 июня 1883 года Лев Николаевич сообщает жене: «Лошадей теперь я думаю голов 40 с жеребятами — лучших, т. е. самых интересных по породе — привести к нам и разместить часть в Ясной, часть в Никольском...» Рядом Софья Андреевна поясняет: «Лев Николаевич всегда особенно любил лошадей, мечтал вывести особенную породу от степных лошадей в связи с английскими, кровными жеребцами. Очень огорчило его то, что Ясно-Полянский крестьянин Тимофей, которого Лев Николаевич послал из Ясной, дорогой утопил (по его словам) тысячного английского жеребца. Было подозрение, что Тимофей его просто продал»⁷.

Иногда пометки Софьи Андреевны — это миниатюрные увлекательные истории, написанные с легкой иронией. Такова пометка к письму от 2 мая 1894 года, в котором Толстой, рассказывая о здоровье Марии Львовны, замечает, что «Аннушка прекрасно готовит»: «Аннушка — жена Никиты Воробьева, Ясно-Полянского крестьянина. Жили у нас в доме и в Москве и в Ясной. Аннушка прочитала в издании «Посредника» Марка Аврелия и потом говорила, что нашла в этой книге большое утешение, и всем ее рекомендовала. «Вот нападет тоска, — говорила она, — я позову сына Петю, почитай мне Марка Аврелия; и тоска пройдет»⁸.

Внося пометки в 1919 году, Софья Андреевна часто давала пояснения о событиях уже этого времени. Такова запись к письму 29 апреля 1898 года, где Толстой пишет Софье Андреевне о своем намерении съездить в Никольское: «Село Никольско-Вяземское тогда еще принадлежало Льву Николаевичу*». После раздела всего имущества Никольское перешло нашему старшему сыну — Сереже. Ныне крестьяне тамошние совершили, как и везде, исключая Ясной Поляны и еще немногих имений — полный разгром. В то время, в 1898 г., в Никольском был голод; Лев Николаевич устраивал с сыном Ильей столовые, и кормили голодающих»⁹.

Отдельные пометки Софьи Андреевны раскрывают перед нами мир переживаний, переполнявших ее в последние годы жизни Толстого. В письме от 13 ноября 1896 года Лев Николаевич пишет жене: «Ты спрашиваешь: люблю ли я все тебя? Мои чувства теперь к тебе такие, что, мне думается, что они никак не могут измениться, потому что в них есть все, что только может связывать людей. Нет, не все. Недостает внешнего согласия в верованиях». «Внешнего согласия в верованиях» подчеркнуто Софьей Андреевной и пояснено: «Под внешним согласием, я предполагаю, Лев Николаевич подразумевал отрицание церкви, образов, обрядностей. До сих пор я не могу отрицать церкви, так много она мне дала с детства и потом в горе — утешения и успокоения». Далее в своем письме Толстой продолжает: «...я говорю внешнего, потому что думаю, что разногласие только внешнее, и всегда уверен, что оно уничтожится. Связывает же и прошедшее, и дети, и сознание своих вин, и жалость, и влечение непреодолимое. Одним словом, завязано и зашнуровано плотно. И я рад». «Зашнуровано плотно» подчеркнуто Софьей Андреевной и написано замечание: «Увы! Под конец жизни Льва Николаевича оказалось, что совсем не плотно было зашнуровано. Я до конца его жизни горячо любила его, а он дал людям расшнуровать его, — и он ушел от меня»¹⁰.

В письме от 29 августа 1910 года в Ясную Поляну из Кочетов Толстой просит Софью Андреевну «победить» в себе то, что «мучает» ее. Она пишет: «Мучило меня то,

* Ошибка памяти С.А. Толстой. Раздел имущества был в 1892 г. — Т. Комарова.

что я все время чувствовала угрозу ухода Льва Никол. из дома. Он мне часто говорил: «если ты будешь такая — я уйду». Такая — значило постоянно плачущая и стерегущая уход Льва Николаевича. И он ушел тайно, ночью, хотя дал мне слово, что тайно не уйдет»¹¹.

В этих пометках Софьи Андреевны чувствуется безутешное горе и невысказанная обида, нанесенная уходом любимого и любящего человека. Именно любящего, о чем свидетельствуют все письма Толстого к жене, недаром они названы современниками «книгой великой любви».

Живая непринужденная переписка всегда считалась лучшим и богатейшим биографическим материалом. Ценность же яснополянского экземпляра «Писем» значима вдвойне. Пометки Софьи Андреевны дают неоценимые яркие жизненные штрихи к характеристике Толстого, в раздробленном виде в них кроется огромный, важный материал.

«Мы твердо убеждены, — писал в 1913 году А.Е. Грузинский, — что основные элементы натуры, стойкие особенности простой человеческой индивидуальности служат не только фоном, но и фондом всех свойств общественного деятеля, как бы крупен он ни был и в какой бы области ни лежала его творческая работа. И проникнуть к этим корням, туда, где из человека вырастает творец, талант, гений, рассмотреть глубокие спайки этого чудесного двойного существа — быть может, иногда есть лучший способ понять само создание. Без такой работы образ великого человека всегда будет лишь бледным, схематичным, условным — иконой вместо портрета, житием вместо биографии»¹².

¹ Письма графа Л.Н. Толстого к жене 1862—1910 гг. М., 1915. С. 218. Фонды Дома-музея Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Инв. № 11370/1—2.

² Там же. С. 63.

³ Там же. С. 120.

⁴ Там же. С. 28.

⁵ Там же. С. 234.

⁶ Там же. С. 314.

⁷ Там же. С. 194.

⁸ Там же. С. 472.

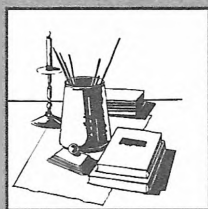
⁹ Там же. С. 540. В 1898 году Толстой устраивал столовые, живя у сына Ильи в Гриневке.

¹⁰ Там же. С. 517.

¹¹ Там же. С. 589.

¹² А.Е. Грузинский. Л.Н. Толстой в письмах к жене. М., 1913. С. 3—4.

ТОЛСТОЙ И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ



ТОЛСТОЙ И ТУРГЕНЕВ В СУДАКОВЕ

Перелистывая страницы ранней повести Л.Н. Толстого «Семейное счастье», находим описание цветущего дворянского гнезда, увиденного глазами героини, от лица которой ведется повествование: «Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все Петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светло-вычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья» (5, 73).

Под названием Покровское Л.Н. Толстой описывает усадьбу, которую хорошо знал и где бывал неоднократно, — Судаково, имение отставного поручика Владимира Михайловича Арсеньева (р. 1810)¹, после смерти которого в 1853 году Л.Н. Толстой был назначен опекуном четверых детей покойного: Валерии (р. 1836), Ольги (р. 1838), Евгении (р. 1845) и Николая (р. 1846).

15 января 1854 года тетушка Л.Н. Толстого Т.А. Ергольская писала из Ясной Поляны своему племяннику, находившемуся на военной службе: «Я должна сообщить тебе печальную новость, я знаю, она тебя огорчит. Бесценного Арсеньева больше нет, он скончался 27 декабря, горько оплакиваемый Валерией и, конечно, всей семьей. Он скончался в полном сознании, говорил до последней минуты и благословил всех детей, благодаря стараниям м-ль Вергани², так как никто, кроме нее, об этом не подумал. Пока ничего не известно о его завещании и о том, кто будет назначен опекуном детей. Киреевский³, конечно, откажется обременять себя, этот господин слишком эгонистичен, чтобы взять на себя тяготы опекуна. М-ль Вергани как никогда исполнена решимости остаться рядом с Валерией, которая умоляет не покидать ее в такую тяжелую пору»⁴.

Находившееся неподалеку от Ясной Поляны Судаково принадлежало Арсеньевым с начала прошлого века. Приобрел его отец В.М. Арсеньев, Михаил Михайлович Арсеньев, писавший в деловых бумагах: «Жительство имею в сельце Судакове». В селе Прудном, вблизи Судакова, М.М. Арсеньевым выстроена церковь, возле которой были похоронены впоследствии В.М. Арсеньев и его жена Евгения Львовна Арсеньева, урожденная Щербачева (р. 1808), скончавшаяся в 1856 году⁵.

Задолго до рождения Л.Н. Толстого дружеские отношения с представителями этого семейства связывали родителей писателя. Особенно дружны были мать и отец Л.Н. Толстого с семьей Огаревых, своих близких соседей из Телятинок и родственников судаковских Арсеньевых. Телятинский помещик Иван Михайлович Огарев был женат на родной сестре В.М. Арсеньева, Юлии Михайловне Арсеньевой. Семьи Толстых и Огаревых состояли в переписке. В книге старшего сына Л.Н. Толстого, Сергея Львовича, «Мать и дед Толстого» (Москва, 1928) приведено в переводе с французского письмо Марии Николаевны Толстой, урожденной Волконской (матери Л.Н. Толстого), к Ю.М. Огаревой от 30 октября 1827 года, в котором она подробно описывает своей приятельнице последние события в семейной жизни Толстых. Об этих Огаревых Л.Н. Толстой писал в своих воспоминаниях: «Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещал Ясной Поляны» (34, 354).

В 1909 году от своего домашнего врача Д.П. Маковицкого писатель узнал о существовании записок Ю.М. Огаревой, в которых излагаются события 1820—1830-х годов и где речь идет также о его родителях.

Познакомил Л.Н. Толстого с записками Ю.М. Огаревой их владелец Н.П. Петерсон, бывший учитель его школы 1860-х годов, женатый на внучке Ю.М. Огаревой. Оставив без комментария присланные Н.П. Петерсоном выписки из мемуаров, Л.Н. Толстой, однако, записал в своем дневнике 2 октября 1909 года: «Ездил в шараб[ане] в Судаково. Мысль о старой жизни отца с Телятин[ками] и Судаковым. Разумеется не напишу — некогда» (57, 148).

Записки Ю.М. Огаревой в переводе с французского были частично опубликованы в журнале «Голос минувшего» в 1914 году. Из них мы, между прочим, узнаем, что в молодости Ю.М. Огарева была романтически влюблена в Николая Ильича Толстого, отца Л.Н. Толстого, которого в своих записках она называет графом.

В 1850-е годы, когда мечты о «семейном счастье» все чаще овладевали молодым Л.Н. Толстым, Судаково имело для него особую притягательность. Двадцативосьмилетний писатель глубоко и серьезно был увлечен тогда одной из своих подопечных, Валерией Владимировной Арсеньевой, старшей дочерью В.М. Арсеньева. Сестер Арсеньевых и их приятельницу и компаньонку Женни Вергани (в 1840-е годы она воспитывала сестру Л.Н. Толстого Марию)⁶, он называл «судаковскими барышнями», часто навещал их и был с ними в переписке⁷. Насколько Л.Н. Толстой был тогда, по его собственным словам, «близок к браку», отчасти свидетельствует письмо И.С. Тургенева от 8 декабря 1856 года, посланное им из Парижа в ответ на письмо Л.Н. Толстого от 1 декабря 1856 года. И.С. Тургенев пишет: «Буюсь я говорить Вам об одном упомянутом Вами обстоятельстве: это вещи нежные — от слова завянуть могут, пока не созреют, — а созреют, — так их, пожалуй, и молотом не раздобишь. Дай Бог, чтобы все устроилось благополучно и правильно — а Вам это может принести ту душевную оседлость, в которой Вы нуждаетесь — или нуждались, когда я Вас знал»⁸.

Роман с В.В. Арсеньевой, стоивший Л.Н. Толстому многих мучительных переживаний и раздумий, закончился разрывом. Л.Н. Толстой так и не смог преодолеть в себе сомнений относительно глубины и искренности чувств девушки, которую готов

был назвать своей невестой. Историю своих взаимоотношений с ней он увековечил в повести «Семейное счастье» (1859).

В 1858 году В.В. Арсеньева вышла замуж за отставного ротмистра Анатолия Александровича Талызина (1820—1894), которого оставила через несколько лет с четырьмя детьми (дети Талызиных родились: Леонид в 1859-м, Ольга в 1861-м, Людмила в 1862-м и Владимир в 1863-м годах). А.А. Талызин был членом орловского губернского по крестьянским делам присутствия, а затем (1880) орловским мировым судьей. Старший сын Талызиных, Леонид Анатольевич Талызин, стал впоследствии председателем окружного суда в Орле, а их старшая и младшая дочери проживали в Москве, где Ольга Анатольевна состояла начальницей дворянского Екатерининского института. У них хранились многие арсеньевские фамильные документы и портреты⁹.

Вторым браком В.В. Арсеньева была замужем за Н.Н. Волковым, отношения с которым удалось узаконить только после смерти первого мужа в 1894 году. Последние годы жизни она провела за границей: во Франции, затем в Швейцарии.

В 1903 году в письме к своему первому биографу П.И. Бирюкову Л.Н. Толстой, в частности, писал об Арсеньевой: «Она теперь жива, за Волковым была, живет в Париже. Я был почти женихом («Семейное счастье»), и есть целая пачка моих писем к ней. Я просил Таню (дочь Л.Н. Толстого. — О.С.) переписать их и послать вам» (74, 239).

Умерла В.В. Арсеньева 24 января 1909 года в возрасте 72-х лет в Базеле, где и похоронена.

Письма Л.Н. Толстого к ней были впервые опубликованы П.И. Бирюковым в 1921 году в третьем, берлинском, издании «Биографии Л.Н. Толстого».

Из писем самой В.В. Арсеньевой сохранились: ее письмо к Л.Н. Толстому от 12 сентября 1856 года из Москвы, где она находилась в те дни на торжествах по случаю коронации Александра II, две ее записки к Л.Н. Толстому с приглашением приехать в Судаково, посланные ею в Ясную Поляну в конце сентября 1856 года, а также десять ее писем, адресованных тетюшке Л.Н. Толстого Т.А. Ергольской¹⁰.

После замужества и отъезда В.В. Арсеньевой визиты в Судаково оставляли у Л.Н. Толстого в основном чувство грусти и разочарования. «Грустны судак <овские> перемены», — пишет он в своем дневнике весной 1858 года (48, 14). В усадьбе жили Енгальчевы — сестра В.В. Арсеньевой, Ольга Владимировна, с мужем, князем Петром Гавриловичем Енгальчевым, с которым Л.Н. Толстой не находил общих интересов.

За князя Петра Гавриловича Енгальчева (р. 1824), друга дома и опекуна, Ольга Владимировна вышла замуж в 1857 году. Предположительно чертами О.В. Енгальчевой (Арсеньевой) Л.Н. Толстой собирался наделить героиню неоконченных им сатирических комедий «Дядюшкино благословение» (1856) и «Свободная любовь» (1856) молодую девушку-провинциалку Оленьку, сватовством которой занимается эмансипированная столичная родственница.

Другим возможным прообразом юной провинциалки, историю которой собирался поведать Л.Н. Толстой, называют Ольгу Александровну Тургеневу (1836—1872), дальнюю родственницу И.С. Тургенева, дочь известного мемуариста Александра

Михайловича Тургенева (1772—1862). В их доме в Петербурге Л.Н. Толстой бывал неоднократно в 1850-е годы. В 1853—1854 годы за О.А. Тургеневой серьезно ухаживал И.С. Тургенев, который считался одно время ее женихом (7, 386).

Брак Енгальчевых впоследствии распался, а 4 апреля 1867 года Ольга Владимировна умерла в Судакве от чахотки в возрасте 29 лет и была похоронена в селе Рудаково, вблизи Судакова. Сохранилось письмо Л.Н. Толстого от 23 апреля 1867 года к младшей из сестер Арсеньевых, Евгении Владимировне, в котором он подробно рассказывает о потрясшей его кончине О.В. Енгальчевой и о своей поездке в Судакво, связанной с этим печальным событием (61, 168—169)¹¹.

Валерия, Ольга, Евгения и Николай Арсеньевы были родственниками, а трое из них — Валерия, Ольга и Николай — крестниками богатого орловского «дядюшки», помещика Карачевского уезда Николая Васильевича Киреевского, жившего холостяком.

Именно у своего богатого «дядюшки» и крестного отца Н.В. Киреевского пыталась получить деньги на свою предстоящую свадьбу с П.Г. Енгальчевым Ольга Владимировна Арсеньева в 1856 году. История с приданым О.В. Арсеньевой была известна Л.Н. Толстому, который осенью 1856 года сделал первые наброски «комедии из Оленькиной жизни» («Дядюшкино благословение» и «Свободная любовь»).

Личность Н.В. Киреевского — страстного охотника и коллекционера, первоклассного гитариста и образцового хозяина — заслуживает особого внимания. Его имя с детских лет было хорошо известно как Л.Н. Толстому, так и И.С. Тургеневу. Н.В. Киреевский был приятелем отца Л.Н. Толстого. Вместе с ним, а также с отцом и дядей И.С. Тургенева Н.Н. Тургеневым, он служил в молодости в кавалергардском полку. У В.П. Тургеневой (Лутовиновой) он крестил ее третьего сына Сергея, родившегося 16 марта 1821 года в Орле¹².

В своих воспоминаниях Л.Н. Толстой называет его среди друзей отца: «Главными товарищами его (отца Л.Н. Толстого. — О.С.) по охоте были его приятель, старый холостяк и богат Киреевский, Языков, Глебов, Исленьев» (34, 356)¹³.

В течение 40 с лишним лет Н.В. Киреевский держал в своем поместье Шаблыкино (Карачевского уезда Орловской губернии) одну из лучших псовых охот в России, что привлекало к нему отовсюду многочисленных любителей поохотиться в «отъезжем поле», в том числе и вышеупомянутых тульских помещиков, неоднократно у него бывавших.

Рассказы об их охотничьих похождениях с детства были знакомы Л.Н. Толстому. Позже он сам побывал в «отъезжем поле» в свите знаменитого охотника и оригинала и получил много ярких и живых впечатлений, нашедших отражение в «Войне и мире». «Анне Карениной» и неоконченном «Отъезжем поле».

Колоритная личность владельца Шаблыкина оставила след и в творчестве И.С. Тургенева, который описал его в «Гамлете Шигровского уезда» и в «Однoдворце Овсянникове». В своих охотничьих скитаниях И.С. Тургенев не раз посещал Карачевский уезд, где в соседнем с Шаблыкиным селе Юшкове жил его дядя Николай Николаевич Тургенев.

Сам Н.В. Киреевский, пополнивший собою галерею знаменитых чудаков (рассказы о нем вошли в сборник, появившийся на рубеже нынешнего столетия, «Былые чудачки в Орловской губернии» и книгу М.И. Пыляева «Замечательные чудачки

и оригиналы»), в 1856 году выпустил книгу под названием «Сорок лет постоянной псовой охоты», которую посвятил главной страсти своей жизни. В 1875 году, после его смерти, она была перенездана, но до сих пор является библиографической редкостью.

Среди общих знакомых Толстых и Арсеньевых, которые вносили в их жизнь особую, неповторимую атмосферу старины, была Наталья Петровна Охотницкая, бедная дворянка, вдова офицера, постоянно проживавшая в Ясной Поляне у Толстых и часто гостившая в Судакове у Арсеньевых.

В течение многих лет Н.П. Охотницкая была доброй приятельницей и неизменной спутницей тетушки Л.Н. Толстого Т.А. Ергольской.

С особой теплотой Л.Н. Толстой писал о них в своих воспоминаниях: «То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетинька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу» (34, 368).

После смерти Т.А. Ергольской в 1874 году Н.П. Охотницкая уехала из Ясной Поляны и жила в Спасском-Лутовинове, в богадельне, учрежденной И.С. Тургеневым, где и умерла в 1876 году. По словам старшего сына Л.Н. Толстого, Сергея Львовича: «Вместе с этими старухами наш дом лишился той особенной дореформенной, ласковой, но несколько затхлой атмосферы, которую они вносили в нашу жизнь»¹⁴.

Третья из «судаковских барышень», Евгения Владимировна Арсеньева («Журжинька» в письмах Л.Н. Толстого), в 1864 году вышла замуж за Рафаила Павловича Липранди, сына генерала Павла Петровича Липранди, отличившегося в Крымскую кампанию 1854—1855 годов. Л.Н. Толстой упоминает генерала П.П. Липранди среди героев Севастополя в «Песне про сражение на р.Черной 4 августа 1855 г.» («Как четвертого числа...»), где описано сражение, в котором принимал участие также сын генерала, 16-летний Рафаил, получивший в те дни свое боевое крещение¹⁵.

Как и его отец, Р.П. Липранди закончил военную службу в чине генерала и так же, как и он, был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость», особо отличившись во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Брат Липранди-старшего, Иван Петрович Липранди, послужил А.С. Пушкину прототипом Сильвио в повести «Выстрел» (1831). Сюжет этой повести был подсказан поэту также И.П. Липранди.

В 1870-е годы Евгения Владимировна с семьей наезжала в Судаково. В записках Ю.М. Огаревой (тетушки Арсеньевых), в неопубликованной их части, находим описание событий лета 1879 года, когда Ю.М. Огарева приезжала в Судаково повидать родственников и застала гостившую там семью Липранди — Евгению Владимировну с мужем и тремя детьми: сыном Павлом (р. 1865) и дочерьми Ольгой (р. 1872) и Валерией (р. 1875), «такими же хорошенькими, как и она», — пишет Ю.М. Огарева¹⁶.

Хозяином судаковского дома в 1870-е годы стал младший из Арсеньевых, Николай Владимирович Арсеньев, также бывший подопечный Л.Н. Толстого. В 1850-е годы Л.Н. Толстой в качестве его опекуна хлопотал об определении Н.В. Арсеньева в привилегированное Петербургское императорское училище правоведения, в котором тот впоследствии обучался.

Старшая дочь Л.Н. Толстого Т.А. Сухотина-Толстая в главе «Детство Тани Толстой в Ясной Поляне» в своих воспоминаниях писала:

«Но не все гости папа были умные и спорили с ним о высоких, непонятных нам, предметах. К нему ездил еще наш сосед Н.В. Арсеньев, с которым разговоры были всегда более простые и нам доступные. За это ли или за то, что Николенька Арсеньев обращал на меня внимание, я его очень любила. Он был молодой, красивый и веселый. Когда он приезжал к нам из своего имения Судаково, я всегда, когда могла, сидела в гостиной с «большими», и слушала Николеньку, и смотрела на него.

Помню, как раз он приехал, когда папа собирался идти сажать березовую посадку. Он позвал Николеньку с собой. К моей радости, Николенька попросил позволения взять с собой и нас, детей, и мы все пошли вместе с ним и с папа сажать березки.

Теперь уже эта посадка — старый березовый, так называемый Абрамовский лес, и когда мне теперь приходится проезжать мимо него или гулять по нему, я всегда вспоминаю, как я старательно, под руководством папа и Николеньки Арсеньева, сажала маленькие душистые, с блестящими липкими листьями, молоденькие березки.

— Вот вырастешь — будешь здесь грибы собирать, — сказал мне при этом папа. Раз как-то Николенька был у нас в гостях и мы все вместе сидели в гостиной. Был вечер, и в назначенный для нашего сна часа Ханна (Ханна Терсей, воспитательница детей Толстых. — О.С.) увела меня в детскую. Мне было очень горько расставаться с Николенькой, но делать было нечего. Ханну послушаться нельзя было.

Вымывши в ванне Сережу (сына Л.Н. Толстого. — О.С.), Ханна по старшинству посадила после него меня. Намылили мне голову, Ханна на минутку отошла от меня, чтобы достать кувшин чистой воды для окатывания. Вдруг мне мелькнула смелая мысль. Я воспользовалась тем, что Ханна отвернулась от меня, и с быстротой молнии выскочила из ванны. Стремглав, как была, помчалась я в гостиную, оставляя после себя на полу следы мокрых ступней.

В гостиной я остановилась посреди комнаты перед Николенькой и, торжественно разведя руками, проговорила:

— Вот она, Таня!

Не знаю, что он подумал, увидя перед собой голенькую фигуру, с стекавшей с нее водой и с мылом, торчащим в виде битых сливок на голове, но я знаю, что мама пришла в ужас и отчаяние и, схватив меня в охапку, снесла к Ханне. Ханна уже хватилась меня и по мокрому следу бежала за мной.

— Боже мой! Что выйдет из этой девочки? — в ужасе говорит мама¹⁷.

В 1870 году, после смерти «дядюшки» Н.В. Киреевского, Николай Владимирович Арсеньев, наряду с имениями в Тульской, Калужской и Пензенской губерниях, получил также по наследству село Петрово Карачевского уезда Орловской губернии и оказался соседом по имению дяди И.С. Тургенева, Николая Николаевича Тургенева, также карачевского помещика¹⁸.

В 1872 году Н.В. Арсеньев, служивший в канцелярии Тульского дворянского депутатского собрания, женился вторым браком (первая жена Арсеньева, Лидия Николаевна Андреева, умерла в 1872 году и была похоронена на Всехсвятском кладбище в Туле¹⁹) на старшей дочери Н.Н. Тургенева, двоюродной сестре И.С. Тургенева, 18-летней Варваре Николаевне Тургеневой, и породнился таким образом со знаменитым писателем.

Венчание Н.В. Арсеньева и В.Н. Тургеневой проходило в Москве, в «Московской Адриановской, что в Мещанской церкви». Поручителями невесты были ее мать, Елизавета Семеновна, ее крестный отец, поручик Иван Петрович Соковнин, поручителями жениха — «минский помещик Станислав Станиславович Яблонский и полковник Василий Сергеевич Анфоров»²⁰.

Поселились Н.В. и В.Н. Арсеньевы в Судакове.

В 1881 году И.С. Тургенев писал орловскому чиновнику Владимиру Гинтеру, искавшему у него материальной поддержки: «Я бы советовал Вашей супруге и Вам обратиться к дочери Николая Николаевича Варваре Николаевне Арсеньевой. Она богатая женщина — и живет под Тулой, в сельце *Судакове* (адрес ее: Тула). Сам дядя Николай Николаевич, о котором Вы спрашиваете, скончался в прошлом году, в мае. Другая дочь его²¹ тоже замужем и живет в Юшкове. Но состояние ее очень ограниченное, и она не может помочь Вам, как это, вероятно, сделает Варвара Николаевна»²².

Вероятно, родство со знаменитым писателем льстило Н.В. Арсеньеву. В 1881 году, уступая просьбе Арсеньевых, И.С. Тургенев согласился быть крестным отцом их младшего сына Александра, родившегося 28 июля в Судакове.

1 августа 1881 года И.С. Тургенев писал из Спасского своему знакомому новосильскому помещику Александру Михайловичу Сухотину, бывшему также близким знакомым Л.Н. Толстого: «В понедельник я принужден ехать в Тулу крестить племянника...»²³.

Обстоятельства, сопутствовавшие отъезду И.С. Тургенева в Тулу на крестины к Арсеньевым, изложены Я.П. Полонским в его воспоминаниях «И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину». Я.П. Полонский пишет:

«3-го августа все мы встали довольно рано; Иван Сергеевич должен был ехать в Тулу... В это утро он отправлялся в Тулу крестить сына у Ар-вых. И зачем он дал слово крестить, и зачем поехал, Бог его знает!..

Ехать ему сильно не хотелось; во всех движениях его при отъезде чувствовалось, что он движется не по своей воле.

Проводив Тургенева, я еще сидел за чайным столом и читал газеты, как вдруг, совершенно неожиданно, появился гость — гость этот был Ник. Вас. Гербель²⁴.

Пришлось нам без хозяина напоить его чаем и предложить закуску. Гербель очень сожалел, что не застал Ив. Серг. и что даже, встретившись с ним по дороге из Мценска, не догадался, что в закрытой коляске сидит Тургенев.

Глядя на бледное, осунувшееся лицо Николая Васильевича, я вспомнил, что он был отчаянно болен — каким-то страшным расстройством нервов, повлиявшим на мозг. Сначала Гербель говорил здраво, но нервно и с какою-то необычной для него торопливостью... Я всячески старался переменить разговор и спросил его, что он теперь переводит.

Гербель тотчас заговорил другим тоном. Сказал, что он привез с собой новый перевод из Байрона и привез с тем, чтоб я его выслушал.

Я повел его в сад и сел с ним под липами на одну из скамеек. (Старые липы эти были недалеко от дома расположены в виде круга.) Это место мы почему-то называли беседкой — место было тенистое, хотя мы и не искали тени, так как после ночной грозы день был пасмурный.

Гербель вынул тетрадь и стал читать мне «Небо и земля», драматическую поэму Байрона, прося заметить ему, какие стихи, по-моему, неудачны...

...Не успел Гербель кончить чтения, как на террасе издали показалась фигура Ив. Серг. Тургенева. Глазам не верилось.

— Смотрите, Николай Васильевич, — сказал я, — неужели это идет к нам Тургенев?

И действительно, это был Тургенев. Он опоздал на поезд, послал в Тулу телеграмму и вернулся. Гербель очень был рад такому случаю. В присутствии Тургенева, за завтраком, он стал гораздо спокойнее и с восторгом рассказывал о селе Сергееве²⁵, о князьях Гагариных и их образцовой больнице для крестьян, такой больнице, какой и за границей нет. Звал он меня ехать с ним, обещал меня познакомить с Гагариным, потом повести меня к себе в деревню и показать мне свой сад...

Гербель уехал в 7 часов вечера на Бастьево. В тот же вечер, к 9 часам, Тургенев отправился во Мценск, чтобы ехать в Тулу.

Несмотря на то, что следующий день, 4-го августа, был день очень хороший и дети могли бегать по саду, а старики греться на солнце, мы скучали, мы чувствовали, что нам недостает Тургенева. 5-го августа, с утра, ветер подул северо-западный, стало холодно, сыро и пасмурно, но барометр начал подниматься. Тургенев вернулся из Тулы в 4 часа пополудни²⁶.

Крещение, на котором присутствовал в качестве восприемника И.С. Тургенев, состоялось 4 августа 1881 года в церкви села Прудного, в семи верстах от Судакова. Село принадлежало семье генерал-майора Николая Ивановича Лазаревича (ум. 1862), с которой были дружны как Арсеньевы, так и А.Н. Толстой. Крестной матерью Александра Арсеньева стала его родная тетушка Евгения Владимировна Липранди.

В Государственном архиве Тульской области сохранилась копия метрики Александра Арсеньева, в которой читаем: «восприемники были: Орловской губернии Мценского уезда, помещик коллежский секретарь Иван Сергеев Тургенев и полковника Рафаила Павловича Липранди жена Евгения Владимировна Липранди»²⁷.

В 1911 году Александр Николаевич Арсеньев вспоминал: «Из деталей о себе скажу, что состою крестником писателя Тургенева (Иван Сергеевич самолично держал меня на руках в с. Судаково Тульской губ. и уезда; где у нас в родовом имени я родился). Иван Сергеевич является также моим двоюродным дядей (отцы — моей матери и Ивана Сергеевича — родные братья)»²⁸. Впоследствии А.Н. Арсеньев окончил Николаевский кадетский корпус и институт инженеров путей сообщения в Петербурге²⁹. Умер в 1917 году³⁰.

Крестными родителями его старших братьев — Николая, родившегося 20 марта 1873 года в Судакове, и Владимира, родившегося 13 июля 1879 года там же, были соответственно: Николая — Николай Николаевич Тургенев и его младшая дочь Екатерина Николаевна Тургенева (в замужестве Конусевич), Владимира — Рафаил Павлович Липранди и двоюродная сестра И.С. Тургенева Мария Петровна Тургенева³¹. Брак Н.В. и В.Н. Арсеньевых распался в 1891 году. Супруги были разведены. Варвара Николаевна вскоре вышла замуж вторично — за Сергея Ивановича Мосина, известного изобретателя стрелкового оружия, возглавлявшего приемную комиссию Тульского оружейного завода. В 1894 году, забрав сыновей³², она уехала с ним

в Сестрорецк — к месту его нового назначения. В экспозиции музея Сестрорецкого инструментального завода им. С.П. Воскова (бывшего оружейного завода, начальником которого с 1894 по 1902 год был С.И. Мосин) хранится фотография конструктора, запечатлевшая его в кругу семьи, с женой В.Н. Мосиной (Арсеньевой), тремя пасынками и другими лицами. Снимок воспроизведен Г.М. Чудновым в его книге «Конструктор С.И. Мосин» (Тула, 1990).

Потеряв семью, Н.В. Арсеньев дошел до полного разорения и умер в Туле в 1907 году (похоронен на Всехсвятском кладбище в Туле)³³.

Два года спустя после его смерти скончались его сестры: 24 января 1909 года в Базеле Валерия Владимировна, 26 ноября 1909 года в Петербурге Евгения Владимировна. Свидетельствует Д.П. Маковицкий (запись от 29 ноября 1909 года): «Ольга Константиновна³⁴ показала мне в «Новом времени» 27 ноября извещение в черной рамке: «26 ноября скончалась Евгения Владимировна Липранди, о чем извещают сын, дочь, зять и внуки покойной. Панихида в 2 часа дня и 7 часов вечера в квартире: Н. Стаденская 3, Петербург». Умерла сестра той Валерии Владимировны, на которой Л.Н. хотел жениться (Судаковская)³⁵».

Как пишет племянник и крестник Е.В. Липранди Александр Арсеньев: «Умерла она, трагически упав в ванной комнате затылком навзничь, — не выяснено: от сердечного обморока или от неустойчивости. Умерла вне сознания, по свидетельству Бехтерева»³⁶.

Судаково было продано Н.В. Арсеньевым Владимиру Николаевичу Шеншину, с семьей которого Толстые поддерживали дружеские отношения в 1890—1900-е годы.

28 августа 1905 года В.Н. Шеншин умер в Судакове от саркомы, о чем пишет в своих записках Д.П. Маковицкий, навещавший больного по просьбе Л.Н. Толстого³⁷.

В.Н. Шеншин был последним близким Л.Н. Толстому человеком, связывавшим его с дорогим сердцу арсеньевским домом, память о котором жила в Л.Н. Толстом на протяжении всей его жизни, домом, еще раз соединившим судьбы двух великих русских писателей.

¹ ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 89. Л. 188. Ссылки на документы из дела В.М. Арсеньева см. также в статье: Явкина Г.А. Толстой и Косая Гора // Л.Н. Толстой в Тульском крае. Тула, 1978. С. 91—92.

² Гувернантка и компаньонка в семье Арсеньевых.

³ Николай Васильевич Киреевский (1797—1870), богатый орловский помещик, родственник Арсеньевых.

⁴ *Chère tante!* Переписка Л.Н. Толстого с Т.А. Ергольской. Публикация, перевод с французского и комментарий Л. Гладковой. — Ясная Поляна. 1997. № 1. С. 255.

⁵ ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 105. Л.Н. Толстой отрицательно отзывался о «московском щербачевском духе», проявлявшемся в его юных подопечных Валерии и Ольге Арсеньевых. Он имел в виду то негативное влияние, которое оказывала на них их родная тетушка Надежда Львовна Щербачева, сестра их матери, проживавшая в Москве. Подмосковные имения Щербачевых дед Арсеньевых, помещик Московской губернии Лев Александрович Щербачев, «завлеченный шулерами», проиграл им в карты (ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 108).

⁶ В 1853 году сестра Л.Н. Толстого Мария Николаевна Толстая предлагала м-ль Вергани стать гувернанткой ее детей и заняться их обучением и через год получила ее согласие. См. *Chère tante!* Указ. изд. С. 253, 263–264.

⁷ В библиотеке Л.Н. Толстого в Ясной Поляне сохранилась книга *Oeuvres de Victor Hugo. Bruxelles, 1837. Tome II*, на титульном листе которой можно прочесть владельческую запись выплывшими чернилами: «V. Arsenieff». Принадлежность ее судаковским Арсеньевым вполне допустима. В этом случае «V» может означать «Владимир» или «Валерия». Л.Н. Толстой читал это издание весной 1866 года (61, 139, 141). На его наличие в библиотеке Л.Н. Толстого указала ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Ясная Поляна» Т.Н. Архангельская.

⁸ Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1861. Т. III. С. 54.

⁹ ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 105 (об.). Письмо двоюродного брата Талызиных А.Н. Арсеньева к составителю истории рода Арсеньевых В.С. Арсеньеву от 8 февраля 1911 года.

¹⁰ Письма В.В. Арсеньевой к Л.Н. Толстому и Т.А. Ергольской хранятся в ОР ГМТ. Письмо В.В. Арсеньевой к Л.Н. Толстому от 12 сентября 1856 года и две ее сентябрьские записки см.: Журов П.А. Л.Н. Толстой и В.В. Арсеньева // *Ясн. сб.* Тула, 1976. С. 126–127. Одно из десяти сохранившихся писем В.В. Арсеньевой к Т.А. Ергольской см.: Шифман А.И. Страницы жизни Льва Толстого. М., 1983. С. 35–36.

¹¹ Дочь Енгальцевых Наденька умерла от крупы 10 декабря 1858 года. (ОР ГМТ, фонд Т.А. Ергольской. I. № 8. Л. 1 об.)

¹² Громов В.А. Н.В. Киреевский — знакомый Тургенева и Л.Н. Толстого // Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. М.; Л., 1964. Т. I. С. 284.

¹³ Перечисленные здесь охотники, приятели отца Л.Н. Толстого: Языков Семен Иванович (1787–1865), тульский помещик, крестный отец Л.Н. Толстого; Глебов Михаил Петрович (1789–?), помещик села Папино Крапивенского уезда Тульской губернии, сосед Толстых; Исленьев Александр Михайлович (1794–1882), тульский помещик, дед жены Л.Н. Толстого Софьи Андреевны Толстой.

¹⁴ Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 43–44.

¹⁵ ОПИ ГИМ. Ф. 212. Д. 9. Л. 1.

¹⁶ Архив РАН. Ф. 646. Оп. 1. Д. 372. Л. 94, 94 об. Подлинник на французском языке. Перевод с французского Л.В. Гладковой. Младший сын Р.П. и Е.В. Липранди, Константин, родился в 1887 году. Снимки с семейных фотографий Липранди сохранились в архиве Ю.Б. Шмарова — теперь в фондах Государственного музея А.С. Пушкина в Москве.

¹⁷ Сухотина Т.Л. С. 54–55.

¹⁸ Архив РАН. Ф. 646. Оп. 1. Д. 372. Л. 11.

¹⁹ ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 105 об.

²⁰ ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 89. Л. 163.

²¹ Екатерина Николаевна Тургенева, в замужестве Конусевич (умерла в 1929 году). Орывки из ее воспоминаний о И.С. Тургеневе и Спасском-Лутовинове см.: Памятники Отечества. 1995. Вып. 34.

²² Тургенев И.С. Указ. изд. Т. XIII. Кн. I. С. 112.

²³ Там же. С. 106.

²⁴ Николай Васильевич Гербель (1827–1883) — поэт-переводчик, издатель-редактор, библиограф; знакомый И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого.

²⁵ Село Сергиевское Тульской губернии (теперь город Плавск Тульской области), вблизи которого жил Н.В. Гербель.

²⁶ Полонский Я.П. И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину // Полонский Я.П. Проза. М., 1988. С. 468–470. Время прибытия И.С. Тургенева в Спасское-Лутовиново из Судакова расходится здесь с тем, которое указано Я.П. Полонским в его дневнике: «5 августа... Тургенев вернулся в 4 часа утра и за чаем рассказывал о своем пребывании в имении Арсеньева». См.: Спасский дневник Я.П. Полонского. 1881 год (фрагменты) // Спасский вестник, 1995. № 3. С. 85.

²⁷ ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 89. Л. 164. На этот же документ ссылается В.А. Новиков, см.: И.С. Тургенев в Тульском крае. Тула, 1990. С. 132.

²⁸ ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. № 104.

²⁹ ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 78.

³⁰ По сообщению профессора Тульского гос. педагогического института им. Л.Н. Толстого, д. и. н., В.Н. Ашуркова (1904–1990). Сестра матери В.Н. Ашуркова была замужем за младшим братом известного конструктора-оружейника С.И. Мосина — М.И. Мосиным (1852–1922), служившим в приемной комиссии Тульского оружейного завода (ТОЗ). С.И. Мосин (1849–1902) был вторым мужем В.Н. Арсеньевой после ее развода с Н.В. Арсеньевым в 1891 году. С 1889 года С.И. Мосин возглавлял приемную комиссию ТОЗ, куда был назначен в 1875 году по окончании Михайловской артиллерийской академии в Петербурге. Отец братьев Мосиных И.И. Мосин (1810–1890) служил управляющим имения у Арсеньевых. См.: Чуднов Г.М. Конструктор С.И. Мосин. Тула, 1990. С. 24–33.

³¹ ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 89. Л. 163–164.

³² Сыновья Н.В. и В.Н. Арсеньевых: Николай, Владимир и Александр. Дочери Н.В. и В.Н. Арсеньевых: Елизавета (р. 1874), Варвара (р. 1875) и Екатерина (р. 1877) умерли в 1878 году и были похоронены на Всехсвятском кладбище в Туле.

³³ ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 76 об. Н.В. Арсеньев в компании с двумя лицами состоял представителем Бельгийского акционерного общества плавильных заводов, предполагавшего строительство доменных печей на Косой Горе, под Тулой, в имении Н.В. Арсеньева, где были обнаружены залежи руды. Вследствие спекуляций компаньонов Н.В. Арсеньев разорился, потеряв в этом деле почти все свое состояние. Об этом он писал Л.Н. Толстому 13 октября 1887 года (64, 163).

³⁴ Ольга Константиновна Толстая (урожд. Дитерихс) (1872–1951), невестка Л.Н. Толстого, первая жена А.Л. Толстого.

³⁵ ЯЗ. Кн. IV. С. 117–118.

³⁶ ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 105 об.

³⁷ ЯЗ. Кн. I. С. 387.

Е. В. Петровская

ПЕРЕПИСКА А. Н. ТОЛСТОГО С А. А. ТОЛСТОЙ КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ТЕКСТ

Переписка А. Н. Толстого с графиней Александрой Андреевной Толстой, его двоюродной теткой и фрейлиной императорского двора, обычно используется исследователями как резервуар цитат, ярких, выразительных высказываний Толстого по разным вопросам¹. Впервые на эстетический характер переписки, существование в ней особой стилистики, эпистолярного сюжета указано Р. М. Лазарчук. В ее статье отмечено, что главенствующая роль в выстраивании данного эпистолярного текста принадлежит А. А. Толстой, однако все попытки заставить собеседника заговорить в ее системе, ориентированной на моралистическую литературу XVIII века, оказались безуспешными: Толстой отталкивался от предлагаемой модели общения, и в этом смысле переписка контрастна по отношению к столь же «литературной» переписке с другой тетушкой — Т. А. Ергольской². При безусловной ценности данного исследования все же остается неясным, почему переписка Толстого с А. А. Толстой продолжалась почти 50 лет. Почему Толстой назвал эту переписку в числе трех главных в своей жизни, рядом с перепиской с Н. Н. Страховым и С. С. Урусовым (76, 98)? Действительно ли роль Толстого в этом диалоге была скорее отрицательной? Возможно, некоторые ответы на эти вопросы даст нам рассмотрение данной переписки как единого целостного текста. Мы попытаемся показать, что целостность и движение переписки обеспечиваются как общей памятью адресатов, так и системой устойчивых мотивов, отражающих тип сознания авторов и сложные отношения притяжения и отталкивания между ними.

При анализе мы опираемся на концепцию переписки как особого вида текста, предложенную И. А. Паперно³. Перед нами диалогический текст, реплики которого разделены во времени и пространстве, но образуют целостность благодаря тому, что разные его части сохраняют память друг о друге; каждое письмо — не только отдельная реплика, но одновременно и модель всего диалога в целом. Сложность работы с подобными маргинальными текстами в том, что они имеют размытую структуру, степень организованности их значительно ниже, чем у текста художественного, они стремятся к простейшему типу связанности — нанизыванию на ось времени моментальных снимков сознания корреспондентов. Вместе с тем смысловое поле, окружающее подобные тексты, — бесконечно широкое, включающее в себя биографические, культурные, психологические и эстетические элементы. Тем не менее «стянутость» переписки рамками начала и конца (в рассматриваемом случае эти рамки соответствуют началу дружеского сближения и «абсолютному концу» — смерти одного из

корреспондентов), наличие в ней сквозных мотивов⁴, тематические и ассоциативные связи с другими текстами (художественными и документально-автобиографическими), которые выстраивают систему наложения мотивов и их вариантов, — все это создает возможность для прояснения организации и смысла данного текста. При этом необходимо учитывать, что диалогическая природа переписки, когда в каждом письме звучат голоса обоих корреспондентов в виде ссылок на предыдущую реплику и предвосхищение ответной, когда двое как бы глядятся в зеркало другого «я», еще усложняет систему тематических мотивов: каждый мотив удваивается, а текст приобретает тенденцию к множественности смыслов.

Все сказанное по-своему окрашивается в системе толстовских текстов. В мире Толстого «слово» (литература, поэзия) не занимает центрального места, центр принадлежит понятию «жизнь»; по мысли Толстого, на главные вопросы жизни люди отвечают «не словом, орудием разума, частью проявления жизни, а всею жизнью, действиями, из которых слово есть одна только часть» (62, 381).

Особенностью творчества Толстого является гигантское расширение области жизненных явлений, охватываемых литературой, и гигантское расширение «я» в область словесного самовыражения: «Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?» (62, 184). Это тот случай, когда, по словам Томаса Манна, «творец представляет собой нечто большее, чем его творения»⁵. Поэтому роль автобиографического документа в толстовском творчестве особая. Толстой в целом осознает себя прежде всего мыслителем, искателем истины, и это искание истины находит у него разные формы выражения: наблюдение, чтение, одинокое обдумывание, устное общение с близкими людьми (это формы нетекстового характера), записи для себя, адресат которых «я сам», эпистолярное общение с «ты» — далеким собеседником, — которое часто является продолжением «живых», непосредственных разговоров, и, наконец, поэтическое творчество, статьи и трактаты, адресатом которых становится любой и каждый читатель. Письма Толстого, таким образом, находятся на той границе жизни и литературы, в той точке творческого сознания, которая обращена к собеседнику, к другому сознанию, там, где поглощенность автора собственным «я» граничит с потребностью в исповеди. Не случайно повесть «Люцерн», а потом набросок «Сон» родились в письме В.П. Боткину, «любимому воображаемому читателю», а непосланное письмо Оленина в «Казаках» оказалось способом включения в повествование внутреннего монолога, обращенного к некоему совокупному «вы» прошлой «цивилизованной» жизни героя⁶.

Для «искания смысла собственной жизни» оказывается необходим свидетель и собеседник — конкретный в письме и анонимный в поэтическом творчестве. Письма Толстого выявляют и общую тенденцию в изменении эпистолярной культуры во 2-й половине XIX века, когда перемещение границы между жизнью и литературой в сторону «жизни» приводит к разрушению игрового и эстетического «дружеского письма», сложившегося в пушкинскую эпоху, к актуализации в частной переписке проблем общения, самопознания, смысла человеческого существования, активному вторжению в нее исповеди, проповеди, философского и религиозного спора, публицистики. Тем более заметны эти процессы в том типе переписки, который изначально далек от всех этих проблем, — переписке с женщиной.

По точному определению Ю.М. Лотмана, общение собеседников возможно лишь при наличии у них некоторого объема общей памяти⁷. Эта общая память в переписке Толстого с А.А. Толстой имеет три ипостаси — это память родовая, социально-культурная и личная.

Родовая память отпечаталась в тексте прежде всего в игровом эпистолярном обращении, придуманном для своей корреспондентки Толстым. Он называет ее бабушкой, а себя внуком. В момент знакомства в 1856 году Толстому 28 лет, А.А. Толстой — 39, и она — дочь младшего брата деда Толстого Андрея Андреевича — оказывается не двоюродной сестрой Льва Николаевича, а двоюродной сестрой его отца. Толстой усиливает парадокс их принадлежности к разным поколениям, шутиливо называя ее не теткой, а бабушкой (это обращение в конце переписки уйдет в завершающую часть ее писем, когда, старея, она начнет подписываться всерьез «ваша старая бабушка»). Таким образом, А.А. Толстая, будучи на 11 лет старше Толстого, принадлежала к поколению, промежуточному между поколением самого Толстого и поколением отцов, а этими «отцами» были — Жуковский, который состоял в родстве с матерью А.А. Толстой — Прасковьей Васильевной Барыковой (а Александра Андреевна Воейкова — «Светлана» — была подругой Прасковьи Васильевны), Карамзин (младшая дочь его — Лиза — ровесница и подруга А.А. Толстой), В.А. Перовский, блестящий флигель-адъютант и участник войны 1812 года, в которого А.А. Толстая была влюблена и который умер на ее руках в 1858 году⁸. В воспоминаниях А.А. Толстой, записанных незадолго до ее смерти И.Н. Захарьиным-Якуниным, из всех детских впечатлений она выделяет одно — знакомство в 1826 году с Пушкиным, который был приглашен А.А. Толстым на один их домашних танцевальных вечеров и танцевал с 9-летней Александрин. Эпизод этот рассказан А.А. Толстой так, что благодаря акцентированию в самоописании деталей детства (розовые башмачки, маленький рост, слезы), Пушкин приобретает черты возвышающегося над ней покровителя, как бы стоящего у истоков ее судьбы⁹. Вероятно, именно связью с традициями дворянской культуры начала XIX века, с ее франкоязычным эпистолярным этикетом (касающимся прежде всего женского письма) объясняется тот факт, что большая часть писем А.А. Толстой написана по-французски. Перед нами двуязычная переписка, в которой языком корреспондентки является французский, а языком ее адресата — русский¹⁰. Следует отметить при этом, что в ходе переписки А.А. Толстая не раз переходит на русский и снова возвращается к французскому. В 1857—1865 годы все ее письма написаны по-французски (среди них только одно исключение — письмо, написанное в связи со смертью брата Толстого Николая, здесь Толстая переходит на язык своего адресата). В 1865—1875 годы чередуются французские и русские письма: после перерыва в переписке или охлаждения в отношениях А.А. Толстая переходит на русский, зато при возобновлении эпистолярного (и душевного) контакта снова возвращается к французскому (см., например, ее письма от 14 марта 1878 года и от 31 марта 1888 года). Свое «исповедание веры» в 1859 и в 1887 годах она пишет по-французски, на французский переходит незаметно для себя и в предсмертном письме от 31 января 1903 года, когда говорит Толстому о николаевском времени, зато прощается с ним в том же письме по-русски¹¹. По-видимому, французский язык для А.А. Толстой — знак близости к ней собеседника (или предмета разговора),

знак того, что «другой» вошел в ее «сокровенную зону». Смена языков, переход на язык адресата почти всегда в этом тексте свидетельствует об изменении отношений — даже тогда, когда это словесно прямо не выражено.

Начало и «корень» переписки, источник общей для обоих корреспондентов сердечной и духовной личной памяти — дни, совместно проведенные в Швейцарии весной 1857 года; именно тогда был сформирован тот первоначальный комплекс смыслов, который стал порождающей основой для переписки.

Сохранилось только два письма и одна записка Толстого швейцарского периода, хотя А.А. Толстая в «Воспоминаниях» пишет, что письма и записки летели через Женевское озеро ежедневно (А.А. Толстая жила на вилле Бокаж с великой княгиней Марией Николаевной и ее семьей по одну сторону озера, Толстой в Кларане — по другую). Поэтому источником для восстановления происходившего у Женевского озера и событий внутренней жизни обоих корреспондентов могут служить как их письма позднейшего времени, в которых «Швейцария» — один из главных связующих текст лейтмотивов, так и «Воспоминания» А.А. Толстой, подготовленные ею как комментарий к переписке с Толстым, а также письма Толстого из Швейцарии разным корреспондентам, отрывок его путевого дневника 1857 года. На основании этих источников можно утверждать, что в Швейцарии Толстым было пережито некое состояние поэтического счастья, составляющими которого были: свобода и странствия¹², «праздник», в котором «живут путешественники» (60, 362), невинно-непосредственное, почти детское веселье, братство русских путешественников — дружеский круг, в котором отношения людей были подобны семейным, и не только благодаря связям родства, но и отношениям равенства независимо от возраста и социального положения¹³, весна, красота озера и гор — и нежная дружба с Александрин Толстой (отношения, которые А.Ф. Кони в своих воспоминаниях назвал «amitié amoureuse» — «дружба-любовь»)¹⁴.

Швейцарская предыстория переписки переживается Толстым как некая идиллия, тем более понятная, что она осуществляется в Кларане, «той самой деревне, где жила Юлия Руссо» (60, 190)¹⁵. В Савойском дневнике путешествия Толстой пишет о пережитом ощущении себя «частью этого всего бесконечного и прекрасного целого»: «Уединенно, бедно, скромно и над... всем непоколебимая красота зеленых лесистых гор, синей дали» (5, 198). Отзвук этих швейцарских впечатлений мы обнаруживаем в «Анне Карениной» в разговоре Анны и Кити перед балом: «О, как хорошо ваше время! милый друг, — сказала Анна. — Помню и знаю этот синий туман вроде того, который на горах в Швейцарии. Этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится молодость, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается все уже и уже, и весело и жутко входить в эту анфиладу» (черновой вариант 20-й главы I-й части. — 20, 77—78)¹⁶.

«Швейцарская идиллия» включает в себя и гармонию красоты и веры (добра). В путевых заметках по Швейцарии Толстой записывает: «удивительно спокойно гармоническое и христианское влияние здешней природы» (5, 193). Он прибыл в Швейцарию на Пасху и, как пишет Т.А. Ергольской и отмечает в дневнике, исповедовался и причастился в русской церкви в Кларане. Сам приезд в Женеву весной — 28 марта (число «28» Толстой считал для себя знаменательным), проведенная

у окна на Женевское озеро бессонная лунная ночь, случайно открытая в номере гостиницы книга, которой оказалось Евангелие, — все это Толстой ощутил как чудесное предзнаменование: «по лбу кто-то мне черту провел» (неотправленное письмо Тургеневу 28 марта/9 апреля 1857 года. — 60, 170).

Все швейцарские мотивы: весны и Пасхи, гармонического счастья, детства и детскости, Евангелия и веры, любовного единения людей («религии любви»), — находят свое развитие в переписке. «Швейцария» как некий известный только авторам писем комплекс чувств, воспоминаний и ассоциаций становится особым «языком», тайным «шифром» этого текста, непонятным третьему человеку. Когда в 1865 году Толстой пишет, что у него в Ясной Поляне в детской и кабинете «швейцарская хорошая погода», то это означает «счастье» и «состояние любви ко всем людям» («Помните, мы по случаю хорошей погоды всех так любили и находили такими добрыми». — 61, 70). Для Толстого швейцарские впечатления объединяются в смысловом комплексе «религия любви», который, став основным стержнем его писем к А.А. Толстой, будет и «держать», и спасать переписку. Для А.А. Толстой «Швейцария», «Кларан» означают весну, пережитую с Толстым вторую молодость и мечту о духовном восхождении, которое она понимает прежде всего как приближение к Богу.

Рамки небольшой статьи не позволяют продемонстрировать, как разворачиваются в тексте переписки все обозначенные мотивы, как добавляются к ним новые (например, мотив смерти). Покажем только, как накладываются некоторые из них на основной сюжет этого «диалогического романа» — сюжет обращения и поисков веры.

В движении переписки эпистолярное поведение и роль, которую играл каждый из корреспондентов, были разными. В Швейцарии А.А. Толстая — «прекрасная дама» (что-то «тонкое, свежее и душистое», как пишет Толстой. — 61, 24), у ног которой резвится «внук», милое взрослое дитя с «артистическим чутьем», который развлекает «бабушек» «оригинальными выходками и парадоксами» и вместе с «седовласым юношей» Рябининым и веселым добряком Пушиным составляет ее собственный «маленький двор». Вместе с тем она — «спасительница» (именно к ней бросается Толстой после парижского «содома» и увиденной там смертной казни, а также — после проигрыша в рулетку в Баден-Бадене)¹⁷, «милая покровительница души», «добрая помощница и просветительница». И главное, что приобретает в ходе переписки первостепенное значение, она для него — воплощение самоотверженности и любви, символизированных в «Мадонне» Рафаэля, — гравюре, подаренной ею Толстому¹⁸. Все эти черты складываются в переписке в устойчивый мотив материнства, связанный с мотивом детства. В письмах 1858–1859 годов все чаще появляется обращение «мой мальчик». Этот мотив нежной материнской участливости, заботы подхвачен Толстым в письме от 12 июня 1859 года, написанном после первой попытки А.А. Толстой обратить его в свою христианскую православную веру и первого острого столкновения: «Знаете, какое чувство возбуждают во мне ваши письма (некоторые, как последние, в которых вы обращаете меня), как будто я ребенок больной и неумеющий говорить, и я болен, у меня болит грудь, вы меня жалуете, любите, хотите помочь и примачиваете бальзамом и гладите мне голову. Я вам благодарен, мне хочется плакать и целовать ваши руки за вашу любовь и ласку и участие; но у меня не тут болит, и сказать я не умею и не могу вам» (60, 300). В письме

от 23 сентября 1862 года А.А. Толстая называет своего корреспондента «блудным сыном». Евангельский мотив здесь не случаен: мотивы детства, семьи, материнства в движении текста начинают все более связываться с сюжетом обращения, сопрягаются с мотивом «креста». В октябре 1860 года на письмо Толстого о смерти брата Николая А.А. Толстая отвечает нежным утешением («Милый, милый друг, будемте горевать вместе...») и рассказом о только что пережитой ею смерти императрицы Александры Федоровны. Она говорит о религиозном смысле смерти и горя и призывает «с любовью припасть к кресту», выстраивает в письме образ «крестной матери», стремящейся за руку привести своего духовного сына к Христу. Сопреженность мотивов материнства и креста прямо выражена в эпистолярной концовке: «Обнимаю и благословляю вас с чувством матери».

Есть в сюжете «обращения» и момент, когда «строгая мать» теряет терпение в увещаниях «блудного сына». В письме от 12 февраля 1877 года она называет «школьнической уловкой» его откладывание намеченного паломничества в Оптину пустынь и, убеждая следовать голосу призывающего Спасителя, как это сделали евангельские «апостолы-рыбаки», сердито замечает: «И вас влечет тот же голос, но вы пятитесь и кобенитесь, как капризный ребенок». Мотив «блудного сына», возвращающегося к родному порогу, возникает в письмах А.А. Толстой в связи с темой семейного счастья; этот поворот его судьбы должен, по ее мнению, осуществить, наконец, предполагаемый «сценарий» его прихода к вере. Однако Толстой не осуществляет эту ее программу: «...жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь... У каждой души свой путь, и путь неизвестный, и только чувствуемой в глубине ее. Может быть, что я и вас люблю затем только» (60, 294). Мотив детства и материнства варьируется в переписке и как игровой. Веселая стихия швейцарских эпистолярных посланий возвращается в письмах 1864–1870 годов, образуя мотив «литературных детей». В январском письме Толстого 1865 года о «швейцарской хорошей погоде» рядом с детской, где дети «мараются и кричат», помещен кабинет — «бумага и чернила», посредством которых описываются «события и чувства людей, которых никогда не было». Речь идет о героях первой части романа «1805 год», которые родились в те же годы, что и первые дети Толстых: «Я бы хотел, чтобы вы полюбили моих этих детей. Там есть славные люди. Я их очень люблю» (61, 70). В письме Толстого 8...12 марта 1876 года сообщается о смерти троих младших детей и одновременно речь идет о семье любимой воспитанницы А.А. Толстой — великой княгини Марии Александровны, а в приписке упоминается об «Анне Карениной»: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с нею возжусь, как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного или, если хотите, то с *ménagement**, она все-таки усыновлена» (62, 257). В этом письме две воспитанницы — настоящая и литературная: принцип симметрии как удвоения жизненных ситуаций и мотивов присутствует в переписке как организующий.

Переписка Толстого с А.А. Толстой моделирует «текст-жизнь», развивающийся от молодости авторов писем к переломному моменту «семейного счастья» и, наконец, к старости и смерти. После женитьбы Толстой пишет все реже, однако переписка

* Бережно, щадя (фр.).

не прекращается, текст пульсирует, получая все новые толчки для дальнейшего роста. Этими толчками становятся острые драматические столкновения авторов писем, и, как это ни парадоксально, они не разрушают текста, а создают энергетическое поле для дальнейшего притяжения. Главный вопрос этого диалога-спора словно взят из романа Достоевского: «Како веруеши али вовсе не веруеши?» Основные смысловые узлы переписки представляют собой взаимные *profession de foi* — исповедания веры. В этих письмах — сильнейшее напряжение, страстные проповеди и исповеди. Обнаруживается главный пункт расхождения: А.А. Толстая не может принять в толстовских поисках веры утверждение возможности самому, собственными силами, без упования на благодать прийти к Богу; она упрекает его в гордости, в том, что на место богочеловека им ставится человекобог.

Каждый из спорящих уверен, что обладает истиной; она — потому что защищает традиционное православие (миллионы людей верили и верят так же, как она), он — потому что «пробил до материка все то, что оказалось хрупким»: «сил у меня нет разбить то, на чем стою; стало быть, оно настоящее» (63, 7). А.А. Толстая, в первой части переписки готовая приобщить Толстого к своей зоне священного, в 1880-е годы защищает ее от творческой энергии своего друга, демиурга и преобразователя, повторяя из письма в письмо: «Сними обувь свою: место, где ты стоишь, свято». Его зона священного оказывается другой («Вы смеетесь над природой и соловьями. Она для меня — проводник религии». — 60, 294), это священность природно-космического мира и дома, семьи, где рождаются, живут и умирают.

Новая вера разъединяет Толстого с близкими людьми («Кто-нибудь сумасшедший — они или я». — Дневник 18 мая 1881 года. — 49, 38), и текст переписки мгновенно реагирует на изменение отношений: в переписке с А.А. Толстой появляются разрывы. Это гневные письма Толстого 1882 и 1884 годов («Общего между мною и вами быть не может...»; «Я считаю вашу веру произведением дьявола». — 63, 90), где Толстой выступает как яростный обличитель, требующий покаяния от своего друга за то, что она (вместе со всем ее придворным крутом), говоря о Христе, служит не Богу, а маммоне. Это обличение не совпадает с главной направленностью переписки, утверждением общей для адресатов темы — «религии любви», и потому письма Толстого остаются неотравленными. Она же, включая толстовские письма 1880-х годов в свои «Воспоминания», рассекает их текст возгласами ужаса: «не могу спокойно упоминать об этом кощунстве. Простите, простите ради Христа»¹⁹, как бы налагая на «дьявольские» письма Толстого крестное знамение²⁰. В этой части переписки письма корреспондентов превращаются в трактаты, обращенные «ко всем» (не случайно они включены А.А. Толстой в ее предисловие к публикации переписки), здесь главенствуют трагические «средневековые» мотивы, житийные образы: войны за истинную веру, «дьявола», «мученика и страстотерпца», распятия — «убийства за веру». Все они стянуты к символическому мотиву «креста».

Этот мотив вносится в переписку А.А. Толстой — и начинает жить в тексте, многократно удваиваясь. «Крест» в письмах А.А. Толстой — это символ веры, доказательство бессмертия, это крест в церкви, в руках священника, к которому припадает умирающий или обращенный, это крест, вознесенный в небо²¹. В письмах Толстого «крест» появляется в письмах 1879 года как мотив из текстов его собеседницы,

но интерпретируется иначе. У Толстого это прежде всего образ «несения креста»; крест занимает горизонтальное положение в пространстве, он связан с человеком, его «жизненной деятельностью»²², это тяжесть мысли и жизни, которую налагает на человека Бог-отец. У А.А. Толстой крест соединен с символическим образом «лестницы» — духовного восхождения. В толстовских письмах «крест» оказывается связан с природно-космическим образом «дерева», которому уподоблен человек в его природно-родовой горизонтали и духовной вертикали. Однако драматическая символика креста сопрягается в контексте переписки с семейными мотивами (дома, материнства, детства, беседы «бабушки» и «внука») и мотивом смерти; она находит свое разрешение в заключающих переписку образах: в 1884 году А.А. Толстая становится крестной матерью дочери Толстого Александры, и в последних письмах говорится о свидании в Петербурге крестной матери и дочери. В толстовских письмах мотив «креста» трансформируется в мотив «жизненного перекрестка» и «последнего перекрестка» — свидания за гробом, того, к которому ведут все дороги.

Именно этот толстовский образ — пути жизни и жизненного перекрестка, на котором встречаются люди, решая вопросы, «как жить и как умирать?» — моделирует целостный текст переписки Толстого с А.А. Толстой. Самой своей протяженностью устремленная к тому, чтобы уподобить текст жизни, она порождает своеобразный «художественный эффект» и благодаря возникающей в ней сложной структуре: столкновение и сплетение голосов, их скрещение и разветвление создают «сетку мотивов», высвечивающих друг в друге различные слои и аспекты смысла.

¹ ПАТ. Переписка была собрана еще при жизни Толстого; в 1906 году, после смерти А.А. Толстой, письма Толстого были привезены в Ясную Поляну, и он перечитал их. В 1910 году переписка в полном виде читалась вслух в семье и произвела на Толстого «глубокое впечатление» (ЯЭ. Кн. II. С. 75, 76, 80; Кн. IV. С. 192, 198, 213). Переписка была опубликована в 1911 году вместе с предисловием — «Воспоминаниями» А.А. Толстой, что было ее непременным условием при публикации писем (См.: ЯЭ. Кн. IV. С. 172; см. также: А.Ф. Кони. На жизненном пути. СПб., 1912. Т. II. С. 46–49).

² Лазарчук Р.М. Переписка Толстого с Т.А. Ергольской и А.А. Толстой и эпистолярная культура конца XVIII — первой трети XIX в. // Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979.

³ Паперно И.А. Переписка как вид текста. Структура письма // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. I (5). Тарту, 1974.

⁴ «Мотив — подвижный компонент, вплетающийся в ткань текста и существующий только в процессе слияния с другими компонентами» (Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 301).

⁵ Манн Томас. Собр. соч.: В 10 т. М., 1960. Т. IX. С. 624.

⁶ В письме В.П. Боткину 27 июня/9 июля 1857 г. из Люцерна Толстой пишет: «Мне только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек и близкий мне по сердцу человек порадовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми же слезами, которыми я плачу... Я знаю, что условия писателя другие, да Бог с ними — я не писатель» (60, 214).

⁷ Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории // Ю.М. Лотман. Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. I. С. 161.

⁸ Понятно поэтому, что именно А.А. Толстая оказывается в 1870-е годы связующим звеном между Толстым и людьми александровской и николаевской эпохи в пору сбора материалов для романа «Декабристы».

⁹ Захарьин-Якунин И.Н. Графиня Александра Андреевна Толстая. Личные впечатления и воспоминания // Вестник Европы. 1904. № 6; 1905. № 4. См. также вст. статью Н.И. Азаровой к публикации: А.А. Толстая. Печальный эпизод из моей жизни при дворе. Записки фрейлины // Октябрь. 1993. № 5.

¹⁰ В одном из первых писем А.А. Толстой Толстому: «Скажите мне, если вам неприятно, что я пишу по-французски; — это скверная привычка, от которой я постарюсь отделаться» (ПАТ. 28 августа 1857 года). Толстой отвечает 14 апреля 1858 года: «Я давно хотел написать вам, что вам удобнее писать по-французски, а мне женская мысль понятнее по-французски» (60, 260); заметим, что тут не «женская любовь не изъясняется по-русски», речь идет о «женской мысли». Устные беседы при встрече А.А. Толстая и А.Н. Толстой, по-видимому, вели по-французски. В «Воспоминаниях» А.А. Толстая делает примечание для читателя: «Странно, не правда ли, что мы с ним всего чаще говорили по-французски» (ПАТ. С. 23). Все записи для себя, дневники А.А. Толстая ведет на французском языке, по-французски за границей опубликованы две ее книги. В 1869 году в «ревнивом» письме Толстому С.А. Толстая пишет о «придворной тетушке»; «...может быть, лучше бы было, если б ты на ней женился во время оно, вы бы лучше понимали друг друга, она же так красноречива, особенно на французском языке» (83, 166).

¹¹ Письмо А.А. Толстой от 31 января 1903 года опубликовано В. Срезневским в кн: Толстой. Памятники жизни и творчества. I. 1917. С. 19–23.

¹² Это радостное чувство свободы описано Толстым в письме А.А. Толстой от 14 апреля 1858 года: «...возможность сейчас же вылезть из коляски и пойти пешком в Астрахань, или повернуть лошадей и ехать в Париж, или остаться навсегда жить на первой станции. Это чувство славное, и женщины не знают его» (60, 260).

¹³ В этот дружеский кружок входили А.А. Толстая и ее сестра Елизавета Андреевна Толстая, Петр Иванович Мещерский и его жена Екатерина Николаевна Карамзина, а также Елизавета Николаевна Карамзина, декабрист Михаил Иванович Пущин и его жена Мария Яковлевна Пущина, родственник Пущина Михаил Андреевич Рябинин и настоятель русской церкви в Женеве А. Петров. В письме Т.А. Ергольской 6/18 мая 1857 г. Толстой пишет: «*Я необыкновенно счастливый* и начинаю чувствовать выгоды в рубашечке родиться. *Тут премилое общество русских* и все, Бог знает за что, меня полюбили, я это чувствую, и мне так тут было мило, хорошо, тепло этот месяц, что я провел, что грустно думать об отъезде» (60, 190; слова, заключенные в звездочки — по-французски). Эти дружеские отношения русских путешественников, их «детская веселость» контрастируют в описанных А.А. Толстой эпизодах с чопорностью английских туристов и оказываются подобны простодушию местных жителей (ПАТ. С. 8–12).

¹⁴ Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. Т. VI. С. 494. «Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы А<лександрин> была 10-ю годами моложе. Славная натура», — записывает Толстой в дневнике 29 апреля 1857 года (47, 127).

¹⁵ Об этом свидетельствуют и литературные мотивы в швейцарских письмах и дневниках Толстого: мотив идеальной дружбы и разлуки в путевых заметках по Швейцарии, напоминающий начало «Писем русского путешественника» Карамзина, мотив идиллических семейно-дружественных отношений (чета Пушиных называется в письмах Толстого «Филемон и Бавкида», а об отношениях Пушиных и Рябинина говорится, что «эти три лица так любят друг друга, что не разберешь, кто чей муж и чей брат» — 60, 191).

¹⁶ В окончательном тексте туман Швейцарии из синего становится голубым, а «блаженным» названо время детства. Таким образом Толстой, перенося в роман свои собственные ощущения, приближает их к возрасту Кити.

¹⁷ Мотив «спасения» проходит через всю переписку. Именно к «придворной те-тушке» обращается Толстой после обыска в Ясной Поляне в 1862 г. и, в связи с угрозой привлечения к суду в 1870 г., у нее просит помощи и заступничества перед «сильными мира сего» для голодающих, сектантов, ссыльных.

¹⁸ Любимая героиня А.А. Толстой в «Войне и мире» — княжна Марья, а ее собственная судьба — это трагическая любовь, отказ навсегда от личного счастья и самоотверженное служение царской семье в качестве воспитательницы детей. А.А. Толстая была и попечительницей приюта для детей петербургских «Магдалин».

¹⁹ ПАТ. С. 54.

²⁰ О споре Толстого и А.А. Толстой по вопросам веры см.: Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). К истории русской интеллигенции. Революция Толстого. Гл. «Светлый ангел». Петрозаводск, 1992. С. 209–219.

²¹ Этот образ находим и в «Воспоминаниях» А.А. Толстой, в рассказе о сне, который С.А. Толстая видела незадолго до духовного переворота Толстого: «Она видела себя стоящей у храма Спасителя, тогда еще неоконченного; перед дверьми храма возвышался громадный крест; а на нем живой распятый Христос Спаситель взглянул на нее — и, подняв руку вверх, указал ей на золотой крест, который уже сиял на куполе храма» (ПАТ. С. 29). Образ креста А.А. Толстая помещает и в эпилоге своих «Записок фрейлины».

²² См. в дневнике Толстого 3 августа 1890 года: «Думал: как удивительно определение евангельское жизненной деятельности — не радость, не наслаждение, не достижение какой-либо цели, а крест или, лучше всего, — иго — место в работе» (51, 71).

С. А. Розанова

СОВРЕМЕННОКИ ПУШКИНА (ВСТРЕЧИ В ПАРИЖЕ, КЛАРАНЕ, БАДЕН-БАДЕНЕ)

Первое путешествие Толстого по странам Западной Европы, начавшееся 29 января 1857 года и закончившееся 30 июля, прошло под знаком встреч с друзьями и современниками Пушкина, в той или иной степени причастными к его бытию. В Париже Толстой разыскал дальнего родственника князя Николая Ивановича Трубецкого, владельца славившегося своим гостеприимством дома-комода в Москве на Маросейке, куда на «уроки танцевания» привозили Ольгу и Александра Пушкиных и где «маленький сочинитель» собирал около себя детей Трубецких и смешил их своими эпиграммами¹. А в сентябре 1826 года возвращенный из михайловской ссылки поэт неоднократно посещал семейство князя. В их подмосковном имении Знаменском гостила мать писателя, дружившая с одной из дочерей, и там была отпразднована свадьба Марии Николаевны Волконской и Николая Ильича Толстого. Теперь, спустя десятилетия, автор, завоевавший своими талантливыми сочинениями известность и признание, восстанавливает родственные связи с «дядюшкой». Он посещает особняк на улице Клише, его светский аристократический салон, часто обедает у них. Вместе с Трубецким он прогуливался по парижским улицам, однажды посещал картинную галерею, беседовал.

Родство привело Толстого еще в один русско-французский салон, открытый в начале 1830-х годов Анастасией Хлюстиной, дочерью В.И. Хлюстиной, родной сестры Федора Толстого-Американца и двоюродной сестры его отца. Анастасия Хлюстина в 1830 году вышла замуж за графа Адольфа Сиркура, аристократа, историка, публициста. За свою образованность, ум она получила прозвище «Северная Коринна». В октябре 1835 и в 1836 году Сиркуры приезжали в Петербург, оба раза общались с Пушкиным и Вяземским, познакомились с Жуковским. Сильное и неизгладимое впечатление произвел на Анастасию Сиркур русский гений, что подтверждается ее письмом к Жуковскому, написанным в ответ на его полный горя и скорби рассказ о последних предсмертных днях поэта. «Прошлой зимой, — призналась она 11/23 декабря 1837 года в своем эпистолярном обращении к Жуковскому, — когда известие о смерти Пушкина докатилось сюда, я собиралась писать Вам; сердце мое, преисполненное горем, вполне сочувствовало Вашему, но что могла я Вам сказать? Повторять Вам выражения Вашего собственного страдания, — подобные слова принадлежат одному поэту: он один может из своей лиры извлечь жалобные звуки, которые утешают, а не раздирают душу. Именно в присутствии Пушкина я видела вас впервые; я всегда вспоминала эту минуту, мало подобных бывает в жизни.

Все русское в моем существе оживилось в присутствии двух прекраснейших талантов моей страны; я испытывала гордость за их славу, признательность за все гармонические созвучия, извлеченные ими из нашего языка. В течение этого слишком короткого пребывания в Петербурге я часто видела Пушкина... Его дар прозрения по отношению ко всему, что он видел только умозрительно, поразил меня так же, как поэтический оборот, который по поводу всего принимала его мысль без его ведома. Его беседа обнаруживала зрелость, которую я еще не находила в его лучших стихах. Я рассталась с ним, предсказывая ему громадное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца... С тех пор память моя выискивала мельчайшие подробности его беседы. Все в нем носило печать всегда присутствующего неоспоримого превосходства, никогда его не покидавшего.

Ваше письмо к отцу его прекрасно; мне кажется, что и я присутствовала при этих торжественных минутах, которые Вы описываете как друг и как историк... Я особенно потрясена этим первым выражением смерти, которому Вы придаете все достоинство, являющееся началом вечности. Это молния, которую Вы сумели закрепить навеки»².

«Северная Коринна», извлекая из своей души «горестные звуки», опубликовала в одном из французских журналов некрологическую заметку «Александр Пушкин», а ее муж отозвался на гибель поэта статьей «Борис Годунов. Историческая драма Пушкина», состоящей из фрагментов текста и его интерпретации, сопоставив драму «по гениальности» с «пьесами Шекспира». Адольф Сиркур — автор и биографического очерка о Пушкине, ряда рецензий на его сочинения.

Несмотря на то, что в дневнике Толстого всего две записи о визитах к Хлюстиным, учитывая родство с ними, можно предположить, что он чаще заглядывал в их уютную квартиру вблизи Елисейских полей, присутствовал на раутах, где собирались известные французские писатели, политические деятели, и общался с теми, кто знал его гениального предшественника, гордился им и хранил о нем благодарную память.

Тогда же русский путешественник, видимо, по инициативе И.С. Тургенева, познакомился с одним из самых близких, любимых друзей «чудотворца» — поэтом, критиком, профессором российской словесности, ревностным издателем его сочинений П.А. Плетневым. Пушкин шутливо прозвал Плетнева «кормильцем», а всерьез «воплощением совести», «человеком благоговения», близ которого согревал «душу»³. Поэт редко пропускал его субботы, на которых «прочитывались и обсуживались все литературные новости недели, читались и разбирались собственные только что написанные стихотворения...»⁴. Виделся Плетнев с поэтом на вечерах у Вяземского, Жуковского, А. И. Тургенева. Их переписка необычайно обширна: она и деловая, и сердечно-дружеская. В судьбе поэта, бытийной и творческой, Плетнев сыграл положительную роль.

Не остался не замеченным Плетневым «пришедший на смену» гениальному мастеру писатель нового поколения, и он даже позаботился о его благе. В Севастополе Толстому было доставлено послание И.И. Панаева от 31 мая 1855 года с приятным для него сообщением: «Статья Ваша «Севастополь в декабре»... с жадностью прочлась здесь всеми, от нее все в восторге — и между прочим Плетнев, который отдельный ее оттиск имел счастье представить государю императору на сих днях»⁵. Находясь в Париже, Плетнев просил Я.К. Грота прислать сборник «Военные рассказы»

и отдельное издание «Детства» и «Отрочества» для К. Мармье, писателя и переводчика⁶. Плетнев и Тургенев были с ним знакомы, последний и свел его с Толстым. «Обедал с Тургеневым и Мармье», — помечено 16/28 марта 1857 года (47, 120).

Если судить по дневниковым записям, то с Плетневым Толстой тогда в Париже виделся всего три раза. 14 февраля: «Пришел Плетнев, очень был приятен», на следующий день: «Пошел ходить... к Плетневу» и последняя от 21 февраля: «...поехал к St.Marc Girardin⁷, записал его лекцию, встретил там Плетнева и Стасюлевича и с ними гулял» (47, 114—115, 116). Плетнев вскорости покинул Париж, и больше они никогда не встречались. Привыкший всегда быть в общении с «тружениками пера» на чужбине, Плетнев страдал от «душевного» и информационного голода. И в какой-то мере Толстой, только что приехавший из Петербурга, близкий к «Современнику», способен был его удовлетворить. Конечно, люди такого интеллектуального уровня, этические максималисты, речь вели не только о чисто профессиональных вопросах, но затрагивали и другие темы, не менее значимые для них. Недаром Плетнев свое письмо от 13/25 февраля 1862 года предварил такими строками: «Немного раз привел Бог видиться мне с Вами, но память об этих часах, проведенных мною в Вашем обществе, никогда не пропадет у меня»⁸.

Немного позднее Плетнев обратился к Толстому с просьбой: «Нам очень хотелось бы знать, читали ли Вы новую повесть И.С. Тургенева: «Отцы и дети», и как Вы нашли ее сравнительно с прежними повестями. Здесь все, особенно Ф.И. Тютчев, в восхищении от этой изумительной художественности автора. Талант его, так сказать, отстоялся. Нет ничего ни преувеличенного, ни изысканного. Жизнь взята во всей ее истине»⁹. В этом же письме высказал восхищение рассказом «Робинзон», представлявшим собой изложение романа Дефо (сделан учителем А.П. Сердобольским и напечатан во второй «Книжке для детей», приложении к издаваемому Толстым журналу «Ясная Поляна»): сын Плетнева нашел, что «понятнее и интереснее» «Робинзона» «он ничего еще не читал».

Толстой прочел роман Тургенева в рукописи, полученной от М.Н. Каткова в те дни 23—24 ноября 1861 года, когда находился в Москве. Вернул ее до отъезда «с великою благодарностью» (60, 411), но без разбора и оценки.

Плетнев неправ, далеко не «все» были в восхищении от романа Тургенева, вокруг которого развернулась острая полемика. Не согласен был с восторженными поклонниками «Отцов и детей» и Лев Толстой, но со своей, особой позиции. «Тургеневский роман меня очень занимал и понравился мне гораздо меньше, чем я ожидал, — написал он Плетневу. — ...он холоден... Все умно, все тонко, все художественно... многое назидательно и справедливо, но нет ни одной страницы, которая бы была написана одним почерком с замираньем сердца, и потому нет ни одной страницы, которая бы брала за душу» (60, 423). Диалог писателя со своим старшим современником, откровенный, принципиальный, с уважением к собеседнику, тонкому ценителю изящной словесности, — это продолжение парижских свиданий и их завершение.

Ровное течение парижской жизни Толстого внезапно и почти мгновенно прервалось, после того как он присутствовал на площади и стал свидетелем акта смертной казни: Это страшное зрелище настолько его потрясло, что он бежал из опустыленного ему града, из «омута» в Женеву к своему задушевному другу, двоюродной тетушке

Александре Андреевне Толстой, а оттуда в Кларан. Там встретились ему «люди милые и приятные», к тому же из пушкинского окружения, помнившие облик поэта, его слово, факты его биографии, перипетии его судьбы и в своем бытовом поведении, вкусах, манере несшие отпечаток того времени, уже канувшего в лету. Прежде всего это дочь Н.М. Карамзина Екатерина Николаевна Мещерская, общавшаяся с поэтом более двух десятилетий — с лицейской поры до последнего дня. Она горячо его любила, близко к сердцу принимала его горести, радовалась его блистательным успехам, наслаждалась его поэзией, неоднократно слышала из его уст и поэмы, и стихи, и повести. Все предсмертные дни находилась в доме на Мойке. В своем замечательном и поразительном по точности и глубине понимания истоков гибели гениального певца письме, написанном спустя неделю после его кончины и адресованном дальней родственнице М.И. Мещерской, она вынесла обвинительный приговор Дантесу и свету, унижавшим достоинство поэта, уязвлявшим его самолюбие, попиравшим его честь, посягавшим на его свободу, на его семейное счастье. Письмо Екатерины Мещерской признано одним из достоверных описаний разыгравшейся у всех на глазах драмы, истинным в суждениях и выводах¹⁰.

Екатерина Мещерская, как, впрочем, и Александра Толстая являют собой один и тот же культурно-психологический тип, воплотивший в себе черты лучшей части просвещенного дворянства пушкинской эпохи: этический максимализм, независимость поведения, внутренняя свобода, благородство, глубокая религиозность, поэтичность. Отсвет его лежит в облике княжны Марьи, Кити. Совершенно естественно, что в беседах, происходивших между современниками поэта, в стихийно сложившемся дружеском кружке о нем шла речь, вспоминались его писания, жизненные коллизии, поступки, слова. Мещерская передала запомнившиеся ей слова Пушкина о Татьяне. Суждение это неоднократно в разных вариантах повторялось Толстым, но его источник указан только однажды. В дневнике Д.П. Маковичкого 20 января 1905 года зафиксировано: «Дочь Карамзина рассказывала мне, что она слышала от Пушкина: «Моя Татьяна поразила меня, она отказала Онегину. Я этого совсем не ожидал»¹¹. Толстой счел это высказывание адекватным собственному опыту. «Кто-то из посетителей Ясной Поляны сказал однажды Льву Николаевичу, что он жестоко поступил с Анной Карениной... — читаем в мемуарах В.И. Алексеева. — На это Лев Николаевич сказал:

— Однажды Пушкин в кругу своих приятелей сказал: «Представьте, что сделала моя Татьяна, — она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы. Вообще они делают то, что делается обыкновенно в действительной жизни, а не то, что мне хочется»¹².

Пожалуй, самым главным членом швейцарской колонии, задававшим тон, заметно влиявшим на ее летнее каникулярное времяпрепровождение, был Михаил Пущин, брат лицейского друга — «Сверчка» Ивана Пущина. Его отличали вольнолюбие, близость к декабристским умонастроениям, склонность к театральности, отказу от подчинения официозным нормам. Пущин был связан со многими видными деятелями движения декабристов, но сам непосредственного участия в нем не принимал. Однако «за то, что знал о имеющем быть мятеже и не донес» был «лишен чинов,

дворянского достоинства и записан в рядовые до выслуги». Он был помещен в казематы Шлиссельбурга и Петропавловской крепости, сослан в Сибирь, служил в Красноярской крепости, затем переведен на Кавказ, участвовал в русско-персидской и русско-турецких войнах 1828—1829 годов. Там, проявив чудеса храбрости, необычайного мужества и незаурядный талант военного инженера, вернул себе офицерский чин.

Толстой проникся симпатией, искренней любовью к чете Пушиных и был бесконечно счастлив, что вдали от родины сложился «милый кружок», состоящий из «просто на подбор превосходных людей» (60, 191). Ему отвечали взаимностью. «Дай Бог нам побольше таких молодых людей»¹³, — желала жена Пушкина Мария Яковлевна. Условия для сближения были весьма благоприятные: Толстой и супруги Пушкины жили в одном пансионе, ежедневно общались, подчас обедали и ужинали за одним столом. Вдвоем с Михаилом Ивановичем они исходили пешком окрестности Кларана, совершали путешествия по озерам на лодках, вечерами развлекались. Толстой охотно принял предложенный Пушиным и принятый частью русского офицерства внеслужебный образ жизни, фрондерский по сути: веселое гусарство, фарсы, розыгрыши, проказы, карнавальность и, конечно, вечера с музыкой и пением. Писатель наслаждался таким свободным, внешне легковесным и вместе с тем творческим, безудержно веселым отдохновением. Но дружба писателя с «разжалованным» имела и собственно пушкинский аспект. От старого воина им был получен бесценный дар — рукопись с названием «Встреча с А.С. Пушкиным на Кавказе». Облик его героя запечатлен в краткий миг обретенной им свободы, вне размеренного обыденного существования, вне гнета власти, на «войне» и в «миру». Он молод, он снова «повеса», он жаждет бури, сильных чувств, захвачен азартом битв, готов свершить подвиг. Когда перед автором «Кавказского пленника» оказались «войска сераскиров», то в нем «разгорелась африканская кровь». Под пером мемуариста вырисовывается личность обаятельная, пылая, порывистая, естественно-героическая, родственная по духу людям 1812 года. «Записки» задела Толстого за живое, и он их в сопровождении своего рекомендательного письма отправил П.В. Анненкову, издателю Полного собрания А.С. Пушкина, для публикации в VII дополнительном томе. «Записка презабавная, — объяснял он своему корреспонденту, — но рассказы его изустные — прелесть. Вообще это, видно, была безалаберная эпоха Пушкина»¹⁴. «Записки» в сочетании с услышанными «изустными рассказами» о времени и многих действующих лицах, например о Дорохове, сформировали у «преемника» понятие «пушкинской эпохи». Недели, прожитые в Швейцарии, познанное там позднее отзовется на страницах бессмертного романа «Война и мир».

Первое путешествие Льва Толстого по чужим краям, обогатившее его неожиданными встречами с лицами, видевшими, слушавшими Пушкина, поклонявшимися поэту, строго говоря, закончилось не в Штетине, на берегу парохода, а в Баден-Бадене. Здесь проводила каникулы Александра Осиповна Россет-Смирнова с членами своей семьи и учителем сына поэтом Я.П. Полонским, знакомым Толстого с осени 1855 года. Он-то и ввел имеющего имя прозаика в дом своей благотельницы. Теперь Толстому довелось узнать женщину удивительную, неотторжимую от Пушкина и его литературного окружения, с которым ее соединяли узы дружбы, симпатии и духовной общности. Почти все выдающиеся мастера слова, едва Саша Россет вышла

из отроческого возраста, стали ее друзьями, поклонниками ее необыкновенной обаятельной красоты, артистичности, ценителями ее ума, образованности, безупречного художественного вкуса, таланта рассказчика. Россети посвятили стихи В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Вяземский, А. Хомяков, И. Аксаков, Е. Ростопчина, В. Туманский, шутки и каламбуры С. Соболевский, И. Мятлев. Ее обожатели наградили свою «прекрасную даму» ласковыми прозвищами: Жуковский — «дьяволенком небесным», Пушкин — «южной ласточкой», «венерой красоты», Вяземский — «обворожительницей», кто-то по аналогии с героиней пьесы Гюго «Эрнани» — «донной Соль». Плетнев находил в слушательнице его лекций о российской словесности в Екатерининском институте «много человеко-прекрасного, так много предупреждающего и столько душевной делимости, что... об ней нельзя говорить просто, как о других»¹⁵. Жуковский не сомневался в том, что его юная приятельница «милая из милых, умная из умных и прелестная из прелестных»¹⁶. Вяземского поражало то, что эта прославленная красавица так предана была отечественной поэзии и «обладала тонким и верным чувством. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое, и все смешное. Изящное стихотворение Пушкина приводило ее в восторг... Умела постигать Рафаэля, но не отворачивалась от Теньера. Вообще увлекала она всех живостью, своею чуткостью впечатлений, нередко поэтическим настроением. Сведения ее были разнообразные, чтения поучительные и серьезные, впрочем, не в ущерб романам и газетам»¹⁷.

У Полонского, хорошо осведомленного «о делах минувших дней» госпожи Смирновой, сложилось мнение, что она, «блистая молодостью, красотой, замечательными способностями и остроумием, была маленьким идолом для всех, кто знал ее»¹⁸.

И.С. Аксаков в некрологе, посвященном памяти этой по-своему выдающейся личности, точно и выразительно ее охарактеризовал, подчеркнув ее особое место в мире служителей муз. Он писал: «Ее красота, столько раз воспетая поэтами, не величавая и блестящая красота форм (она была очень невысокого роста), а южная красота тонких, правильных линий смуглого лица и черных, бодрых пронизательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пылкий, свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя — искусства, поэзии, знания — скоро создали ей при дворе и свете исключительное положение. Дружба с Плетневым и Жуковским свела ее с Пушкиным, и скромная фрейлинская келья на 4-м этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянного сборища для всех знаменитостей тогдашнего литературного мира. После замужества ее гостиная... была долго и долго притягательным центром для всех выдающихся художников, писателей, мыслящих деятелей... Ее разговор, ее рассказ, даром которого она владела мастерски, представляла неотразимую занимательность и прелесть»¹⁹.

Пушкина, чьи стихи «южная ласточка» полюбила еще в юности и на выпускном экзамене по русской словесности 20 февраля 1826 года прочла «Фонтану Бахчисарайского дворца», «свели» со своей поклонницей бал у Е.М. Хитрово, чаепития у Карамзиных. Истинное же «дружество» возникло летом 1831 года в Царском Селе, когда они оказались соседями и там «видались ежедневно». По утрам она «заходила в дом Китаева», попадала в кабинет Мастера, а «тут он писал... болтал с нами... Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения»²⁰.

Вечера же Жуковский и Пушкин проводили в ее скромных апартаментах Большого дворца. «В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне»²¹, — читаем в мемуарах А.О. Смирновой. В доме Смирновых обеды и ужины проходили в разговорах серьезных, содержательных, затрагивавших политические, исторические, литературные сюжеты, инициатором которых зачастую бывал Пушкин. Ведь он, по словам Смирнова, «много читал мемуаров, исторических сочинений и имеет счастливую память, посему его разговор очень занимателен и в Российской истории о Петре великом имеет очень обширные познания и знает большое множество анекдотов... Он очень любит спорить, горячиться и переспорить или переговорить в споре его трудно... Про поэзию, стихи он редко говорит, его любимый разговор — времена Петра, Елизаветы, Екатерины и он в свой век собрал много документов и рассказов, касающихся до сих времен»²².

Россети запомнился один достаточно существенный момент: «Князь П.А. Вяземский, Жуковский, Александр Ив. Тургенев, сенатор Петр Ив. Полетика часто у нас обедали. Пугачовский бунт, в рукописи, был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово»²³. Из дневника А.И. Тургенева узнаем новые факты и подробности о раутах в смирновском салоне: «К Карамзиным и к Смирновым: С Пушкиным о Чаадаеве», «День смерти Екатерины... обедал и кончил вечер у Смирновых, с Жуковским, Иксулем и Пушкиным. Много говорили о России, о Петре, Екатерине»; «Обедали у Смирновой с Пушкиным, Жуковским и Полетика. Пушкин о татарах: умнее Наполеона»²⁴. Тон задавал первый поэт России, но и все собравшиеся, и радушные, образованные хозяева располагали к умственным пиршествам, а не к легковесной светской болтовне. Видимо, Россети была благодарной и отзывчивой слушательницей, иначе бы не встречались на страницах ее дневника любопытные исторические сказания, начинающиеся фразой: «Пушкин рассказывал мне» — об убийстве Павла, о Екатерине, Ланжероне и т.д.²⁵ Не один Пушкин дивился силе аналитического ума «очаровательницы», а и многие другие из тех, кто был с ней знаком. Выразительны и точны строфы обращенного к ней четверостишия С.А. Соболевского:

Не за пышные плечи,
Не за черный ваш глаз,
А за умные речи
Обожаю я вас.

В повести М.Ю. Лермонтова «У графа В... был музыкальный вечер» набросан портрет привлекательной светской львицы Минской, прототипом которой послужила Александра Смирнова, но и он не преминул подчеркнуть то, что «на ее молодом, правильном, бледном лице сияла печать мысли».

В многолюдной сверх меры, наполненной неустанной творческой работой, делами, семейными обязанностями, тревогами, заботами жизни поэта оставался уголок и для «венеры Петербурга», он испытывал потребность в общении с ней, в ее «былях», которые потом отзывались в его творчестве²⁶, не безразлично относился к ее суждениям²⁷. Она неоднократно по разным поводам упоминается в его дневнике, переписке, где выражено сочувственное внимание к молодой женщине, ее горестям, утратам, невзгодам. Александрин, живя подолгу за границей, получала пушкинские

поэтические сборники, журнал «Современник». Вяземский, не дожидаясь выхода в свет первого номера, послал его в Париж «в листах», еще не сброшюрованных. По признанию Смирновой, она этот номер «вкушала с чувством и расстановкой», разом поглотила «Чиновник» и «Коляску» Гоголя, «смеясь как редко смеются», сочла «очень интересным» «Арзрум» и «Хронику русского» А.И. Тургенева.

Горестным и мучительно-трудным оказался для Россети день, когда до нее дошло «громовое известие» о внезапной трагической кончине «певца любви, певца печали». «Александра Осиповна громко плакала. Вечером собрались у них Соболевский, Платонов и полные дружественного негодования они произносили беспощадные проклятия»²⁸, — сообщал А.Н. Карамзин своей матери, из письма которой они узнали о случившейся трагедии. «Проклятия» произносил и Н.М. Смирнов, приятель, искренний почитатель поэта, тогда им охарактеризованный как «человек наиболее замечательный в России»²⁹, а через годы в «Памятных записках» названный «надеждой, славой, радостью, сокровищем России»³⁰. Через несколько дней Д'Аршиак доставил Смирновой письма ее братьев и Вяземского, спешно им набросанные в день отпевания усопшего, смятенные и взволнованные. Зная, что посланец из Петербурга «может передать... подробности этого печального дела», он ограничился тем, что излил свое горе, обуревавшие его чувства из-за «страшного несчастья, обрушившегося на наши головы, как удар молнии». Здесь же он предложил свою разгадку «тайны всего», т.е. того, что привело к роковому результату. Пройдет чуть больше недели, и Вяземскому откроются имена убийц, жертвой которых стал поэт, олицетворявший собой «народную славу». А 1 февраля, которым датируется его послание, важнейшие факты еще были от него сокрыты; но он был недалек от истины, доказывая парижанам, что «свет его погубил. Эти проклятые письма, эти проклятые сплетни, которые приходили к нему со всех сторон, покрывшие небосклон Пушкина тучами». Смирнова быстро и живо откликнулась на слово друга исповедальным и доверительным посланием: «Ничего нет более раздирающе-поэтического, как его жизнь и его смерть. Я также была здесь оскорблена и глубоко оскорблена, как и вы, несправедливостью общества. А потому я о нем не говорю. Я молчу с теми, которые меня не понимают. Воспоминание о нем сохраняется во мне недостижимым и чистым. Много вещей имела бы я вам сообщить о Пушкине, о людях и делах, но на словах, потому что я побаиваюсь письменных сообщений»³¹. Кое-что из ведомых ей «вещей» Смирнова включила в свои «памятные записки», но «тайну», которую «опасалась» сообщить в почтовом отправлении, увы, не открыла.

Однако основания для отрицательных суждений о Смирновой ряда современников, как и Льва Толстого, объективно существовали. В поведении Смирновой с годами все явственней стали проявляться нетерпимость, ожесточенность, раздражительность, переменчивость настроений, какие-то странности, по выражению Толстого, — «дурной жанр». Еще Вяземский подметил в своей «очаровательнице» «смесь противоречий». В ней были «струны, которые откликались на все вопросы ума и на все напевы сердца», но «были струны, которые звучали пронзительно и просто неприятно»³². Вот почему Смирнова зачастую отворачивала, заставляла недоумевать, что подтверждают письма Ивана Аксакова, председателя уголовной палаты в Калуге в ту пору, когда губернатором там служил Н.М. Смирнов. «Первое

впечатление самое неприятное, — резюмировал он итог долгожданного знакомства с знаменитостью в послании Д.О. Оболенскому от 17 ноября 1845 года. — Я застал ее в самую дисгармоническую минуту, в каком-то нервическом расстройстве», правда тут же добавил: «Она умна, как черт, как бес... общество ее имеет необыкновенную прелесть»³⁵. Случалось, что «неприятные звуки» струн до такой степени раздражали добродушного и сдержанного Аксакова, что не мог он скрыть от отца свою антипатию к губернаторше: «Я не в силах высказать вам того неприятного, оскорбительного впечатления, которое она на меня произвела... часто вырывались у меня резкие выражения... Смирнова... явилась мне в самом неприятном виде... Ничего приятного не нашел я в лице ее... Бранит Россию и все, но брань брани рознь, и я сказал ей, что «у Вас эгоистическое негодование, в котором нет любви и скорби»³⁶. Оказалось, что и старый Аксаков такого же мнения о появившейся в его доме Смирновой: «Во всей ее особе нет ничего привлекательного, нежного, обольстительного, напротив, прекрасные черты лица ее строги, даже как-то сухи, часто говорит она с не женской резкостью»³⁷. И, наконец, Константин Аксаков сделал для себя аналогичный вывод: «Вот, не могу сойтись я с этой женщиной! Неприятно с ней! Отсутствие всякой логики в голове, сухость, даже какая-то неискренность — все это очень отталкивает. Я поспорил и даже побранился с ней... мне чужда Смирнова»³⁸. И у Погодина в дневнике 1845 г. гневная запись: «Обращение не понравилось. (*Врешь Тургеневу, гадко и пр.*)»³⁹.

Я.П. Полонский, наблюдавший за матерью своего воспитанника, чуть ли не каждодневно на протяжении двух лет, заметил в ней что-то неладное, дисгармоничное, нездоровое. «Мне казалась она больной, нервной, беспрестанно собирающейся умереть и чем-то глубоко разочарованной, удрученной женщиной»⁴⁰, — вот какой, по его рассказам, она была тем летом 1857 года, когда с ней повстречался Лев Толстой. Его диагноз точен: Смирнова тогда нередко находилась в состоянии удрученном, нервном, глубоко разочарованном. Дружившая с ней поэтесса Е. Ростопчина написала:

Кто хочет знать всю цену ей,
Тот изучай страданье в ней,
Когда душа страдает.

Но мало кто догадывался, что терзавшая с юности Смирнову наследственная тяжёлая душевная болезнь обострилась (участились периоды депрессий, немоции, срывов), которая проявлялась и в манере держать себя. Кроме того, «удручала» ее несчастливо сложившаяся личная жизнь с нелюбимым мужем, брак с которым фактически распался: она, гонимая недугом, жила за границей, меняя страны и города, а он в Петербурге. «Удрученность» усиливалась одиночеством, неудовлетворенностью, существованием вне прежнего привычного литературного содружества с его разногласиями, чтением новинок прозы и поэзии, спорами, живыми откликами на журнальные сражения. Нельзя сказать, что писатели утратили к Александре Осиповне всякий интерес: ее посещали Вяземский, Тютчев, Одоевский, Соболевский, Е. Ростопчина, А.К. Толстой, Хомяков, Ю. Самарин, братья Аксаковы. Часто, весьма часто эти часы, которые проходили в беседах то с одним из них, то с другим, не приносили удовлетворения ни хозяйке дома, ни ее гостям. Не то было в прежние времена, времена Пушкина и Гоголя с их силой притяжения и единения. Александре Осиповне нелегко было смириться с тусклым повседневным прозябанием, не озаренным

блеском остроумных речей «кудесника слова», вдохновенным лирическим стихом Жуковского, колкими суждениями А. Тургенева, проповедью Николая Гоголя. Настоящее казалось ей пресным. «Вечером у меня были гости: Тютчев с женой, Карамзины... Соболевский, Самарин, гр. Ростопчина... Ничего нового и необыкновенного не было сказано»³⁹, — с грустью констатировала Россети и вскоре снова: «Был у меня милый и добрый Тютчев. Говорили о дворе, о прошлом, о царе»⁴⁰. Случалось, что и она в свою очередь разочаровывала своих собеседников. И. Аксаков сетовал: «Разговор почти всегда пустой, состоит из анекдотов, до которых она большая охотница»⁴¹. Еще резче и критичнее в более позднем письме: «У Александры Осиповны... был вчера. Особенно интересного ничего не видал и не слышал. Все рассказы про Петербург, про большой свет, про двор»⁴².

Стихотворение 1832 года, обращенное к ней, А.С. Хомяков назвал «Иностранке»; К. Аксаков корил ее за то, что «она принялась бранить народ, не признавать красоты русских песен»⁴³. К началу 1850-х годов губернаторша сменила вехи, и отныне ей «не милы» «страны другие», «сердце же задрожало любовью» к Руси святой, самодержавной, истово православной, о чем она известила Погодина: «Пришло наконец время разочароваться на счет Запада... кроме разврата мысли или притупления чувства нравственного, ничего нельзя получить от лучших из здешних людей... Дай Бог, чтобы мы поняли все, что прогресс не есть просвещение и что западное просвещение не по Руси скроено... Знаю одно, что люблю Россию и чувствую, что еще теплее, чем когда-либо»⁴⁴. Друзьям-славянофилам не пришлось по душе приверженность их приятельницы к России официозной, самодержавной, консервативной. И. Аксаков на этот счет откровенно высказался в письме к отцу: «Смирнова, которая теперь в Баден-Бадене, просит, чтобы я к ней зашел. Заехать к ней заеду, но боюсь, чтобы горячее сочувствие ее к «Русской Беседе» не подало повода к спорам. Она сочувствует всего более стороне православной, которую понимает она самым узким образом в смысле девиза для герба Уварова»⁴⁵. Полонский с возмущением писал о ней: «Больная, нервная, озлобленная на мир, пиетически православная, она беспрестанно звала меня читать ей жития святых»⁴⁶.

Толстой в Баден-Баденском дневнике записал: «Обедал у Смирновой. Ничего не остается ни в уме, ни в памяти»; «Вечер у Смирновой. Смешно и гадко» (47, 147–148).

Ни слова о Пушкине. Однако из воспоминаний С.А. Толстого известно: «В своей молодости Лев Николаевич был знаком с некоторыми людьми, лично знавшими Пушкина, и слышал от них некоторые рассказы о нем. Так, например... он в Швейцарии виделся с семьей Карамзиных, а в Баден-Бадене с Россет-Смирновой. Он рассказывал про Пушкина следующее: «Однажды Пушкин встретился с одним своим приятелем и сказал ему:

— Каким подлецом я себя чувствую!

— Почему? — спросил приятель.

— Потому что только что встретился с Николаем Павловичем и говорил с ним»⁴⁷.

Известно, что анекдот был рассказан поэтом самой Россети⁴⁸.

Странствия по Европе пополнили пушкиниану Толстого знанием неизвестных ему ранее эпизодов, случаев из его жизни, штрихов, черт его облика, и поэт без олимпийского ореола стал для него своим.

- ¹ М.А. Цвяловский. Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина, 2-е изд., М., 1991. С. 26.
- ² ЛН. Т. 58. С. 5 (оригинал на фр. языке).
- ³ Переписка А.С. Пушкина. Т. 2. М., 1978. С. 154.
- ⁴ Литературные салоны и кружки, М.; Л., 1930. С. 193.
- ⁵ Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1. С. 122.
- ⁶ Мармье Ксавье выпустил три сборника русской прозы в своем переводе. Произведения Толстого не были им включены.
- ⁷ Жиранден Сен Марк, писатель, ученый, с 1844 года академик. В Сорбонне читал курс истории драматической поэзии.
- ⁸ Толстой. 1850—1860. Материалы, статьи. Л., 1927. С. 23.
- ⁹ Там же. С. 25.
- ¹⁰ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960.
- ¹¹ ЯЗ. Кн. 1. С. 143.
- ¹² Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 1. С. 256.
- ¹³ Летописи. С. 152.
- ¹⁴ Печатается по автографу. Во всех собр. соч. Л.Н. Толстого письмо публиковалось с ошибками. П.В. Анненкову от 22 апреля/4 мая 1857 года. (ОР РНБ. Ф. 23, е.х. 6. л. 5).
- ¹⁵ Переписка А.С. Пушкина. Т. 2. С. 153.
- ¹⁶ Русский архив. № 12. С. 281.
- ¹⁷ Вяземский П.А. Собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 233—234.
- ¹⁸ Голос минувшего, 1917. № 11—12. С. 146.
- ¹⁹ Русь, 1882. № 37.
- ²⁰ Россет-Смирнова А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 22.
- ²¹ Там же. С. 25.
- ²² Временник Пушкинской комиссии. Л., 1970. Вып. VI. С. 7.
- ²³ Смирнова-Россет А.О. Дневник... С. 25.
- ²⁴ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 170.
- ²⁵ Смирнова-Россет А.О. Дневник... С. 87, 133, 139.
- ²⁶ См. Курганов Е.Я. Из реального комментария к поэме «Домик в Коломне» — Временник Пушкинской комиссии. Л., 1983.
- ²⁷ «Пушкин начинал читать (в это время он сочинял все сказки). Я делала ему замечания, он отмечал и был доволен», — записано со слов Смирновой Я. Полонским (Голос минувшего, 1917. № 11—12. С. 155).
- ²⁸ Пушкин в письмах Карамзиных. С. 299.
- ²⁹ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 241.
- ³⁰ Там же.
- ³¹ Русский архив, 1884. № 4. С. 433.
- ³² Вяземский П.А. Собр. соч. Т. 8. С. 234.
- ³³ И.С. Аксаков в его письмах. М., 1883. Т. 1. С. 229.
- ³⁴ Аксаков И.С. Письма к родным. М., 1987. С. 213—214.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ ЛН. Т. 58. С. 730.

- ³⁷ Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929. С. 299.
- ³⁸ Голос минувшего, 1917. № 11–12, С. 144.
- ³⁹ Россет-Смирнова А.О. Дневник... С. 5.
- ⁴⁰ Там же. С. 12.
- ⁴¹ Аксаков И.С. в его письмах. Т. 1. С. 295.
- ⁴² Там же. С. 307.
- ⁴³ ЛН. Т. 58.
- ⁴⁴ Н.П. Барсуков. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. III. С. 83–84.
- ⁴⁵ Имеется в виду формула идеологии, выдвинутой С.С. Уваровым: «Самодержавие, православие и народность».
- ⁴⁶ Голос минувшего. 1917. № 11–12. С. 149.
- ⁴⁷ Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 98.
- ⁴⁸ Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. 19. С. 409.

С. Я. Долинина

АВТОКОММЕНТАРИИ К «ВОЙНЕ И МИРУ» И «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА»

В 1880-е годы Тургенев рекомендовал иностранному читателю узнать Россию по двум книгам: «Войне и миру» Л. Толстого и «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина. Очевидно, уже современнику обоих писателей было понятно, что эти произведения взаимосвязаны: одно дополняло и уточняло другое. Л. Толстой и М. Салтыков-Щедрин почти одновременно, в шестидесятых годах, воплотили в своих произведениях коренные основы бытия, ведущие черты национальной жизни, отражавшие положительные и отрицательные начала в национальном облике. Эти два соприкасающиеся взгляда на Россию, взявшие, как в два скрепляющиеся луча, проблемы вневременного, непреходящего значения, высветили в своем пересечении глубинные свойства русского национального характера, русского мышления.

Связи между «Войной и миром» и «Историей одного города», несомненно, существуют, как сознательно проложенные с полемическими целями самим Салтыковым-Щедринным, так и объективно присутствующие независимо от авторских намерений. Устанавливает эти связи сопоставительный анализ текстов. Автокомментарии к «Войне и миру» и «Истории одного города» дают еще никем не проанализированный материал для сопоставлений.

Л. Толстой сопровождал появление IV, по первоначальному делению, тома «Войны и мира» статьей «Несколько слов по поводу книги «Война и мир». Эта статья должна была послужить объяснением к описанию Бородинского сражения, которое отличалось от всех изображений в исторических трудах. Кроме того, статья предвляла философско-исторические рассуждения автора в эпилоге произведения.

Салтыков-Щедрин написал два объяснительных письма в связи с «Историей одного города»: в редакцию журнала «Вестник Европы» и А.Н. Пыпину. Письма были ответом сатирика на критическую статью А.С. Суворина «Историческая сатира», опубликованную в № 4 «Вестника Европы» за 1871 год.

В названных документах, статье Л. Толстого и письмах М. Салтыкова-Щедрина, прежде всего был поставлен вопрос об отношении к прошлому историка и художника, о правде исторической и правде художественной. И второй вопрос — о роли личности в истории и ее движущих силах. В толстоведении эта проблематика традиционно укладывается в формулу «Философия истории в «Войне и мире». Для Салтыкова-Щедрина такая проблематика кажется непривычной, излишней. Но, по-видимому, можно ставить вопрос о философии истории в произведениях сатирика.

Обоим авторам пришлось объяснять критикам и читателям свое понимание хода истории. И Л. Толстой и М. Салтыков-Щедрин видели его в непрерывной связи настоящего с прошедшим и будущим. Так, Л.Н. Толстой в набросках предисловия к «Войне и миру» писал, почему он неоднократно отодвигал время действия в произведении: от 1856 года к 1825, затем к 1812 году и в конце концов — к 1805 году. Историзм Л. Толстого проявляется в понимании этой связи времен, связи поколений. Рассуждение Л. Толстого в набросках предисловия заканчивалось так: «Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама... Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений» (13, 54).

Глубокий историзм Салтыкова-Щедрина также опирается на прочную связь прошлого — настоящего — будущего. «Нередко в щедринском словоупотреблении, — отмечает В.В. Прозоров, — история — это прежде всего непрерывная связь времени, движение времени, естественно вбирающее в себя и прошлое, и настоящее, и будущее... История — процесс общественного развития, неостановимое течение жизни с его внутренними «подводными» законами, скрытыми от поверхностного наблюдателя, законами, пристально изучаемыми писателем-сатириком...»¹.

Отвечая Суворину в письме для «Вестника Европы», Салтыков-Щедрин подчеркивал, что явления, о которых идет речь в его «Истории...», «существовали не только в XVIII веке, но существуют и теперь». Сатирик утверждал, что это было единственной причиной, почему он «нашел возможным привлечь XVIII век»², что не историческая сатира, а самая современная воодушевляла его.

Прошлое, наследуемое настоящим, переходящим в будущее, т. е. течение времени, течение жизни — вот смысл обращения к истории Л. Толстого и М. Салтыкова-Щедрина. Не историческую летопись воссоздавали оба писателя (хотя «История...» Салтыкова-Щедрина и написана в форме летописи), а искали художественную правду, которая не тождественна исторической правде.

В связи с этим критики обвинили Л. Толстого и М. Салтыкова-Щедрина, по сути, в одном и том же грехе: в искажении исторической достоверности, в том, что изображенное ими в произведениях не похоже на бывшее в действительности, наконец, в том, что не все исторические факты, относящиеся к изображаемым эпохам, нашли отражение в их сочинениях. Л. Толстому первому пришлось четко заявить, что задачи художника и историка совершенно различны. В набросках предисловия к «Войне и миру» он прямо писал: «...я боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12-го года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной...» (13, 53). Работая после окончания «Войны и мира» над романом из эпохи Петра I, Л. Толстой так определил различие между «историей-наукой» и «историей-искусством»: первая идет вширь, вторая — вглубь. Для истории второго рода, считал Л. Толстой, «нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь» (курсив автора. — С. Д.) (48, 125).

Л. Толстой был уверен в неизбежности его расхождений с историками в описании исторических событий. Он твердо отстаивал правду художника, отделяя ее от правды историка. В статье о «Войне и мире» он писал: «Для историка... есть герои;

для художника... должны быть люди» (16, 10). Художественная правда, по Л. Толстому, не сводима к воплощению исторической функции персонажа. Претензии же критиков не имели, в сущности, отношения к тем законам, которые признавал над собою Л. Толстой. Но эти претензии показательны в том смысле, что останутся теми же применительно и к М. Салтыкову-Щедрину. Так, А. Пятковский в статье «Историческая эпоха в романе гр. Л.Н. Толстого» писал: «Не поймав главной характеристической черты александровского времени, не оценив значения важнейших исторических лиц, гр. Толстой, естественно, не мог сконцентрировать своего романа и разбросался в мелочах и деталях, не связанных никакою общою идеею»³.

Отсутствие общей идеи — этот упрек был одним из самых существенных и в статье Суворина, посвященной щедринской «Истории...». Сатирик в письме А.Н. Пыпину заметил, что «в смехе ради смеха» его упрекают со времени статьи Д.И. Писарева, и подчеркнул, что он может «каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены...»⁴.

Самый же серьезный упрек Суворина состоял в якобы глумлении Салтыкова-Щедрина над народом. В своем ответе М. Салтыков-Щедрин указал на различие им «народа исторического» и «народа как воплотителя идеи демократизма». Этой идее, по убеждению сатирика, только и можно сочувствовать. Подлинный демократизм Щедрина выразился в словах о народе, в котором «заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности»⁵.

В то же время одна из самых задушевных идей Л. Толстого в «Войне и мире» прозвучала в молитве Наташи Ростовской перед Бородинским сражением: «Миром, все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться...» (11, 73).

Через 20 лет после Салтыкова-Щедрина, в 1891 году, в записной книжке А.П. Чехова появится высказывание: «Кто глупее и грязнее нас, те народ [а мы не народ]. Администрация делит на податных и привилегированных... Но ни одно деление не годно, ибо все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное»⁶.

Во второй половине XIX века Л. Толстой и М. Салтыков-Щедрин утверждали подлинный демократизм в понимании движущих сил истории. Они видели эти силы в жизнедеятельности народа, всей нации. Гениальная догадка в первой редакции «Войны и мира» — «Так надо было... Это надо было для того, чтобы поднялся народ»⁷ — воплотилась у Л. Толстого на завершающей стадии работы в убеждение «писать историю народа» (15, 241).

Журнальная публикация «Истории одного города» и первое ее отдельное издание имели указание на «пробуждение общественного сознания» в глуповцах. Но во втором издании (1879) сатирик снял всякие на то намеки. В письме в «Вестник Европы» М. Салтыков-Щедрин категорично заявил, что «общий результат» российской истории, по его мнению, есть пассивность. «Уклонение от этой пассивности» он рассматривает как «подробность». Очевидно, что и 1812 год был для Салтыкова-Щедрина только «подробностью», не меняющей «общего результата»⁸.

В «Истории одного города» ни слова не сказано о войне 1812 года. Наполеоновская же тема, которой русская литература жила чуть не весь XIX век, полемически преломилась у Салтыкова-Щедрина. Сатирик, явно травестируя общелитературную

традицию, по-своему решал эту тему: «...замечательно, — иронизирует автор «Истории...», — что особенною приверженностью к врагу человечества отличался женский пол... самый горячий фанатизм выказывала купчиха Распопова»⁹.

Для Салтыкова-Щедрина, очевидно, эта тема была исчерпана и потеряла свою актуальность. Для сатирика были значимы факты не просто из века в век повторяющиеся, а неизменные, застывшие. Такими фактами в глуповской истории стали «безотчетный страх» и неуступчивое, строптивое «ошеломление глуповцев»¹⁰.

Для психологического письма Л. Толстого важно «знание всех подробностей жизни». Работая над «Войной и миром», Л. Толстой активно использовал исторические источники. Только, в отличие от историка, он смотрел на них, по собственному выражению, с «человеческой» точки зрения, отыскивая в них прежде всего психологическую достоверность, психологически повернутый ракурс. Точен был П.В. Анненков, когда говорил, что художественная правда Л. Толстого строится «на разоблачающем свидетельстве преданий, слухов, народного говора и записок очевидцев»¹¹.

Пожалуй, лучше всего об этом свидетельствует случай, рассказанный Н.П. Петерсоном, бывшим яснополянским учителем, а затем сотрудником Чертковской библиотеки. «Однажды он попросил меня, — вспоминал Петерсон о Л. Толстом, — разыскать все, что писалось о Верещагине, который в двенадцатом году был отдан Растопчинным народу на растерзание как изменник. Помню, я собрал множество рассказов об этом событии, газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы. Лев Николаевич что-то долго не приходил, а когда пришел и я указал ему на литературу о Верещагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика — очевидца этого события, и тот ему рассказал, как это происходило»¹².

М. Салтыков-Щедрин, как известно, об этой стороне «Войны и мира» сказал: «болтовня нянюшек и мамушек». Историческое событие, переданное как психологическая история персонажа, не вызывало интереса сатирика. Салтыков-Щедрин считал психологизм вещь субъективной и ненадежной¹³.

Объясняя свой замысел «Истории одного города» в письме в «Вестник Европы», Салтыков-Щедрин подчеркивал, что он не видел даже надобности воспользоваться всеми фактами, опубликованными гг. Бартевым и Семевским в «Русском архиве» и «Русской старине»¹⁴.

В сатире Салтыкова-Щедрина неоднократно упоминаются имена известных историков, издателей исторических журналов второй половины прошлого века: М.П. Погодина, С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова, А.Н. Пыпина, П.И. Бартенева, Д.Л. Мордовцева. М.И. Семевского, С.Н. Шубинского, П.И. Мельникова-Печерского. И всегда эти упоминания сопровождаются авторской иронией. Все имена стоят в снижающем их контексте. В рецензии Салтыкова-Щедрина на записки Е.А. Хвостовой и рассказы Ю.Н. Голицына, написанной чуть раньше писем-комментариев по поводу «Истории одного города», дается объяснение такому отношению сатирика к своим современникам-историкам. «Публика, — пишет Салтыков-Щедрин, — с жадностью читая факты, собираемые усердием гг. Бартенева и Семевского, не ищет в них для себя поучений, а просто усматривает нечто вроде картинной галереи, которая, постепенно развертываясь, представляет изумленному взору целый ряд

чудаков... — и ничего более. Об этих чудаках можно сказать: «Свежо предание, а верится с трудом...»¹⁵.

Для сатирика деятельность издателей исторических журналов продиктована «четвертакowymi интересами». Хотя сам он, как свидетельствует названная рецензия, внимательно следил за публикациями той же «Русской старины». В современной российской действительности сатирик видел прежде всего «печальную тавтологию, в которой оплеуха объясняется оплеухой». «Конечно, тавтология держится на нитке, на одной только нитке, но как оборвать эту нитку?» — спрашивает автор истории Глупова¹⁶.

На этот самый важный для сатирика вопрос и не отвечали современные ему историки, а значит, и вся их деятельность ничего не стоила. В полном соответствии с тем, как характеризовал сатирик историка Шубинского в письме А.Н. Пыпину — «Шубинский — это человек, роющийся в говне и серьезно принимающий его за золото»¹⁷. — Щедрин во время своей болезни написал на бланке для анализов: «Моя моча. После моей смерти завещаю отдать сукину сыну Бартеневу для «Русского архива»¹⁸.

В ответе Суворину Салтыков-Щедрин указал, какого рода исторические факты останавливают его внимание и осмыслиются им. «...Смею уверить моего почтенного рецензента, — писал сатирик, — что даже и на будущее время сенат, не имеющий исправной карты России, никогда не войдет в число элементов для моих этюдов, тогда как такой, например, факт, как распоряжение о писании слова «государство» вместо слова «отечество», войти в это число может»¹⁹.

Социально-политическая проблематика произведения определяла соответствующий угол зрения, под которым отбирались и рассматривались исторические факты.

Литературоведами и историками неоднократно отмечалось, что в «Истории одного города» одновременно пародировалось и древнерусское и современное Салтыкову-Щедрину историческое сознание²⁰.

Один из важнейших аспектов щедринской пародии — описание истории «по царям» представителями государственной школы русской историографии. «И летописцам и представителям государственной школы было в одинаковой степени свойственно, — пишет в связи с этим Д.С. Лихачев, — преувеличивать роль правительственных лиц, правительственных распоряжений, видеть в правительстве инициатора и исполнителя всех преобразований жизни, игнорировать подлинную роль народа, ставить власть над сословиями, изображать ее справедливой надсословной силой»²¹.

Пародируя в глуповской летописи учение историографов-государственников, Салтыков-Щедрин утверждал свое понимание движущих сил истории. «Уже один тот факт, — указывал сатирик, — что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка»²².

Иными словами, но та же идея проводится Салтыковым-Щедриним в майской 1863 года хронике «Нашей общественной жизни». «...Мы увлеклись, — пишет автор, — и распевая на все лады дифирамбы внешней истории, совершенно искренне забывали, что пишется где-то другая история, история своеобразная, не связанная с внешней даже механически. Эта история пишется втихомолку и неярко...»²³

В конце своего пути, в «Мелочах жизни» (1886), М. Салтыков-Щедрин подойдет совсем близко к Л. Толстому в своем понимании движущих сил истории: «Концерты европейские продолжают разыгрываться без него (Наполеона III. — С. Д.), как разыгрывались при нем, — пишет сатирик, — а жизнь народная продолжает по-прежнему свое течение особо от концертов»²⁴.

В статье по поводу «Войны и мира» Л. Толстой, отвечая на упреки в том, что он неправильно отразил характер времени, писал, что он не видит его в «ужасах крепостного права», а находит его в том, что «в те времена так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь...» (16, 8). Это убеждение было одно из самых важных для Л. Толстого. В тексте романа оно приобрело такое звучание: «Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла как и всегда независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований» (10, 15).

Казалось бы, формула «настоящей жизни», данная Л. Толстым, противостоит политическим системам и социальным концепциям и, очевидно, социально-политической проблематике «Истории одного города». Однако точка пересечения Л. Толстого и М. Салтыкова-Щедрина есть и здесь. «Жизнь людей», утверждает Л. Толстой, прокладывает себе русло помимо деяний императоров, царей, полководцев²⁵.

И эта жизнь была, есть и будет всегда. В.Ф. Асмус убедительно доказал, что «последнее слово философии истории Толстого — не фатализм, не детерминизм, не исторический агностицизм, хотя формально все эти точки зрения у Толстого налицо и даже бросаются в глаза. Последнее слово философии истории Толстого — народ»²⁶.

О неиссякаемости жизни, хранимой народом, говорит, как мы видим, и Салтыков-Щедрин.

Автокомментарии к «Истории одного города» и «Войне и миру» свидетельствуют, таким образом, о несомненной соотнесенности этих двух вершинных произведений русской литературы.

¹ Прозоров В.В. «Суд истории» в идейно-художественной трактовке М.Е. Салтыкова-Щедрина // Классическое наследие и современность. АН СССР. ИРЛИ (Пушкинский Дом). Л., 1981. С. 225.

² Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1969. Т. VIII. С. 452.

³ Русская критическая литература о произведениях Л.Н. Толстого. (Собрал и издал В. Зелинский.) Ч. 3. М., 1913. С. 140.

⁴ Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. собр. соч. Т. VIII. С. 451.

⁵ Там же. Т. VIII. С. 452.

⁶ Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. — Сочинения в 18 т. М., 1980. Т. 17. С. 9.

⁷ Зайденшнур Э.Е. Как создавалась первая редакция романа «Война и мир». ЛН. Т. 94. М., 1983. С. 47.

⁸ Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. собр. соч. Т. VIII. С. 452.

⁹ Там же. Т. VIII. С. 364.

¹⁰ Там же. Т. VIII. С. 371.

¹¹ Анненков П.В. Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л.Н. Толстого «Война и мир» // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989. С. 38.

¹² Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. Т. 1. М., 1978. С. 125–126.

¹³ Здесь речь идет только о Салтыкове-Щедрине — авторе «Истории одного города», а не о создателе «Господ Головлевых» и т. п. См. литературу о психологизме Салтыкова-Щедрина: Бочаров С.Г. Психологический анализ в сатире. — В кн.: Эльсберг Я.Е. Вопросы теории сатиры. М., 1957; Григорьян К.Н. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». М.—Л., 1962; Киселев Н.Н. Психологический анализ в сатирическом произведении // Проблемы метода и жанра. Томск, 1977. Вып. I; Козьмин В. Социальный психологизм в романе «Господа Головлевы» // Литература в школе. 1976. № 1; Лукьянова З. Психологический анализ в сатире // Труды Киргизск. ун-та. Филология. Фрунзе, 1972. Вып. 17; Шаталов С.Е. О психологизме в романе «Господа Головлевы» // Научн. докл. высшей школы. Филологические науки. 1976. № 1.

¹⁴ Салтыков-Щедрин М.Е. Указ собр. соч. Т. VIII. С. 452.

¹⁵ Там же. Т. IX. С. 386.

¹⁶ Там же. Т. VIII. С. 372.

¹⁷ Там же. Т. VIII. С. 452.

¹⁸ М.Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1975. Т. 2. С. 233.

¹⁹ Салтыков-Щедрин М.Е. Указ собр. соч. Т. VIII. С. 452.

²⁰ Покусаев Е.И. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963. С. 33. Формозов А. Процвetaют ли науки и искусства — им и горя мало... // Знание — сила. Август. 1993. С. 49.

²¹ Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971. С. 377.

²² Салтыков-Щедрин М.Е. Указ собр. соч. Т. VIII. С. 371.

²³ Там же. Т. VI. С. 87.

²⁴ Там же. Т. XVI. Кн. 2. С. 15–16.

²⁵ См.: Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987. С. 67; 107.

²⁶ Асмус В.Ф. Причина и цель в истории по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» // Из истории русских литературных отношений XVIII–XX веков. М.; Л., 1959. С. 210.

Л. П. Корчагина

«Я МНОГО СПАС В ДУШЕ СВОЕЙ...»

(Л. Н. ТОЛСТОЙ И В. В. РОЗАНОВ)

Трагическое противостояние души и жизни, бытия и быта мучительно остро и сильно переживается людьми, обладающими даром глубоко чувствовать и понимать движение жизни.

На рубеже 1860—1870-х годов на Нижегородской земле сорокалетний Толстой и гимназист Розанов перенесли как тяжелую болезнь испытание крепости духа испокон веков терзающим сознание людей вопросом о Жизни и Смерти. Их души нашли в себе силы сопротивляться «арзамасскому ужасу», ледящему холоду жестких законов человеческого существования на земле.

В письме к жене от 4 сентября 1869 года Толстой рассказал о пережитом: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал» (83, 167).

В автобиографии 1891 года, вспоминая время учебы в Нижегородской гимназии, Розанов писал о мучившем его ощущении сдавленности души железным кольцом жизни: «...Я вышел гулять на откос, раскинутый над Волгой, и как сумрачно представлялась мне действительность, не значащим сравнительно с этим все, чем люди интересуются»¹.

Спустя несколько лет студент Московского университета Розанов прочитал толстовскую «Исповедь» (1882). Рубеж 1870—1880-х годов был для него временем молодого, горячего поиска «естественных целей жизни» всего человечества и своей собственной, обретения чувства «Я». Позднее он скажет о себе: «Собственно, я родился странником; странником-проповедником. Так в Иудее, бывало, «целая улица пророчествует». Вот я один из таких: т. е. людей улицы (средних) и «во пророках» (без миссии переломить, напр<имер>, судьбу народа). «Пророчество» не есть у меня для русских, т. е. факт истории нашего народа, а мое домашнее обстоятельство, и относится только до меня (без значения и влияния); есть частность моей биографии»². А двадцатилетний Розанов, чувствуя отъединенность в семье старшего брата (родители давно умерли), с постоянным «сильным ощущением пустоты около себя», как и многие молодые люди 1880-х годов, внимательно слушал Толстого. Он видел в нем писателя-проповедника, который «входит в плоть и кровь общества», «перерабатывает дух людей, быт людей»³. На закате дней своих в одном из комментариев к письмам Н.Н. Страхова Розанов скажет, что для молодой души иметь Учителя старшего годами и жизненным опытом — великое счастье.

С большим волнением Розанов прочитал «Исповедь» Толстого, историю поиска художником с «сильными крыльями» истины, смысла бытия, познания законов земной жизни. Но стать горячим последователем толстовских идей Розанов не мог. У «человека solo» были свои, не менее сильные крылья. Золотники истины Розанов добывал собственной судьбой, своей Голгофой. В «Уединенном» есть об этом «иронический листик»: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет; и вдруг бы я ей сказал: «Ты, душенька, не забывайся и гуляй «по морали».

Нет, я ей скажу: «Гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, добренькая, гуляй как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу».

Ибо жизнь моя есть день мой, — и он именно мой день, а не Сократа или Спинозы»⁴.

Поэтому чтение Розановым «Исповеди» Толстого — это анализ, критика, горячее согласие и не менее сильное отталкивание.

В 1892 году на страницах журнала «Вопросы философии и психологии» появилась статья Розанова «Цель человеческой жизни»; она была написана еще в студенческие годы. С тех пор не переиздавалась и, в сущности, совсем забыта. Но именно эта статья помогает понять характер отношения к Толстому начинающего писать Розанова.

В автобиографии Розанова читаем: «С величайшим одушевлением начал я писать сочинение, в котором должны бы быть изложены мои мысли, и предпослал ему отдельный трактат, содержащий анализ идеи счастья. В это именно время начали ходить слухи о какой-то «Исповеди», написанной гр. Толстым; я достал ее и с изумлением прочел, что тот самый вопрос, который столько лет занимал меня, был и у него; но он счел его неразрешенным и повернул в одну сторону, я же разрешил его, и это решение содержало в себе совсем иной мир мысли, иной строй норм человеческой жизни, о каких он стал учить потом. Очень много светлого и радостного было в том мире, который открылся для меня, и я помню, что в течение 2—3 лет после этого я все еще находился под влиянием этой светлой радости»⁵.

О радости, источник которой в «первоначально чистой человечности», о внутреннем свете спокойной совести говорится и на последней странице розановской статьи. Словами: «Я был рад и спокоен» оканчивает Толстой свою «Исповедь». Достижение покоя и радости души для обоих писателей — вершина долгого и тяжкого познания каждым человеком сути собственной жизни. Высота вершин разная. Но в этом заключается и особая прелесть общечеловеческой истории духовного развития. Можно подняться и не очень высоко; как правило, большинство людей после смерти помнятся недолго и немногими. Но стремиться к полному раскрытию залогов своей души человек обязан. «Созидайте дух, созидайте дух, созидайте дух!»⁶ — призывал Розанов в последнее десятилетие своей жизни.

О возможности достижения человеком счастья думали мыслители с древних времен. Начинающему взрослую жизнь Розанову решить этот вопрос было очень нужно, как нужно каждому в 20 лет. В строчках его статьи чувствуется ток высокого напряжения, видно стремление сказать свое, оригинальное, распутать узел мироустройства простым решением. Но нет в статье того, чем трогает и притягивает толстовская «Исповедь», нет горечи и боли прожитых лет, — Розанов смотрит с надеждой только вперед.

Толстой в «Исповеди» поведал миру об утрате и выстраданном обретении смысла жизни, ее радости: «Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением... И меня далеко отнесло, так далеко, что я услышал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидел лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о берегу, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег — это был Бог, направление — это было предание, весла — это была данная мне свобода выгрестись к берегу — соединиться с Богом. Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить» (23, 46–47).

С точки зрения Толстого, человек не может стать хорошим пловцом, опираясь лишь на свою силу, ловкость, разум. Слишком громко говорят в нем страсти, особенно в молодые годы, слишком быстро изнашивается его тело. А если он богат и здоров, скука тянет его опуститься на дно. Такова естественная природа человека. И с ней не поспоришь.

Толстой на страницах «Исповеди» рассказывает о своей, на первый взгляд, вполне благополучной жизни, жизни человека обеспеченного и образованного, наделенного талантом писать хорошие книги. «Вероучение, принятое по доверию» в детстве, в 16 лет было сознательно отвергнуто. Заменявшее его стремление к совершенствованию (нравственному, умственному, физическому) «подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других» (23, 4). И вот оценка прошедшим десяти годам молодости: «Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любоддеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство» (23, 5).

Писательский мир, по словам Толстого, сродни сумасшедшему дому, где каждый говорит, пишет с тщеславной оглядкой на читателя и собрата по перу, а самое страшное — учит, не зная ответа «на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно» (23, 7). На этот вопрос ответить не может и наука; у нее «ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме» (23, 20).

Не зная смысла жизни, учить детей в школе невозможно, а верить в слово «прогресс» просто так — смешно. Тепло и поэзия семейной жизни уничтожаются вопросом: «Зачем?» Даже искушение славой теряет силу: «Думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..» (23, 11).

Все опостылело, сознанием овладела простая и страшная мысль: жизнь есть бессмыслица. «Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка» (23, 13). «Обманывать себя нечего. Все — суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее» (23, 27).

Спасла Толстого «странная любовь к простому народу», к тем миллиардам «отживших и живущих простых не ученых и не богатых людей», которые «делают жизнь» и на своих плечах несут все ее тяготы. Любовь к ним дала Толстому ответ на измучивший его вопрос: именно эти люди, утверждает в «Исповеди», знают смысл жизни. Их знание — «неразумное знание», вера. «Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-Божьи, а чтобы жить по-Божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым» (23, 47).

В начале 1890-х годов, благодаря Н.Н. Страхову, происходит заочное знакомство Толстого с Розановым. «Я сообщил Льву Николаевичу, — писал Страхов из Ясной Поляны 31 июня 1890 года, — что есть на свете Василий Васильевич Розанов, причем невольно вспомнил Добчинского. Ваше имя еще не дошло до Ясной Поляны»⁷. Страхов рекомендовал Толстому прочитать розановское «Место христианства в истории». В ту пору Розанову исполнилось 34 года, и Страхов, который был почти вдвое старше его, в этом письме советует застегнуть мундир на все пуговицы. Розанову очень хотелось получить от Толстого портрет с автографом: «Да будьте же похладнокровнее, дорогой Василий Васильевич! Ну что это у Вас вдруг загорелось такое бессодержательное желание? Пожелать, чтобы Лев Николаевич вдруг написал собственною рукою Ваше имя, которое слышит в первый раз. Пожелайте лучше, чтобы он Вас прочел, чтобы написал вам свое мнение. Со временем этого можно достигнуть, и это, конечно, стоит желания»⁸.

Портрет с автографом был Розановым получен. Страхов давал читать Толстому розановские письма. «Все молодость», — сказал он о Вас — и, я думаю, справедливо», — писал Страхов 24 июля 1890 года. Интересен комментарий Розанова (1913 г.) к этому отзыву: «Как полно, закругленно и, конечно, истинно о тех годах»⁹.

«Место христианства в истории» Толстой читать не стал. «Погодите немного, — успокаивал Страхов Розанова, — Лев Николаевич всегда бывает так поглощен своими мыслями, что все остальное кажется ему прах и суета... Со временем он Вас оценит»¹⁰. Действительно, в 1900-е годы Толстой неоднократно давал оценку и Розанову, и его работам. Розанов приезжал в Ясную Поляну. В архив истории вошли сложные отношения интереса и взаимоотталкивания двух великих искателей истины.

В студенческой статье о цели жизни Розанов, как и Толстой, утверждал, что выполнение священных законов Творца — долг каждого человека. «Под религию же он живет: она обнимает его всего, ко всему его просвещает, от одного удерживает, к другому нудит. Но и это исполняет она только одною и второстепенною своею стороною;

другую и главную — она обращена к Тому, что несравненно существеннее самого человека и всей его жизни: более драгоценно, более значуще для всего мироздания»¹¹.

Жизнь человека состоит только при условии, если он сумеет сохранить и развить в себе «вечное зерно», «первозданную природу», даруемую Богом, если на протяжении всего жизненного пути будет стремиться к Творцу чувствами, мыслями, делами. Христианская религия дает истину. В религии — источник с живой водой, этот источник нужно беречь, не давать засыпать мусором ложных истин.

Розанов вслед за Паскалем утверждал: «В христианской религии «человек объяснен вполне»; поправим и скажем: «в которой он нашел себя»... Истины о первоначальном добром состоянии человека, о его испорченности, которая явилась потом, о возвращении его к первозданной своей чистоте, но уже в новом, изменившемся виде, уже прошедши по всем путям порока и зла, — высказаны в этой религии с полнотой и ясностью, которая не оставляет человеку сомнений. Она — найденное уже, после чего человеку остается внимать и прислушиваться, но не искать вновь, не заблуждаться, не падать» (кн. 15. С. 25).

По мнению Розанова, в других религиях, которые тоже учат человека добру, образовалось множество чуждых добродетели начал. «Очевидно, в религиях человек как бы искал для себя какой-то окончательной истины, но часто не находя ее, только блуждал на пути к истине. Однако они все возбуждают в нас интерес и даже сочувствие, именно потому, что они на пути, — что в них сказалось лучшее искание, к какому способен человек» (кн. 15. С. 25). На последних страницах «Исповеди» Толстой тоже писал о «лжи, примешанной к истине», в православной вере русского народа. В трудах «Критика догматического богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий» он проделал сложнейшую работу, стремясь очистить зерно христианского учения от плевел церковных искажений, народных суеверий.

Один и тот же вопрос о цели человеческой жизни как сохранении и росте души поставлен в толстовской «Исповеди» и в статье Розанова. Но почему Розанов сделал заключение: Толстой «счел его неразрешенным и повернул в одну сторону, я же разрешил его»?

С точки зрения Розанова, человек может достичь полноты развития души только в результате своей деятельной устремленности к трем идеалам: Всеведению, Добру, Свободе. Понимая под Всеведением «мысленное ко всему отношение», Розанов утверждает, что разум человека обладает Творцом данной «полнотой задатков». Человек обязан развивать эти задатки, идти по пути познания многогранности жизни. «Только с этой обязанностью, трудной и однако уже наложенной на человека, может быть соединено и радостное для него право на всякое единичное знание... Нет никакого права на усилие скрыть истину от себя ли, или от других» (кн. 15. С. 11).

Деятельность человека, направленная на достижение гармонии окружающего мира с первозданным влечением души к нравственному, справедливому и прекрасному, является второй целью человеческого существования — Добром. А Свобода — это отсутствие внутреннего страха и наружных стеснений при достижении Добра.

Эти три конечные цели соответствуют самой природе человека, стремление к ним — первичное право души, выполнение воли Бога. Поэтому путь к их достижению хотя и труден, но по силам каждому. «В гармонии совести своей с тремя

указанными идеалами человек имеет неразрушимое ядро для своей деятельности... Зло можно именно определить как отклонение человека от его первозданной нормы, происходящее от воздействия на него физической природы, или от столкновения с людьми, или от других условий, во всяком случае, только не первозданных... Не всем доступно приближение к этим идеалам, например, в сфере умственной — нахождение новых истин, расширение сферы человеческого ведения; громадному большинству людей едва лишь по силам соблюдение принципов этих идеалов в своей личной жизни. Но в чем же состоит это соблюдение? По отношению к истине — это будет простая правдивость жизни; по отношению к добру — сострадание к непосредственно открывающемуся горю людскому; по отношению к свободе — степень мужества, достаточного, чтобы не отступить перед неприятностями, какие связаны с правдивою и доброю жизнью среди людей, часто и не правдивых, и не добрых» (кн. 15. С. 15—17).

Соблюдая принципы трех идеалов, человек идет по дороге жизни твердой поступью, с трезвым пониманием законов земного бытия, без душевных надрывов, без колющего блеска ненасытности в глазах. В этой жизни не только радость; от печали и грусти человеку не уйти. Но тяжелая тоска, чувство бесприютности не терзают душу. Человек до конца дней своих остается благодарным восходу солнца.

Но если человечество стремится организовать свое земное бытие согласно «утилитарной доктрине» счастья как верховного начала человеческой жизни, то «всякая попытка осуществить ее в личной жизни сопровождается страданием; от этого так исказилось лицо истории, так мало стало счастья в сердце народов по мере того, как их жизнь более и более втягивается в формы этой идеи». Розанов считает: это происходит потому, что идея счастья является придуманной, чуждой природе человека: «Только ощущение им страдания и удовольствия было взято в расчет, и затем для этого ощущения искались вне человека условия увеличения его и уменьшения, личные или общественные. Рассматриваемая под углом лишь этого ощущения, одного и всегда одинакового, и самая природа человека понималась как нечто данное, определенное, как неподвижный восприимчив не варьирующихся же чувств. Неподвижное отношение и установилось между нею и искомым удовлетворением: вечное насыщение, которое происходит теперь и здесь, которое невозможно передвинуть в будущее и понять как руководящую цель» (кн. 15. С. 1).

Рассказ Толстого в «Исповеди» о своем поиске счастья может служить подтверждением этого положения розановской статьи. Разочарование во всех начинаниях преследует его до тех пор, пока он не отрекся от жизни своего круга, «признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей» (23, 47). Пожалуй, именно на этой странице толстовской «Исповеди» можно найти ответ на вопрос: почему, с точки зрения Розанова, проблему спасения человеческой души Толстой «счел неразрешимой».

Действительно, ответ Толстого содержал в себе «иной строй норм человеческой жизни», чем у Розанова. Не о естественной природе человека говорит Толстой, а о социальном положении человека, о том, что переход на иную ступеньку общественной лестницы меняет его взгляды на жизнь. Отсюда и такая разница в понимании

христианской идеи: «Чтобы жить по-Божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым» (22, 27); Человек «лишь участвует во всем, что вне его, но живет он только с собою самим, наедине в первозданной своей природой» (Розанов, кн. 15. С. 24).

Ответ на вопрос о содержании жизни дан Толстым и Розановым в разных плоскостях. Но мечта: люди должны почувствовать, что они вновь братья, — была одной для таких разных по возрасту, общественному положению и взглядам странников мысли.

¹ Розанов В.В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 688.

² Там же. С. 124.

³ Розанов В.В. Комментарий в кн.: К. Леонтьев. Письма к Василию Розанову. Лондон, 1981. С. 93.

⁴ Розанов В.В. О себе и жизни своей. С. 86.

⁵ Там же. С. 690.

⁶ Там же. С. 74.

⁷ Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 228.

⁸ Там же. С. 228–229.

⁹ Там же. С. 230.

¹⁰ Там же. С. 233–234.

¹¹ Розанов В.В. Цель человеческой жизни // Вопросы философии и психологии. М., 1892. Кн. 14, 15. В дальнейшем ссылки даются на это издание с указанием в скобках номера книги и страниц.

И. Г. Чеснокова

ПРОБЛЕМА «ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ» ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО И А. И. КУПРИНА

Для всей литературы начала XX века характерно противопоставление природной гармонии социально порочной действительности. Горьковские «боссы» дороги были их создателю своей оторванностью от собственнического мира и влечением к красоте могучей земли. Достаточно, скажем, вспомнить, что Челкаш любил море, чувствуя себя лучше, чище в бескрайних водных просторах, а Гаврила испытал животный страх, когда его коснулся вольный морской ветер. В счастливые детские годы Фома Гордеев из одноименного романа Горького несет в своем сердце глубокую благодарность к природной красоте. Когда он порывает все связи со своим окружением, переживает мучительное одиночество, противоречивые побуждения по отношению к общественным силам, происходит заметное изменение в его восприятии знакомой и некогда любимой природы: тяготение к ней сливается с мучительным ощущением вины перед нею.

Ив. Бунин все прекрасное сопрягал с «участием в человеческой судьбе полей, степей, небес». Крестьянин Кастрюк и помещик Капитон Иванович постигают собственное слияние с природой и отчужденность от людей. В бунинском же рассказе «Чаша жизни» героиня доверяет свои страдания и мечты только яблоне. В «Братьях» счастье природного бытия отравлено вмешательством враждебных человеку социальных сил. Даже Л. Андреев, при всей углубленности в общественные противоречия, «украшает» жизнь своих персонажей («Рассказ о Сергее Петровиче») и смерть (роман «Сашка Жегулев») любовью к ним матери-природы.

Куприн здесь не исключение. Да и достижения Л. Н. Толстого в этой области были дороги не ему одному. Между тем связи Куприна с Толстым — куда более определенные и в ранней прозе типологически близкие.

Впервые Куприн познакомился с повестью «Казак», когда ему было 17 лет. Спустя 40 лет в автобиографическом романе «Юнкера» он так рассказал о чтении этого произведения: «Начал он (Александров. — И. Ч.) читать эту повесть в шесть с небольшим вечера, читал всю ночь, не отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера»¹. К шедевру Л. Толстого Куприн возвращался не однажды на протяжении всей своей жизни. Ф. Д. Батюшкову в октябре 1910 года Куприн писал: «А я на днях опять (в 100-й раз) перечитал «Казак» Толстого и нахожу, что вот она, истинная красота, меткость, величие, юмор, пафос, сияние...»². Об этой же повести говорил он вскоре после смерти Толстого: «Старик умер, это тяжело. Но в этот самый момент... я как раз перечитывал «Казак» и плакал от умиления и благодарности»³.

Интерес к этому произведению сказывается и в рассказе Куприна «Анафема» (1913), где выразительно передано обаяние толстовского искусства. «Казаков» вспоминает отец Олимпий во время службы, где он должен пропеть «анафему» отлучаемому от церкви Л.Н. Толстому, и восхищается «естественным» в человеке. Это восхищение заставляет купринского героя разорвать с миром зла и фальши: «...а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по символу веры, во Христа и апостольскую церковь. Но злобы не приемаю»⁴. Этот рассказ свидетельствует о близости воззрений Куприна к мыслям и чувствам самого Л. Толстого. Как Толстой, Куприн изображает сложную душевную борьбу, предшествующую нравственному порыву. Нечто подобное переживает толстовский Оленин в «Казаках». У отца Олимпия — в нем воплощено лучшее, что присуще народному характеру, — душевный подъем завершается бунтом, а затем разрывом со своей средой. С Олениным его сближает суть нравственных поисков, с Ерошкой — волевая способность реализовать побуждение. И все-таки вовсе не протодьякон Олимпий является преемником толстовского казака. Другая параллель в ранней купринской повести «Олеся» позволяет говорить о восприятии (не без полемики) толстовской традиции.

Проблематикой, характерными чертами действующих лиц, тоской по утраченной цельности «детей природы» произведения Л. Толстого и Куприна, несомненно, близки. Ощутима психологическая «перекличка» между толстовским Олениным и купринским Иваном Тимофеевичем, между Марьяной и Олесей.

Толстой не дает сразу целостного портрета Марьяны, при каждой встрече читателя с героиней выделяется какая-то одна черта ее внешнего вида: сначала «высокая и стройная фигура молодой казачки», затем «прекрасные черные глаза» (6, 41). И только потом Марьяна предстает перед Олениным во всей красе: «Марьяна... была отнюдь не *хорошенькая*, но *красавица*! Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное, ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственной силой и здоровьем» (6, 97–98).

Куприн тоже не сразу знакомит нас с Олесей, чтобы показать, насколько она не похожа на всех остальных, описанных уже лиц. Вначале мы узнаем о ее существовании от других персонажей повести, потом слышим ее песню, после чего, наконец, видим: «Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати-двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смутно-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом»⁵. Облик этих женщин различен. Однако самый факт редкой незабываемой красоты, оригинальности лица — повторяется. Оба писателя в своих героинях подчеркивают природную «естественную» прелесть, физические данные девушек: «сильная фигура», «девственные формы»,

«твердая молодая походка». Оба особенно выделяют зеркало души — глаза героинь: у Марьяны они — «прекрасные, черные, блестящие», у Олеси — «большие, блестящие, темные». Оленин воспринимает Марьяну поначалу как часть природы: «Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она красива, как и они» (6, 121). Именно эта ее особенность настораживает молодого человека. «Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня... она, как природа, равна, спокойна, и сама в себе. А я искорканное, слабое существо» (6, 122). Купринский герой тоже сразу испытывает нечто для него неожиданное, хотя какие-либо выводы он не спешит делать: «Не одна красота Олеси в ней меня очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но не лишенный лукавого кокетства красивой женщины»⁶. Ивана Тимофеевича очень скоро поразит утонченность чувств Олеси: «Олеса — эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка — во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный врожденный такт»⁷. Позже он узнает ее богатую натуру, будет удивляться сочетанию гордости, самоотверженности в поступках с утонченностью переживаний. Исключительность женских характеров, созданных писателями, — вот сфера близости их творческого замысла. Поэтому много общего между теми, кто воспринимает эту исключительность, — Олениным и Иваном Тимофеевичем.

Оленин попадает на Кавказ «от нечего делать, от пресыщения московской жизнью, от скуки». Иван Тимофеевич покидает город с тайной мыслью познакомиться с новым, дотоле не изведанным. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы, первобытные натуры... совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж наверно, какое множество поэтических легенд, преданий, песен!»⁸. Оба, по существу, ищут приключений. Но легкомыслие очень скоро переходит в свою противоположность.

У Оленина мелькает мысль «бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке... жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и рыбную ловлю, и с казаками в походы» (6, 102). Но он не решается на такой поступок, к тому же и Марьяна отвергает человека не своей среды.

Иван Тимофеевич счастливо влюбляется в Олесю, и у него возникает сходное с Олениным желание жениться на ней. Между тем, едва подумав об этом, он «не смел даже воображать себе, какова будет Олеса, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил»⁹. Так созревает мысль об отъезде из Полесья, приносящая, однако, немалую горечь молодому интеллигенту. Идиллия «дикого состояния» в «Олесе» рушится, как только к девушке прикасается «цивилизованный» человек — пришелец из корыстного мира.

Можно привести немало других «говорящих» параллелей между «Олесей» и «Казаками». Но, думается, еще больше свидетельствует о тяготении Куприна к опыту А. Толстого тот факт, что автор «Олеси» еще долго возвращался к мысли о продолжении характерных для повести мотивов. В 1913 году он поделился новым замыслом, гораздо более напоминающим «Казаков»: «Это царство лесного зверя и людей,

живущих полной и здоровой жизнью, близкой к звериной. Преобладающий элемент здесь — мужики, белые, сильные, с могучей грудью, «емкие», как говорит про них стряпающая на них баба... В эту толпу простецов затесался интеллигент. Он живет у лесника и, конечно, не может обойтись, чтобы не завести связи с его женой. Один он вносит нездоровое, лживое начало в эту простую и прямую жизнь»¹⁰.

И.В. Корейская считает: «Так же как Достоевский говорил, что его литературное поколение вышло из гоголевской «Шинели», Куприн мог бы сказать, что он с его идеалом «естественного состояния» как главной творческой проблемой — вышел из толстовских «Казаков»¹¹. С этим высказыванием можно согласиться лишь наполовину.

Взгляды Л. Толстого на «естественную личность» менялись. Ранний Толстой осуждал цивилизацию и ратовал за здоровую цельную человеческую натуру, природу. Куприн тоже за идеал «естественного состояния» в его первоначальной форме. Но Толстой поздний — совершенно иного взгляда на «естественную личность». Он идеализирует патриархальную крестьянскую общину. Казачья станица, по существу, тоже оказывается вариантом такой общины: «Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе... Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли выющейся зеленью и прохладною густою тенью... Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашках, с кистями в руках и во рту бегали за матерями... Обязанные до глаз платками мамуки вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу влезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам... В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин» (6, 109—110).

Все жители казачьей станицы для Толстого прекрасны в общем труде: Улита, Марьяна. Особенно восхищается Толстой Марьяной: «Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко» (6, 111). Марьяна — часть этого мира. Ее сила — в слитности с запросами и стремлениями казаков. Отсюда — равнодушие, а затем и раздражение к Оленину как разрушителю этой атмосферы. У Куприна и в помине нет такой идиллии. Олеся противопоставлена полесским крестьянам. Да и среди них отсутствует начисто благородное товарищество, душевная связь. Деревня для Куприна — источник темного быта, противоречивых отношений, замкнутости, отчуждения людей друг от друга.

Повторим, что с первых же страниц «Олеси» рассказчик знакомит нас с необычайными, «темными» полесскими мужиками, а среди них — с мрачным, малоразговорчивым Ярмолой. Затем появляется бабка Мануїлиха, жадная, вечно мечтающая пожить старуха, которая, проведя большую половину своей жизни в «обществе», усвоила его печальные законы существования.

Естественная личность для Куприна может быть только изолированной от любой социальной (а не цивилизованного мира, как у Л. Толстого) среды. Отсюда все: одиночество Олеси, отрицательные характеристики действующих лиц, оказавшихся во власти неправых общественных порядков, сама форма повести — спокойный рассказ

Ивана Тимофеевича о гибели своей первой любви, наконец, композиция повести — поэтапное «восхождение» от несовершенного опыта всех персонажей к возвышенным чувствам Олеси.

Толстовские любимые герои — крестьяне — сохраняют гармоническое мироощущение в любых условиях (на войне, в атмосфере преступлений), у Куприна — человек, раз соприкоснувшийся с социальными законами, утрачивает свою внутреннюю чистоту и силу.

Не следует, однако, и печальные наблюдения Куприна над деревенской действительностью отстранять от мудрых прозрений А.Н. Толстого. Еще в заметке 1895 года о киевской постановке «Власти тьмы» писатель нового времени приветствовал появление на театральной сцене «мужичьей жизни», ее трагедии «в ужасной картине окутанных чудовищной тьмой и мечущихся в ней людей»¹². А много позже вернулся к этим раздумьям о «народном типе» и противоречивой «душе русского народа», ссылаясь на сложный характер толстовского Никиты¹³. Куприн, следовательно, понимал и принимал трезвые взгляды великого своего предшественника. И все-таки по-своему объяснял катастрофическое состояние русского крестьянства. Для Толстого несчастье, гибель начинаются только там, где мужик отходит от патриархальных устоев общинного существования, оказывается во власти антиморального влечения к собственности; жажда накопительства вообще нарушает нравственные заветы служения земле. Для Куприна причина измеления, нравственного падения, озлобления, отчуждения крестьян — всеобщая и объективная, лежащая в рабском труде, притеснении народа. Поэтому Куприн уповает не на пример чистых душой людей, а на перестройку общественных порядков, отношений.

Куприн близок своему великому современнику в представлениях о природных потенциях народа. Только сохраняются они, с точки зрения писателей, в разной обстановке. У А. Толстого — в близости к патриархальным устоям крестьянской общины, у Куприна — в полном отъединении от социального мира.

Поклонение Куприна «естественному человеку» нельзя рассматривать, однако, как стремление противопоставить одного — множеству. Куприн нашел область, в которой почерпнул веру в тесные контакты многих людей, в их свободную, красивую, общую деятельность. Именно так воспринимается герой-масса ряда произведений писателя: рассказа «Гамбринус», очерков «Листригоны» (8 очерков, написанных в разное время, с 1907 по 1911 год). Они несут в себе совершенно иную, по сравнению с «Олесей», гамму настроений, потому что здесь представлен необычно и доподлинно внесоциальный труд, в лоне и по законам самой матери-природы.

В «Листригонах» изображены потомки древних греков, живущие в Балаклаве отъединенно, по представлению автора, от любых общественных событий. Куприн трагизм в «Гамбринусе» и очерках некоторые исторические явления, но так, как будто они целиком зависели от внутреннего состояния посетителей Гамбринуса или балаклавских рыбаков. В очерках возникает единственное в своем роде сообщество людей, обусловленное лишь их врожденными и воспитанными опасным морским ремеслом способностями и стремлениями. Балаклавцы оказались духовными преемниками толстовских казаков. Главное, что определило идейно-тематическую перекличку «Листригонов» с «Казаками», — поэтизация лучших черт народного характера.

Толстой видел в Марьяне, Лукашке, дяде Ерошке людей сильных физически, натур цельных, искренних во всех своих проявлениях. То же самое находит Куприн

в мореходах Балаклавы, называя их потомками «кровожадных гомеровских листригонов», т. е. усиливая почти до мифологических размеров человеческое мужество, могущество. Толстой противопоставляет казаков Оленину и всему укладу «света». Куприн тоже находит прямого антипода своим героям — временных крымских жителей, дачников. Чтобы усилить их несовместимость, автор начинает повествование концом октября, когда «дачников» и в помине нет. «Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами... И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрошенных гостей»¹⁴.

Здесь «дачники» воспринимаются Куприным в горьковском понимании этого слова, т. е. как средоточие черт эгоизма, паразитизма, приспособленчества обитателей обычно несостоятельных городов. Освобождение от таких посланцев традиционного общества позволяет показать поэзию «листригонов» особенно широко.

Характерны зачины и концовки очерков. Они содержат «вдохновенный гимн жизни». Каждый из очерков обязательно несет в себе что-то радостное, оптимистичное. Во вступлении и финале каждой части цикла Куприн откровенно славит смельчаков, ежедневно сражающихся с морской стихией, освещающую широту, щедрость их души, «удаль молодецкую». В авторском восхищении детьми природы и таится источник близости Куприна к Л. Толстому.

Куприн знакомит читателя с некоторыми из «балаклавцев»: Юрой Паратино, Костей Констанди, Ваней Андруцаки и другими. Все они дополняют друг друга, так как обладают прежде всего общим началом. Юра Паратино известен в этих местах как «просоленный и просмоленный грек», он обладает редким мужеством и молодечеством. Невольно вспоминаются одновременно дед Ерошка и молодой Лукашка из «Казаков». Юра и внешне похож на Ерошку: «у него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы... тонкие твердые энергично опускающиеся углами вниз губы»; есть немало в облике Юры от Лукашки, «высокого, красивого малого, лицо и все сложение его выражали большую физическую и нравственную силу... Взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «молодец какой» (6, 23—24). И к толстовским героям, и к Юре можно отнести слова Куприна, сказанные им о рыбаках: «О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, овеванные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки»¹⁵.

Толстой и Куприн подчеркивают в своих героях какую-то особенную легкость и дерзость поведения. И еще одно важно: ни толстовский Лукашка, ни купринские рыбаки не хвастают своими победами.

Куприн неоднократно оттеняет — столь характерные и для толстовских казаков — дружбу, солидарность между рыбаками. Никто не мог спать, когда исчез Ваня Андруцаки, все принимали посильное участие в поисках: старики, молодые, женщины и дети.

«Листригоны» Куприна так же, как и казаки Толстого, живут напряженным и естественным трудом. Им чужда одухотворенность и утонченность. Представления простых рыбаков о мире узки и однообразны. В «детях природы» Куприн

подчеркивает не ум, интеллектуальность, а образность видения, тяготение к легенде, одухотворяющей природу. Атаман рыбацкого баркаса Костя Констанди учит героя-рассказчика обычаям и суевериям во время ловли, именно он рассказывает о господне-рыбе, о Летучем Голландце. Раскрывается сила эмоций скромного немудреного человека.

Автор «Листригонов» — чужой балаклавам человек, но он целиком сопричастен их горестям, радостям, труду и развлечениям. Поэтому он поет гимн смельчакам. Оленин, а в этом образе много от самого Толстого, несовместим с вольной средой. Мысль о возможности остаться навечно с казаками, однажды посетив Оленина, не только быстро проходит, но усиливает его рефлексию. Автор повести постоянно исследует подобное разобщение «детей природы» и душевных городов, не без боли взирает на утерянные «цивилизованной личностью» преимущества естественного состояния.

Разноисходным поиском двух писателей объясняется жанр и художественный принцип воплощения мира. У Толстого «Казак» — реалистическая повесть. У Куприна — романтизированные очерки. Куприн отходит от многих конфликтов действительности (вряд ли реальные рыбаки были столь свободны, так выключены из социальной жизни). Здесь исток романтизации. И одновременно «Листригоны» — очерки, т. е. показ действительно виденных лиц и событий. В реальной обстановке существования специфической группы людей выделено то, что сознательно возвышается чуть ли не до легенды. Толстой поклоняется целостной жизни казаков, находя в ней идеал патриархальных устоев. Куприн творит поэтическую сказку на реальном материале, сказку о якобы возможном вне-социальном бытии, начисто будто бы оторгнутом от любых общественных противоречий.

При всем этом очевидно одно, на первый взгляд, несколько странное положение. Романтизированные очерки свидетельствуют о том, что Куприн следовал им же выделенным у Толстого священным для себя заветам открыть «землю, небо, людей», «соединяющий миллионы душ» призыв: «Смотрите, как лучезарно-прекрасен и как велик человек!»¹⁶

¹ Куприн А. И. Собр. соч.: В IX т. М., 1970—1973. Т. VIII. С. 293.

² Куприн А. И. О литературе. М., 1969. С. 236.

³ Куприн А. И. Указ. собр. соч. Т. IX. С. 115.

⁴ Там же. Т. V. С. 462.

⁵ Там же. Т. II. С. 325.

⁶ Там же. Т. II. С. 340.

⁷ Там же. Т. II. С. 360.

⁸ Там же. Т. II. С. 311.

⁹ Там же. Т. II. С. 361.

¹⁰ Русское слово. 1913. 1 марта.

¹¹ Коредкая И. В. Куприн и Толстой // К. Н. Батюшков, Ф. Д. Батюшков, А. И. Куприн. Материалы Всерос. научн. конф. Вологда, 1968. С. 55.

¹² Куприн А. И. Указ. собр. соч. Т. IX. С. 70—71.

¹³ Саратовский листок. 1910. 22 января.

¹⁴ Куприн А. И. Указ. собр. соч. Т. V. С. 278.

¹⁵ Там же. Т. V. С. 296.

¹⁶ Там же. Т. IX. С. 122—123.

УИЛЬЯМ УОЛЛИНГ О РОССИИ И ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

Мимо внимания отечественных ученых прошел эпизод из жизни Л.Н. Толстого, который заслуживает упоминания и дальнейшего изучения. Среди посетителей великого писателя в 1906 году был малоизвестный у нас американский журналист и активный участник социалистического движения Уильям Инглиш Уоллинг.

Уоллинг побывал в России в 1905–1907 годы в качестве корреспондента нескольких американских газет и журналов. Его репортажи, публиковавшиеся в журналах «*Independent*», «*Outlook*», «*Nation*», «*Colliers Weekly*», «*The world today*», «*American Federalist*», вошли в книгу «Послание России. Всемирное значение русской революции» (*Russia's message. The true import of the Russian revolution*). Она была закончена в конце 1908 года и опубликована в Лондоне в 1909 году. В следующем, 1910 году, в Берлине появился ее перевод на русский язык¹, а еще через несколько лет она была издана в Нью-Йорке в значительно сокращенном виде. Книга Уоллинга — ценное свидетельство очевидца многих событий первой русской революции, документ, отразивший атмосферу тех бурных лет, борьбу идей, противостояние разных политических и социальных сил. Она написана пером человека, искренно верившего в социалистическую идею и с глубокой симпатией относившегося к России и ее народу.

«Настало время, — писал в предисловии Уоллинг, — Оценить значение первого акта великой революционной драмы. Второй акт еще не начался, а конец ее далеко впереди»². В этих словах слышен отзвук беседы Уоллинга с Л.Н. Толстым. Они сохранили для нас еще одно свидетельство того, как великий русский писатель проникал в суть событий, предугадывал ход истории.

Уоллинг заинтересовался Россией, по-видимому, в самом конце XIX века, когда начал собирать материалы о социалистическом движении в разных странах. Результатом его поисков и обобщений стали книги «Социализм как он есть» и «Социализм сегодня»³, в которых отразились и впечатления от его путешествий по России и знакомства с русской жизнью.

Примерно с 1900 года Уильям Уоллинг стал устанавливать связи с русскими, жившими в Нью-Йорке, а также с польскими и еврейскими эмигрантами из России. В 1904 году через Женеву он отправился в Петербург, куда прибыл вскоре после провозглашения октябрьского манифеста 1905 года. Уоллинг стал свидетелем всеобщей стачки и декабрьского вооруженного восстания. Он видел следы расправ, которые царские карательные отряды чинили в деревнях (в книге приведены страшные факты подавления крестьянских бунтов в Саратовской губернии во время правления там Столыпина).

Американский журналист стремился быть в гуще событий. Он встречался с политическими деятелями самых разных ориентаций, членами царской семьи, министрами (Гучковым, Маклаковым), депутатами I и II Государственных Дум, беседовал с Л.Н. Толстым, А.М. Горьким, посетил В.Г. Короленко во время поездки по Полтавской губернии. Уоллинг приводит ряд документов по следам этих встреч, которые опущены в более поздних изданиях.

Материалами для его книги послужили не только личные впечатления и беседы, но и целый ряд статистических и журналистских источников. Он обращался к русским периодическим изданиям, выходившим за границей, таким как «Correspondente Russe» или издававшемуся в Париже ежемесячнику эсеров «Русская трибуна», использовал отчеты партии эсеров конгрессу II Интернационала в Штутгарте, статьи американских журналистов Альберта Эдвардса и Гарольда Уильямса в «*Colliers Weekly*» и «*Harpers Weekly*», а также книги о революционном брожении накануне 1905 года, написанные американцами, посещавшими Россию⁴.

«На берегах Невы, Волги, Вислы решается судьба новой Европы, будущее человечества» — эти слова Анатоля Франса, предпосланные американскому изданию книги, являются как бы эпиграфом ко всему повествованию. «Для России, — пишет Уоллинг, — это революция, реформация, возрождение; для мира это начало еще более крупных перемен... Победа русской революции приведет в движение весь мир, всюду вызывая глубокие изменения как в организации общества, так и в господствующих идеях и стремлениях человечества»⁵.

Для Уоллинга Россия 1905—1907 годов — единственная страна в мире, которая переживала духовное брожение, страна, опередившая другие страны не только в сфере социальной мысли, идеалах, но и во многих областях культурной жизни. Она виделась писателю носителем идей духовного начала. «Под влиянием тяжелых испытаний и великих страданий русский народ привык к более глубокой и интенсивной духовной жизни, а потому его новое слово, его послание миру должно глубоко поразить все страны. Народы более счастливые, мало пережившие, живущие более поверхностно, не способны углубляться в самих себя, вникать в сущность зла, еще глубоко сидящего в человеке, представить себе те ужасы, которые еще возможны даже в современном обществе, и постигать те скрытые в нас титанические силы, которые делают нас способными бороться, пусть не всегда успешно, против целого мира зла»⁶.

Уоллинг, конечно, не был абсолютно объективным наблюдателем: его социалистические взгляды, обостренное зрение публициста, яркость пережитого в России вносят в повествование патетическую ноту, которая особенно слышна в последних главах. Свою миссию писатель видел в том, чтобы открыть миру глаза на происходившее в России, перевести на понятный для всех язык ее «послание», которое он трактовал как необходимость социальных перемен, демократизации общества, духовного обновления жизни. Именно поэтому он считал, что мир должен изучать опыт русской революции.

Проницательный и доброжелательный наблюдатель, убежденный сторонник демократических преобразований, Уоллинг знакомился с широким спектром идей, одушевлявших различных представителей русской культуры. Он с глубоким уважением отзывался о социальной проповеди Льва Толстого и бунтарском духе Горького,

революционных идеях вождей социалистических партий и политических воззрениях Короленко, которого называл лучшим публицистом России⁷.

Большое место в книге занимает могучая фигура Льва Толстого. Уоллинг считал его продолжателем революционных идей Руссо. «Толстой — величайший ныне противник капитализма в России и во всем мире», — писал Уоллинг. Великий русский, продолжал он, являет собой «партию в самом себе». Он предлагает социальную программу, которая, может быть, и непрактична, но является «величайшей угрозой существованию царизма»⁸.

Писатель высоко ценил Толстого как защитника угнетенного русского крестьянства, отмечал огромную разоблачительную силу его публицистики. В глазах Уоллинга Толстой — «представитель человечества» в том смысле, который вкладывал в это понятие Р. Эмерсон, называвший так великих людей, выразителей духа своего времени.

В разговоре с Л.Н. Толстым в 1906 году — к сожалению, американский журналист не описывает обстоятельств встречи; известно, что она происходила в Ясной Поляне — он признался, что собирается прожить в России несколько лет, чтобы наблюдать за ходом революции, на что Толстой ответил, что ему нужно было бы пожить в России лет пятьдесят. «Русская революция — это величайшая драма, которая состоит из нескольких актов. Эта Дума (1 Дума. — Э.О.) — даже не первый акт, а всего лишь первая сцена первого акта, а первые сцены обычно бывают немного комичны»⁹. Развивая мысль Толстого, Уоллинг добавляет (в издании 1917 года): «Второй акт, несомненно, будет сыгран в конце или незадолго до конца нынешней войны с Германией и Австрией»¹⁰. Слова Уильяма Уоллинга оказались пророческими. Во время встречи двух писателей зашла речь и о методах социального протеста, о возможности и оправданности (или неоправданности) насилия. По словам Уоллинга, Толстой заметил, что в этом отношении он «в значительной степени согласен с известными анархистами — Торо, Бакуниным, Кропоткиным, Прудомом и другими»¹¹. Американский писатель, очевидно, понимал уязвимость позиции Толстого в данном вопросе. Понимал он и то, что в российской действительности, какой она предстала перед ним, методы ненасильственных действий не могли быть эффективными — слишком велико было насилие. За полвека до русских событий, накануне гражданской войны в США, даже самые ревностные сторонники доктрины ненасилия — Уильям Ллойд Гаррисон и Генри Торо — поняли ее ограниченность. Сходная ситуация была и в России во время первой русской революции. Создатели Выборгского манифеста (среди которых был, в частности, В.Д. Набоков) призывали к мирному сопротивлению властям, отказу платить налоги, посылать рекрутов. В этом они, несомненно, руководствовались идеями, которые развивал Л.Н. Толстой — под сильным влиянием Гаррисона и Торо¹². Однако они скоро поняли несостоятельность своего воззвания. Уоллинг справедливо усмотрел в этом факте аргумент против толстовской программы ненасильственных действий.

Вопрос о методах революционной борьбы чрезвычайно интересовал Уоллинга. В своей книге он анализирует крайности — как терроризм эсеров, так и ненасильственное сопротивление, проповедававшееся Толстым, пытаясь понять их социальную, историческую детерминированность. «Толстой и революционеры в равной степени революционны в том, чему они учат»¹³, но, отмечает Уоллинг, методы их принципиально

различны. Писатель не высказывал такого же резкого, как Короленко, неприятия толстовской доктрины «непротивления злу», ибо видел, сколько жертв и разрушений приносит ответное насилие в деревне, где шла настоящая гражданская война. С другой стороны, он точно оценивал историческую неперспективность терроризма, индивидуальных актов мщения, которые проводились «боевой организацией» эсеров. «Убийства, захват помещичьих земель, крестьянская война — все это сейчас идет на убыль, так как не ведет ко всеобщему движению, о чем мечтали сторонники этих методов, и сейчас уже очевидно, что это не тот путь, который приведет ко всеобщему восстанию»¹⁴.

По признанию Уоллинга, во время пребывания в России он встречался с представителями «даже самых тайных революционных организаций»¹⁵. В Москве, Петербурге, других городах России, во время поездок в Лондон, Париж, Женеву, Таммерфорс и Нью-Йорк в 1905—1907 годах он и его жена Анна Струнская (близкий друг, соавтор и корреспондентка Джека Лондона) встречались с членами партии эсеров и ее «боевой организации», которые осуществляли казнь министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича: Б. Савинковым, Г. Гершуни¹⁶, Н. Чайковским, Е. Брешко-Брешковской. В 1907 году Уоллингов выслали из России за контакты «с некоторыми революционерами» (что Уоллинг отверг в предисловии книги). Однако есть указания на то, что он, его жена и свояченица Роза Струнская действительно укрывали у себя революционеров, разыскиваемых царским правительством, и даже помогали им выехать из России.

В своей книге американский публицист подробно останавливается на деятельности партии социалистов-революционеров (эсеров), особенностях их программы и тактики. Он подчеркивает, в частности, что партия эсеров находится накануне перемен и начинает отходить от методов террора¹⁷. По свидетельству автора, Савинков в разговоре с ним признал, что в период деятельности III Государственной Думы «некоторые горячие головы предпринимали индивидуальные акты мщения», которые, хотя и объяснимы социальными причинами, «не были социально оправданными»¹⁸. Приведенное выше замечание Уоллинга свидетельствует о его хорошей осведомленности в делах партии эсеров, а также его проницательности. Он закончил книгу в ноябре 1908 года, а в конце этого года в Париже состоялся товарищеский суд над Азефом, на котором председательствовали Петр Кропоткин и Вера Фигнер. Азеф, один из организаторов партии эсеров и ее «боевой организации», был разоблачен Бурцевым несколько раньше. Результаты расследования были преданы гласности в печатных органах партии за границей. Оказалось, что Азеф в течение многих лет сотрудничал с царской охранкой, информировал ее о готовящихся покушениях. Скандал, разразившийся в связи с этим делом, вызвал глубокое разочарование среди русских революционеров и скомпрометировал самые принципы, на которых строилась политика партии эсеров. «Под впечатлением азефовского дела, — писал печатный орган эсеров за границей, — в партии начался коренной пересмотр организационных и тактических вопросов»¹⁹. Этот поворот зафиксирован в книге Уоллинга. Партия социалистов-революционеров, которая организовывала и контролировала «акты самозащиты», отходит от этих методов. Ее цель сейчас, пишет Уоллинг, — «научить народ вести войну против правительства»²⁰.

Взгляды Уоллинга могли повлиять на Джека Лондона, близко знакомого с ним через Анну Струнскую, вместе с которой он написал роман «Письма Комптона-Уэйса». Лондон совсем не случайно выбрал Уоллинга прототипом своего героя из неоконченного романа «Бюро убийств» (1911), сюжет которого косвенно связан с русскими событиями.

Основной конфликт романа — столкновение двух идеологий: жизненной философии главы «Бюро убийств» Ивана Драгомилова и социалиста Уинтера Холла, убежденного противника террора, осуществлявшегося «инициативной личностью». Прототипом Холла и послужил Уильям Уоллинг. Об этом говорит не только портретное сходство, но и целый ряд характерных деталей. Лондон называет своего героя «социалистом-миллионером», а именно эти слова употреблялись в американской прессе применительно к Уоллингу, внуку видного политического деятеля и наследнику большого состояния.

Подобно Уоллингу, Уинтер Холл — блестящий журналист, автор многих журнальных статей и книг. Он провел год в России, где стал свидетелем событий 1905 года, изучал тактику революционеров в борьбе с самодержавием. Он пришел к убеждению в том, что время «всадника на коне» миновало. В идейном споре с Драгомиловым Холл побеждает. Он доказывает своему оппоненту, что деятельность «Бюро убийств» антиобщественна, или, как он говорил, «социально нецелесообразна». (Отметим попутно, что в разговоре с Уоллингом Б. Савинков характеризовал действия русских террористов в сходных словах.) Признав поражение, Драгомилов принимает заказ от Холла на уничтожение самого себя. Уничтожив всех членов своей организации, он гибнет сам. Холл и Груня, дочь Драгомилова, остаются жить, демонстрируя торжество принципов «гуманного социализма», лишенного всякого оттенка ницшеанства²¹, принципы которого исповедовал Драгомилов.

Взгляды Уоллинга (а возможно, и дело Азефа, о котором он мог получить сведения из печати и от знакомых) повлияли на оценку Лондоном методов русских революционеров. Эволюция во взглядах последнего на проблему насилия очевидна. Если в эссе «Революция» он приветствовал взрыв бомбы Созонова, то в романе «Бюро убийств» недвусмысленно осудил эсеровскую тактику²².

В книге Уоллинга содержится не только социально-политический анализ революционной ситуации в России, но и оценка роли русских событий в развитии философской мысли Европы и Америки.

Уоллинг выступал как антиспенсерианец и антিনিцшеанец. Идея социального дарвинизма, захватившие Европу и Америку, не казались ему бесспорными. Он был гораздо более последовательным мыслителем, чем Джек Лондон, примирявший спенсерианство и марксизм. В последней главе книги Уоллинг отмечал необходимость «соединить эволюцию и революцию». Догматические сторонники Спенсера, пишет он, «привели к почти рабскому преклонению перед физической наукой, разрушили с помощью этой науки многое из старой философии и многие из прежних моральных и социальных идеалов, но взамен не предложили ничего»²³. В отличие от Европы и Америки, полагал Уоллинг, идеи Ницше и Киплинга не нашли в России широкого распространения. «Россия — единственная страна, где эта псевдонаучная социология (т. е. идеи социального дарвинизма. — Э. О.) полностью дискредитирована»²⁴.

И хотя это утверждение Уоллинга не совсем точно, оно свидетельствует о его отношении к России. В событиях 1905—1907 годов он увидел подтверждение марксовой теории исторического развития. Русский опыт, полагал он, помогает противостоять «антигуманным моральным и социальным учениям, которые позволили практически монополизировать применение научных методов к пониманию человеческой жизни»²⁵.

Неприятие идей социального дарвинизма заставило Уоллинга искать в российской культуре и философии явления, противоположные ему. Он нашел их в учении Л.Н. Толстого, в котором его привлекала проповедь духовности, нравственного усовершенствования, неконформизм, отрицание насилия. Под влиянием беседы с писателем он восклицает: «Мы должны перестать противопоставлять общественный прогресс личному усовершенствованию, прекратить попытки отстаивать принципы с помощью силы, мы должны вместе с ним (Толстым. — Э. О.) практиковать непротавление злу!»²⁶ При этом Уоллинг понимает ненасилие как активное сопротивление злу. Великой заслугой писателя Уоллинг считал возрождение моральной философии, «которая помещает человека в центр вселенной и дает ему подлинную и цельную концепцию жизни и общества»²⁷. В глазах Уоллинга Толстой — подлинный революционер, хотя он и считал себя «самым непримиримым врагом Маркса»²⁸, — революционер потому, что требовал применения принципов демократии в политической, экономической и социальной сферах. Учение Толстого воспринималось им как серьезный вклад в дело социальной революции, необходимость которой для всего мира казалась ему очевидной. Во многом благодаря знакомству с творчеством и личностью великого русского писателя Уильям Уоллинг пришел к выводу о ведущей роли России в области духовной жизни. Для него «свет с Востока» (*Ex oriente lux*) исходил именно из России. Книга Уоллинга «Послание России» — не только ценный документ революционной эпохи нашей истории и блестящий образец публицистики, но и произведение социологическое, в котором отразилось биение философской мысли России и США.

¹ Уоллинг У. И. Послание России. Берлин, 1910. Следует отметить, что перевод весьма несовершенен: сняты все эпиграфы, опущены целые главы и отдельные, иногда весьма значительные, части; изменена тональность повествования.

² Walling W.E. Russia's message. The true import of the Russian revolution. L., 1909. P. 12—13.

³ См.: Уоллинг. «Socialism as it is. A survey of the world-wide Revolutionary Movement» (New York, 1915), а также сборник под его редакцией «Socialism of Today. A Source-book of the present position and recent development of the socialist and labor parties in all countries, consisting mainly of original documents» (New York, 1916).

⁴ Уоллинг упоминает книги «Заря в России» Невинсона, «Кровавое царствие» Дарланда, «Год в России» Бэринга, «Революция в России» Перриса (См.: Walling W. Russia's message. 1909. P. 469).

⁵ Уоллинг У. Послание России. Берлин, 1910. С. 379.

⁶ Там же. С. 367.

⁷ Эти слова в переводе опущены, как и письмо Короленко статс-секретарю Филонову по поводу массовых убийств крестьян в Сороченцах в 1906 году.

⁸ Уоллинг У. Цит. раб. С. 387, 388.

⁹ Walling W.E. Russia's message. Doubleday, Pace & NCo. New York, 1917. P. 7.

¹⁰ Walling W.E. Russia's message. The people and the Czar. Knopf. New York, 1917. P. 14.

¹¹ Walling W.E. Russia's message... P. 449.

¹² См. об этом: Осипова Э.Ф. Американские трансценденталисты и Л.Н. Толстой // Вестник ЛГУ. 1980. Вып. 2, № 8.

¹³ Walling W.E. Russia's message... P. 449.

¹⁴ Ibidem. P. 16.

¹⁵ Ibidem. P. 10.

¹⁶ По свидетельству американского социалиста Э. Пелузо, друга Джека Лондона, Анна Струнская и ее русские друзья были эсерами или имели с ними какие-то связи (См.: Пелузо Э. Из дней знакомства с Джеком Лондоном // Красная Новь. 1933. Кн. 1. С. 191). Убедленная социалистка, страстная почитательница русских народовольцев, она мечтала внести свою лепту в дело русской революции. С этой целью в конце 1905 года она отправилась вместе с сестрой в Россию через Женеву, где, по словам сан-францисской газеты, должна была «посетить штаб русской революции». Струнская проявила особый интерес к деятельности партии эсеров и близких к ней людей, в частности, члена ЦК партии Г. Гершуни. В неопубликованной книге Струнской о русской революции есть глава, посвященная Гершуни, суду над ним и его побегу из Сибири через Японию в США. Известно, что Гершуни встречался с Уоллингами в 1906 году в США и в 1907 году в Таммерфорсе, где проходил съезд партии эсеров.

¹⁷ Walling W.E. Russia's message... P. 379.

¹⁸ Ibidem. P. 372.

¹⁹ Мещеряков В.Д. Партия социалистов-революционеров. М., 1922. Ч.2. С. 71.

²⁰ Walling W.E. Russia's message... P. 379.

²¹ Лондон Дж. Бюро убийств // Дальний Восток. 1966. №. 3—5.

²² Об этом см.: Осипова Э.Ф. Первая русская революция в творчестве Джека Лондона // Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Л., Изд-во ЛГУ. 1989. С. 130—146.

²³ Walling W.E. Russia's message... P. 441.

²⁴ Ibid. P. 441.

²⁵ Ibid. P. 444.

²⁶ Ibid. P. 449.

²⁷ Ibid. P. 445.

²⁸ Ibid. P. 431.

Т. Н. Архангельская

О Л. ТОЛСТОМ И У. УОЛЛИНГЕ

(по «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого)

Ценнейшим источником, содержащим сведения о встрече Л.Н. Толстого и Уильяма Инглиш Уоллинга, являются «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Запись о визите американского писателя в Ясную Поляну, имевшем место 12 мая 1906 года, оказалась сравнительно краткой и отчасти была сделана «со слов», возможно, самого Толстого или очевидцев события: яснополянский «летописец», он же домашний врач Толстого, провел весь этот день, с 9 до 17 часов, в амбулатории на деревне, принимая больных. Однако вечером того же дня Маковицкий записал: «Был Вильям Инглиш из штата Нью-Йорк с двумя сестрами Струнскими...»¹ Далее сообщалось, что рекомендовал гостей И.И. Горбунов. В то время он был редактором и издателем «Посредника», Уоллинг мог обратиться к нему в Москве. 6 мая Горбунов приезжал в Ясную Поляну и виделся с Толстым. Несколько ранее, 23 апреля, Маковицкий отметил в дневнике: «...т. к. почти все приходящие к Л. Н. люди теперь опропагандированы политически, загипнотизированы, полемизируют с Л. Н., ему тяжело, и обыкновенно находит бесполезным с ними беседовать».

Рекомендация Горбунова, очевидно, сыграла свою роль: «Все к ним отнеслись внимательно, водили их по окрестностям и т. д.» Хозяйка дома, собиравшаяся вечером 11 мая в Москву, вероятно, уже уехала; накануне приехал гостить к родителям сын Лев с семьей, дома были дочери Татьяна и Александра, гостившая у Толстых Ю.И. Игумнова. Уоллинг был, очевидно, в первой половине дня и не очень долго; «полудни», как записал Маковицкий, Толстой ходил гулять по своему обычному маршруту к речке Воронке, вероятно, один, уже простившись с гостями. Судя по упоминанию в дневнике Маковицкого о поездке в тот день Александры Львовны в Тулу, она, возможно, сопровождала гостей до Тулы на обратном пути.

Беседа Толстого и Уоллинга не зафиксирована ни в дневнике, ни в письмах писателя, ни в известной мемуарной литературе. В этой связи представляется целесообразным восстановить — опять-таки по «Яснополянским запискам» — событийную «канву» этого периода, что поможет проявить характерный фон, на который органично накладывались контуры этой беседы.

В течение полугода с весны 1906 года Толстой был занят работой над статьей «О значении русской революции»; в процессе писания она долгое время называлась «Две дороги». В конце статьи Толстой определял «великое значение совершающейся теперь в России революции» — и видел это значение в «остановке шествия по ложному пути и указании возможности и необходимости проложения и указания другого...

свойственного человеческой природе пути, чем тот, по которому шли западные народы» (36, 362). Писатель активно прислушивался к происходящему в России, с живым интересом читал произведения писателей-социалистов. В конце апреля — начале мая 1906 года Толстого занимала работа «Психология социализма» французского социолога Лебона. «Книга эта ему нравится», — записывал Маковицкий 2 мая. По поводу чтения полученной 9 мая книги сербского публициста А. Петровича «Wahrheit und Trug im Sozialismus» Толстой заметил, что автор «о социализме пишет верно, что он в стремлении людей к благу, но что политико-экономическая сторона социализма — ничтожная часть его, а учение Будды, Конфуция, пророков, Христа есть социализм».

Одна из глав названной статьи Толстого имела черновое заглавие «Положение Европы и Америки по отношению к предстоящей революции». В тексте статьи есть отзвuky чтения Толстым таких книг американских писателей-социалистов как «On Poverty» («Нищета») Р. Хентера (Hunter), «Джунгли» Э. Синклера, полученных в ту пору от авторов.

Беседуя о происходящем с семейными, Толстой не раз вспоминал французского публициста и историка Леруа-Болье, сказавшего о русской революции: «Вам ее на 50 лет хватит». По этому поводу 15 сентября 1906 года Маковицкий записал такое суждение Толстого: «Огромное государство расшатано, разваливается. Это как бы огромный храм, который разваливается и который надо совершенно развалить по кирпичам и потом построить новый. Все это требует очень долгого времени, тем более, что, может быть, и кирпича не хватит».

Толстой следил за русской и зарубежной прессой. Знал и много говорил о ходе дел в недавно возникшей Первой Государственной Думе. 31 марта 1906 года в связи с избранием в Думу его зятя М.С. Сухотина Толстой коротко отозвался: «Комическая роль». 24 апреля Маковицким записаны такие слова Толстого: «Ни в одном государстве нет... столько дел Думе, как у нас. С чего начать? Бесчисленное количество вопросов, и все изменять от основ, невзирая на партийные споры, которые сами себе создают. О земле, войске, печати, законодательстве рабочих, окраинах... Всеми этими учреждениями, как они есть, недовольны. Не сумеет Дума сладить с этими задачами. Будет полное фиаско Думы». Меньше, чем через год, 3 февраля 1907 года Толстой скажет: «...нужно прогнать всех, за власть борющихся... Им дело до власти, а не до интересов народа».

Немало значительных моментов из жизни Ясной Поляны отражено Маковицким в записях за ту самую майскую неделю, когда произошла встреча Толстого с Уоллингом.

7 мая Толстой задал гостившим в Ясной Поляне трем знакомым врачам вопрос о том, «крепнет ли социализм или слабеет». О том, что социализм крепнет, он услышал от Д.В. Никитина и А.С. Бутурина, врача, писателя и участника революционного движения.

8 мая: «Л.Н. сегодня третий вечер гулял со всеми гостями и семьей. Главное лицо, с кем на этих прогулках разговаривал, был Бутурлин. Тема: современные общественные события, политическая борьба с правительством, и Л.Н. в этих беседах подавал в форме ответов Бутурлину то, что в новейшей статье, над которой сейчас работает, написал. Как бы проверяя и перерабатывая их в споре с таким даровитым,

убежденным, искренним человеком, как Бутурлин, Л.Н. творил в этих беседах, говорил убедительно, иногда горяча ими всех собеседников, не понимающих его или не разделяющих его взглядов... Эти беседы были одни из лучших, какие я слышал».

9 мая: «В сегодняшней газете программа Конституционно-демократической партии по земельному вопросу...». По поводу постановки вопроса еще 26 марта в беседе с М.С. Сухотиным Толстой отметил, что об этом «за границей у социалистов есть».

10 мая Толстой сказал: «Эта Дума в истории не оставит впечатления, потому что она не выразитель воли народа».

Отрицательно относился Толстой к либеральным партиям, совершенно не надеясь на то, что они обеспечат какое-то улучшение положения народа. Еще за три месяца до этого Толстой предвидел специфику деятельности Думы: «Зацепятся за один вопрос и будут тянуть. Явятся, и обструкционисты... Вопросы отступят на задний план, а будут подшпиливать друг друга, а партийная борьба...» (23 февраля).

11 мая: «За чаем Лев Львович рассказывал про Думу — берут верх социал-демократы и социалисты-революционеры над кадетской партией. Гучков выразился о Думе: социалисты-революционеры и социал-демократы хотят крестьянам всю землю, рабочим все фабрики».

Л.Н.: Теперешняя Дума — комическая, первая сцена из пятиактовой драмы». 12 мая приезжал Уоллинг; на следующий день в беседе со знакомым, кн. Тенишевым, Толстой говорил: «То, что теперь делается, это комическое интермеццо в серьезной (грозной) драме, которая еще не началась». Неделью спустя, 20 мая. Толстой получил взволновавшее его письмо от английского журналиста, христианского социалиста Давидсона-Моррисона о том, «что Россия пойдет впереди мира и что в Думе разочаровывается за то, что копирует <Запад>».

Отметим еще описанный Маковицким приезд в Ясную Поляну другого американского журналиста, случившийся почти день в день спустя год — 7 мая 1907 года и имеющий, возможно, некоторое внешнее (а в чем-то, может быть, и внутреннее) сходство с визитом Уоллинга: «У Л.Н. был редактор-издатель «New York Times» Stephen Bonsal из Нью-Йорка. Спрашивал Л.Н. о том, что дает Дума России... Л. Н. беседовал с ним около часу в свое рабочее время от 10 до 11 дня в кабинете и дал ему только что полученный английский перевод своего сочинения «The Russian Revolution». Когда вышли из кабинета в залу, на лице Л.Н. усталость, напряженность, грусть и выражение: «Напрасно говорил, а все-таки должен был». ...Бонсел... простился с Александрой Львовной и другими; сошел к тройке... Надо было ехать в Тулу, чтобы поспеть скорым поездом в Москву... За обедом Л.Н. говорил об их беседе...» Еще почти ровно через год — 23 мая 1908 года — Толстой беседовал об Америке, о партиях, о предстоявших выборах президента с профессором социологии из Чикаго Дж. Реймондом и сказал: «Как оно в Америке и в России почти одинаково».

Несколько ранее, 5 сентября 1907 года знакомый Толстого экономист С.Д. Николаев подвел своеобразный итог, сказав писателю: «Вы американцам перевели их взгляд с политической точки зрения на нравственную точку зрения... — Это главное, — сказал Л.Н.».

Кстати, Толстой мог быть в какой-то мере знаком со статьями Уоллинга: в яснополянской библиотеке сохранились некоторые номера 1900-х годов американского

журнала «Independent», где он сотрудничал. Но Толстой всегда считал лучшим «узнать самих писателей»: «Нужно что-то почерпнуть у него, знать его душу», — говорил он 17 ноября 1906 года. В этом отношении любопытны отмеченные Маковицким живые детали беседы в Ясной Поляне после отъезда Уоллинга: «Вечером говорили об Инглише. Л.Н. сказал, что он ему приятен, потому что он друг Hunter». Вспоминается строка из письма Толстого Р. Хентеру (Hunter) перед его приездом в Ясную Поляну летом 1903 года о том, что он будет рад увидеть гостя — «как друга моего очень близкого друга Кросби» (74, 143). Обоих Толстой считал, по словам Маковицкого, «серьезными» среди американских мыслителей, «занятых смыслом жизни» (4 августа 1906 года). В 1906 г. Толстой несколько раз говорил о достоинствах книги Хентера «On Poverty», а в 1908 году читал и очень хвалил его новую книгу «Socialists at Work», полученную от автора. Весной 1906 года Толстой заинтересованно ждал приезда Э. Кросби, мечтавшего непосредственно в России наблюдать ход революции. 4 августа 1905 года Кросби написал Толстому: «...ораторы утверждали, будто Россия должна достичь того, чего достигла Америка, но я отвечал: «Нет! Этого недостаточно». Россия должна пойти гораздо дальше, а мы последуем за нею. В России, кроме того, земельный вопрос стоит гораздо острее, чем в нашей индустриальной стране, и с вашим правительством его легче разрешить»².

Этих писателей, вероятно, имел в виду Толстой, когда, в марте 1904 года, резко возражал французскому корреспонденту А. Бурдону, считавшему американцев «чудовищно реалистичным» народом: «...можно ли, — говорил Толстой, — взвалить на народ бремя ответственности за алчность имущего класса? Я сам знаю весьма «здоровомыслящих» американцев — они честны, умны, лишены этих плачевных пороков... Нельзя так категорично высказываться об американской душе, которую мы так еще мало знаем»³.

Посещение Толстого Уоллингом продолжило цепь визитов американских писателей, заслуженно выделенных Толстым из потока «обычных американских посетителей, руководимых в своих посещениях только моей известностью» (40, 339). Заключительные слова в интересующей нас записи Маковицкого касаются А. Стрункой: «Инглиш — жених старшей сестры Стрункой, которая сама писательница и привезла свою книгу о любви. — Мне было приятно, — сказал Л.Н., — что хотел сам рассказать про ее книгу, но дал ей рассказывать и слушал ее». Вещественный «след» этого визита — книга «The Kemton — Waca letters» (Лондон, 1903), написанная Стрункой совместно с Дж. Лондоном, вышедшая в первом издании без указания имени автора, — хранится по сей день в Ясной Поляне в составе личной библиотеки Л.Н. Толстого.

¹ Тексты записей приводятся здесь и далее по изданию: ЯЭ. Кн. 2,3, с указанием даты.

² Цит. по кн.: ЛН. Т. 75. Кн. 1. С. 402.

³ Там же. Кн. 2. С. 57.

В. Б. Ремизов

«ИДТИ ПО ЗВЕЗДЕ, ПО СОЛНЦУ»

(Л. Н. Толстой и В. С. Соловьев)

Владимир Соловьев создал одну из самых ярких и запоминающихся в истории цивилизации концепцию мира и человека. На рубеже двух веков она казалась кометой, на мгновение осветившей небосклон русской жизни, поколебавшей ее и навсегда исчезнувшей накануне трагического XX века.

Здесь нет смысла воссоздавать историю непростых отношений и взаимоотношений Толстого и Соловьева. В общих чертах она освещена в работах Н.Н. Арденса (Апостолова), П.С. Попова, Э.Г. Минц, А.Ф. Лосева. Но есть некоторые особенности, которых еще не касались ученые, именно они в высшей степени примечательны и дают основание для серьезного уяснения самой сути проблемы.

Принято считать, что взаимоотношения двух современников развивались по нисходящей — от приятия до резкого размежевания, конфронтации. Основание для такого толкования, действительно, есть.

Толстой, видевший в 1874 году в Соловьеве человека, прибывшего «к тому малому полку русских людей, которые позволяют себе думать своим умом» (62, 128), с годами станет сдержаннее в своих оценках, а в последние годы жизни внесет в них ироническо-саркастический оттенок. 25 декабря 1907 года во время разговора с Н.Н. Гусевым Толстой заметил: «Я сегодня ночью думал о Соловьеве: как это можно что-нибудь находить в нем? Православие? Ну, хорошо: православие мы знаем; православию я буду учиться не у него, а у бабы; она, я чувствую, верит в православие, а он не верит... Длинные волосы, эрудиция...»¹

Соловьев, вступая в науку, изберет для себя в лице Толстого авторитет огромной нравственной силы. «Отправляясь на долгое время за границу, — писал он Толстому 3 мая 1875 года, — я не желал бы уехать, не увидав и не познакомившись с Вами»². Пройдет несколько лет, и он станет непримиримым критиком толстовского учения. Однако резкость оценок («он для меня «яко язычник и мытарь»), содержащаяся в письмах к современникам, будет заметно смягчена в его статьях и трактатах. Незадолго до смерти, размышляя о войне, прогрессе, конце всемирной истории, он создаст пародийный образ толстовца, но и в этом случае избежит прямого употребления имени Толстого. Выразителем идеи непротивления злу насилием станет Князь, образ, бесспорно, собирательный.

Биограф философа, его племянник С.М. Соловьев, утверждал, что Вл. Соловьев «отрицал Толстого не только как мыслителя, что часто бывает, но, что бывает весьма редко, и как художника»³. Замечание спорное, ибо многочисленные отклики

мыслителя о художественных произведениях Толстого свидетельствуют об ином. Вот только один из примеров, взятый из первой речи в память Достоевского: «Что же касается до Л. Толстого, то все его произведения отличаются не столько широтой типов (ни один из его героев не стал нарицательным именем), сколько мастерством в детальной живописи, ярким изображением всяческих подробностей в жизни человека и природы, главная же его сила — в тончайшем воспроизведении *механизма душевных явлений*»⁴ (курсив Соловьева. — В. Р.).

Многое из того, что было дорого в религии Соловьеву, отвергалось Толстым — не принимался догмат Троицы, отрицались богочеловеческая сущность Христа, сама идея воскрешения во плоти, институт церкви, государство. В полемике каждый из современников умел отстаивать свою позицию, но это не мешало им оставаться искренними и дружески настроенными по отношению друг к другу людьми. Более того, оба искали точек соприкосновения в своих взглядах на жизнь. Они были едины в протесте против казни народовольцев и призывали Александра III помиловать убийц, против преследования евреев, ибо считали нехристианским делом возвышение одного народа над другим. Близки они в критике современных церковных устоев, в неприятии авторитарного государства. В 1880-е годы, когда вновь с необычайной остротой встал вопрос о своеобразии развития России, Толстой и Соловьев, при всем различии их позиций, оказались рядом в главном — в понимании важности соединения национальной самобытности с вселенскими христианскими идеалами добра и справедливости.

Следуя кантианской этике, оба воспринимали жизнь как нравственный миропорядок. «...Бед этого условия, — писал Соловьев Толстому, — самые высокие и глубокие вещи не только теряют свое достоинство и свою благотворность, но могут превращаться в самые ужасные мерзости. Это убеждение, — признавался он, — сближает меня с Вами в существе дела, помимо всяких личных христианских чувств»⁵. И Толстой отвечал Соловьеву: «Ваше дружеское, хорошее письмо очень обрадовало, дорогой Владимир Сергеевич. Уверен, что разногласия между нами не будет. А если бы случилось, то давайте вместе стараться, чтобы его не было, и для этого работать, не убеждая другого, а проверяя себя... И мне с вами легко, потому что я вполне верю в вашу искренность» (67, 271—272).

Эта переписка относится к 1894 году, когда основные идеи обоих современников сложились в определенную систему взглядов и были выражены в ряде произведений. Расхождения по тем или иным вопросам оказались значительными, а личные отношения, как видим, не потеряли своей трогательности и теплоты.

С первого знакомства в 1875 году и до последних дней жизни не только не ослабевал, но и возрастал их интерес друг к другу. У Соловьева это проявилось в предсмертной работе «Три разговора». У Толстого — в постоянном обращении к сочинениям Соловьева. Так, в книге В.Ф. Булгакова «Л.Н. Толстой в последний год его жизни» обращает на себя внимание запись от 5 октября. Коснувшись отношений Розанова и Бердяева к Соловьеву, Л.Н. далее сообщает, что «в энциклопедическом словаре читал недавно статью Соловьева по религиозному вопросу и статья ему не понравилась»⁶. И 24 октября 1910 года в разговоре с Гастевым Толстой вновь недоброжелательно высказывается о Соловьеве: «Самые наивные атеисты, материалисты

мне несравненно ближе, чем эти Соловьевы»⁷. Но, уйдя из Ясной Поляны, 30 октября в Шамордине он читает сборник «Социальное значение религиозной личности» и выделяет в нем статьи Герцена, Соловьева, Спенсера о социализме, прибавляя при этом: «О социализме там хорошо»⁸.

Лучшие же свидетельства особого интереса Толстого к идеям Соловьева — пометки писателя на страницах его сочинений, хранящихся в яснополянской библиотеке. Он читает их в разные периоды жизни. Далеко не все может быть атрибутировано с точки зрения хронологии. Здесь еще предстоит большая работа. Но пометок много, и они отражают серьезное отношение Толстого к произведениям философа. Из того, что удалось выявить, мы имеем около 70 пометок. Из них «История и будущность теократии» содержит 23 пометки, «Нравственная организация человечества» — 24, «Кризис западной философии» — 3, «Религиозные основы жизни» — 7, «Смысл любви» — 3, статья о Канте в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона — 9.

Характер пометок самый разнообразный. В одних случаях Толстой подчеркивает абзацы или целые страницы, в других — выделяет те или иные тезисы, подчеркивая их, в третьих — ставит вопросы возле спорных мыслей, в четвертых — перечеркивает текст, видимо, не принимая его по сути, в пятых — выражает свое восхищение словесно — «прекрасно», в шестых — будто размышляет вслух: «А всякое учение на тех же основаниях?» Есть пометки полемического содержания: «Неверное толкование текста начала и конца «Главное тебе». В некоторых заметно резкое отмежевание Толстого от Соловьева: «Беда», «Ай-ай»: Неоднократно встречается загнутый уголок, особенно знаменитый толстовский «двойной». Ряд пометок настолько специфичен, что одним комментарием здесь не обойдешься. Думается, дальнейшее изучение философско-религиозной литературы в яснополянской библиотеке писателя приоткроет завесу неведомого.

Положительное отношение Толстого к первому сочинению Соловьева «Кризис западной философии» (1874) убеждает в том, что оба мыслителя осознали необходимость радикального пересмотра духовных основ современной им цивилизации и, по существу, каждый из них выбрал свой путь выхода из кризиса.

Для обоих христианство стало этикой всеединства, нравственной основой всего живущего. Не расходясь в понимании значения христианства для судьбы человечества, они по-разному определяли его метафизический смысл: Соловьев как «религию любви». Толстой как этическое учение о любви.

10 марта 1878 года Толстой сообщает А.А. Толстой: «Я вспомнил, что нынче лекция Соловьева, и лекция, как мне говорили, самая важная, и я еду на нее» (62, 392). Это была седьмая лекция из «Чтений о богочеловечестве», действительно, одна из самых важных — о Христе как богочеловеке.

Вся история человечества, история религиозных исканий, убежден был Соловьев, есть постепенное возвращение человека к своей двойственной сущности. От обожествления природы (политеизм), через обожествление себя самого (индуизм), через сознание личностного бога (иудаизм) к «всечеловечию божественного начала», к богочеловеку — Христу. Именно в нем соединяются конечное с бесконечным, относительное с абсолютным, универсальное с индивидуальным, духовное с телесным.

Христианство, таким образом, вобрало в себя все предшествующие ступени религиозного развития. Особенное же состояло в «учении Христа о Себе самом, указании на Себя самого как на живую воплощенную истину»⁹.

В сборнике «Дни нашей скорби» (М., 1911) содержится примечательное свидетельство епископа Никона: «Однажды он (Соловьев. — В. Р.) встретился с Л.Н. Толстым, и во время его беседы о Христе Л.Н. назвал Богочеловека своим личным врагом. Это и послужило главным поводом к разрыву между В. Соловьевым и Л.Н. Толстым»¹⁰.

Сама идея о Христе как Богочеловеке Толстому была чужда. В статье «Ответ на определение Синода» он писал: «Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством» (34, 251–252). Двумя десятилетиями раньше он четко сформулировал свой принцип понимания мира: «Верую только в то, что разумно» («Исповедь»). Толстой совсем иначе, чем Соловьев, выстраивал систему отношений между человеком и мирозданием, человеком и Богом.

Для Соловьева Христос — посредник между Богом-Отцом и Природой. Идея посредничества была краеугольным камнем его учения. Отсюда — сильное увлечение на определенном этапе жизни католицизмом, теократической концепцией, в которой ведущее место он отводил «живым и личным носителям Божественной воли», т. е. духовенству. Толстой снимал всякие преграды на пути общения человека с Богом. Человек, наделенный от рождения разумом, божественным светом, способен через самосознание, внутреннюю работу души установить связь с окружающим, познать целесообразность бытия и непосредственно, минуя каких-либо посредников, выйти на общение с Богом, неким нравственным императивом, законом жизни, разумной основой всего сущего.

Отвечая в 1878 г. Н.Н. Страхову, где тот излагал суть последней лекции Соловьева о Богочеловечестве, Толстой поделился с ним своими впечатлениями о книге Ренана «Жизнь Иисуса» (кстати, она хранится в яснополянской библиотеке и имеет пометки писателя). «Христианская истина, — размышлял он, — т. е. наивысшее выражение абсолютного добра, есть выражение самой сущности — вне форм времени и др. — Ренаны же смешивают ее выражение абсолютное с выражением ее в истории и сводят ее на временное проявление и тогда обсуждают. Если христианская истина высока и глубока, то только потому, что она субъективно абсолютна. Если же рассматривать ее объективное проявление, то она наравне с *Code Napoléon* и т. п.» (62, 414).

Любовь может проявляться только в человеке и через человека. Она дана ему в ощущении от рождения. Она божественна по своей сути. «Душа человеческая, — читаем в «Пути жизни», — будучи отделена телом от Бога и душ других существ, стремится к соединению с тем, от чего она отделена. Соединяется душа с Богом все большим и большим сознанием в себе Бога, с душами же других существ — все большим и большим проявлением любви» (45, 73). И далее: «Все беды людей не от неурожая, не от пожаров, не от злодеев, а только от того, что они живут врозь. А живут они врозь потому, что не верят тому голосу любви, который живет в них и влечет их к единению» (45, 77).

В толстовской позиции Плеханов увидит культ индивидуализма. Лев Шестов — этический солипсизм, Бердяев — «религиозный анархизм» в его абсолютном значении,

В.А. Руднев (псевдоним Базаров) — «чисто человеческую религию», Вл. Соловьев — «субъективную сторону религии и нравственности». Люди, разные по философской и политической ориентации, разные по направленности дарования, оказались близки во взглядах на мировоззрение Толстого.

Человек, полагал Толстой, не властелин над миром, обстоятельствами, другими живыми существами. Более того, в мире он зависим от многих внешних условий. Но никто не может овладеть душой человека, если она одержима движением к истине, если в ней заговорил Бог, потребность любить и жить на земле по законам любви.

Толстой обладал завидным бесстрашием и не побоялся повернуть «путь жизни» в сторону личности, ее нравственной ответственности за все, что происходит. Надо было сломать консерватизм привычных форм жизни, и главное препятствие на этом пути — церковь с ее вековым догматическим богословием, с ее тысячелетней традицией. Отречься от церкви означало обречь себя на одиночество, непонимание, стать тем пророком, в которого полетят камни. Он сам пошел на конфликт со всем светом. Того, как думалось ему, требовала от него истина. Толстой искал ее в своем сердце и в великой «таинственной книге» — Евангелии.

Учение Толстого этически «субъективно», личностно в самом точном смысле слова. Вслед за Кантом он абсолютизировал принцип: «Действуй так, чтобы человечество, как в твоём лице, так и в лице всякого другого, всегда употреблялось тобою как цель и никогда как только средство»¹¹. Эти слова Толстой подчеркнул, читая в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона статью Соловьева о Канте. Толстовское непротивление злу насилием — это прежде всего субъективный образ ненасильственного, любовного отношения человека к миру и людям. «Компромисс, — писал Толстой, — выйдет неизбежно в практике... и потому тем меньше можно допустить компромисс в теории» (65, 71). Исходная позиция человека, его нравственный выбор и то, как это все вписывается в живую действительность, — не одно и то же, но именно в выборе, в этом «бесконечно малом моменте свободы», проявляется личность, ее индивидуальность.

Индивидуальность для Толстого — категория не только этическая, но и эстетическая, субстанциональное свойство реализма. «...Все люди разны по своему взгляду на мир, — заключает он, — каждый смотрит с своей особенной точки зрения» (65, 186). И в другом месте: «...у каждого есть свое прошедшее, своя инерция прошедшей жизни и своя сила стремления к познанной истине» (66, 84). Наконец, напомним одно из самых трагичных признаний Толстого: «Величайшее чувство Я и ужаснейшее» (53, 360).

Тот, кто так мог чувствовать индивидуальную неповторимость каждого, глубоко понимал и другое — необходимость скрепляющих начал. Стоит ослабить их действие, и человек, осужденный на смерть, заплутает в «долине печали», одичает в мирской суете, возгордясь в своем одиночестве и величии, не избежит пошлости; не живя, превратится в живой труп. Так Анна оказалась один на один с мужичком, работавшим над железом. Отец Сергей пал с купеческой дочкой. Бесполезная жизнь князя Серпуховского, а рядом трагическая и полная таинственного смысла история Холстомера.

Работа над «Анной Карениной» совпала у Толстого с дальнейшим постижением трагической сущности философии Шопенгауэра. Мировая воля, лежащая в основе всего и вся, — это вечное хотение, всякое неудовлетворенное стремление к самовыражению,

это изначальная обреченность индивидуального и отдельного на страдание и гибель. У Достоевского в трагические минуты прозрения оказавшийся над пропастью человек обращается к гимну радости, братства и единения. Нечто подобное есть и у Шопенгауэра, хотя в итоге трагический исход неизбежен.

Читая в 1874 г. книгу В. Соловьева «Кризис западной философии» (М., 1874) — это издание хранится в Яснополянской библиотеке, — Толстой подчеркивает две страницы, где автор рассуждает о смысле шопенгауэровского сострадания. Вот что привлекло внимание писателя: «Именно, когда *principium individuationis* (чуть ниже Толстой переведет этот термин как единичная воля. — В. Р.), этот покров Майи, стал настолько прозрачен перед глазами человека, что он уже не делает эгоистического различия между своею особой и чужими, но в страданиях других принимает столько же участия, сколько в своих собственных, тогда само собою следует, что такой человек, познающий во всех существах себя, свое внутреннейшее и истинное Я, должен признавать своими и бесконечные страдания всего живущего и, таким образом, усвоять себе скорбь целого мира. Ему никакое страдание уже более не чуждо... А все это теперь для него так же близко, как для эгоиста его собственная особа»¹².

Через два года, познакомившись с другим философским сочинением современника — «Критикой отвлеченных начал», Толстой в письме к Н.Н. Страхову заявил о своем несогласии с трактовкой у Соловьева шопенгауэровского сострадания. «...Нравственная деятельность, — писал Соловьев, — которая вообще стремится к утверждению и развитию индивидуального бытия всех существ в их множественности, тем самым, по понятиям Шопенгауэра, стремится к утверждению призрака и обмана, следовательно, она ненормальна, и таким образом метафизическая идея монизма вместо того, чтобы обосновывать нравственность, обращается против нее»¹³. В связи с этим Толстой заметил о Соловьеве: «...как неверно и мелко — его попытка опровержения Шопенгауэра, что при сострадании мы будто содействуем призрачной, ложной жизни тех, кому мы сострадаем. Шопенгауэр говорит, что, отдаваясь состраданию, мы разрушаем обман обособления и отдаемся закону сущности вещей, единству, а что из этого выйдет — это все равно. Его этика совпадает, следовательно, с метафизическим началом. Чего же еще можно требовать?» (62, 360).

В Ясной Поляне в последнем кабинете писателя висит портрет Шопенгауэра, хранятся книги немецкого философа с пометками Л. Толстого. Мысли о сострадании и любви к человеку были Толстому всегда дороги. Кто-то из яснополянцев, быть может, сам Толстой, читая роман Достоевского «Идиот», фиолетовым карандашом подчеркнул слова: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества»¹⁴.

Толстой, таким образом, шел к пониманию всеобщих ценностей, универсальных принципов жизни через углубленное изучение внутренней сущности человека. Его «Царство Божие внутри вас» — это отнюдь не замкнутая на себе, эгоистическая установка; напротив, это признание субстанциональной связи между человеком и Богом, нравственным миропорядком. Воля хозяина, божественное начало, связующее все и вся, проявляет себя через мириады индивидуальностей непосредственно. Для этого необходимо лишь вывести душу из спячки, придать ей живое движение к идеалу Христа. Мир, где часть стремится к целому, а целое отражается в части.

Вл. Соловьев, знавший цену человеческой свободе, понимавший важность личностного противостояния царящим в мире злу и насилию, всю свою жизнь положил на поиск форм жизнеустройства. Об этом точно сказал Н.А. Бердяев: «Вл. Соловьев при всем своем мистицизме строил очень разумные, рассудительные, безопасные планы теократического устройства человеческой жизни, с государями, с войной, с собственностью, со всем, что мир признает благом». И далее, определяя сущность толстовских исканий, замечает: «Толстой противопоставляет закон мира и закон Бога. Он предлагает рискнуть миром для исполнения закона Бога... Есть Бог или нет Бога, а дела мира устраиваются по закону мира, а не по закону Бога. Вот с этим Л. Толстой не мог примириться, и это делает ему великую честь, хотя бы его религиозная философия была слабой и его учение практически неосуществимым»¹⁵.

Субъективная этика Толстого и этический теократизм Соловьева, действительно, несовместимы. Живительно показательны в этом смысле пометки Толстого на полях первого тома «Истории и будущности теократии» (Загреб, 1887).

Толстой ставит вопросы возле тех мест, где Соловьев лишает человека нравственной свободы и привязывает его крепкими нитями к институту церкви. Он подчеркивает в тексте слова «личные носители Божественной воли» (речь идет о духовенстве). На полях здесь же конспективно записывает: «Они и есть: но признака, когда он богочеловек, внешнего, их не может быть» (с. 369). Толстовское слово «Беда» сопровождает рассуждение Соловьева о божественности «трех главных властей в мире человеческом» — священнической, царской, пророческой.

Почувствовав главную мысль произведения Соловьева, Толстой точно расставляет акценты своего неприятия и комментирует те места, в которых сказалась попытка автора «Теократии» оправдать насилие и проявилась идея святости религиозно-мистического посредничества. Возле одного из таких рассуждений Толстой пишет: «Неправда. Выскочило шило в мешке», возле другого — ироническое «Ай-ай!».

Более сложна для понимания надпись на странице, где речь идет о путях развития России. Соловьев, рассуждая о нашем мессианстве, ставит перед читателем вопросы: «Что же собственно нам нужно делать, куда идти, дабы осуществить самобытное призвание России, ее вселенскую идею, чтобы явить в мире и смысл и разум нашего исторического существования» (с. 10). Отчеркнув эти строчки, Толстой на полях пишет: «Идти по звезде, по солнцу».

Такой звездой, таким солнцем был для него Иисус Христос — идеал, движение к которому бесконечно. «Соединиться воедино, — утверждал Толстой в одном из писем 1893 года, — мы все можем не около Христа, а около истины, которая наверное одна прежде всех веков. Христос для меня до сих пор совпадает с истиной, но верю я ему не потому, что он Христос, а потому, что он в истине» (66, 321).

В уста Князя, героя «Трех разговоров» Вл. Соловьева, вложены слова, которые можно часто встретить в сочинениях, письмах, дневниках Толстого. «Воля же хозяйина, — говорит он, — выражена в учении Христа. Только исполняй люди это учение, и на земле установится Царствие Божие, и люди получают наибольшее благо, которое доступно им. В этом все. *Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам.* Мы ищем остального и не находим его, и не только не устанавливаем Царства Божия, но разрушаем его, разными своими государствами, войсками, судами,

университетами, фабриками»¹⁶. Не соглашаясь с Князем, господин, выражающий суть взглядов самого Соловьева, определяет Царство Божие как «царство торжествующей чрез воскресение жизни» — в ней видит он «действительное, осуществляемое, окончательное добро», «всю силу и все дело Христа». Все же остальное для него — «только условие, путь, шаги». Нет и не может быть Царства Божиего без веры «в совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех». Без веры наш «печальный мир приличнее назвать царством смерти»¹⁷.

Суть расхождений очевидна. Соловьеву, увидевшему в Христе Богочеловека, чуждой казалась толстовская мысль о земной основе божественной сущности человека. Как и Достоевский, Соловьев усомнился в преобразующем начале нравственного поведения личности. Вне христианского воскресения и бессмертия души, бессмертия религиозно-мистического, развяжутся все узлы земного существования.

Две планеты одной системы, казалось, сошли с своих орбит, разлетелись в разные стороны. Но так ли это? Неужто не было того, что смогло бы сохранить их единство?

Нравственные императивы христианской этики и общность взглядов на предназначение человека — вот то, что лежало в основе поисков истины двумя современниками.

Соловьев видел в человеке проводника «всеединящего божественного начала в стихийную множественность», «устроителя и организатора вселенной», «связующее звено между божественным и природным миром». Двойственность человека представлялась ему в виде совмещения «всевозможных противоположностей» — абсолютного и относительного, безусловного и условного, вечного и сиюминутного, преходящего, низменного и высокого, — одним словом, плотского и духовного. «Человек, — утверждал он, — есть вместе и божество и ничтожество»¹⁸. Как индивидуальность, он отпадает от всеобщего, высшего, положительного начала. Отпадает потому, что «хочет сам овладеть божественной сущностью». В этом акте самосознания человека сказалось его «свободное «я», могущее так или иначе определять себя по отношению к двум сторонам своего существа»¹⁹. Но, отпад от Бога, он попадает во власть материального начала, становится одним из многих, перестает быть «духовным центром мироздания». Самость оборачивается утратой внутреннего единства и связи со всем живущим. В человека проникает зло, оно индивидуализируется, реализует себя через субъект действия.

В предисловии к «Истории и будущности теократии» Соловьев раскрывает трагизм человека, избравшего ложный путь жизни. Ложность эта, по его заключению, «состоит в том, что она, уничтожая чужое бытие, не может сохранить своего, — что она съедает свое прошедшее и сама съедается своим будущим, и есть таким образом постоянный переход от одного ничтожества к другому» (с. XIX).

На полях возле этих слов Толстой пишет: «Прекрасно». Он, может быть, как никто ощущал обреченность плоти и в то же время ее власть над душой человека. И ему человек представлялся средоточием полярных начал жизни, борьбы духовного с плотским. Он, как и Соловьев, как многие их современники, мучился сознанием двойственности и пытался вырваться из тисков природной всевластности, материальной обусловленности. Но, в отличие от Соловьева, выход искал не во внешних формах и ориентирах, а в душе человека. Проснувшись от сна, она как частица божественного целого сама поведет ее обладателя через «бесконечный океан добра и зла» к Царству Божию на земле.

Сходясь в понимании двойственности человека, они по-разному решали вопрос о диалектике плотского и духовного. Показательна в этом плане оценка Толстым статьи Соловьева «Смысл любви». «Соловьев, — сообщает Толстой Н.Н. Ге (сыну) в письме от 8 ноября 1892 года, — написал статью в «Вопросах Психологии» о смысле любви и говорит, что половая любовь есть та любовь, которая разрушает эгоизм. (Вчера мы читали); это неправда. Это также эгоизм à deux... Стремится разрушить этот эгоизм только божеская любовь ко всем равная (как дождь на праведных и неправедных). И этой любви мы ищем, и она только есть жизнь, есть труд, есть усилие. Любить любящих, милых детей это не жизнь, это изнеженность... В этой любви не надо останавливаться. А вот ту, где нас не любят — врагов. От этого-то и мучает это нас, что мы чувствуем, что можем что-то сделать и не сделали. Я для себя и о себе говорю» (66, 273—274).

Позже, когда вышла в свет заключительная — итоговая — часть работы, Толстой внимательнейшим образом прочитал ее. В оттиске из журнала «Вопросы философии и психологии» (1894, кн. 21) имеется свидетельство повышенного интереса к поставленной Соловьевым проблеме. Толстой подчеркивает целый абзац, где речь идет о последствиях чисто плотской любви, выделяя в нем ключевые слова. Текст гласит: «Это последнее (мимолетная плотская экзальтация. — В.Р.) физическое соединение (здесь и далее подчеркнуто Толстым), поставленное на место первого (истинно любовного соединения. — В.Р.) и лишенное таким образом своего человеческого смысла, возвращенное к смыслу животному, — делает любовь не только бессильною против смерти, но само неизбежно становится нравственною могилою любви гораздо раньше, чем физическая могила возьмет любящих»²⁰.

Казалось бы, эти мысли должны быть близки писателю. Ими наполнены многие страницы его собственных произведений. Кстати, об этом говорит и Соловьев, указывая на «Анну Каренину», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерову сонату». Однако, перечеркнув абзац, Толстой тем самым исключил саму возможность какого-либо компромисса. У Толстого и Соловьева разные мотивы неприятия минутной плотской экзальтации.

Для Толстого роковой поединок между плотским и духовным непреодолим до тех пор, пока человек не признает в себе первичности духовного и не обретет должной гармонии плоти и духа. Для Толстого торжество плотского вне разумного обоснования есть нечто дьявольское, сон разума, порождающий чудовищ. Только в духовном прозрении, в нравственном движении к идеалу Христа, к идеалу любви, направленной на каждого, и прежде всего на врага своего, любви всепрощающей, происходит очищение плоти, и человек обретает подлинную свободу.

Соловьев пошел по пути обоснования божественной гармонии плотского и духовного, по пути установления связи индивидуальной половой любви с истинною сущностью всеобщей жизни. Ему казалось, что «трудно одной моралью, хотя бы и в совершенной художественной форме, изменить реальное действие общественной среды»²¹. Дамы, замечает он в подстрочнике, с восхищением читавшие «Крейцерову сонату», едва ли откажутся от какого-либо приглашения на бал. Нужна религиозная вера, нужна религия любви, и Христос как Богочеловек есть живое воплощение такой религии и потому есть предмет истинной веры.

Соловьевым была предпринята попытка вывести христианство из аскетического тупика путем восстановления в своих правах живой плоти. Но как часто бывает, выйдя из одного лабиринта, человек попадает в другой. Подобное случилось и с Соловьевым. Он и сам это чувствовал: «...какая-то вышла размазня, — признавался он Н.Я. Гроту, когда ругал себя за статью «Смысл любви», — какая каша поганая, какая мерзостыня! А ведь я хотел написать как можно лучше. За что же меня ругать? Жалеть меня надо...»²².

Видимо, вдохновение пересилило логику, желание обострить новизну привело к крайностям. Любовь родительская, дружба, любовь к Отечеству, народу, человечеству, к науке и искусству — все это рассматривалось Соловьевым как проявление «своего старого эгоистического «я»». Отечество и народ, как науку и искусство, он вообще вынес «на периферию сознания как предметы идеальные». Создает же истинного человека любовь как «свободное единство мужского и женского начала». Именно она восстанавливает целостность человеческой личности. Через нее обособленная частица воспринимает себя абсолютной индивидуальностью. Через индивидуальную половую любовь лежит путь к постижению божественного мироздания.

Соловьев думал о приведении в соответствие с идеей Богочеловека всех социальных институтов — государства, церкви, семьи и т. п. Но именно на этом пути его ждала одна неудача за другой. Быть может, потому, что не пришло время для новых решений и одних философских дедукций было явно недостаточно, быть может, потому, что ряд его идей заметно опережал время. Как бы там ни было, Соловьев не прекращал поиска истины, о чем свидетельствует его поздние работы «Нравственная организация человечества» и «Оправдание добра». Читая первую из них. Толстой выделяет 24 мысли, из которых большинство оказывается созвучным его собственным идеям.

Здесь рассуждение о важности этических и трудовых традиций, преемственности поколений, о борьбе духа с плотью, о нравственных аспектах взаимоотношений мужчины и женщины, их нравственной ответственности перед детьми, о природном нравственном чувстве жалости ко всему живому. Толстой выделяет особо мысль Соловьева о том, что «различие языков не мешает единодушию, единомыслию и даже единословию людей»²³. Внимание Толстого привлекает гуманистическая позиция Соловьева относительно согласия между народами, согласия в их стремлении к «нравственной организации человечества», «организации в нем безусловного Добра» (с. 607).

Толстой подчеркивает суждение философа, которое сегодня звучит особенно актуально: «Как единичный человек имеет смысл своего личного существования только чрез семью, чрез связь свою с предками и потомством, как семья имеет пребывающее жизненное содержание только среди народа и народного предания, — так точно и народность живет, движется и существует, только носимая средою сверхнародного и международного» (с. 604).

Примечательно название работы, вышедшей в 1896 г., в это время и прочитанной Толстым, — «Нравственная организация человечества». Соловьев обратился в ней к реальным социальным контактам общественной жизни — человек, семья, народ, человечество. Он предпринял последнюю попытку вне человека найти путь к вселенской гармонии, но и на этом пути, почувствовав, что далее деклараций дело не движется, остановил свой поиск. Толстой, отметив для себя отдельные фрагменты

работы, в целом статьи не принял. «Не понравилось мне то, — писал он в 1896 г. жене, — что тебе статья Соловьева понравилась» (84, 273). Через десять лет, уже после смерти Соловьева, он сделает примечательную запись в своем дневнике: «Часто удивлялся на путаницу понятий таких умных людей, как Вл. Соловьев... и теперь ясно понял, отчего это. Все от того же (как и во всей теперешней науке) признания государства, как чего-то независимо от воли людей существующего, предопределенного, мистического, неизменного» (55, 286).

Последние годы жизни были для Соловьева поистине трагическими. Позади — крушение теократического царства утопии, в настоящем — неверие ни в социализм (он нравственно не обеспечен), ни в слияние религий мира, перспектива которого вырисовывалась еще менее. Признать первоосновой внутреннюю жизнь человека и в ней отыскать возможность обновления означало перечеркнуть все то, что уже было сделано за долгие годы. Впереди грезился Апокалипсис, предчувствие антихристовой эры. Духовная драма совпала со смертью.

Но история часто возвращается на крути своя, только на ином витке своего развития. Пройдя через разломы XX в., человечество ощутило потребность в мире, согласии, любви. Трагедией обернулось для него забвение непреходящей ценности личности, полагание на благосклонность внешних социальных преобразований. В наши дни, когда проблема личности поставлена во главу угла, обращение к русской общественной мысли имеет особый смысл. С новой силой зазвучали идеи, которые раньше, казалось, отошли в прошлое. Теперь уже очевидна невозможность сведения сущности человека к текучести и сиюминутности, к сугубо классовым категориям.

Восстановить в человеке веру в неистребимость лучшего, в неуничтожимость добра, в бессмертие духа — дело трудное и небыстрое. Соловьеву и Достоевскому казалось, что вне мистического бессмертия человек распадется, одичает, человечество истребит моровая язва. Признавая за личностью право на автономное существование, они видели источник внутренней силы вне человека.

Толстой, не отрицая внешних факторов, менее всего в них верил. Равнодушный в конце пути к личному бессмертию, искал реальной основы для бессмертия духа в самом человеке. Соловьеву ближе был Достоевский, нежели Лев Толстой. В первом он находил полноту природного и духовного самораскрытия личности. Толстой казался ему слишком рассудочным и холодным, стоящим вдали от света религиозно-мистического откровения. Как бы там ни было, все трое служили идее идей — любви. Все трое стремились к земной гармонии, верили в ее достижение. Каждый из них, открыв истину, по-своему оттачивал ее грани. У каждого была своя правда, своя мера реальности.

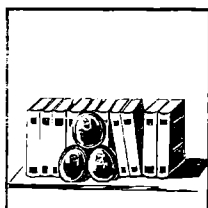
Толстой, Соловьев, Достоевский — три ипостаси одного явления русской художественной философии. Им суждено было создать художественно-философскую концепцию целостной личности, ее безграничных возможностей, вселенской неустрашенности, ее неистребимого тяготения к всеохватности добра и красоты.

¹ Гусев. С. 70.

² Переписка Толстого с В.С. Соловьевым / Публ. П. Попова // ЛН. М., 1939. Т. 37—38. С. 269.

- ³ Там же. С. 268.
- ⁴ Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 295.
- ⁵ Переписка Толстого с В.С. Соловьевым. Указ. изд. С. 275.
- ⁶ Булгаков В. Л.Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1989. С. 373.
- ⁷ ЯЗ. Кн. 4. С. 395.
- ⁸ Там же. С. 408.
- ⁹ Соловьев В.С. Собр. соч. СПб., 1903. Т. 3. (1877–1884). С. 23–104.
- ¹⁰ Дни нашей скорби. Сб. статей и известий о последних днях Льва Николаевича Толстого. М., 1911. С. 69.
- ¹¹ Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. СПб., 1895. Т. 14. С. 332.
- ¹² Соловьев В. Критика отвлеченных начал. М., 1880. С. 46.
- ¹³ Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. Т. 2. С. 44.
- ¹⁴ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: СПб., 1884. Т. 7. С. 227., (хранится в ЯПб).
- ¹⁵ Бердяев Н.А. Русская идея // Вопросы философии. 1990. № 2. С. 99.
- ¹⁶ Соловьев В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 718.
- ¹⁷ Там же. С. 728–729.
- ¹⁸ Соловьев В.С. Собр. соч. СПб., 1903. Т. 3. С. 111.
- ¹⁹ Там же. С. 139.
- ²⁰ Соловьев В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 536.
- ²¹ Соловьев В.С. Собр. соч. СПб., 1903. Т. 6. С. 391.
- ²² Соловьев В.С. Письма. СПб., 1908. Т. 1. С. 80.
- ²³ Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 34. С. 602 (хранится в ЯПб).

ЯСНОПОЛЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА



НА ПАМЯТЬ ЛЬВУ ТОЛСТОМУ...

Впервые обратил внимание на книги с дарственными надписями в личной библиотеке Льва Толстого профессор А.Е. Грузинский. В статье «Яснополянская библиотека» ученый сообщает: «Видную часть библиотеки составляют приношения от авторов и переводчиков произведений Толстого на различные языки, особенно обильные в последние 20 лет, когда известность Толстого стала действительно мировой»¹.

Более внимательно отнесся к этой теме секретарь писателя В.Ф. Булгаков, занимавшийся анализом книг Толстого несколько лет; он утверждал: «...преобладающую массу книг яснополянской библиотеки составляют подношения самих авторов. Многие, и выдающиеся, и совершенно незначительные, давно забытые писатели — современники Л.Н. Толстого, русские и иностранные — присылали ему свои вновь выходившие произведения с авторскими подписями, подчас интересными и оригинальными»².

Далее, упоминая отдельные имена дарителей, Булгаков говорит о составе библиотеки, чрезвычайно разнообразном по содержанию и, впервые после Грузинского, называет количество книжных единиц, соотношение изданий русских и иностранных, но дарственные надписи подробно не анализирует.

В 1926—1927 годах по поручению Александры Львовны Толстой в усадьбе «Ясная Поляна» работала бригада специалистов из Румянцевского музея, решая библиографические проблемы. Возглавлял группу библиографов Е.Н. Ефимов, и под его руководством шла интенсивная работа по созданию карточного каталога: был выделен алфавитный каталог книг с дарственными надписями, но сами надписи не воспроизводились. (Все надписи на русском языке опубликованы в «Описании» В.Ф. Булгакова).

Позднее появились статьи Н.П. Пузина с информацией о дарственных надписях отдельных авторов, но в целом систематизацией и атрибутированием всех русских автографов не занимались, и предлагаемый короткий обзор является попыткой чуть полнее осветить этот вопрос.

Перевод дарственных надписей на карточки показал, что в 5026 книжных единицах имеется 942 экземпляра, отмеченных особым вниманием к яснополянскому гению. Надо учитывать, что часть книг с надписями утеряна без возврата, часть книг, не вошедшая в «Научно-библиографическое описание», оказалась в библиотеке, а некоторые автографы были переданы в Государственный музей Толстого в Москве. После Великой Отечественной войны, когда эвакуированные в 1941 г. экспонаты и библиотека прибыли из Томска, руководствуясь постановлением Совнаркома 1939 года, № 2, директор Ясной Поляны С.А. Толстая-Есенина,

совместно с В.А. Ждановым, Н.П. Пузиным, Е.П. Насиленко, передала изъятые из книг закладки с автографами Толстого, а также вложенные в книги дарственные письма различных авторов в рукописный отдел московского музея.

Первоначальная работа показала, что в соответствии с дарственными надписями книги можно распределить на несколько групп. Малочисленным составом является литература, выпущенная издательством «Знание», сюда вошли подношения С. Кондурушкина, М. Горького, Н. Телешева.

Обращают на себя внимание великолепно изданные дары М.М. Ледерле. Множество дарственных надписей М.М. Ледерле напоминают о глубоком уважении известного русского издателя к Толстому. Михаил Михайлович владел хорошим книжным магазином в Петербурге, был автором ряда детских книг, издавал «Мою библиотеку» — серию книг для школьников по естествознанию, биологии, истории. Ледерле состоял членом совета Петербургского комитета грамотности. С Толстым Ледерле не встречался, но состоял в переписке. 1 июня 1891 г. М.М. Ледерле впервые обратился к Толстому с письмом (ставшим историческим), посланным им циркулярно русским академикам, профессорам, артистам, художникам, писателям и общественным деятелям. (Всего 2000 экз.) Ледерле предлагал в своем циркуляре прислать ему по возможности в течение 2-х месяцев: 1) список всевозможных книг, произведших на адресата наибольшее впечатление в разные периоды жизни, 2) список книг, с которыми адресат считает необходимым познакомить молодежь и читающую публику. В письме к Толстому было приписано: «Следует ли уверять вас, горячо любимый Лев Николаевич, что огромное большинство читателей первым делом будет искать в моей книге Ваших указаний» (66, 69).

Просьбу Ледерле полностью выполнили В. Острогорский, художник барон М. Клодт, архиепископ Рязанский Феофил, Я. Полонский, критик А. Скабичевский, А. Эртель, профессор Д. Кайгородов, юрист А. Кони. Среди тех, кто не хотел подробно отвечать, были: Х. Алчевская, А. Калмыкова, И. Янжул, М. Стасюлевич, С. Венгеров, П. Гайдебуров, Л. Толстой.

Как известно, Толстой не прислал окончательного списка, сославшись на крайнюю занятость, и Ледерле пришлось издать книгу без участия Льва Николаевича. Она вышла под заглавием «Мнение русских людей о лучших книгах для чтения». В книге опубликован список сочинений и авторов, получивших более 7 голосов, в том числе Библия, Св. Евангелие, имена А. Пушкина, Л. Толстого, И. Тургенева, Ф. Достоевского, И. Гончарова, М. Лермонтова, А. Данте, В. Скотта, Г. Бокая, Д. Мильтона, Б. Спинозы, А. Гумбольдта, Ф. Шпильгагена и др.

Экземпляр книги с дарственной надписью «Искренне и горячо любимому Льву Николаевичу Толстому подношу мой первый труд. М. Ледерле. 1895» хранится в Яснополянской библиотеке.

Дарили Толстому свои работы известные медицинские светила. Сохранились подарки В.П. Боткина, С.М. Вишневого, Г.Н. Россолимо, С.С. Корсакова. Читаем надписи: «Великому народному учителю и радетелю Льву Николаевичу, графу Толстому от автора С. Вишневого»³; Корсаков С.С. Курс психиатрии. «Глубокоуважаемому Льву Николаевичу от врачей Покровской Психиатрической больницы Московского Губернского Земства. 18 июля 1910 года»⁴. (Эту книгу Толстой внимательно читал, делая пометки, незадолго до ухода из Ясной Поляны.)

Талантливые и яркие представители славного цеха русских переводчиков дарили Льву Николаевичу свои труды. К Толстому почтительно обращаются А. Федоров, С. Долгов, Л. Цукерман, Е. Семенов, М. Троповская, И. Любомудрый, Т. Парадовская, В. Каменский, М. Исакова, К. Бельский, Ф. Булгаков, Л.Я. Гуревич, ее брат О.Я. Гуревич, П. Вейнберг, В. Комарова (В. Каренин), С. Николаев. Л.Я. Гуревич, владелица и редактор журнала «Северный вестник», привлекала к сотрудничеству Н. Лескова и Л. Толстого. С Толстым Гуревич была знакома и посещала Ясную Поляну. В свое время она перевела сочинение Спинозы, и один экземпляр изданного перевода подарила писателю с надписью: «Льву Николаевичу Толстому в знак глубочайшего уважения от переводчика и редактора. СПб., 1891»⁵.

Широко известен был поэт, историк литературы, переводчик Петр Исаевич Вейнберг. Художественный перевод являлся основой его литературного творчества, он участвовал в издании, которое подготавливал И. Гербель, намереваясь выпустить труды Шиллера, Байрона, Шекспира. Вейнберг сам готовил издания Г. Гейне, И. Гете, В. Гюго, Ф. Коппе. Всего Петр Исаевич перевел 60 авторов, особенно много Гейне. Льву Толстому переводчик дарит книгу «Память Генриха Гейне». СПб., 1898, с надписью: «Любящему Гейне Л.Н. Толстому от крайне обрадованного этим автором беглой заметки и переводчика Гейне. Петр Вейнберг. Петербург. 31 янв. 98»⁶.

Несколько книг подарил Толстому Сергей Дмитриевич Николаев, экономист, последователь взглядов Толстого, переводивший практически все труды Г. Джорджа.

Широко представлены дары современных поэтов — как малоизвестных, так и классиков русской литературы. Так, в октябре 1907 года Толстой читает сочинение Д. Раттауза. Поэт дарит двухтомник с посвящением: «Великому писателю мира, Графу Льву Николаевичу Толстому, в знак глубочайшего уважения и преклонения от автора. Д. Раттауз. 1906. 7 марта»⁷. В конце жизни Лев Толстой получает в дар книгу К. Бальмонта «Горящие здания. Лирика современной души». М., 1900, с надписью: «Величайшему гению, какие теперь есть на земле, Льву Толстому от безымянного. К. Бальмонт. 5 декабря 1901. Дер. Сабынино, Курской губ.» На обороте титульного листа надпись чернилами:

«То, что ты мне сказал, не забуду,
Не забуду твой видящий взгляд.
Я молюсь не наставшему чуду,
Верю, будет блаженство повсюду,
Мне созвездья о том говорят.
5.XII.1901. К. Бальмонт»⁸.

Поэт И.А. Белоусов познакомился с Толстым в Москве в 1894 году и произвел на писателя впечатление доброго и милого человека. Молодой поэт несколько раз посылал в Ясную Поляну свои произведения, некоторые из них Лев Николаевич читал. Сохранился, например, сборник, именуемый «Искренние песни. Стихотворения». М., 1902, с надписью: «Великому человеку Льву Николаевичу Толстому с искренней любовью от автора. Москва, 5 мая 1906 г.»⁹.

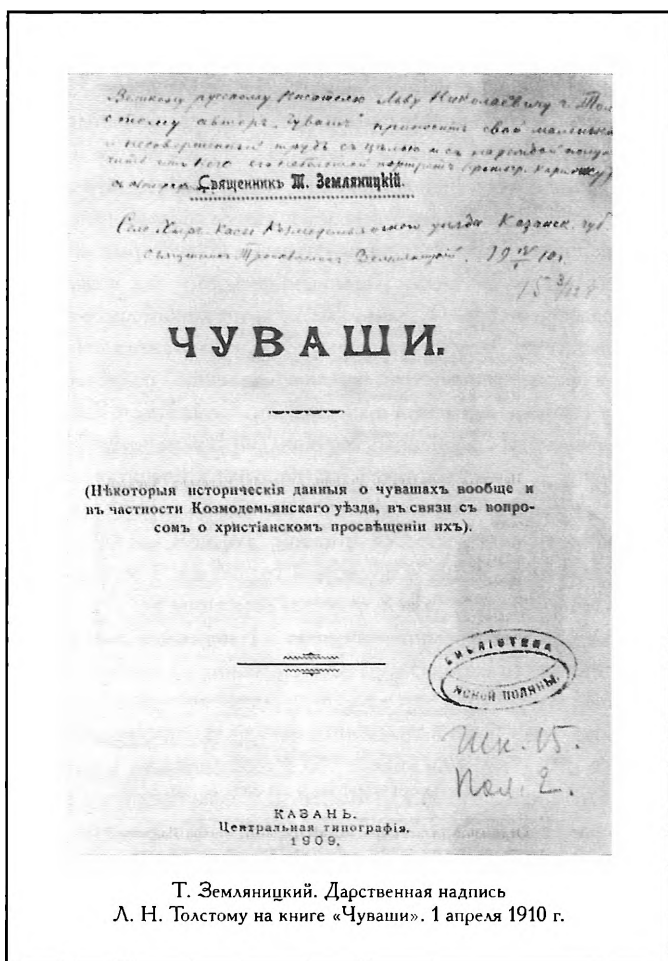
Целый список составляют дарители-литературоведы и авторы библиографических писательских очерков. Толстовская библиотека в разное время пополнялась работами А. Бурнакина, Ю. Битовта, В. Боцяновского, П. Висковатова, А. Вольнского (Флексера), В. Шенрока, Н. Лернера и др.

Значительную группу книг составляют подношения детских авторов, куда входят сочинения К. Лукашевич, О. Хмелевой, Е. Елачича, Н. Дружининой и др.

В 1901 г. Анненкова-Бернард (Дружинина Н.П.) подарила сборник детских рассказов и очерков, надписав на обложке: «У меня нет слов, чтобы выразить мое удивление перед величием Вашей души. Н. Дружинина. 24 января 1901 г.»¹⁰. К творчеству Дружининой Толстой относился благосклонно.

Несомненно, выделяется книжное собрание, состоящее из даров известных философов, деятелей науки, искусства, литературы. Драгоценны имена В.И. Вернадского, Б.Н. Чичерина, В.И. Ламанского, С.Н. Булгакова, М.С. Громеки, Н. Грота, Л. Шестова, В. Гёрье, Н. Страхова, Э. Керна, Н. Карабчевского, Ф. Сологуба (Тетерникова) и др.

Своим детям Лев Николаевич читал книгу С.Т. Аксакова «Семейная хроника и воспоминания» (изд. 1856 г.). На титульном листе надпись: «Графу Льву Николаевичу Толстому в знак истинного уважения к его прекрасному таланту от Сочинителя»¹¹.



Т. Земляницкий. Дарственная надпись
Л. Н. Толстому на книге «Чуваши». 1 апреля 1910 г.

Среди книг, присланных Л. Шестовым, есть знаменитая — «Апофеоз беспочвенности». Надпись гласит: «Дорогому учителю Льву Николаевичу Толстому на добрую память от автора. Киев. 10 марта 1910 г.»¹².

Очень тонкие, деликатные отношения были между Львом Толстым и сыном великого князя Михаила Николаевича, известным историком, автором трудов об эпохе Александра I великим князем Николаем Михайловичем. Великий князь прислал Толстому весьма интересное издание: Сент-Обен Л., де. Тридцать девять портретов 1808—1815 гг. Фотографические воспроизведения с биографическими очерками. [СПб.], изд. великого князя Николая Михайловича, 1902. «На добрую память от сердечно любящего Вас Н.М. 1902»¹³.

Многие издатели, особенно печатавшие труды Толстого, внесли свой вклад в дело расширения яснополянской библиотеки. Книги приходят из издательств А. Зарудного, Н. Куторги, В. Дмитриева, Андреевича (Соловьева Е.А.), Д. Жуковского и др. Работая над сборником изречений «Мысли мудрых людей» и «Крутом чтении», Лев Толстой просматривал книгу К. Фишера «История новой философии. Ч. 4. Иммануил Кант и его учение. Ч. I. Возникновение и основание критической философии. Пер. с 4-го нем. юбилейного изд. Н.Н. Полилова, Н.О. Лосского и Д.Е. Жуковского». «Глубокоуважаемому Льву Николаевичу Толстому как выражение искренней преданности и любви от издателя Д. Жуковского. 18 окт. 1901 г.»¹⁴.

Следующий раздел могут пополнить книги, подаренные провинциальными авторами, обращавшимися к «великому Учителю» с самым сокровенным, и в этом отношении характерна книга Т. Земляницкого «Чуваши. (Некоторые исторические данные о чувашах вообще и в частности Козмодемьянского уезда, в связи с вопросом о христианском просвещении их». Казань, 1909. На титульном листе надпись: «Великому русскому писателю Льву Николаевичу г. Толстому автор «Чуваши» приносит свой маленький и несовершенный труд с целью и надеждой получить от него его небольшой портрет (фотогр. карточку) с автографом. Село Хырч-Касы Козмодемьянского уезда Казанск. губ. священник Транквилин Земляницкий. 19— $\frac{\text{XV}}$ —10 г.»¹⁵.

Д.П. Маковицкий свидетельствует, что, получив и прочитав книгу Земляницкого, Толстой сразу же ответил священнику. Письмо Льва Николаевича, к сожалению, не обнаружено, текст его остается загадкой. Что же представляет собой это издание, и почему писатель, редко в последний год жизни отвечавший на послания малоизвестных или неизвестных людей, отвечает священнику?

Книжечка небольшого формата, зачитана... Священник дает полное этнографическое описание своего народа, обращает внимание на язычество его и говорит о насильственной русификации территории, занимаемой чувашами и, будучи сам православным, выступает против стремительной христианизации населения.

В свое время В.Ф. Булгаков пояснял: «Особое внимание в описаниях уделено пометкам, сделанным на книгах Л.Н. Толстым... Сохранившиеся в книгах пометки, заведомо не принадлежащие Толстому, во всех случаях оговорены, с указанием — когда это было возможно установить, — кем они сделаны. Точно также оговорены пометки, принадлежность которых вызывала сомнение»¹⁶.

Абзац, где речь идет о насильственной христианизации чувашей, слева отмечен вертикальной чертой. Эта пометка ни в одном из документов ни оговорена, ни

зафиксирована. Если это помета Льва Толстого, то она только лишний раз подтверждает, что писатель получил от книги большое впечатление, вылившееся в письмо к Земляничному и в дневниковые записи, сделанные вскоре; Толстой размышляет об аморальности правительства, заставляющего народы покоряться чему-либо насильно. Вот что он записывает в эти дни: «Какая ужасная, или скорее, удивительная дерзость или безумие тех миссионеров, которые, чтобы цивилизовать, просветить «диких», учат их своей церковной вере» (58, 88).

Хотелось бы остановиться еще на одном автографе. Близкие вспоминали, что в последний год жизни среди книг, полученных Толстым в дар, на него произвели большое впечатление две — сочинение профессора И.А. Малиновского о смертных казнях и роман И.А. Родионова «Наше преступление». Так как о взглядах Толстого на книги проф. Малиновского (их две в яснополянской библиотеке Толстого) широко известно, несколько слов можно сказать о произведении Родионова. На титульном



листе надпись: «Глубокочитимому, великому писателю Земли Русской — графу Льву Николаевичу Толстому почтительнейше преподносит автор. 21 октября 1909. СПб.»¹⁷. Из предисловия: «Эту книгу я писал с единственной мыслью, с единственной целью — обратить внимание русского образованного общества на гибнущих меньших братьев. Народ спился, одичал, озлобился, не умеет и не хочет трудиться... Причина этого — разобщение русского культурного класса с народом. Народ брошен и, беспомощный, невежественный, предоставлен собственной бедной судьбе... Пора нам, образованным людям, в ком бьется горячее русское сердце, приняться за лихорадочную созидательную работу...

Я потому и назвал книгу «Наше преступление», что считаю те ужасы, которые... стали обыденным явлением в деревне, нашей виной, виной бросившего народ на произвол стихий образованного русского общества.

Все, что описано здесь, взято целиком из жизни...»¹⁸.

Есть несколько отзывов Толстого об этой книге, вот один из них: «Наше преступление — это преступление нашей интеллигенции перед народом, которого не просвещают»¹⁹.

Наконец, в отдельную группу можно выделить дарственные надписи православных священников.

Сразу оговорюсь, что книги, входящие в эту группу, просмотрены, а некоторые помечены Толстым.

Вот автограф на книге «Чешское торжество православия. К тридцатилетию воссоединения с Православной Церковью первой группы чехов» (СПб., 1901).

«Его Сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому от почитателя Вашего поэтического таланта убежденного чешского патриота и православного монаха-миссионера о. Вячеслава Маршалека. Макарьевская пустынь близ ст. Любани Н.Ж.Д.»²⁰.

Хранятся книги Сильвестра с дарственными надписями:

а) «Графу Л.Н. Толстому автор, молящийся милосердному Богу о возвращении раба своего Льва в лоно св. Православной Церкви».

б) «Автор, руководящийся при посылке этой брошюры любовью к ближнему, соединенной с молитвою о вечном спасении его, надеется, что этот ближний Л.Н. Толстой уделит долю внимания этому труду во имя той же любви. Чей этот образ и надпись? Они сказали Ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: Отдавайте Кесарево — Кесарю, а Божие — Богу (Марк. XII, 16—17)»²¹.

Есть сочинения Серафима (Чичагова), Антония (Храповицкого), священника М.Ф. Кучурина, Н.А. Елеонского. На книге «О «Новом евангелии» гр. Толстого» дарственная надпись: «Несчастному маньяку — Толстому»²².

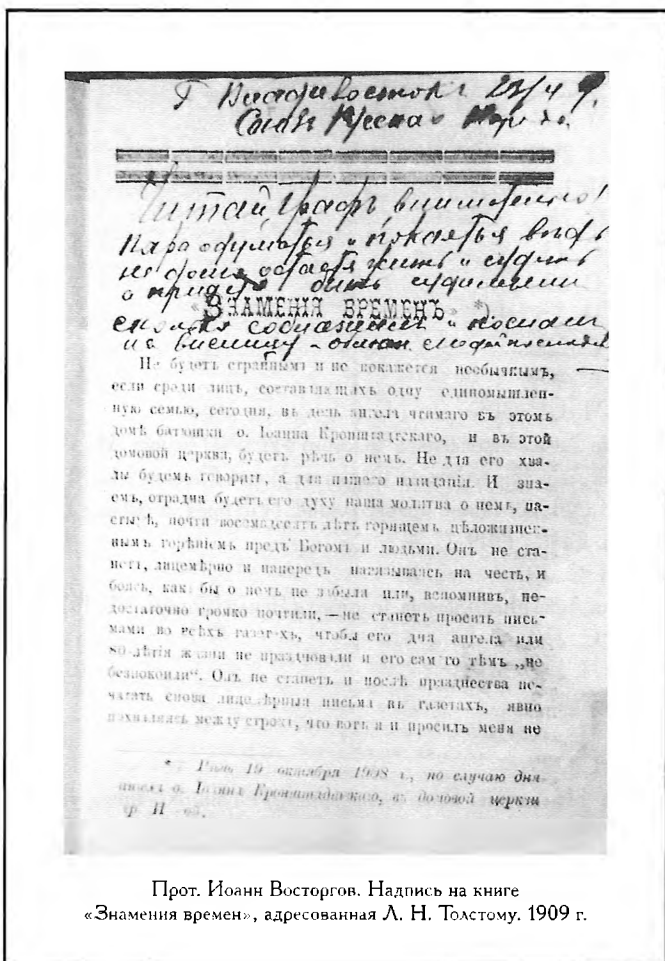
Хотелось бы остановиться на сочинениях о. Иоанна Кронштадтского, присланных священником Смолиным и, судя по их удовлетворительной сохранности, просмотренных не одним человеком.

И.И. Восторгов свою книгу «Знамения времен. О. Иоанн Кронштадтский и граф Толстой» (1909) представляет такой надписью: «Г. Владивосток 23/4—9 г. Союз Русского Народа. Читай, граф, внимательно! Пора одуматься и покаяться, ведь не долго остается жить и судить, а придется быть судимым, сколько соблазнил и послал на виселицу — обман, людей последователей»²³.

Священник И. Смолин настроен совсем по-иному: надписи, сделанные им, проникнуты добром и смирением.

Вот его сочинение «Миссионерский путеводитель по св. Библии» ([СПб], 1905) с посланием: «Граф Лев Николаевич! Примите великодушно и сей дар от диакона из простецов в дополнение к представленной Вам ранее книге «Миссионерский шит веры». Да не возжжет ли хотя на старости лет Ваших Господь Бог — огонь любви к глаголам вечной жизни в объеме всей совокупности их. Диакон Иоанн Смолин. 8 марта 1905 г. СПбург. Невский 153, кв. 50»²⁴.

Направляя в Ясную Поляну нашушедшую книгу И.И. Сергиева (Кронштадтского) «Ответ отца Иоанна Кронштадтского Льву Толстому на его «Обращение к духовенству»: «Миссионерское обозрение», СПб., 1903» дьякон Смолин надписывает своеобразную молитву: «Истинный Господь Наш Иисус Христос, вразуми падшее создание Твое, ибо у человека невозможно у Бога же все возможно. Диакон И. Смолин»²⁵.



Прот. Иоанн Восторгов. Надпись на книге
«Знамения времен», адресованная Л. Н. Толстому. 1909 г.

Ник. Лисовой пишет, что о. Иоанна укоряли в полемике с Толстым, но великий пастырь, высоко чтя яснополянского мыслителя как большого неповторимого художника слова, не мог не говорить о ереси, идущей из Ясной Поляны. При этом о. Иоанн утверждал, что его не заботит, читает или нет Толстой заметки своего полемиста. «Для нас важно высказать истину, защитить ее от глумления дерзких нечестивцев и дать русскому народу понять, что духовенство Русской Церкви не дремлет на страже православия»²⁶.

Эта статья — попытка систематизировать надписи на книгах, преподнесенных Л.Н. Толстому. Полное их исследование еще впереди.

¹ Грузинский А.Е. Яснополянская библиотека // Толстовский ежегодник. 1912. С. 134.

² Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. I. Книги на русском языке / Под руководством В.Ф.Булгакова. М., 1958. Ч. 1. С. 5.

³ Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое описание. I. М., 1972. Ч. 1. С. 156.

⁴ Там же. С. 381.

⁵ Там же. Ч. 2. С. 276.

⁶ Там же. Ч. 1. С. 141.

⁷ Там же. Ч. 2. С. 156.

⁸ Там же. Ч. 1. С. 58.

⁹ Там же. С. 75.

¹⁰ Там же. С. 43.

¹¹ Там же. С. 29.

¹² Там же. Ч. 2. С. 465.

¹³ Там же. С. 226.

¹⁴ Там же. С. 409.

¹⁵ Там же. Ч. 1. С. 306.

¹⁶ Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. М., 1958. Ч. 1. С. 12.

¹⁷ Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. М., 1972. Ч. 2. С. 166.

¹⁸ Родионов И.А. Наше преступление. (Не бред, а быль.) Из современной народной жизни. СПб., 1909. С. 4.

¹⁹ ЯЗ. Кн. 4. С. 293.

²⁰ Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. М., 1972. Ч. 2. С. 444.

²¹ Там же. С. 230.

²² Там же. Ч. 1. С. 279.

²³ Там же. С. 162.

²⁴ Там же. Ч. 2. С. 244.

²⁵ Там же. С. 227.

²⁶ Лисовой Николай. Воля к спасению // Иоанн Кронштадтский. М., 1992. С. 377.

Л. Козыро

«ЧТО ЗА ЭПОХА ДЛЯ ХУДОЖНИКА...»

(Л. Н. Толстой и русская книга XVIII века)

Николенька Иртенъев, герой трилогии Л.Н. Толстого, размышлял: «Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума» (2,56).

«Нераздельной частью ума» самого Толстого стала культура русского XVIII века, века поисков и освоения новых философских, нравственных, политических истин, века становления русской литературы. На протяжении всей жизни по разным причинам и с разными целями Толстой читал и перечитывал произведения писателей XVIII века.

В юношеские и студенческие годы это штудирование «Наказа» Екатерины II и сопоставление его с «Духом Законов» Монтескье; позднее, в 1858 году, книга М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России», в конволюте с которой было опубликовано «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (лондонское издание А.И. Герцена).

В 1870-е годы сама историческая эпоха, XVIII век, становится предметом художественного исследования. Толстым было прочитано много исторических трудов, мемуаров, художественных произведений, так что он с полным правом мог сказать: «Я довольно хорошо знаю то время...»¹. Вот как, по свидетельству Софьи Андреевны, проходила такая подготовительная работа в 1872 году: «Левочка сидит, обложенный кучею книг, портретов, картин и нахмуренный читает, делает отметки, записывает»².

6 декабря 1872 года историка П.Д. Голохвастова Толстой просил о книгах, которых у него нет. В их числе «Списки Щербатова» и «Болотов» (61, 341). «Списки» А. Болотова тогда впервые издавались³, и хотя чтение их отмечено в дневнике 1878 года (48, 69), можно не сомневаться, что в начале 70-х годов Толстой получил нужную книгу. С большим интересом перечитывал ее и в 1907 году; запись Маковицкого от 13 мая сохранила впечатления Толстого: «Читал Болотова. Как интересно! На зиму найти бы такое чтение»⁴. Здесь же: «Л.Н.: Читаю Записки Болотова — дворянин, родился в царствование Анны Иоанновны, умер 95 лет в 1833 году; он помнил дедов. Драгоценнейшие записки!»⁵ И, наконец, заключительная реплика Толстого 11 декабря 1907 года: «Это хорошие картины прошлого века. Подробное описание»⁶. Действительно, записки Андрея Тимофеевича Болотова — совершенно уникальное произведение. Основу их составили дневники, которые Болотов вел на

протяжении двадцати семи лет (1789—1816), скрупулезно описывая детские годы, быт офицера, чиновника, помещика, свои интересы, мысли, жизнь семейную, сельскохозяйственные работы, работы по разбивке парков, встречи с людьми, яркие события своей эпохи. Причем стиль Болотова, чуть старомодный для современного читателя, достаточно свободен и легок.

В 1872 году Толстой, «прилаживающийся», по его определению в письме к А.А. Фету, писать роман из эпохи Петра I, в записной книжке указывает имена авторов, книги которых ему необходимо прочитать. Среди этих имен назван Посошков (48,95).

Иван Тихонович Посошков (1652/53—1726) — талантливый писатель-самоучка, вышедший из крестьян, первый русский экономист. Посошков хорошо владел церковной письменностью, увлекался изучением Священного Писания, много размышлял об общественных неурядицах, об уничтожении «неправды и неисправностей»: «...от юности своя, — признается он, — бых таков, и лучше мне каковую-либо пакость на себя понести, нежели видя что бесполезно, умолчать»⁷. Посошков написал ряд докладных записок, проектов и три обширных полемических сочинения: «Зеркало очевидное» (или «Зерцало безыменного творца на раскольников обличение»), «Завещание отеческое к сыну своему, со нравоучением, за подтверждением Божественных писаний», где разъясняется, как должен вести себя православный христианин во всех обстоятельствах жизни, и, наконец, «Книгу о скудости и богатстве». Над ней Посошков работал три года, в возрасте 67—70 лет, решив самому Петру I рассказать о той «неправде», которую видел кругом, и предложить меры, способные исправить положение. Посошков понимал всю опасность своего предприятия, просил Петра не открывать его имени «сильным людям», которые, писал он, «не попустят мне и малого времени на свете жить и потому буду я сам себе убийца»⁸. Посошков угадал свою судьбу. Он был взят под караул в канцелярию тайных розыскных дел и после пяти месяцев заключения скончался. В библиотеке Толстого есть исследование об этом необычном человеке⁹.

Сочинения Посошкова в XVIII веке довольно широко распространялись в списках, главные его труды впервые были изданы в 1842, 1863, 1873 годах. Но и в 40-е годы XIX века «Книга о скудости и богатстве» печаталась с большими цензурными затруднениями, так как в ней шла речь о возможном освобождении крестьян.

В яснополянской библиотеке находится издание сочинений Посошкова 1842 года. Вся первая часть, куда вошла «Книга о скудости и богатстве», очень внимательно прочитана. Толстым сделаны многочисленные, самые разнообразные пометки: загнутые уголки страниц, подчеркивания, отчеркивания, отметки звездочкой, крестом и т. п.

Сочинения Посошкова очень точно и подробно ориентируют читателя в основных проблемах эпохи. Это отметил уже М. Погодин в «Предисловии» к «Книге о скудости и богатстве»: «Под заглавием, которое обещает читателям не более какого-нибудь нравственного рассуждения, сочинения Посошкова заключают в себе, как увидел я с первых страниц, полное исследование о состоянии России во время Петра I... Чем далее я читал, тем более удостоверился, что не было ни одного государственного вопроса, до которого бы Посошков не коснулся, о котором бы не подумал и не дошел до положительного мнения» (с. VII—VIII). Действительно, одно перечисление глав

дает представление о том, с каким богатейшим материалом столкнулся Толстой: «О духовности», «О воинских делах», «О разбойниках», «О крестьянстве», «О дворянах, крестьянах и о земляных делах», «О царском интересе». Толстой загибает уголок на странице 21, где Посошков описывает чрезвычайно колоритную ситуацию, характеризующую нравы русского духовенства: «...аще кой пресвитер, напившись до пьяна по улице ходя или где и сидя, будет кричать нелепостно и бранно, и сквернословить или драться с кем, или песни петь, то таковых имать и в архиерейский приказ отводить...»

Загнутый вдвое уголок страницы 111 отметил факт судебного произвола в Новгороде в 1718 году.

Крестом выделяется на странице 154 такая информация: «О истреблении разбойников много взыскания чинится из давних лет, и многие сыщики жестокие посылаемы бывали: якоже Артемий Огibalов, Евстигней Неелов и прочие подобные тоже».

Интересуют названия и цены вина, и на полях, рядом с выкладками Посошкова о цене ведра простого вина, Толстой делает нужный ему расчет.

Важно, как отбирают деревья при корабельных работах, как определяют качество хмеля, на какие плутни пускаются купцы. Толстой отмечает сообщения о разнообразных «небрежениях», наносящих урон государству, подчеркивает сведения о жаловании солдат разных родов войск, описание «наряда» русского духовенства, которому внушается: «а лаптей бы отнюдь ни в каковых местах не носили б» (31), поскольку «...иной пресвитер во время служения своего возложит на ся одежду золотканую, а на ногах лапти растоптанные, и во всяком кале обваленные, а кафтан нижний весь гнусен» (31).

Отмечены детали русского быта: «Такой у них обычай был, что не состаревся, деревенские мужики на исповедь не хаживали» (29). Или: «сильные люди» в больших вотчинах построили «свои кабаки, и называют их кваснями, а под именем квасня продают явно пиво, а вино потаенно» (234) и т. д.

Толстому представляются важными размышления Посошкова о необходимости обучать невежественное русское духовенство: приемы, предлагаемые им, универсальны. Уже в XVIII веке автор ориентирует учащихся не на зазубривание материала, а на осмысленное чтение и запоминание; предлагает постепенное усложнение заданий в зависимости от успехов конкретного ученика, говорит о необходимости расширения кругозора детей, о развитии ораторских навыков, столь нужных проповеднику, об отборе способных детей и своеобразной «профорientации»: «...и того смотрели бы, кто к какому делу склонен, к духовному или к светскому» (17).

Толстой разделяет негодование, с которым Посошков пишет о бесчеловечных дворянах, кои «в работную пору не дают крестьянам своим ни единого дня, чтобы ему на себя работать» (182). Отчеркнутые строки и крест на полях выделяют грустный итог размышлений Посошкова о русском крестьянстве: «И за таким их порядком крестьянин никогда у такого помещика обогатиться не может... От таковыя нужды дома свои оставляют и бегут иные в Повизовые места, иные же и во Украинные, а иные — и в зарубежныя; тако чужие страны населяют, а свою пусту оставляют» (183). И, конечно, близка и дорога Толстому главная мысль Посошкова: помещики владеют крестьянами временно.

Толстому-писателю интересен был и сам тип русского человека конца XVII — начала XVIII в., представленный Посошковым. Строго церковное мировоззрение, неприязненное отношение к иноземным порядкам сочетались в нем с резко критическим отношением к русской действительности, оригинальными теориями и литературным талантом. Интерес Толстого к Посошкову-человеку очевидно подтверждается тем, что в четвертом цикле черновых вариантов романа из эпохи Петра I, действие которых происходит во время Азовских походов Петра (1695–1696), описывается приезд в Москву двух братьев Посошковых.

Книга Посошкова стала для Толстого и кладезем живой, колоритной народной речи. Язык Посошкова чрезвычайно причудливо соединил лексику церковно-славянскую и русскую, архаизмы и диалектизмы, канцеляризмы и фольклорно-поэтические обороты. Толстой постоянно подчеркивает в тексте диалектные слова (верень — вязанка, потолочить — обеспокоить, борашень — пожитки), архаизмы и старославянизмы (смышляют, пых, партища), просторечные слова и выражения (обыкнул, изубытчишь, напорчиво, оголодит, ябедоват и нахаловат, польготить), профессионализмы, связанные с кораблестроением, крестьянскими налогами, сельскими работами, судопроизводством и т. д. (трапореховатые, выпись, подушные, хомутейные, прикольные, поклепный иск, причинные люди, прямой ли он вор или не прямой). Нравственно Толстой к пословидам и поговоркам: «голодный идучи и за соломой защемяется», «злато мешают с блатом» (болотом), «крестьянину де не давай обрости, но стриги его яко овцу».

Среди источников материалов к роману «Декабристы» (см. помету Толстого в Записных книжках — 17, 457) были записки И.И. Дмитриева¹⁰ и письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву¹¹ (обе книги сохранились в яснополянской библиотеке). Иван Иванович Дмитриев интересовал Толстого и как государственный деятель — он был министром юстиции в 1810–1814 годы, и как один из значительных живых писателей начала века, и как исторический персонаж, без воссоздания облика которого была бы неполной картина начала XIX века. До нас не дошли подробные отзывы Толстого об этих изданиях, но насколько внимательным читателем был он, как точно и надолго фиксировал в памяти остановившие его внимание моменты, свидетельствует такой факт. Дважды в 1889 году в письмах Г.А. Русанову по разным поводам Толстой повторил, несколько варьируя, фразу: «Карамзин где-то сказал, что дело не в том, чтобы писать «Историю Государства Российского», а в том, чтобы жить добро» (64, 235, 267). И уже в 1905 году в разговоре, как свидетельствует Д.П. Маковицкий, сказал: «У Карамзина, которого «Историю Государства Российского» не люблю за придворный тон, есть одно изречение, окупающее все его сочинения. Другу, соболезновавшему ему, что более из-за болезни не может продолжать писать историю, ответил: «Важно не писание русской истории, а важно то, как хорошо жить»¹². А это — цитата из «Писем Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву» (см. письмо 22 октября 1825 г., с. 408).

Самым «цитируемым» Толстым поэтом XVIII века, судя по дошедшим до нас сведениям, был Г.Р. Державин. Его оригинальная фигура, хотя уже и явно архаическая, привлекла внимание Толстого. Так, читая 6 октября 1905 года книгу Н.К. Шильдера «Император Александр Первый, его жизнь и царствование» (I–IV, СПб., 1904–1905), Толстой на отдельной полоске бумаги, служившей закладкой, указывал страницу и то, что заинтересовало его на этой странице: «113 — Ссора с Державиным»,

а на странице 115 отчеркнуто несколько строк, связанных с этим событием. Об отношении к творчеству Державина свидетельствует такой факт: к письму И.И. Горбунову-Посадову 24 октября 1910 года Толстой прилагает список книг, разделенных на четыре отдела — «очень хорошие книги», «хорошие книги», «недурные» и «низший сорт». В письме сказано: «...заменить плохие и отчасти посредственные книгами безразличными, — только не безнравственными и вредными, но самыми разнообразными... Книги эти я бы заменил, во-первых, простыми, веселыми, без всякого замысла рассказами, даже сборниками смешных, веселых, невинных анекдотов. Второе — практическими руководствами земледелия, садоводства, огородничества. Третий отдел — выбрал бы самые лучшие стихотворения: Пушкина, Тютчева, Лермонтова, даже Державина. Если мания стихотворства так распространена, то пускай, по крайней мере, они имеют образец совершенства в этом роде» (82, 206—210).

Имя Державина возникает у Толстого в размышлениях о связи русских писателей с народом: «...У французов этого чувства к народу — связи сердечной с прислугой, с народом — нет... Англичане, когда пишут о народе, передают язык народа исковерканным; то же самое и французы. У немцев народу надо учиться *hochdeutsch* <литературному языку>, а не литераторам у народа его языку. А мы все *учимся* у народа. Ломоносов, Державин, Карамзин, — до Пушкина, Гоголя, — и даже о Чехове можно это сказать, да и я»¹³.

Заключительные строки державинского послания «Храповицкому» 1797 года: «За слова — меня пусть гложет, За дела — сатирик читит» дали повод к небольшой полемике между русскими писателями. Очевидно, Толстого задело замечание относительно этих слов, содержащиеся в сочинениях Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского. В статье «О том, что такое слово» Гоголь писал: «Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик читит, —

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». И далее Гоголь утверждает, развивая пушкинскую мысль: «Поэт на поприще слова должен быть безукоризнен, как всякий другой на своем поприще»¹⁴.

В 1848 году на эту статью, защищая Державина, откликнулся В.А. Жуковский: «Стихи Державина: «За слова меня пусть гложет, За дела сатирик читит», служащие, так сказать, темой твоей статьи, не имеют, по моему мнению, никакого ясного смысла: ошибки писателя не извиняются его человеческими добродетелями, а самолюбие поэта, оскорбленное критикой, не утешится, когда он сам себе или его аристарх ему скажет: ты негодный поэт, но человек почтенный»¹⁵.

Л.Н. Толстой, разговаривая в Ясной Поляне в сентябре 1893 года с Л.П. Никифоровым, каким-то образом коснулся этой проблемы, вероятно, остро ее обозначив. Это вызвало следующую реплику Никифорова в письме к Толстому от 29 октября 1893 года: «Меня очень задело одно Ваше замечание: что писателя нужно судить по его писанию, а не по его нравственной личности, не по его жизни... Я не знаю, не противоречит ли это Вашему взгляду?» (66, 418) Толстой ответил так: «Я очень понимаю, что суждение о том, что писателя нужно судить по его писаниям, а не по делам, не нравится Вам. Мне такое суждение тоже противно. Но я, как и говорил вам

тогда, только делаю замечание, что писание — дела писателя, как это метко сказал Пушкин, т. е. что если хороший кузнец, работник, напивается, то я должен принять во внимание его работу и не равнять его с праздным пьяницей... А что человеку надо всеми силами стремиться делать и исполнять то, что он говорит, про это не может быть и речи, потому что только в этом жизнь человеческая. Скажу даже, что если человек не стремится всеми силами делать то, что он говорит, то он никогда и не скажет хорошо того, что надо делать, никогда не заразит других» (66, 417).

Мудрый Толстой, не входя специально в подоплеку державинских строчек, как никто точно оценил и понял поэта. Дело в том, что Г.Р. Державин написал два послания Храповицкому. Первое — в 1793 году. Это ответ Державина на предложение А.В. Храповицкого, статс-секретаря Екатерины II, вновь воспеть Екатерину — Фе-лицу. Но Державин, как он откровенно признался в «Записках», «...не мог... воспламенить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями»¹⁶. И в стихотворении, не предназначенном для печати, опубликованном спустя пятнадцать лет, Державин отказывается идти против совести, как раз памятуя, что слова поэта — его дела:

Богов певец
Не будет никогда подлец.
Ты сам со временем осудишь
Меня за мглистый фимиам;
За правду ж чтить меня ты будешь,
Она любезна всем векам¹⁷.

Державин не смог предвидеть лишь одного: Храповицкий, считавший естественной лесть Екатерине, все же упрекнет поэта в заискивании перед сильными особами. Тогда и появляется, в 1797 году, второе послание, где поэт горько размышляет, как тяжек его путь при деспотичном правлении:

Где чертог найду я правды?
Где увижу солнце в тьме?
Покажи мне те ограды
Хоть близ трона в вышине,
Чтоб где правду допускали
И любили бы ее.

Храповицкий должен был знать, как честен Державин в своей служебной деятельности, как отстаивал он правых людей, несмотря на их общественное положение, как дерзал наставлять саму Екатерину. Вот почему Державин заканчивает свое стихотворение так:

Извини ж, мой друг, коль лестно,
Я кого где воспеваю;
Днесь скрывать мне то бесчестно,
Раз кого я похваляю,
За слова — меня пусть гложет,
За дела — сатирик чтит...¹⁸

Размышления философского характера вызвало у Толстого другое стихотворение Державина, точнее, одна строка знаменитой оды «Бог»: «Я царь — я раб — я червь —

я Бог!» Правда, цитируя эту строку два раза, Толстой переставляет слова, и хотя смысл от этого не страдает, но державинская двойная антитеза нарушается. Итак, размышление первое, «пессимистическое», размышление о пределах возможностей человеческого разума. Это дневниковая запись, датированная 18 декабря 1899 года: «Я раб, я червь, я царь, я Бог. Раб и червь — правда, а царь и Бог — неправда. Напрасно люди придают особенное значение и величие своему разуму. Пределы человеческого разума очень недалеко и тотчас же видны. Пределы эти: бесконечность пространства и времени. Человек видит, что окончательные ответы на вопросы, которые он задаст, все удаляются и удаляются и во времени, и в пространстве, и в обеих областях этих последнего ответа нет, потому что обе области бесконечны. Разум человека имеет пределы очень недалекие. Он вполне годен только на ответы о том, как жить человеку. Только в этой области он дает окончательные ответы» (53, 232—233).

Вторая запись тоже сделана в дневнике 4 июля 1908 года. Мы приведем лишь часть ее: «Рассуждать о внешнем, о мире, не сказав о себе, о том, кто видит мир, все равно, что начать рассказ так: «потому что когда он на меня замахнулся» и т. д., т. е. рассказывать, не упомянув о том, кто, где и когда говорит. Основа всякому рассуждению о мире, о Боге одна: сознание человеком своего единства с началом всего, своей божественности и вместе с тем сознание своей отделенности, своей ничтожности. «Я царь, я Бог, я раб, я червь». Зачем? Отчего я такой, я не знаю, не могу, не хочу и не нуждаюсь знать, но знаю, и всякий знает, что я — и Все и ничто. В соединении этих двух начал есть то, что мы называем и сознаем жизнью. Я — все, я един и я отделен. От того, что я отделен, от этого я телесен и я в движении, а телесность может быть только при пространстве, а движение только при времени. Как единое же существо, я бестелесен, вне пространства и времени. Благо мое в сознании этого единства в отделенном» (56, 139).

Здесь в основном Толстой развивает мысли Державина, который видел бессилие попыток человека приблизиться к высшему началу («Богу»), но и естественность слияния человека с космосом, принадлежность к нему, а потому и присутствие «божественного» начала в каждом человеке.

Проблемы философского, этического характера вставали перед Толстым и в процессе чтения произведений русского просветителя, издателя сатирических и философско-литературных журналов масона Н.И. Новикова. В декабре 1853 года Толстой просматривал журнал «Утренний свет» (СПб., 1777), издававшийся Новиковым. Особенно привлекает Толстого «Предисловие» (правда, он ошибочно приписывал «Предисловие» перу Карамзина), где Новиков формулирует основные принципы журнала: цель его — воспитание «истинных человеков». На первое место Новиков предлагает выдвинуть практическую нравственную философию, которая помогла бы «дать почувствовать, что человек есть нечто возвышенное и достойное». Содержание журнала и составляла мораль как практическая философия. Толстой записывает в дневнике: «Читая Философское предисловие... в котором он говорит, что цель журналу состоит в любомудрии, в развитии человеческого ума, воли и чувства, направляя их к добродетели, я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы — нравственной (курсив мой. — Л. К.), что заговорите теперь о необходимости нравоведения в литературе, никто не поймет вас.

А право не худо бы, как в баснях, при каждом литературном сочинении писать нравовучение — цель его» (46, 213–214). Далее Толстой называет некоторые темы журнала Новикова и размышляет о возможности издания им самим журнала, целью которого было бы «единственно распространение полезных (морально) сочинений».

Проект этот не был реализован в журнальном варианте, но идея издания сочинений с моральной, назидательной установкой сказалась в религиозно-философских опытах Толстого, в работе над «Азбукой», начатой в 1871 году, в деятельности «Посредника».

Толстой хорошо знал русскую басню XVIII века. Среди книг яснополянской библиотеки — очень приятное издание басен Лафонтена в переводах Крылова, Измайлова, Дмитриева, Хемницера и др. с иллюстрациями Доре (СПб., 1895). Но знание Толстым басенных сюжетов далеко выходит за рамки этой книги.

Интерес писателя к жанру был прежде всего практическим. Размышляя о системе обучения крестьянских детей, создавая «Азбуку» и «Новую Азбуку», Толстой использовал сюжеты Эзопа, Лафонтена, оригинальные басни В.К. Тредиаковского, И.И. Дмитриева, И.И. Хемницера, И.А. Крылова как исходный назидательный, нравовучительный материал для создания народных рассказов. Именно сюжеты, поскольку художественная их сторона Толстого не удовлетворяла. Так, в статье «Об общественной деятельности на поприще народного образования», анализируя работу «Комитета грамотности при Императорском Вольном Экономическом обществе», Толстой приводит «Список» русских и малороссийских книг, одобренных Комитетом грамотности для народных учителей и школ и для народного чтения. Он делает это «для того, чтобы знать, в случае желанья завести школу, каких книг не надо покупать». Среди книг в этом списке и «Двадцать восемь басен русских баснописцев: Измайлова, Хемницера, Дмитриева, Крылова».

Комментируя книгу «Детский мир», куда также были включены русские басни, Толстой вновь отзываясь о них достаточно скептически. Правда, цель анализа — специфическая. Толстой решает, понятны ли ребенку предлагаемые ему для чтения произведения, каков их художественный уровень. Вывод следующий: «Попадаю на стихи и на прозу. В обоих тот же ложный и дурной язык; в обоих ложная мораль, и обе на ребенка-читателя производят то впечатление, которое производит рассказчик анекдота, сам смеющийся своей будущей остроте и вызывающий у слушателей вопрос: потом что же?» (8, 284) В подтверждение Толстой отмечает слабые стороны басни И.И. Дмитриева «Кот, Петух и Мышонок» (верное название «Петух, кот и мышонок»): «В ней описывается, что мышь рассказывает, что она бежала, как молодой мышонок, который хочет показать, что он уж не ребенок. Что у петуха две руки, служащие для полета, что в глазах его написана услуга. Мать же мышонка говорит, что петух есть миролюбивый житель — чего не сказано!» (8, 284–285)

Конечно, эта басня — не идеальный образец басенного жанра и не лучшая из басен И.И. Дмитриева. Но, повторим еще раз, Толстой не случайно особенно придирчив. Понять критерии жесткой оценки лучше всего, сопоставив с тем, как сам Толстой перерабатывает этот сюжет в «Новой Азбуке». Заметно, что он стремится к максимальной доступности рассказа: семантика каждого слова однозначна, рассказ конкретен, из средств художественной выразительности использованы только

эпитеты. На этом фоне особенно бросается в глаза некоторая манерность, обилие тропов, усложненность синтаксиса басни Дмитриева. К этому же выводу приведет нас сопоставление и других рассказов Толстого с их басенными первоисточниками.

В повести «Отрочество» (гл. «Девичья») Толстой идет вслед за Н.М. Карамзиным, еще в «Бедной Лизе» (1792 г.) сформулировавшим мысль, ставшую своего рода лозунгом русского сентиментализма: «И крестьянки любить умеют». Переходя к рассказу о любви дворового Василия и горничной Маши, он обращается к читателю: «Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся» (2, 52).

К знаменитой повести Карамзина Толстой несколько раз обратится в романе «Война и мир»: действие романа разворачивается в эпоху, когда сентиментализм был живым, достаточно активным направлением, формирующим вкусы читателей, отвечающим на их эстетические запросы.

Жестокий, холодный человек «с твердым, наглым, умным взглядом» — Долохов. В черновиках романа Долохов после дуэли разговаривает с Николаем: «Да, душа моя, — продолжал он, — мужчин я встречал любящих, благородных, возвышенных, — он опять приласкал взглядом Ростова, — но женщин, кроме продажных тварей — графинь или кухарок все равно — нет женщин. Нет этой чистой души, которая любила бы одной душою, как бедная Лиза любила Эраста. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее» (13, 547). И вот Долохов встретил Соню: «Он обещал. Вечером он подсел к Соне и начал говорить с ней [о театре, о бале, об общих знакомых] о Бедной Лизе и о возвышенных чувствах любви» (13, 548).

Толстой не включил упоминания о «Бедной Лизе» в окончательную редакцию романа. Вероятно, образ Долохова стал от этого более цельным, весомым и, в то же время, более загадочным. Но сама возможность подобного восприятия «Бедной Лизы» была для Толстого естественной.

Иная ситуация, иной душевный настрой определяет и другое отношение к сентиментальной идиллии. Андрей Волконский перед Бородинским сражением думает о прожитом: «Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. — «Любовь!.. эта девочка, мне казавшаяся преисполненною таинственных сил. Как же я любил ее! Я делал поэтические планы о любви, о счастье с нею. — О милый мальчик!» — со злостью вслух проговорил он. — «Как же! я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия! Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мною. — А все гораздо проще... Все это ужасно просто, гадко!» (II, 202). В этих размышлениях — и горькая самоирония, и насмешка над сентиментальными представлениями.

«Нежный голубок басни» — это синтез двух произведений И.И. Дмитриева: песни «Стонет сизый голубочек» и басни «Два голубя». Поэт разрабатывает мотив разлуки двух голубков, но в песне это голубь и голубка, причем «отлетает прочь» голубка, в басне — два друга голубка. Разлука одинаково трагически воспринимается оставленным голубком и в песне, и в басне. В песне:

Стонет сизый голубочек,
 Стонет он и день, и ночь;

 Он уж больше не воркует
 И пшенички не клюет.
 Все тоскует, все тоскует
 И тихонько слезы льет¹⁹.

Песня заканчивается смертью «страстного, верного голубка» и описанием горя возвратившейся наконец подруги, которая, исполненная раскаяния, «плачет, стонет, сердцем ноя».

В басне оставленному голубку весть о разлуке — «острый нож»:

Он вздрогнул, прослезился,
 И к другу возопил:
 «Помилуй, братец, чем меня ты поразил?
 Легко ль в разлуке быть?.. Тебе легко, жестокой!
 Я знаю; ах! а мне... Я с горести глубокой,
 И дня не проживу...²⁰

Интересна «мораль» басни. Это лирическая медитация, отнюдь не в басенном духе, но удивительно характерная для Дмитриева:

О вы, которых Бог любви соединил!
 Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил,
 И дале ближнего ручья не разлучайтесь.
 Чем любоваться вам? Друг другом восхищайтесь!
 Пускай один в другом находит каждый час
 Прекрасный, новый мир, всегда разнообразный!

Возможно, Толстой помнил об этих строчках и за репликами князя Андрея есть некий авторский подтекст.

Но та же «чувствительность» может стать и средством авторской иронии. Томная меланхолия становится той фальшивой атмосферой, которая окружает Жюли Карагину и Бориса Друбецкого: «Жюли играла Борису на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух «Бедную Лизу» и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыхание» (10, 313). И далее: «Жених с невестой, не помяная более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали все для блестящей свадьбы» (10, 316).

И, наконец, еще один уровень авторского восприятия «Бедной Лизы». Толстой вновь вспоминает о ней в 1872 году. Повесть стала лишь историко-литературным фактом, и Толстой это констатировал: «Бедная Лиза» выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже не прочтет» (61, 278).

Литература XVIII века не была для Толстого «мертвым» явлением. Она служила важным источником исторических материалов, уточняла представления о характере человека той поры, давала подчас сюжеты для рассказов, служила стимулом нравственно-философских размышлений, обогащала язык.

В поле зрения писателя попало большинство ярких, самобытных авторов, чье творчество было представлено самыми разнообразными жанрами.

Но был в работе Толстого над книгами XVIII века и некий высший смысл. В декабре 1872 года он написал Н.Н. Страхову: «Обложился книгами о Петре I и его времени; читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут» (61, 349).

Разгадывать эту загадку помогала Толстому русская литература XVIII века.

¹ ЯЗ. Кн. 2. С. 352.

² Берс С.А. Воспоминания о графе Л.Н. Толстом. Смоленск, 1893. С. 45.

³ Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков (1738–1793). Т. I–IV. СПб., 1871–1873.

⁴ ЯЗ. Кн. 2. С. 430.

⁵ Там же.

⁶ Там же. С. 587.

⁷ Посошков И.Т. Сочинения. Изданы, на иждивении Московского о-ва истории и древностей Российских, М. Погодиным, профессором русской истории. М., 1842. Ч. 1. С. 215. Далее в тексте в скобках указываются страницы по этому изданию.

⁸ Русский биографический словарь. Плавильщиков — Примо. СПб., 1905. С. 612.

⁹ Ремезов И. Московский крестьянин Иван Тихонович Посошков. СПб., 1883.

¹⁰ Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника И.И. Дмитриева: В 3 ч. М., 1866.

¹¹ Карамзин Н.М. Письма к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866.

¹² ЯЗ. Кн. 1. С. 355.

¹³ Лусев. Летопись II. С. 530.

¹⁴ Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Полн. собр. соч. М., 1980. Т. IV. С. 375–378. В издании 1889 г., хранящемся в яснополянской библиотеке, эти слова отчеркнуты Толстым.

¹⁵ Впервые опубликована под заголовком «О поэте и современном его значении: Письмо к Гоголю» в журнале «Москвитянин». 1848. № 4. Во многих изданиях сочинений Жуковского эта статья называется «Слова поэта — дела поэта». Цит. по изданию: Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1909. Т. X. С. 80–88.

¹⁶ Державин Г.Р. Сочинения: В 9 т. СПб. 1864–1883. Т. IV.

¹⁷ Там же. Т. II. С. 122.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Дмитриев И.И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 128.

²⁰ Там же. С. 197.

А. Н. Полосина

А. Н. ТОЛСТОЙ И В. А. ЖУКОВСКИЙ

(По материалам яснополянской библиотеки)

Кто-то из великих сказал, что воспитание человека начинается с переплетов отцовских библиотек. Вероятно, одной из первых книг, которую Толстой нашел в библиотеке своего отца, были стихотворения В.А. Жуковского. Родители Толстого и родственники Жуковского — Бунины, Протасовы, Елагины — принадлежали к одному белевско-чернско-мценскому культурному слою. Их «родовые гнезда»: Мишенское Буниных, Поляны и Николо-Вяземское Толстых, Троицкое Протасовых — находились в нескольких верстах друг от друга. Управляющий имениями Толстых (1815—1818) Н.П. Свечин был женат на племяннице Жуковского по отцу М.Н. Вельяминовой. Семья гр. А.А. Толстой (двоюродной сестры гр. Н.И. Толстого) была связана с поэтом не только крепкими дружескими, но и родственными узами. Ее бабушка Е.Ф. Барыкова была замужем вторым браком за чернским помещиком В.И. Протасовым (братом мужа Е.А. Протасовой, сестры Жуковского по отцу), прославившимся своим богатством и самодурством. Вероятно, рассказы о нем были использованы И.С. Тургеневым в «Малиновой воде». Даже Толстой сохранил в памяти воспоминания о некоей Любви Сергеевне, жившей в их доме. Она «была, — как он писал в «Воспоминаниях», — плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский)» (34, 382). Как она попала в дом Толстых, он не знал.

Юность родителей Толстого совпала с расцветом лирического таланта поэта. Романтическая муза Жуковского открыла изумленным глазам всего этого поколения новый мир поэзии. Его стихи, в которых воспевались дружба, чистая любовь, верность, воспоминания, были необычайно популярны в столичных особняках и провинциальных усадьбах. Дневники и альбомы молодых особ этого времени заполнялись стихотворениями любимого поэта. Отец писателя принадлежал к числу поклонников поэзии В.А. Жуковского. Его альбом (хранится в архиве ГМТ) украшен стихами И.И. Дмитриева, И.Ф. Богдановича, Г.Р. Державина и, конечно, В.А. Жуковского. Показателен даже перечень названий некоторых его стихов, переписанных гр. Н.И. Толстым: «Певец», «Верность до гроба», «Тоска по милом» и др. Толстой, относящийся к своим родителям с благоговением, вероятно, не раз перечитывал альбом отца, в котором стихи Жуковского нашли себе «верное жилище».

Скорее всего дед и бабушка Толстого, а также его родители были знакомы с В.А. Жуковским не только как соседи, но поддерживали и приятельские отношения.

В отрочестве юный Толстой читал стихи Жуковского уже не в альбоме отца, а те, что нашел в его библиотеке. Вероятно, это были прижизненные издания стихотворений

поэта, которые не сохранились в Ясной Поляне. Л.Н. Толстой вспомнил об этих «книжках в желтом переплете», когда писал о Николеньке Иртеньеве в повести «Юность»: «Они (студенты) читали гораздо больше меня, знали, ценили английских и даже испанских писателей... Пушкин и Жуковский были для них литература (а не так, как для меня, книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком)» (2, 218). Какие издания сочинений Жуковского выходили в «желтом переплете», конкретизировать невозможно, даже если это были издательские переплеты, а не владельческие. Может быть, это были первое (СПб., 1815–1816), второе (СПб., 1818) или третье (СПб., 1824) издания или сочинения и переводы В.А. Жуковского «Для немногих» (СПб., 1824)... Коллекция книг В.А. Жуковского в личной библиотеке Л.Н. Толстого, около двадцати томов прижизненных и посмертных изданий сочинений, включая монографии о поэте, могут рассказать о многообразии связей творчества Толстого и Жуковского, об их отношении к вопросам бытия, морали и творчества.

В литературной судьбе Л.Н. Толстого художественное наследие В.А. Жуковского занимает далеко не последнее место. В разные этапы своего творческого пути Толстой много и внимательно читал Жуковского: стихотворения, баллады, переводы, публицистические эссе. Толстой с интересом изучал биографию поэта, рассчитывая использовать некоторые факты его жизни в своем неосуществленном романе о В.А. Перовском и декабристах.

Самое лучшее создание В.А. Жуковского — стихотворение «Певец во стане русских воинов» — своим патриотическим духом, глубиной, искренностью и непосредственностью отозвалось в душе Толстого-воина и вызвало сильное восхищение. Нет сомнений в том, что это стихотворение лежало на письменном столе Толстого во время работы над романом «Война и мир» и является одним из его источников. Это подтверждают варианты романа и следы чтения в тексте «Певца» в четвертом томе предпоследнего прижизненного издания (в 9 т.) стихотворений В.А. Жуковского (СПб., 1835–1844), сохранившегося в яснополянской библиотеке. От чтения «Певца во стане русских воинов» Толстой испытал «возвышающее душу впечатление». Думая о Тарутинской баталии, он писал в вариантах к роману «Война и мир», что для него было бы счастье «описать Тарутинское сражение в духе «Певца во стане русских воинов». Как легко было бы такое описание и как успокоительно действовало бы оно на душу» (15, 52). Однако Толстой видел Тарутинское сражение благодаря «случайному скрещиванию материалов» «совсем в другом свете». Сомневаясь, он спрашивает себя: «Но для чего же описывать его в этом другом свете, для чего разрушать возвышающее душу впечатление «Певца во стане русских воинов»?» И объясняет для чего: «Тьмы низких истин нам дороже (у А.С. Пушкина — мне. — А.П.) нас возвышающий обман. Какое приложение той низкой истины, что все люди — люди, а не герои?». Автор «Севастопольских рассказов» поручик артиллерии Л.Н. Толстой, видевший войну изнутри, «в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...» (4, 9), признавая возвышающее впечатление «Певца во стане русских воинов», сознательно разрушает его, так как считает, что «этот нас возвышающий обман служит источником тяжелых, мучительных сомнений и страданий для всех тех, которым приходится или придется служить эту тяжелую службу войны» (15, 52). Льву Толстому

была ближе «низкая истина», что на войне «все люди — люди, а не герои». Размышления над стихотворением привели Толстого к мысли, что «практическое применение низкой истины дороже для нас тьмы возвышающих обманов». Для Толстого никогда не было ничего выше истины, какой бы она ни была. Пушкинскому возвышающему обману Толстой противопоставляет «нас возвышающую» правду. Размышления Толстого о «Певце во стане русских воинов» носят глубоко личный, исповедальный характер. В окончательный текст романа «Война и мир» они не вошли.

В период работы над «Исповедью» в поле зрения Толстого попала «Притча св. Варлаама о временном сем веще». Она помещена на день 19 ноября в третьем томе «Пролога» (издание 1875 года, в четырех томах), сохранившемся в библиотеке Ясной Поляны. Толстой читал «Пролог» весной и летом 1880 года. Об этом, кроме помет, свидетельствуют многочисленные закладки в виде разорванных на полоски письма А.А. Фета и обрывков газеты «Варшавский вестник» за 1880 год. В русской литературе существует литературная переработка этой притчи — это «Две повести» В.А. Жуковского. Притча о путнике и верблюде из второй части повести — это вольный перевод притчи немецкого поэта, ученого и переводчика Фридриха Рюккерта «Es ging ein Mann im Syerland...» («Шел один человек в Сирийской земле»). В основе ее сюжета — популярная в средние века повесть о «Варлааме и Иосафе». Подводя итоги прожитой жизни, Жуковский в конце повести так определяет смысл человеческого существования: «...наша жизнь есть странствие по свету... во исполнение Верховной воли высшего царя» (т. е. Бога), при условии, что человек, «идя своей земной дорогой, смиренно», ведает «куда, зачем и кто тебе по ней идти велит»¹. «Притча св. Варлаама о временном сем веще» из «Пролога» заканчивается простым назиданием: «Яко же мы введуще будущую смерть не лишаемся славохотия света сего, ищуще богатства, гордыни, пьянства, велеречия. Да лепо нам, братие, отстатися сея славы и суетного богатства, и всех дел злых, и восприяти дела добрые, и плоды духовные, ими же обрести царствие небесное». Смысл жизни по Жуковскому и назидание из «Пролога» не противоречат друг другу, они написаны в русле одних и тех же православных ценностей. Православие учит верить промыслу Божию. Смирение освобождает человека от чувства безысходности, от отчаяния, от страха смерти. Другое дело Толстой, который использует «восточную басню про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем» для подтверждения своих мыслей о том, что «истина была то, что жизнь есть бессмыслица» (23, 12), а «жизнь... бессмысленное зло» (23, 29).

Впервые «Две повести» были напечатаны в 1845 году в «Москвитянине», затем в шестом томе последнего (пятого) прижизненного издания (1849 г.) сочинений В.А. Жуковского. В яснополянской библиотеке этого тома нет, хотя сохранились восьмой и девятый тома этого же издания, в которые вошла «Одиссея» Гомера в переводе В.А. Жуковского. Нет оснований не считать притчу о путнике в переложении В.А. Жуковского одним из источников, который Толстой использовал в «Исповеди». Отсутствие ее в личной библиотеке писателя не исключает возможности ее чтения Толстым. Сравнение лексики притчи из «Двух повестей» и притчи из «Пролога» с текстом из «Исповеди» дает только минимальные преимущества второму источнику, т. е. «Притче св. Варлаама о временном сем веще».

Как известно, главным трудом последних лет жизни В.А. Жуковского стал перевод «Одиссеи» Гомера. Поэта притягивало содержание «Одиссеи», в которой большое значение имела эмоциональная сфера жизни, излюбленная тема творчества поэта: тема вечных странствий, разлуки и верности, тема возмездия и справедливо-го воздаяния. Жуковский, по мнению своих современников, создал романтическую «Одиссею». Существует большая литература с блестящими филологическими разборами перевода поэта, с которыми Толстой, возможно, был знаком. Отметим только, что, по верному замечанию критики 1850-х годов, в переводе Жуковского господствует «верность общечеловеческим началам», а поздняя критика воспринимала «Одиссею» как «своеобразную исповедь поэта в форме гомеровского эпоса».

Впервые «Одиссею» Гомера Толстой прочел в период «от 20 до 35 лет». «Одиссея» и «Илиада» (читанные по-русски) произвели на него «большое впечатление» (66, 68). Толстой читал Гомера в переводах В.А. Жуковского и Н.И. Гнедича. В эти годы перевод Жуковского не помешал Толстому получить от чтения «большое впечатление». Позднее, при изучении древнегреческого языка в 1870–1871 годы, он вновь перечитывал «Одиссею», но уже в оригинале.

Тут уместно вспомнить, что в личной библиотеке Толстого сохранилось более тридцати разных изданий «Одиссеи», в том числе на древнегреческом языке. От уникальнейшего издания «Одиссеи» и «Илиады» (Париж, 1766) в переводе Анны Дасье на французский язык в семи томах сохранился только первый том. Судьба остальных шести томов неизвестна. Гомер в переводе Битобе (Париж, 1819) до сих пор покоится в книжных шкафах в доме Толстого. Кстати, юный Пушкин изучал Гомера по переводу Битобе. Попутно отметим, что в России самым ходким и самым читаемым был перевод Фосса, ставший наиболее популярным из всех немецких переводов. В библиотеке Ясной Поляны «Одиссея» в переводе Фосса (Штутгарт, 1851) стоит на своем прежнем месте.

С уверенностью можно сказать, что при чтении «Одиссеи» на греческом языке на письменном столе Толстого лежали «Одиссея» в переводах Жуковского и Фосса. «Сколько я теперь уж могу судить, — писал Толстой в январе 1871 года А.А. Фету, — Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами. Пошное, но невольное сравнение — отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы — с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти Фоссы и Жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым подлым и подлизывающимся голосом, а тот черт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать» (61, 247–248). В «Одиссее» на немецком языке в переводе Фосса сохранились пометы простым карандашом и загнутые вдвое верхние и нижние уголки, очевидно, принадлежащие Толстому.

Письмо к Фету не единственное свидетельство негативного отношения А.Н. Толстого к переводу Жуковского. Пометы Толстого на «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя дают яркую картину его отношения не только к переводу «Одиссеи», но и к творчеству Жуковского в целом. Из изданий сочинений Н.В. Гоголя, сохранившихся в яснополянской библиотеке, наибольший интерес для нас имеют два: шеститомное (СПб., 1857) и пятитомное (М., 1889). В 1887 году Толстой

перечитывал «Выбранные места...» с целью издать их в «Посреднике» и написать биографию Гоголя. Замысел не был осуществлен. Некоторые пометы Толстого на петербургском издании, кроме подчеркиваний текста, отчеркиваний на полях и в виде «школьных» оценок, носят характер редакторской правки: вычеркивания «излишнего». «Излишним» оказался Жуковский: все письма Гоголя к Жуковскому, все отрывки в письмах к другим лицам, где только упоминается его имя или перевод «Одиссеи», вычеркнуты. Толстой «выбрал» Жуковского из «Выбранных мест...». Через двадцать два года, в 1909 году, в руках Толстого побывало уже московское издание (1889 г.) «Выбранных мест из переписки с друзьями». Пометы типично толстовские: отчеркивания, подчеркивания, «школьные» оценки, на полях «NB». Приведем несколько примеров. Весь текст письма Н.В. Гоголя, адресованного Н.М. Языкову, «Об Одиссее, переводимой Жуковским», перечеркнут, против заглавия Толстой поставил оценку «три» и «знак вопроса». При чтении этого же письма в 1909 году он еще больше «спустил» свое мнение и поставил «единицу с минусом». Письмо Н.В. Гоголя «О лиризме наших поэтов», адресованное В.А. Жуковскому (в нем проявились верноподданнические взгляды Гоголя), получило оценку «ноль», а при прочтении через двадцать два года — «единицу». Весь текст письма к В.А. Жуковскому «Просвещение» перечеркнут Толстым в 1887 году, а в 1909 году письмо получило оценку «ноль с плюсом». В письме упоминается «Одиссея» в переводе Жуковского, которая «принесет много общего добра. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей». Текст письма «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», с тонкими и глубокими суждениями о М.В. Ломоносове, Г.Р. Державине, В.А. Жуковском, А.С. Пушкине и др. Толстой зачеркнул при чтении в 1887 году, а в 1909 году оценил на «двойку».

В ноябре 1890 года А.Н. Толстой читал вслух «Одиссею» своей девятнадцатилетней дочери М.Л. Толстой и племяннице В.А. Кузминской. Предположим, что Толстой читал вслух «Одиссею» в переводе В.А. Жуковского. Предположение переходит в уверенность при следующих аргументах. Во-первых, Толстой мог бы читать вслух «Одиссею» на древнегреческом, французском или немецком языках при условии, что все слушатели и гости знали эти языки. Древнегреческий язык отпадает, так как не все слушатели знали этот язык. Во-вторых, гостивший в эти дни в Ясной Поляне воронежский помещик Г.А. Русанов, сохранивший в памяти незабываемые минуты от чтения вслух Гомера, слушал «Одиссею» скорее всего на русском языке, иначе бы он отметил это в своих воспоминаниях: «Однажды вечером Лев Николаевич прочел вслух две последние песни «Одиссеи». Он и до нашего приезда читал ее по вечерам и прочел всю, за исключением последних песен, дочерям своим... Читает Толстой очень просто и хорошо. Лучшего чтения Гомера мне не приходилось слышать... В особенности почему-то запомнились ласково и просто прочитанные слова, с которыми Одиссеей обращается к неузнавшему его отцу»². В-третьих, в яснополянской библиотеке, кроме «Одиссеи» в переводе Жуковского, есть другие издания на русском языке других переводчиков, вышедшие в 1893, 1895 и 1898 годах, т. е. те издания, которых еще не существовало в 1890 году. В-четвертых, в тексте «Одиссеи» в переводе В.А. Жуковского сохранились читательские пометы в виде загнутых уголков, косых крестиков черным карандашом, отметки ножом для разрезания бумаги или ногтем, имеющие характер окончания чтения.

Если «Одиссея» в переводе В.А. Жуковского была «забракована» Толстым, то его мнение о «некоторых» его переводах Шиллера соответствовало истинным ценностям. 15 августа 1886 года С.А. Толстая писала А.А. Фету: «Лев Николаевич... читал эти дни Шиллера в русских, разных переводах. Он говорил, что только Ваши хороши и Жуковского, некоторые...»³. Жуковский перевел «Орлеанскую деву», «Ивиковы журавли», «Жалобу Цереры», «Эвезианский праздник» и другие баллады Шиллера, которые относятся к подлинным шедеврам точного перевода. У поэта есть много вольных переложений. В тексте драматической поэмы Шиллера «Орлеанская дева», вошедшем в первый том четвертого издания стихотворений В.А. Жуковского (СПб., 1835), сохранились следы чтения, возможно, принадлежащие Толстому.

В конце 1840-х годов в круг этических интересов В.А. Жуковского попала проблема наказания за преступление. В небольшой статье «О смертной казни», не отрицая ее необходимости, он писал, что смертная казнь — это земное правосудие, которое спасает общественный порядок, установленный Богом. Он выступал против уродливости и зрелищности смертной казни, против превращения ужаса казни в потеху для публики. Поэт предлагал совершать такую казнь, которая удержит от злодейства будущих преступников и даст возможность душе преступника перед казнью смягчиться для «покорности и покаяния». Воображение поэта нарисовало «такой образ казни», который был бы «не одним актом правосудия гражданского, но и актом любви христианской», т. е. чтобы казнь возбуждала сострадание к судьбе преступника, а его «земная погибель» была бы общим горем. Романтик по натуре, Жуковский нарисовал туманную и неопределенную картину казни, в которой все дышит таинственной жизнью сердца и души «в виду человеческой плахи» перед судом Божиим. Жуковский только намекает, что место казни «должно быть навсегда недоступно толпе», которая «должна видеть только крест, поднимающийся на главе церкви».

В статье «О смертной казни», как и в поэзии Жуковского, мысль и душевное состояние, сентенция и чувство, дидактика и религия переплелись в одно целое. Статья воспринимается как абстрактное поэтическое эссе о спасении души преступника, о праведном воздаянии, о вере, о благоговении перед правдой, о сострадании и милосердии.

Впервые эссе «О смертной казни» было напечатано в первом посмертном издании сочинений В.А. Жуковского в 1869 году и произвело ошеломляющее впечатление на читающую публику России 2-й половины XIX века.

В конце февраля (с 20 по 28) 1893 года в Ясной Поляне гостил И.И. Горбунов-Посадов. Вероятно, он рассказал Толстому о статье Жуковского. По крайней мере, Горбунов-Посадов уже 25 февраля отправил письмо В.Г. Черткову с просьбой прислать из имения его матери необходимый том, которого не оказалось в Ясной Поляне. «Возьми в лизинговской библиотеке те тома полного собрания Жуковского, где проза, и найди там его статью о смертной казни. Лев Николаевич просит выслать ему ее, как прекрасную иллюстрацию из области подобных воззрений»⁴. Скорее всего книгу в Ясную Поляну прислали, она была прочитана и возвращена владельцам.

В эти дни Л.Н. Толстой заканчивал двухлетнюю работу над трактатом «Царство Божие внутри вас». Немало страниц трактата посвящено критике церковной веры, которая, по его мнению, враждебна христианству, ибо церковь не признает «заповеди непротивления злу насилием». В сентябре 1892 года Л.Н. Толстой поехал на

поезде в местность голодающих крестьян и на одной из станций встретился с поездом, везшим солдат для их усмирения. Эта встреча на железной дороге с поездом «солдат с ружьями, боевыми патронами и розгами», ехавших усмирять крестьян, с которыми он прожил «последний год работы на голоде» (28, 220), произвела на него, по мнению П.И. Бирюкова, столь же сильное впечатление, как смерть отца и бабушки, столкновение с губернатором-французом, смертная казнь в Париже и московская перепись. Под впечатлением встречи с карательным поездом Толстой писал заключительные главы, в которые вошла (XII гл.) оценка статьи В.А. Жуковского «О смертной казни». Лев Толстой был против смертной казни, он считал, что смертная казнь — это нечто непонятное и в этом смысле «невозможное». Лев Толстой был против церкви, ибо считал, что «церковь не могла быть основана Христом».

С такими взглядами и настроениями невозможно ждать иной реакции на статью В.А. Жуковского, чем она была у Л.Н. Толстого. Она еще больше укрепила писателя в правоте его отношения к церкви. В статье Жуковского Толстой нашел «яркую иллюстрацию» для подтверждения своих мыслей: «Казнь такая, какую предлагал устроить Жуковский, при которой люди испытывали бы даже, как предлагал Жуковский, религиозное умиление, была бы самым развращающим действием, которое только можно себе представить» (28, 273). На одной из рукописей на полях Толстой сделал вставку, которая не вошла в окончательный текст: «Не знаю лучшего примера... извращения христианства людьми, стоящими у власти, как записка сладкого, изнеженного христианского поэта Жуковского о том, как устроить смертную казнь в церкви. Как это будет трогательно» (28, 349). Толстому уже не надо было вникать в тонкости. Жуковский не назвал конкретное место казни, а только предлагал провести жертву «из темницы через церковь». Впечатление Толстого от статьи Жуковского было таким сильным, что в одном из вариантов «Царства Божия внутри вас», не вошедшем в окончательный текст, Толстой высказался о Жуковском с такой резкостью, с какой никогда ни о ком не высказывался. Он писал, что казнь, какую предлагал В.А. Жуковский, «была бы более развращающим действием, чем все, что только могли придумать все дьяволы, чтобы развратить род человеческий» (28, 358).

Эссе Жуковского оставило неизгладимый след в памяти Толстого. Отныне всегда, когда речь заходила о поэте, Толстой вспоминал, как «что-то ужасное», что «этот добрый человек» написал «статью о смертной казни, где предлагает, чтобы казнь совершалась в церкви!», под «пение молитвы»⁵.

XIX век не принял статью В.А. Жуковского. Она стала предметом осуждения и суровой критики со стороны Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова (см. его письмо к Толстому и повесть «Заячий ремиз»), Э.Н. Гиппиус (в 1905 году она прислала Толстому свою статью о смертной казни и письмо, в котором писала, что «слова русского писателя (В.А. Жуковского. — А. П.) превосходят по кощунству и статью Столыпина и все, что я только знаю» (79, 103). И только XX век в лице русского мыслителя И.А. Ильина поставил точки над *i*. Он один из немногих увидел в эссе «О смертной казни» мудрый и глубоко христианский опыт поэта В.А. Жуковского, который «казнил любя». Об этом Ильин писал в 1925 году в работе «О сопротивлении злу силою». Вся проблема сопротивления злу разрешается одухотворенной любовью. Есть «универсальное правило «противиться злу из любви» — из любви отдавая все

свое, где это нужно; из любви понуждая и пресекая, где нужно; из любви уговаривая, и из любви казня»⁶.

Итак, Лев Толстой, в отличие от Ф.М. Достоевского, В.А. Жуковского не любил. Романтическая муза Жуковского была Толстому глубоко чужда, не вызывала в его душе никакого отклика, разве что в молодости. В.Г. Белинский оказался прав, когда писал, что «произведения Жуковского не могут восхищать всех и каждого во всякий возраст: они внятно говорят душе и сердцу в известный возраст жизни или в известном расположении духа»⁷. Толстой, очевидно, очень быстро миновал этот «известный возраст жизни», когда поэзия В.А. Жуковского могла влиять на его душу и сердце. «Известное расположение духа» только однажды помогло Толстому, и возвышенный дух «Певца во стане русских воинов» стал частью внутреннего мира писателя в период работы над «Войной и миром». Да и то дело не обошлось без полемики. Истоки не любви Толстого к поэту были заложены, вероятно, еще в молодости, в неприязни к той среде, в которой существовал культ Жуковского и в которую Толстой окунулся в Москве, Петербурге и за границей после Крымской войны. В эти годы В.А. Жуковского уже не было в живых, но в России оставались его блистательные друзья Карамзины, Блудовы, А.О. Смирнова-Россет, гр. А.А. Толстая, ее мать гр. П.В. Толстая и др., в которых Толстой был глубоко разочарован и крайне резко высказался о них в дневнике. «Обедал у Блудова. Скучно» (47, 69). В 1857 году в Бадене Толстой познакомился со Смирновой-Россет: «Она болтала много, более дурного *genie** я не видал» или: «Обедал у Смирновой. Ничего не остается ни в уме, ни в памяти» (47, 147). Уже более обобщенные, но не менее уничижительные характеристики кругу друзей В.А. Жуковского читаем в черновых вариантах к «Анне Карениной», которые выглядят в интересующем нас плане ярче и выразительнее, чем окончательный текст. «После графини Лидии Ивановны приехала кузина Алексея Александровича, старая девушка, унылая и скучная, но торжественная, потому что она знала Жуковского и Мойера» (20, 193). Или: «Были друзья Алексея Александровича и его сестры, в особенности дамы того высшего Петербургского Православно-Хомяковско-добродетельно-придворно-Жуковско-Христианского направления, которые старались защитить его и выставить истинным христианином, подставившим левую, когда его били по правой» (20, 370–371). Кстати, такое отношение совсем не затрагивало гр. А.А. Толстую и ее мать, гр. П.В. Толстую, хорошо знавших и боготворивших Жуковского. К А.А. Толстой Толстой обратился в 1878 году за материалом о гр. В.А. Перовском, лучшем друге Жуковского. Собирая материал о Перовском, Толстой начал изучать биографию поэта, так как он «уяснил для себя очень важную мысль», что «люди могут выражать собой целую эпоху». Он понял, что три фигуры «à grands traits»** того времени: Перовский, Жуковский, «тонкий, мелкой работы, нежный характер», и Николай I вместе с декабристами «выражают вполне то время» (62, 383).

Записные книжки Толстого за декабрь 1877 — январь 1879 годов стали заполняться записями о поэте: «Бука собачка Жуковского» (17, 451), «Биография Жуковского» (17, 456), «Жуковский. Разгар войны литературной» (17, 548) и др.

* тона (фр.).

** крупных размеров (фр.).

Конкретизировать круг чтения Толстого о Жуковском в этот период невозможно. В эти времена Толстой был завален материалами о декабристах: письма, дневники, воспоминания, рукописи, архивные дела, периодическая литература, в том числе «Русский архив» и «Русская старина», где много печаталось материалов и о Жуковском. В библиотеке Л.Н. Толстого сохранились лишь поздние юбилейные монографии о Жуковском крупнейшего филолога XIX века А.Н. Веселовского: «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения» (СПб., 1902) и «В.А. Жуковский» (1902), которые Толстой не читал (книги не разрезаны).

Несмотря на разницу в возрасте — разрыв в одно поколение, в жизни Жуковского и Толстого есть много общего. Оба родились на любезной тульской земле. Оба росли без отцовского пригляда и были воспитаны женщинами. И Жуковский, и Толстой воспитывались под общим влиянием французской литературы XVIII века. В их среде господствовал дух Руссо, оба под влиянием руссоизма увлекались самоанализом и самосовершенствованием. Оба еще в молодости открыли в себе сильную потребность самовыражения через литературу. Оба глубоко увлекались перспективой образования и совершенствования. Монархист по убеждениям, Жуковский верил в добрую волю просвещенного монарха и возможность преобразования общества путем духовного совершенствования царя, он пятнадцать лет возглавлял обучение наследника престола, отсюда его слова, что для России большое значение имеет «история царской души». А Толстой, политические взгляды которого не укладываются в рамки ни одного течения, верил в нравственное совершенствование всех: и царей и народа. И учил крестьянских детей грамоте в надежде спасти «тонущих там Ломоносовых и Пушкиных». Оба прожили долгую, внешне благополучную жизнь.

Главное их отличие друг от друга не столько в их принадлежности к разным эпохам, сколько в их мировоззрении, миропонимании и вере. Православный верующий Жуковский и нецерковный религиозный мыслитель Толстой. Если Жуковский воспринял православную веру как истину и прожил всю жизнь добрым христианином, Толстой долго и мучительно шел к истине, искал ее в вере, в литературе, в жизни... до самых последних минут. И так и остался для себя и для нас вечно ищущим истину и вечно мятущимся человеком, у которого, по словам И.С. Тургенева, всегда «гончие под черепом гоняли до изнеможения». Слишком разные характеры. Жуковский — «небесная душа», по словам А.С. Пушкина, и Толстой — «человек из породы Вольтеров и Герценов», по словам В.В. Стасова. Художественный мир Жуковского, волшебный мир вымысла и фантазии, в котором веют бесплотные тени, открылся Достоевскому, но не Толстому.

После духовного переворота Толстой смотрел на все глазами народа. От чего отворачивался народ, от того отворачивался и он. «Народ не берет нашей пищи: Жуковского и Пушкина, и Тургенева — значит пища — не скажу дурная, но не существенная» (25, 528). Если творческое наследие поэта Лев Толстой признавал «несущественным», то он не мог не оценить его человеческие достоинства. Безграничная доброта, мягкость характера, утонченность и высоконравственность, трудолюбие, щедрость и ум снискали Жуковскому славу как одному из самых замечательных людей своего времени. Толстой, признавая это, считал, что о Жуковском сохранится память только как «о добром, гуманном, обязательном человеке», а слава его сочинений

не переживет его самого⁸. *Habent sua fata libelli**. Слава сочинений Жуковского не зависит даже от мнения великого Льва Толстого.

Вместо заключения скажем, что творчество В.А. Жуковского дало многообразный материал для творческого импульса А.Н. Толстого, многие годы не выходило из круга его интересов. Писателя и поэта волновали одни и те же проблемы: история и философия, педагогика и самосовершенствование, теология, вера, церковь, проблемы смертной казни и возмездия, добра и зла, истины и смысла жизни. В своих размышлениях об основных вопросах бытия Толстой не нашел в Жуковском близкого по духу единомышленника и идейного союзника, не воспринял своеобразного художественного мира поэта.

¹ В.А. Жуковский. Полное собр. соч.: В 3 т. М., 1980. Т. II. С. 410–411.

² Русанов Г.А., Русанов А.Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1972. С. 88.

³ Пузин Н.П., Архангельская Т.Н. Вокруг Толстого. Тула, 1988. С. 25.

⁴ *Летописи*. С. 166.

⁵ *Гусев*. С. 112.

⁶ Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 85.

⁷ Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. VI. С. 182.

⁸ Русанов Г.А., Русанов А.Г. Указ. соч. С. 32.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Большинство тех, кому когда-либо выпало счастье увидеть толстовский музей в Ясной Поляне, особенно запоминает обилие книг почти в каждой комнате дома. Их присутствие придает дому особый уют: здесь и старинные кожаные фолианты XVII—XVIII веков — сохранившаяся часть дедовской библиотеки князей Волконских, и многотомные собрания сочинений Бюффона и Кювье из библиотеки отца, графа Николая Ильича Толстого, и разнообразные по внешнему виду и тематике книги, служившие Толстому материалами в работе над «Войной и миром», «Хаджи-Муратом», религиозно-философскими трактатами и педагогическими статьями, незавершенными романами из эпохи Петра I и декабристов. Энциклопедии, справочники, географические атласы, сборники фольклора, учебники... Всего 22 тысячи книг и журналов на 35 языках.

Известно, как много в течение всей жизни читал Толстой. В 1891 году, по просьбе издателя М. Ледерле, он составил список (далеко неполный) тех книг, которые оказали на него наибольшее влияние в разные периоды жизни, в раннем детстве и от 14 до 63 лет. В этом списке русские былины и народные сказки, «Сентиментальное путешествие» Стерна и «Исповедь» Руссо, «Шинель» Гоголя и «Записки охотника» Тургенева, «Одиссея» и «Илиада» Гомера, «Отверженные» Гюго, «Мысли» Паскаля, стихотворения Фета, Кольцова, Тютчева, — всего около пятидесяти названий. Толстой любил повторять изречение американского писателя и философа Генри Торо: «Читайте прежде всего лучшие книги, а то вы и вовсе не успеете их прочесть». Прочитанное он, как правило, запоминал на всю жизнь. Например, познакомившись в ранней юности с «Евгением Онегиным», Толстой до старости помнил не только сам роман, но и ту обстановку прекрасной соловьиной ночи, когда дважды за ночь он перечитал Пушкина.

Очень многие мемуаристы вспоминают о существовавшей в доме Толстых традиции семейного чтения, ныне повсеместно и прочно забытой, когда после дневных трудов семья собиралась в зале и при свете керосиновой лампы под уютным абажуром Толстой или кто-нибудь из домашних читал вслух рассказы Чехова, Горького, Куприна. Книги этих авторов и сейчас стоят на полках яснополянской библиотеки и хранят на своих страницах множество толстовских помет и оценок.

Особую часть толстовской библиотеки, довольно большую по объему, составляют книги с автографами, подаренные Толстому авторами, русскими и зарубежными. Среди книг на русском языке таких более тысячи — с надписями писателей, ученых,

философов, общественных деятелей, переводчиков, издателей. Представлены поэты и писатели разных возрастов и направлений: С. Аксаков, Г. Данилевский, А. Фет, Я. Полонский, А. Жемчужников, А. Эртель, В. Гиляровский, В. Короленко, П. Гнедич, М. Горький, А. Серафимович, К. Бальмонт, И. Бунин, Л. Андреев, С. Елпатьевский, Е. Чириков, Ив. Щеглов, Н. Телешов, А. Амфитеатров, С. Кондурушкин, А. Федоров, И. Белоусов, Д. Раттауз, П. Засодимский, Б. Садовской, Игорь Северянин, Федор Сологуб.

Не менее широк круг имен философов, ученых и общественных деятелей, многие из которых были гостями Льва Толстого в Ясной Поляне. Это В. Соловьев, Н. Морозов, А. Кони, Н. Страхов, Н. Грот, Б. Чичерин, И. Мечников, К. Тимирязев, Н. Бутаев, А. Бекетов, А. Волинский, Л. Шестов, С. Булгаков.

Иногда надписи на подаренных книгах совсем краткие, например, на книге Артура Шопенгауэра «О четвертом корне закона достаточного основания», которую перевел поэт и друг Толстого Афанасий Фет: «Графу Льву Николаевичу Толстому от старинного его почитателя. Как бы далеко ни расходились оконечности змеи истины, если она живая, то непременно укусит свой хвост. Переводчик». А на книге В. Гиляровского «Были. 1893—1908» целое послание автора. На титульном листе четверостишие: «Здесь все: тревоги и мечтанья. Порывы славных, бурных дней. Народа горькие страдания, И беды юности моей». Весь шмуцтитул занимает надпись автора: «Дорогой Лев Николаевич! 28 августа я хотел Вам послать телеграмму — и не послал. Сел писать Вам письмо: вышел рассказ «Песня». 30 августа я напечатал ее в «Рус. Слове», а в октябре закончил им эту книжку «Были». Были у меня хорошие минуты, когда я бывал у Вас в Москве, когда ходил с Вами на Чеховский вечер, когда... И много этих незабвенных когда... И в память этого примите мои «Были». Это кусочки моей жизни. Примите и все наилучшие мои к Вам чувства. Вл. Гиляровский. 15 ноябр. 1908 г. Москва».

Из огромного списка дарителей мы возьмем наугад несколько имен, за каждым из которых своя история. Иногда это дружеские отношения с Толстым в течение всей долгой жизни, как в случае с Я. Полонским и А. Жемчужниковым, или курьезная история «любви» Толстого к поэту Д. Раттаузу, или мимолетное впечатление от прочитанного, вызвавшее критические размышления, как в истории со стихотворением Игоря Северянина.

1. «Один из родственных по сердцу людей»

«Вы мне не только старый знакомый, но — надеюсь, что это взаимно — но один из родственных по сердцу людей и как человек и как поэт.

Я уверен, что если мы проживем Мафусаиловы года, то, встретившись через сотню лет, мы оба просияем от удовольствия и встретимся всегда как близкие люди» (62, 291), — так в 1876 году писал Лев Николаевич Толстой поэту Якову Петровичу Полонскому (1819—1898).

21 год прошел с того дня, когда Толстой, еще не снявший офицерского мундира, приехал в Петербург, поселился на квартире И.С. Тургенева и в короткое время перепознакомился со многими литераторами, среди которых был и Я.П. Полонский.

Общие друзья, один литературный круг, но близкие отношения между Полонским и Толстым тогда не установились. Полонский старше на 9 лет, только что в Петербурге вышел сборник его стихотворений, первый в столице, хотя печатается поэт давно — его первое стихотворение появилось еще в 1840 году в «Отечественных записках». Писал он и прозу — в седьмом номере «Современника» за 1853 год напечатан рассказ «Тифлиссские сакли». Летом 1853 года Толстой жил на Кавказе, в станице Старогладковской, работал над «Отрочеством» и отметил в дневнике чтение этого номера: «Читал новый, весьма плохой Современник» (46, 183).

Сближение произошло позже, летом 1857 года, когда они встретились за границей, в Баден-Бадене. Полонский жил здесь губернатором в семье известной А.О. Смирновой (Россет). Толстой приехал в Баден-Баден 24 июля 1857 года, пробыл чуть больше недели, в первый же день приезда записал в дневник: «Полонский добр и мил, но я не думал о нем, все бегал в рулетку» (47, 147). Неделью Толстой не мог оторваться от игры и «проигрался в пух». В промежутках между рулеткой Толстой путешествовал с Полонским по окрестностям, блуждал вместе с ним лунной ночью по развалинам, музицировал. Яков Петрович сочинил тогда под воздействием сыгранного Толстым романса Ф. Шуберта (на слова Г. Гейне) «Двойник» стихотворение под тем же названием и послал его Толстому. «Мы с ним, т. е. Толстым, сошлись, как родные братья»¹. Бедный Полонский, «вечный раб безденежья», помог раздобыть Льву Николаевичу 200 франков, которые тут же были проиграны. Выручил приехавший Тургенев, и Толстой тотчас уехал в Россию.

В Баден-Бадене Полонский принял решение оставить службу «губернатора», заодно оставить на некоторое время и литературные занятия и уехать в Женеву, чтобы серьезно учиться живописи. В эту трудную минуту выбора Толстой поддержал его морально. Полонский писал тогда близкому другу: «...С меня как будто цепи спали. Что-то ликующее наполнило мою душу, и ночь на развалинах, проведенная с Толстым, показалась мне в 1000 раз прекрасней»².

По словам Полонского, время, проведенное в Женеве, было самым счастливым в его жизни. «Живопись — или пристрастие к кистям и палитре спасло меня и от учительства и от вынужденного нуждой губернаторства». Живопись осталась пристрастием Полонского до конца его дней. Вернувшись в 1858 году в Петербург, Полонский вскоре получил место секретаря в Комитете иностранной цензуры, где прослужил несколько десятков лет. С Толстым он не переписывался, и только в 1876 году, передавая через Н.Н. Страхова Толстому письмо с просьбой посодействовать переводчице «Семейного счастья» И. Паскевич, вспомнил о давней встрече в Баден-Бадене: «Много воды утекло с тех пор, как мы с Вами в последний раз виделись, но я никогда не забуду ни Баден-Бадена, ни его окрестностей, ни рулетки, ни Вашего деревенского холстинного мешка с деньгами, ни нашей беседы о «Двух гусарах», ни старого замка на горе, ни даже той лисицы, которая заставила Вас выскочить из коляски и броситься за ней с палкой под гору в лес...»³

Ответом на это письмо Полонского и были те прекрасные слова Толстого, которые процитированы в самом начале. Значит, два десятка лет в душе Толстого живо было воспоминание о давних молодых отношениях с Полонским. Еще через двадцать лет, в 1898 году, Толстой пишет: «Я всегда, как полюбил вас, когда узнал,

так и продолжал любить» (71, 349). Но любовные, братские отношения друг к другу ни Полонский, ни Толстой не переносили на отношение к творчеству. Здесь они не сходились почти ни в чем. Только дважды Толстой дал высокую оценку стихам Полонского. Первый раз в 1877 году, когда Н.Н. Страхов в письме к Толстому привел посвященное ему, Н.Н. Страхову, стихотворение «Вечная ткань»: «Стихи Полонского *прелестны* (курсив Толстого. — Л. Д.), я это совершенно искренно говорю» (62, 318). В сборниках, вышедших после революции, оно не печаталось, и есть смысл привести его целиком.

Вечная ткань

Ткань природы мировая —
Риза Божья, может быть.
В этой ризе я — живая,
Я — непорванная нить.
Нить идет, трепещет, бьется
И уж если оборвется,
Никакие мудрецы
Не сведут ее концы:
Вечный ткач их так запрячет,
Что (пускай кто хочет плачет!)
Нити порванной опять
Не найти и не связать.
Нити рвутся беспрестанно —
Скоро, скоро мой черед! —
Ткач же вечный неустанно
Ткань звездистую ведет,
И выводит он узоры,
Голубые волны, горы,
Реки, пажити, леса,
Облака и небеса.
И мудрец куда ни взглянет, —
Ни прорехи, ни узла нет;
Светозарна и ровна
Божьей ризы тонина.

Надо думать, что не столько поэтические достоинства пленили Толстого (здесь мало лиризма, музыкальности, живописности, которыми отмечены наиболее типичные стихотворения Полонского), сколько совпадение размышлений поэта с размышлениями самого Толстого о божестве. Тогда же в письме к А. Фету Толстой еще раз вспомнит стихотворение «Вечная ткань» (назвав его «Вечный ткач») — «...но какое милое стихотворение Полонского». Выше Толстой писал и продолжил: «Вы в первый раз говорите мне о божестве — Боге! А я давно уж, не переставая, думаю об этой главной задаче... Во все века лучшие — то есть настоящие люди думали об этом» (62, 320).

Второй положительный отзыв Толстого относится к стихотворению «Детство», открывающему последний поэтический сборник Полонского «Вечерний звон. Стихи 1887—1890» (СПб., 1890) с дарственной надписью «Графу Льву Николаевичу Толстому. Я. Полонский», присланный автором в Ясную Поляну.

За этот сборник Академия наук присудила Полонскому Пушкинскую премию.

Скромная книжка в мягкой обложке, на обложке название и рисунок Н. Каравина — пейзаж с церковью вдали, летящие ласточки... Имени автора на обложке нет. Открывается сборник посвящением «Всем тем, кто принимал участие в праздновании 50-летнего юбилея литературной деятельности Я.П. Полонского». По свойственной Полонскому скромности он не хотел отмечать юбилея, но общественность воспротивилась. Н.Н. Страхов дал Толстому отчет об этом празднике, отмечавшемся 10 апреля 1887 года: «Полонского на его юбилей поэт Минаев назвал *маститым юношей* (курсив Н. Страхова. — Л. Д.); это очень верно. Юбилей был очень удачен, т. е. не шумен, а весел, теплою веселостью. Меня подбивали написать Вам, чтобы и Вы прислали поздравление. Но мне все время было не по себе, и на самый юбилей я пошел больной. Поэтому простите мне нерасторопность; а Полонский к тому же в горе: он потерял *Ваше письмо* (курсив Н. Страхова. — Л. Д.), которым очень дорожил и гордился»⁴.

Трудно сказать, о каком письме идет речь. Толстовских писем, адресованных Полонскому между ноябрем 1876 и февралем 1891 года, нет. В промежутке между 1881 и 1884 годами было три личных встречи. Летом 1881 года в Спасском у Тургенева, когда беседа втроем затянулась до 3-х часов пополудни, — об этом сам Полонский оставил очень интересные воспоминания. И еще дважды весной 1884 года, когда Полонский приходил к Толстому в Москве в Хамовнический дом. Об этом визите вспоминает Илья Львович Толстой. Лев Николаевич записал тогда в дневнике: «Вот дитя бедное и старое, безнадёжное. Ему надо верить, что подбирать рифмы серьезное дело. Как много таких» (49, 89).

Больше они не встречались. Полонский резко отрицательно отнесся к опубликованному за границей трактату Толстого «Царство Божие внутри вас» и в 1895 году напечатал критическую статью «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л.Н. Толстого», выпустив ее в следующем году отдельной брошюрой. Собираясь напечатать столь же резкую статью по поводу работы Толстого «Что такое искусство?», но потом, по совету друзей, смягчил.

Получив в феврале 1891 года книгу Полонского «Вечерний звон», Толстой написал ему: «Благодарю Вас за книгу и за дружеское письмо, дорогой Яков Петрович. Я прочел книгу, и больше всего — очень мне понравилось первое стихотворение «Детство» (65, 259).

Книга разрезана вся, но это мог сделать сам автор, в тексте есть аккуратная авторская правка черными чернилами. Например, в стихотворении «Стансы» в первой строфе слово «одна» поправлено на «одно» и поставлено тире после слова «сохранит». Мысль, выраженная в этой строфе, совпадает с любимым девизом Полонского: «Все, что человечно, то и божественно».

Не нужны Божьим небесам
Явления призрачные... Вечность

Одно спасет и сохранит —
Божественную человечность.

Толстой безошибочно выделил во всем сборнике одно стихотворение как самое близкое по духу. Это же стихотворение особенно выделено и в статье Вл. Соловьева, посвященной Полонскому: «В позднейших произведениях Полонского явственно звучит религиозный мотив, если не как положительная уверенность, то как стремление и готовность к вере: «Блажен, кому дано два слуха — кто и церковный слышит звон, и слышит вещей голос духа...». Независимо от стремления к положительной религии Полонский в своих последних произведениях заглядывает в самые коренные вопросы бытия. Так, его поэтическому сознанию становится ясною тайна *времени* (курсив Вл. Соловьева. — Л. Д.) — та истина, что время не есть создание нового по существу содержания, а только перестановка в разные положения одного и того же существенного смысла жизни, который сам по себе есть вечность (стихотворение «Аллегория», яснее — в стихотворении «То в темную бездну» и всего яснее и живее — в стихотворении «Детство»)⁵.

Детство нежное, пугливое,
Безмятежно-шаловливое —
В самый холод вешних дней
Лаской матери пригретое,
И навеки мной отпетое
В дни безумства и страстей...

В «Воспоминаниях» Полонский писал о собственном детстве: «Никто не может быть свидетелем нашего раннего детства, если под словом «детство» разуместь внутренний мир ребенка, или те силы, из которых слагается весь будущий нравственный строй, или склад его ума...»

И думается, его великий современник Лев Толстой, для которого детские воспоминания определили очень многое в жизни, мог бы подписаться под словами своего старого друга, «одного из родственных по сердцу людей», Якова Петровича Полонского: «Так, я уверен, что если бы в ребячестве своем я кого-нибудь ненавидел, это бы отозвалось в душе моей и в юные годы, и в моей преклонной старости, и на всех моих произведениях»⁶.

2. «Милый друг Алексей Михайлович»

«Милый друг Алексей Михайлович», — так неизменно обращался в письмах Лев Николаевич Толстой к поэту Алексею Михайловичу Жемчужникову (1821—1908). Толстой мало с кем в своей жизни был на «ты» (два-три человека, не больше). Одним из таких людей стал Жемчужников. В разговорах с близкими Толстой любил вспоминать его «прекрасные персидские глаза».

С Алексеем Жемчужниковым молодой Толстой познакомился в Петербурге в декабре 1855 года и тогда же коротко сошелся с ним. Прочным приятельским отношениям способствовал искренний и честный характер Жемчужникова. В старости, вспоминая своего покойного друга, Толстой скажет, что особенно ценил в нем одну черту: «Он никогда не чувствовал зависти к другим».

Все братья Жемчужниковы были людьми одаренными, двое из четверых, Алексей и Владимир, вместе со своим кузеном Алексеем Константиновичем Толстым, стали создателями Козьмы Пруtkова. Впрочем, и Александр принимал в этом участие, а Лев, художник, был одним из тех, кто придумал и нарисовал портрет Пруtkова. В их кружке «царила атмосфера веселого, непринужденного сочинительства», и молодой Лев Толстой, живя в Петербурге, часто встречался с Жемчужниковыми.

Прошло почти десять лет, и Алексей Жемчужников стал первым слушателем «Войны и мира», главы романа автор читал ему и Ивану Аксакову в Москве в 1864 году.

А потом жизнь надолго развела их. Жемчужников, выйдя в отставку (он служил по ведомству министерства юстиции), женился на Елизавете Алексеевне Дьяковой, сестре друга молодости Толстого Дмитрия Дьякова, покинул Петербург, некоторое время жил в Калуге и Москве, а потом за границей — в Германии, Швейцарии, Италии, на юге Франции, и вернулся в Россию только в 1884 году.

Сам Жемчужников делил свою жизнь на два периода: до отставки в 1858 году и после отставки. Он писал в «Автобиографическом очерке», что в первом периоде жизни убил много времени даром, что жизнь чувственная часто преобладала совершенно над духовною, и не столько служба, сколько светская жизнь нередко засасывала его, как болото. В первый период своей жизни Жемчужников писал мало (исключая коллективное творчество под именем Козьмы Пруtkова), писал в разных жанрах — стихи, проза, статьи, пьеса в стихах «Фантазия». Последнюю вспомнил Л.Н. Толстой в разговоре с близкими в 1908 году. Эта пьеса была написана совместно с А.К. Толстым и поставлена в 1851 году в Александринском театре. Лев Толстой вспомнил, что на премьере был Николай I, который ушел, не дождавшись конца представления. На следующий день пьеса была запрещена к исполнению. Л.Толстой весьма неслестно о ней отзывался («невообразимая чепуха»). Сам он в 1851 году в Петербурге не был, историю со скандальной премьерой вполне мог слышать и от авторов, а пьеса неоднократно печаталась в сочинениях Козьмы Пруtkова.

Возвращение Жемчужникова в Россию совпало с творческим подъемом, хотя по-прежнему, несмотря на то, что ему исполнилось уже 70 лет, у него не вышло ни одного сборника стихотворений. Стихи были рассеяны по разным журналам. Наконец, в 1892 году он издает двухтомник и объясняет долгие колебания по поводу издания сборника: «Я никогда не был популярен... Несколь­ко последних лет я был в постоянной нерешительности. Мне все хотелось написать еще что-нибудь получше прежнего, и я не терял надежды, что это исполню. Теперь издаю полное собрание моих стихотворений, но не потому, что надежда исполнилась, а потому, что наконец — пора! В мои лета откладывать исполнение чего-либо на будущее время — не приходится»⁷. Несколько ранее Жемчужников посылает Толстому свою поэму, опубликованную в «Вестнике Европы» № 1, 1891, «Загробная тоска» с посвящением Толстому. Содержание поэмы противоположно заглавию и, пожалуй, совпадает с мыслью, звучащей в посвящении:

Ты душой суровой разлюбил
Красу земного бытия
И строго мудствуешь, готовый

С себя совлечь его оковы,
Но не таков далеко я.
Я жизнь люблю любовью страстной.

Толстой согласился на посвящение поэмы, но был в недоумении от содержания, о чем и написал Жемчужникову: «Вчера получил твою поэму и прочел ее сначала про себя, а потом вслух — домашним.

Картина семейной жизни очень милая и описание прекрасное, но мысль поэмы для меня почти непонятна: как мысль о смерти, стоящей так уже близко от нас с тобой по нашим годам, не вызывает в тебе мыслей другого порядка? Впрочем, то хорошо, что все люди разны по своему взгляду на мир — каждый смотрит с своей особенной точки зрения» (65, 186).

Последний прижизненный поэтический сборник Жемчужникова «Песни старости. 1892—1898» (СПб., 1900 г.) автор прислал в Ясную Поляну. На шмуцтитуле книги надпись: «Моему дорогому глубокоуважаемому другу гр. Льву Николаевичу Толстому на добрую память от Алексея Жемчужникова. 10 февраля 1900 г. С. Петербург».

Как раз в этот день, 10 февраля 1900 года на квартире Жемчужникова в Петербурге было зачитано письмо Льва Толстого, потом пересказанное во всех газетных отчетах о праздновании юбилея Жемчужникова — 50-летия его литературной деятельности.

«Любезный и дорогой друг Алексей Михайлович,

Очень радуюсь случаю напомнить тебе о себе сердечным поздравлением с твоей твердой и благородной 50-летней литературной деятельностью.

Поздравляя себя с тоже почти 50-летней с тобой дружбой, которая никогда ничем не нарушалась.

Любящий тебя друг Л. Толстой» (72, 302).

Это письмо, по признанию Жемчужникова, придало ему смелости подарить Л. Толстому свою книгу с автографом. Посылая книгу, Жемчужников хорошо сознавал, что содержание ее не только чуждо Толстому, но в какой-то мере полемически направлено против мироощущения позднего Толстого. В стихах Жемчужникова нет следов страха смерти, размышлений о том, что ждет его там, «за гранью дней земных». По признанию поэта, именно в последние годы жизни он чувствовал себя преисполненным жизненных ощущений и желаний.

О, песни старости — завет предсмертных дум
И трепет радостный души еще живучей!..
Так осенью нам лес дарит последний шум,
И листьев в воздухе играет рой летучий.

В этих строках, предпосланных вместо эпиграфа сборнику «Песни старости», звучит «радостный трепет души», так характерный для цветущей бодрой старости 80-летнего поэта. В своем дневнике Жемчужников записал: «Есть люди, принесшие к своей могиле пыль и грязь пройденного ими пути. Есть люди, достигшие старости, которые ничем эту старость не обогатили: ни дурным, ни хорошим. Они похожи на какие-то зеркала, в которых жизнь отражается мгновенно и по миновении не оставляет после себя никакого следа. Есть люди в старости такие, что в них видится и чувствуется

отражение перенесенных ими впечатлений, совершенно независимо от желания высказать эти впечатления. Они, так сказать, изборозжены следами жизни. Эти люди приближаются к могиле полные дум и чувств»⁸.

Так случилось, что мотивы этой дневниковой записи звучат и в последнем законченном стихотворении Жемчужникова, написанном им незадолго до смерти и посвященном Льву Толстому. Стихотворение, датированное 5 марта 1908 года (скончался Жемчужников 25 марта), было найдено среди бумаг на письменном столе поэта. Оно имело подзаголовок «На 28 августа 1908 года» и было впервые напечатано в «Вестнике Европы» № 9, 1908 г. с редакционным примечанием: «Покойный Алексей Михайлович, можно подумать, как бы в предчувствии близкой смерти и как бы желая, чтобы и его голос раздался, во всяком случае, среди приветствий Льву Николаевичу в день достижения им восьмидесятилетия жизни (родился 28 августа 1828 г.), весьма заблаговременно написал свой привет юбиляру, но хотел, конечно, сначала представить ему настоящее стихотворение в рукописи и только уже после этого поместить его в печати. Как мы знаем, семья покойного так и распорядилась»⁹.

Толстой прочел это стихотворение и на вопрос о впечатлении ответил: «По крайней мере, глупостей нет». Но в поэтическом даровании автору по-прежнему отказал. Свидетельство одного из мемуаристов, А. Гольденвейзера, о том, что Лев Николаевич, прочитав это стихотворение в «Вестнике Европы», «умилялся им», конечно же, относится не к поэтическим достоинствам стихотворения, а к имени и памяти покойного друга. Подтверждение этому найдем в записках доктора Маковицкого от 28 марта 1908 года, где он передает слова Толстого, получившего известие о смерти поэта: «Умер хороший друг Жемчужников (86 лет). Поэт — не особенный, но хороший человек. Хотя естественно умирать... — не досказал, по выражению лица, глаз видно было, что ему жалко»¹⁰.

Известно, как строго судил поэтов Толстой, считая, что если среди прозаиков, современных ему, есть выдающиеся таланты, то время поэзии прошло. Все-таки в отношении поэзии Жемчужникова, думается, Лев Николаевич слишком строг. Ближе к истине другой современник поэта, Иван Бунин, написавший в статье, посвященной 50-летию литературной деятельности Алексея Михайловича Жемчужникова, о том, что «драгоценные качества всякой поэзии — искренность, правдивость и честность — являются особенно яркими у Жемчужникова и ставят его наряду с нашими лучшими и выдающимися писателями, хотя другими сторонами своего творчества он и уступает им во многом»¹¹.

3. «Интуитивные краски»

В библиотеке Толстого можно найти книги с автографами, которые, казалось бы, ни при каких условиях не могли рассчитывать на внимание к ним со стороны великого писателя. Но жизнь яснополянского дома была погружена в такой круговорот людей и событий, что иногда случай (частенько в лице кого-нибудь из гостей) выносил на поверхность самые неожиданные имена. Так случилось с именем Игоря Васильевича Лотарева (1887—1941), который писал под псевдонимом Игорь Северянин. Один из гостей, посетивших Ясную Поляну в январе 1910 года, Иван Федорович Наживин, единомышленник Толстого, оставил воспоминания о том, как в зале яснополянского дома читались стихи Северянина и какую реакцию вызвали они у А.Н. Толстого.

Толстой в последние годы жизни особенно часто говорил о своем отношении к «стихотворству», находя это занятие глупым суеверием, даже когда стихи хорошие, а уж у «теперешних» — самым праздным, бесполезным и смешным занятием.

Прочитав в 1909 году журнал со стихами семи поэтов, в числе которых были В. Брюсов, Э. Гиппиус, Ф. Сологуб, А. Белый и другие, Толстой записал: «Без преувеличения: дом сумасшедших...» (57, 154).

И тем не менее именно Толстому прислал Игорь Северянин свой первый стихотворный сборник «Зарницы мысли», вышедший в Петербурге в 1908 году. На тоненьком, всего в восемь страниц, сборнике в бумажной зеленой, уже выцветшей от времени обложке, зелеными чернилами, четким округлым почерком написано: «Океану — капля. Льву Николаевичу Толстому. Игорь Северянин». На первой странице сборника напечатано посвящение Толстому.

Океану — капля
(Посвящается Льву Толстому)

Сын мира — он, и мира он — отец.
Гигантское светило правды славной.
Литературы властелин державный.
Мыслей — скрижалей разума — певец.
Он мыслю, как бичом, вселенную рассек.
Мир съежился принижен, в изумленьи.
Бичуя мир, он шлет ему прощенье.
Он — человек, как лев. Он — лев, как человек.

1907

И с этого времени все свои сборники (за редким исключением) Северянин адресовал в Ясную Поляну, но уже без автографа и посвящений. Таким образом в библиотеке Толстого оказалось 11 сборников поэта, выходивших в Петербурге в 1908—1910 годы: «Сирень моей весны», 1908; «Лазоревые дали», 1908; «Лунные тени», 1908; «Злата», 1908; «За струнной изгородью лиры», 1909; «Это было так недавно...», 1909; «Колье принцессы», 1910; «Предгрозье», 1910; «А сад весной благоухает», 1909; «Интуитивные краски», 1909. Тираж каждого — 100 экземпляров.

В тот январский вечер в руках у кого-то из близких писателя оказался как раз последний сборник — «Интуитивные краски». Чтение развеселило присутствующих и вызвало самые разные комментарии. Зять Толстого, М.С. Сухотин, услышав стихотворение «Весна», которое начиналось строфой «Вечер спал, и ночь на сене уж расчесывала кудри, одуванчики, все в пудре, помышляли об измене», заметил, что это пишет городской человек, — какое же сено весной. Лев Николаевич много смеялся, особенно веселились, слушая «Хабанеру»:

Вонзите штопор в упругость пробки, —
И взоры женщин не будут робки...
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки...
Плесните в чаши янтарь муската

И созерцайте цвета заката...
 Раскрасьте мысли в цвета заката...
 И ждите, ждите любви раската!..
 Ловите женщин, теряйте мысли...
 Счет поцелуям — пойдя, исчисли!..
 А к поцелуям финал причисли, —
 И будет счастье в удобном смысле!..

Скоро, однако, Лев Николаевич омрачился. «Чем занимаются! Чем занимаются! — вздохнул он. — Это литература! Вокруг — виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них упругость пробки!» И Толстой стал говорить о том, что составляло «тайный трагизм» его жизни, о социальном неравенстве, о тяжелой жизни тех, кто работает на заводе и на земле. Вот чем должен заниматься художник: нужно показывать тяжелое положение рабочих, полную нужды крестьянскую жизнь, пусть все это видят, пусть поймут, на чем держится праздная жизнь! Надо обращаться к трудящимся людям, для них работать. И в качестве примера Толстой вспомнил своего любимого художника Н.В. Орлова (фотографии его работ и сейчас украшают последний кабинет писателя). А в заключение Толстой сказал: «Сегодня утром встану и засмотрелся на никелированную спинку кровати: как все это блестит, как чисто, как удобно, а что мы знаем о том, какими трудами все это достигнуто? Ничего. И надо кричать об этом, кричать, а они — «упругость пробки»!»¹²

Вот какие размышления вызвало у Льва Николаевича одно услышанное стихотворение Северянина. Последний сборник Игоря Северянина, хранящийся в яснополянской библиотеке, — «Предгрозье», заканчивается стихотворением «Мои похороны», под которым стоит дата «сентябрь 1910 года».

Меня положат в гроб фарфоровый
 На ткань снежинок яблоневых,
 И похоронят (...как Суворова...)
 Меня, новейшего из новых.

 Всем будет весело и солнечно
 Осветит лица милосердье...
 И светозарно-ореолочно
 Согреет всех мое бессмертье!

Толстому оставалось жить чуть больше месяца. Северянин переживет его на тридцать лет, и поздние стихи Игоря Северянина будут прекрасные, простые и грустные, и в них не будет ничего от манерности и дешевых «изысков» раннего северянинского творчества.

4. «Любимый» поэт Льва Толстого

Романсы, написанные на стихи Д. Ратгауза, были очень популярны в России в конце XIX — начале XX века. Кто не помнит, например, романсы П. Чайковского на стихи Ратгауза «Мы сидели с тобой у заснувшей реки», «Закатилось солнце, заиграли краски», «Снова, как прежде, один». Свояченица Толстого, Татьяна Андреевна

Кузминская, не раз пела их в яснополянском зале, хвалила Льву Николаевичу стихотворения Ратгауза. Музыка Толстому нравилась, стихи же он находил довольно пошлыми и восторгов по поводу них разделить не мог.

Между тем Даниил Максимович Ратгауз (1868—1937) не сидел сложа руки, дожидаясь, когда всероссийская слава сама пожалует к нему. Выпустив в 1893 году в Киеве первый сборник стихотворений, он активно занялся пропагандой своих творений. Кому он только ни рассылал сборник — Чайковскому, Римскому-Корсакову, Полонскому... с просьбой сочинить музыку или хотя бы прочитать и быть не слишком строгим к начинающему автору, ведь он еще не уверен, есть ли у него поэтическое дарование. И так важно было бы ему, автору, услышать авторитетное суждение. Все это высказывалось ласково, но чрезвычайно настойчиво, как, например, в письме Н.А. Римскому-Корсакову: «Я буду бесконечно рад, если некоторые из песен моих Вам настолько понравятся, что Вы удостоите их Вашей прелестной музыки, и серия романсов Н.А. Римского-Корсакова на мои слова была бы мне высшей наградой за те муки и тернии, которыми усыпан путь каждого обреченного на творчество»¹³. На призывы Ратгауза откликались, он использовал отзывы для новой рекламы и уже как-то так получалось, что в талантливости поэта неудобно было сомневаться. Настало время, когда Ратгауз решил, что пора иметь в своей коллекции отзывов и фотографий с дарственными надписями великих людей суждение самого Льва Толстого.

В начале 1906 года в Москве в издательстве М.О. Вольфа вышло роскошное двухтомное полное собрание стихотворений Д. Ратгауза (позднее был допечатан еще один том), и автор решил преподнести его Толстому. С этой миссией в Ясную Поляну в апреле 1906 года отправился приятель поэта киевский журналист С.З. Баскин-Серединский, захватив два экземпляра книги, еще пахнувшей типографской краской. Обложка и текст были украшены рисунками художника Фогелер-Ворпсведе, а на шмуцтителе стоял автограф: «Великому писателю мира, Графу Льву Николаевичу Толстому в знак глубочайшего уважения и преклонения от автора. Д. Ратгауз. 1906. 7 марта». Он был принят, Толстой провел с ним около часа, никаких мнений об авторе полученной в подарок книги не высказывал, и С.З. Баскин-Серединский отбыл, увозя автограф великого писателя на его фотографическом портрете. Толстой сразу же отдал один экземпляр книги своему лакею Ване Шураеву и забыл о визитере.

Прошло меньше года, и можно представить себе удивление Толстого, когда он прочел в февральском номере газеты «Русские ведомости» за 1907 год заметку следующего содержания: «На сборник стихотворений Д. Ратгауза обратил внимание русской читающей публики сочувственный отзыв Льва Толстого, который, как сообщалось в газетах, считает г. Ратгауза одним из самых видных русских поэтов нашего времени».

Лев Николаевич только и мог с досадой сказать: «Эх!» и пожалеть о том, что отдал тогда напористому Баскину-Серединскому свою фотографию с автографом. Поначалу Толстой хотел написать в газету опровержение, даже набросал черновик, что, мол, «никогда никакого мнения не заявлял о стихотворениях Ратгауза», но потом махнул рукой и отвечать не стал. Так и остался Ратгауз «любимым» поэтом Льва Толстого.

¹ ПРП. Т. I. С. 310.

² Летописи. С. 211.

³ ПРП. С. 313.

⁴ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПб., 1914. С. 349.

⁵ Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898. Т. XXIV. С. 363.

⁶ Полонский Я.П. Проза. М., 1988. С. 270.

⁷ Жемчужников А.М. Избранные произведения. М.; Л., 1963. С. 66.

⁸ Там же.

⁹ Вестник Европы. 1908. № 9. С. 5.

¹⁰ ЯЗ. Кн. 3. С. 40.

¹¹ Бунин И.А. По поводу 50-летнего юбилея литературной деятельности А.М. Жемчужникова // Книжное обозрение. 1987. № 34.

¹² Наживин И.Ф. Из жизни Л.Н. Толстого. М., 1911. С. 88.

¹³ Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972. С. 542.

М. А. Можарова

«ХРАНИЛИ МНОГИЕ СТРАНИЦЫ ОТМЕТКУ РЕЗКУЮ НОГТЕЙ...»

В уникальной яснополянской библиотеке хранятся издания сочинений А.С. Пушкина разных лет. Толстой читал Пушкина всю жизнь, и эти многократные перечитывания очень точно названы им самим «изучением». Так, например, в письме к П.Д. Голохвастову в марте 1873 года он писал: «Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал это последнее время... «Повести Белкина», в 7-й раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное действие» (62, 18). В том, что «Толстой был совершенно особенным и высочайшим типом читателя»¹, убеждают его письма, дневники, записные книжки, свидетельства современников. Но есть также и другие, ни с чем не сравнимые свидетельства читательского восприятия Толстого — пометы, сделанные им в прочитанных книгах. Среди пушкинских изданий, на которых сохранились пометы Толстого, в «Библиографическом описании»² яснополянской библиотеки особое место занимают «Сочинения Пушкина», изданные П.В. Анненковым в 1855–1857 годах. Количество помет, сделанных в этом издании, убеждает в том, что именно эти книги (в яснополянской библиотеке сохранились пять из семи томов) были для Толстого «рабочими». Без преувеличения можно сказать, что в долгой, более чем 70-летней истории толстовского восприятия творчества Пушкина изданию П.В. Анненкова суждена была особая роль.

Появление этого издания было событием величайшей важности. «Русские, любившие Пушкина... давно уже пламенно желали нового издания его сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие г. Анненкова с восхищением и благодарностью»³, — писал Н.А. Добролюбов. Долгий кропотливый труд Анненкова был по достоинству оценен современниками. «Ему (Пушкину. — М. М.) посчастливилось еще и в том отношении, что он нашел для своих сочинений столько же добросовестного и тщательного, сколько даровитого издателя, который положил на свой труд много сил, внес в него много ума, проницательности и вкуса»⁴, — писал М.Н. Катков.

Достоинства этого издания во многом объясняют интерес к нему Толстого, но немаловажно и то, что выход в свет этого нового собрания сочинений Пушкина совпал со вступлением Толстого в литературу, знакомством с писателями Петербурга и Москвы, и главное — со временем серьезного изучения и профессионального постижения творчества Пушкина. Вот лишь некоторые из дневниковых записей этого периода: «Прочел

Дон Жуана Пушкина. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине» (47, 78); «Читал Пушкина 2 и 3 часть; Цыгане прелестны...» (47, 79); «Я только теперь понял Пушкина» (47, 108).

Первый том анненковского издания составили «Материалы для биографии А.С. Пушкина», которые Н.Г. Чернышевский назвал «образцом биографий». Благодаря записи Д.П. Маковицкого нам известна оценка этого труда, сделанная Толстым в 1908 году: «...читаю материал биографический о Пушкине Анненкова: очень хорош. Очень интересен потому, что Анненков в своих работах пользовался материалом, тогда для печати недоступным»⁵. А вот дневниковые записи Толстого времени первого прочтения. 9 июня 1856: «Читаю биографию Пушкина с наслаждением» (47, 80). 10 июня 1856 г.: «Читал Биографию Пушкина и кончил» (47, 80). Чтение было закончено на следующий день, несмотря на значительный объем книги, — это свидетельство исключительного интереса.

Обратимся лишь к одной странице этого тома и попытаемся понять, говоря пушкинскими словами, «какою мыслью, замечаньем» был поражен Толстой, по какому пути шла его собственная мысль, что сближало его в это время с Пушкиным — художником и человеком.

На 123-й странице анненковского издания «Материалов для биографии А.С. Пушкина» ногтем отчеркнуты строки: «Первая глава «Онегина» появилась в печати в течение 1825 года, предшествуемая известным прологом «Разговор книгопродавца с поэтом», который был окончен в Михайловском 26 сентября 1824 года и о значении которого весьма мало говорили: так затемнен он был романом, поглотившим все внимание публики и журналистов. А между тем в прологе глубоко и поэтически выражено состояние художника, уединенно творящего свои образы посреди шума и внешних волнений, как вообще любил себе представлять художника сам Пушкин. Вскоре мы увидим, что он усвоил себе теорию творчества, которая проводила резкую черту между художником и бытом, его окружающим. Стихи, которыми он очертил свой идеал поэта, весьма основательно прилагались у нас к самому автору их:

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной».

В ноябре 1856 года Толстой записал в дневнике: «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто» (47, 101). Образ независимого художника, несомненно, привлекал Толстого в это время, «состояние художника, уединенно творящего свои образы посреди шума и внешних волнений», было его мечтой.

Важнейшие для Толстого вопросы о значении искусства, о природе художественного творчества были и вопросами времени. Статьи Н.Г. Чернышевского, появившиеся как отклик на анненковское издание, статьи А.В. Дружинина, В.П. Боткина, диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и полемика вокруг нее, споры о пушкинском и гоголевском направлениях в литературе — вот атмосфера, в которую попадает молодой писатель, вернувшийся в конце

1855 года из Севастополя и сблизившийся с редакцией журнала «Современник». Ориентиром для него в это время станет заслонявшийся и отодвигаемый на второй план Пушкин — «художник по преимуществу», как скажет о нем в одной из своих статей П.В. Анненков⁶. Одно из подтверждений тому — повесть «Альберт», над которой Толстой работал в 1857–1858 годы.

Эпиграфом ко 2-й редакции повести Толстой ставит строки:

Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв (5, 294).

Написанное в 1828 году стихотворение «Поэт и толпа» (первый раз напечатанное под названием «Чернь») было откликом Пушкина на стремления «направить» его перо для служения практическим целям и интересам общества, откликом на советы «преподавать уроки нравственности»:

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?»
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

В «Египетских ночах» Пушкин горько замечает, что публика смотрит на стихотворца «как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия»⁷.

Слово польза дважды звучит и в монологе Сальери:

Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше⁸.

Вопрос о пользе услышит и герой повести Толстого. В хоре разнородных голосов, который звучит в воспаленном мозгу Альберта, явственно слышится голос Делезова: «Я не хочу падать перед ним на колена... Чем же он велик? И зачем кланяться перед ним?.. Разве он принес пользу обществу?»⁹

Как Пушкину, подошедшему к своему тридцатилетию, так и Толстому в том же возрасте суждено было испытать охлаждение читающей публики и услышать приговоры критиков, призывающих писать на темы, диктуемые злобой дня. В октябре

1857 года Толстой записал в дневнике: «Репутация моя пала, или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился; но теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть, что сказать и силы сказать сильно; а там, что хочет, говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь» (47, 161). В декабре 1858 года появится запись: «Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать». И за этим слышится пушкинское: «Ты сам свой высший суд». Первая из этих записей была сделана в пору работы над «Альбертом», вторая — после опубликования повести. Как видим, Пушкин — не только источник вдохновения, но и духовная опора для Толстого в это время.

В речи при вступлении в общество любителей Российской словесности 4 февраля 1859 года Толстой говорил: «В последние два года мне случалось читать и слышать суждения о том, что времена побасенок и стихов прошли безвозвратно, что приходит время, когда Пушкин забудется и не будет более перечитываться...», но «как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы» (5, 271—272). Очень знаменательной в этой связи представляется одна цитата, вложенная в уста Альберта. Он напевает по-немецки: «Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим» (5, 42). Уместно здесь вспомнить и пушкинское письмо В.А. Жуковскому: «Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? вот на! Цель поэзии — поэзия»¹⁰.

Толстой напряженно продолжал работать над «Альбертом», хотя и понимал, как повесть будет воспринята в редакции журнала «Современник». В декабре 1857 года Некрасов писал Толстому: «Милый, душевно любимый мною Лев Николаевич, повесть Вашу набрали, я ее прочел и по долгу совести прямо скажу Вам, что она нехороша и что печатать ее не должно... Как Вы там себе ни смотрите на Вашего героя, а читателю поминутно кажется, что Вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром нужен доктор, а искусству с ним делать нечего... да, это такая вещь, которая дает много оружия на автора умным и еще более глупым... Покуда в ожидании Вашего ответа, я Вашу повесть спрятал и объявил, что Вы раздумали ее печатать»¹¹. Толстой ответил Некрасову: «Что это не повесть описательная, а исключительная, которая по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах и потому не должна и не может нравиться большинству, в этом нет сомнения; но в какой степени исполнена задача, — это другой вопрос. Я знаю, что исполнил ее сколько мог» (60, 243). Еще раз переработав текст «Альберта», 25 декабря Толстой записал в дневнике: «Напечатаю» (47, 166). В том же письме Некрасову он заметил, что повесть стоила ему «год почти исключительного труда».

Скрытая полемика и оппозиция общему обличительному направлению журнала «Современник» несомненна. Но были и еще мотивы, заставлявшие Толстого вновь и вновь возвращаться к переделке этой повести и настойчиво ее защищать.

Творческая неудовлетворенность, сомнения в своих силах особенно остры у Толстого в эти годы. Каким должен быть художник? Талантлив ли он сам? — эти дневниковые размышления Толстого найдут продолжение в повести.

О молодом светском человеке Делесове в повести сказано: «Он немолодой, усталый от жизни, изнуренный человек» (5, 31). О себе же в одном из писем 1858 года

Толстой пишет: «Пора умирать нашему брату, когда не только не новы впечатления бытия, но нет мысли, нет чувства, которое невольно не привело бы быть на краю бездны» (60, 273). (И вновь Пушкин: «В те дни, когда мне были новы Все впечатления бытия»). Это строки из стихотворения «Демон», которое заканчивается словами: «И ничего во всей природе Благословить он не хотел».)

Если помнить, что герой повести Делесов носит в себе это столь знакомое Толстому ощущение душевной старости, то совсем не праздным предстанет вопрос, заданный им Альберту. В одном из разговоров с Делесовым скрипач выносит приговор оперному артисту:

«— Теперь он стар, — он не может быть артистом...

— Что ж, что стар... — сказал Делесов...

— Как что же, что стар? — возразил Альберт строго. — Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное — огонь!» (5, 39). Несомненны отзвуки пушкинского «Пророка» и в этих рассуждениях Альберта, и в более поздней записи Толстого: «Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает... настоящий поэт сам невольно и с страданием горит и жжет других» (48, 129).

Истинное и ложное в искусстве, творец подлинный и мнимый, судьба гения, непонимаемого и гонимого, — развитие этих пушкинских тем находим в повести Толстого. Отчетливо звучит и мотив безумия. Представляя в своей повести презираемого всеми гениального человека, Толстой развивает мысль Пушкина о возможности для художника шутовского колпака (в первоначальных редакциях повесть называлась «Поврежденный», «Погибший»). Защищает музыканта «русский добросовестный художник» (в разных редакциях носящий разные имена): «Искусство... поднимает избранника на такую непривычную человеку высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здоровым» (5, 161).

В самом начале работы над повестью Толстым ясно обозначены две противоположности: музыканту, у которого «дар огромный», который «царь и велик» (вспомним: «Ты — царь, живи один») противостоит мнимый поэт. Вот пример его размышлений:

«Он думает верно, что я только притворяюсь поэтом, потому что нет у меня другой дорожки. А может быть, думает, что я теперь сочиняю что-нибудь, и что ему придется рассказывать через несколько лет, что он ехал с Крапивинным после ужина от Дюса, и что именно тут-то Крапивин сочинил свою известную пьесу «Хоть сумрак дней...» также как про Пушкина рассказывал недавно Алфонсов. Будет рассказывать, что он был так прост, весел и вдруг... а может быть, и точно теперь вдруг придет удивительная пьеса. Он попробовал продолжать, но далее 3-х слов: хоть сумрак дней, которые Бог знает зачем пришли ему в голову, ничего не выходило. — Ничего, утешал он себя, это придет завтра, я чувствую какую-то тоску уж несколько дней — это верный признак. (Он забывал, что эту тоску, будто бы предшественнику вдохновения, он чувствовал уж давно, почти с тех пор, как выступил на поэтическое поприще)». Рядом на полях Толстой написал: «у него все есть и нет поэзии» (5, 145). Крапивин у Толстого, как и пушкинский Сальери, «поверил алгеброй гармонию» и «дерзнул, в науке искушенный, Предаться неге творческой мечты».

В процессе работы над повестью будут меняться состав и имена действующих лиц. Появится известный знаток музыки Аленин, который будет считать скрипача «язвой для серьезного искусства». Ему, презирающему артиста, художник бросит в лицо: «Вы не сопьетесь небось, вы книжку об искусстве напишете и камергером будете» (5, 162).

Усиливает впечатление близости к Пушкину этого толстовского замысла имя скрипача. Первоначально он назван Вольфгангом. Детски простодушного, высокоодаренного музыканта многое роднит с Моцартом. Как и у Пушкина, «бессмертный гений» «озаряет голову безумца, Гуляки праздного». «Ты, Моцарт, недостоин сам себя» — это могло быть обращено и к Альберту. Одна из сцен практически точно повторена у Толстого. Вспомним, как удивлен Сальери тем, что Моцарт «мог остановиться у трактира И слушать скрипача слепого!»¹²

И Альберт восторженно говорит о гостях, которых он видел у Анны Ивановны. За одного из них, которого Делесов называет «пустым малым», Альберт застывает: «Ах, нет... в нем что-то есть очень, очень приятное. И он славный музыкант... он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился» (5, 38–39).

У Пушкина Моцарт просит старика скрипача сыграть «из Моцарта что-нибудь». И звучит ария из «Дон-Жуана». В повести Толстого Альберт «вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта «Дон-Жуана», своими словами рассказывая содержание оперы» (5, 40).

3-я редакция заканчивается описанием фантастических видений героя, вероятно, также идущим от пушкинского текста. Сальери сравнивает Моцарта с херувимом, Альберту же представляется, как волшебные крылья «поднимают его выше и выше, уносят туда, за пределы сознания, и тревожная душа удовлетворяется только там, в безличном, бессветном и неслышном всемирном движении». На полях последнего листа первой редакции повести Толстой кратко записал: «Этот мир — не то», «Красота на том свете»¹³.

Ряд сближений можно было бы продолжить. Они многое объясняют в творческих принципах Толстого, его суждениях о природе таланта и назначении искусства, убеждают в несомненной ориентации на Пушкина, погруженности в мир его образов.

Реминисценции из пушкинских стихотворений и поэм, оценки творческих приемов Пушкина встречаются в дневнике и письмах Толстого, но объективнее и полнее «отношение к литературной традиции, к поэтике, стилю, художественному опыту предшественников» отражают не дневники и письма Толстого, а его художественный текст¹⁴. Поэтому сопоставление пушкинских стихотворений, «Египетских ночей» и особенно «Моцарта и Сальери» с текстом окончательной редакции и черновыми вариантами повести «Альберт» представляется столь важным. Оно многое открывает внимательному читателю, помогая понять и то, что скрывается за линией, проведенной Толстым на полях книги о Пушкине.

¹ Ищук Г. Н. Лев Толстой — читатель Пушкина // *Ясн. сб.* 1984. С. 58.

² Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое описание: В 2 т. Книги на русском языке. Ч. 2. М.-Я. М., 1975. Т. 1. С. 145–150.

³ Добролюбов Н. А. Литературная критика: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 138.

⁴ Катков М.Н. Пушкин // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., 1982. С. 369—370.

⁵ ЯЭ. Кн. 3. С. 121.

⁶ Анненков П.В. О значении художественных произведений для общества // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. С. 357.

⁷ Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 244.

⁸ Там же. Т. 5. С. 310—311.

⁹ Там же. Т. 5. С. 49.

¹⁰ Там же. Т. 10. С. 112.

¹¹ Переписка Н.А. Некрасова: В 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 58—59.

¹² Пушкин А.С. Указ. собр. соч. Т. 5. С. 309.

¹³ ОР ГМТ. Альберт, Оп. 5. Л. 2; Оп. 1. Л. 29.

¹⁴ Опульская Л.Д. Первая книга Льва Толстого // Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. М., 1979. С. 503.

Л. В. Милякова

Л. Н. ТОЛСТОЙ И Л. Н. АНДРЕЕВ

(По материалам личной библиотеки Л. Н. Толстого)

К теме «Толстой и Андреев» уже обращались исследователи жизни и творчества Л.Н. Толстого и Л.Н. Андреева¹. Думается, что еще одним штрихом в развитии этой темы станет рассказ о некоторых изданиях сочинений Л. Андреева, хранящихся в яснополянской библиотеке Толстого. Они представляют собой особую ценность, так как при чтении именно этих яснополянских экземпляров складывалось отношение великого мастера слова к творчеству его младшего собрата.

Начало знакомства Толстого с творчеством Л.Н. Андреева относится к концу 1890-х годов, когда первые рассказы Андреева публиковались в газете «Курьер», журналах «Жизнь» и «Журнал для всех». В 1901 году товарищество «Знание» выпустило первый том собрания сочинений Л.Н. Андреева. Один экземпляр автор послал Толстому, находившемуся тогда в Гаспре на лечении. На титульном листе книги он сделал дарственную надпись: «Глубокоуважаемому Льву Николаевичу Толстому — Л. Андреев. 9 декабря 1901 г.» В ответ на это Л.Н. Толстой 30 декабря написал Андрееву: «Благодарю вас, Леонид Николаевич, за присылку вашей книги. Я уже прежде присылки прочел почти все рассказы, из которых многие очень понравились мне... Надеюсь когда-нибудь увидаться с вами и тогда, если вам это интересно, скажу более подробно о достоинствах ваших писаний и их недостатках. В письме это слишком трудно» (73, 174).

Содержание этой книги составили рассказы «Большой шлем», «Ангелочек», «Молчание», «Валя», «Рассказ о Сергее Петровиче», «На реке», «Ложь», «У окна», «Жили-были», «В темную даль». Трудно с полной определенностью сказать, какие именно рассказы Толстому были уже известны, так как в его библиотеке названных газет и журналов с первыми публикациями рассказов Андреева нет. Исключение составляет журнал с публикацией «Рассказа о Сергее Петровиче» и «Жили-были», но страницы с текстами их не разрезаны. В дневниках и письмах Толстого и в мемуарной литературе нет сведений о чтении им этих сочинений.

Но важно то, что уже при первом знакомстве с творчеством молодого писателя у Толстого зародилось желание встретиться с ним и преподать ему «урок писательства». В последующие годы с прочтением новых сочинений Л. Андреева это желание становилось все сильнее.

Поэтому, когда осенью 1909 года Толстому стало известно, что Андреев собирается приехать в Ясную Поляну, он во второй раз обращается к книге, полученной в дар от автора, в 1902 году привезенной из Гаспры в Ясную Поляну и положившей

начало собранию изданий сочинений Л.Н. Андреева в яснополянской библиотеке. Во время чтения Толстой на страницах книги сделал множество пометок и тогда же писал В.Г. Черткову: «...жду Андреева и, ожидая его, стал читать его писанья, если он будет слушать, знаю, что сказать ему» (89, 147).

К этому времени в библиотеке Толстого, помимо упомянутого тома, были и другие издания сочинений Андреева, но для удобства работы Александра Львовна 10 октября привезла из Тулы еще три книги: третий том собрания сочинений Андреева, изданный в 1906 году, и пятый и шестой тома 1909 года издания. Толстой погрузился в чтение и этих книг, в результате чего страницы их испещрены многочисленными пометками.

Не ставя перед собой задачу делать анализ этих пометок Толстого², хочется отметить их разнообразие: подчеркивания отдельных строк, отчеркивания на полях вертикальной, чуть изогнутой чертой, оценки по пятибалльной системе простым и зеленым карандашами рядом с заглавием рассказов или рядом с отдельными фразами, оценки буквами «П» — плохо, «Х» — хорошо. Почти все рассказы первого тома были оценены высшими баллами, лишь конец рассказа «На реке», рассказ «Ложь» и вторая глава рассказа «В темную даль» получили оценку «нуль». В третьем томе свое отношение Толстой высказывает более конкретно, и появляются словесные оценки «Плохо», «Фальшь», «Чепуха», «Было бы хорошо, если бы чувство меры», «Очень хорошо». В этом томе Толстому особенно понравились рассказы «Христианин», «Весной», «Защита», «Первый гонимый», «Книга». На страницах пятого и шестого томов негативные оценки преобладают: «Ужасно гадко», «Отсутствие признака таланта», «Нет самокритики и чувства меры», «Мания величия», «Фальшивое напыщенное красноречие».

Д.П. Маковицкий запечатлел обстановку яснополянского дома в те октябрьские дни 1909 года, когда вся семья и гости, зараженные интересом Толстого к творчеству Андреева, читали его сочинения, обсуждали их, сравнивали свое мнение с оценками Толстого на страницах книг. А.Л. Толстая заметила: «Как хорошо читать с отметками Л.Н.: от 0 до 5»³. 13 октября после прочтения вслух в зале рассказа «Проклятие зверя» в шестом томе Толстой сказал: «Описание города восхитительно!.. Длинно, а в конце скучно» — и, как свидетельствует Д.П.Маковицкий, «снес книги Андреева Александре Львовне».

— Надо прибрать их, чтобы они ему не попались. А то я сделал там замечания, для него нелепые».

На реплику Маковицкого, что «они будут ему интересны и полезны», Толстой ответил: «Очень резки: «Чепуха» и в этом роде»⁴. Правда, эти предосторожности Толстого и все его приготовления к встрече были напрасными: визит Л.Н. Андреева в Ясную Поляну в 1909 году не состоялся.

Интересна дальнейшая судьба этих четырех книг. Тома I и III до сих пор хранятся в музее Толстого и являются наичценнейшими музейными предметами, несущими информацию о Толстом — читателе и критике, учителе молодого поколения литераторов. Каждую из этих книг можно рассматривать как своеобразный учебник, адресованный тем, кто решил посвятить свою жизнь творчеству. Такое же значение могли бы иметь V и VI тома, если бы они были в наличии. К сожалению, сегодня не удастся установить, когда и при каких обстоятельствах эти книги были утрачены. Известно лишь следующее.

В 1912 году историк литературы А.Е. Грузинский по заданию Толстовского общества занимался изучением состава библиотеки Толстого. Результатом этой работы стала статья «Яснополянская библиотека»⁵, в которой среди книг с пометками Толстого названы все 4 тома и подробно описаны толстовские пометки в них. Эта статья является единственным источником сведений о том, какие пометки сделал Толстой на страницах интересующих нас книг.

В 1912—1916 годах бывший секретарь Толстого В.Ф. Булгаков, делая описание книг русского отдела яснополянской библиотеки, не включил в него ни одного тома данного собрания сочинений Л.Н. Андреева, указав, что описанные Грузинским книги принадлежат А.Л. Толстой. В связи с этим замечанием В.Ф. Булгакова возникают вопросы. Были ли еще эти книги в Ясной Поляне? Секретарь Толстого не включил их в описание как не принадлежащие Толстому, а почему другие книги, принадлежавшие С.А. Толстой и другим членам семьи, зафиксированы в этой описи? Почему Булгаков не включил в описи первый том, подаренный Андреевым Толстому? Почему из четырех томов сохранилось лишь два: первый и третий? Ответы на эти вопросы, возможно, со временем будут найдены. И, конечно, интересна дальнейшая судьба пятого и шестого томов.

Не менее ценным источником сведений о Толстом-читателе послужили бы и два выпуска — III и V — литературно-художественного альманаха «Шиповник» за 1908 год, с публикацией рассказов Л.Н. Андреева «Тьма» и «Рассказ о семи повешенных», некогда находившиеся в Ясной Поляне, но безвозвратно утраченные.

Неизвестно, каким образом попал в дом Толстого третий выпуск альманаха. Возможно, кто-то из родных или знакомых, зная интерес Льва Николаевича к творчеству Л. Андреева, привез его в Ясную Поляну. Н.Н. Гусев в дневнике записал 6 февраля 1908 года: «Вчера Лев Николаевич читал в газете заметку о последнем рассказе Леонида Андреева «Тьма». Мысль рассказа ему понравилась. Сегодня он прочитал самый рассказ и был очень разочарован»⁶. При чтении Толстой сделал пометки на полях черным и синим карандашами, представляющие собой оценку отдельных эпизодов рассказа: «Отсутствие чувства меры, доходящее до бреда», «Какая чепуха!», «Не искусство, а произвольный бред». Эти пометки подробно описаны В.Ф. Булгаковым в описях 1912—1916 годов. Рядом с названием альманаха рукой Булгакова простым карандашом сделана запись: «Книги нет», относящаяся, видимо, к более позднему периоду изучения библиотеки Толстого.

Пятый выпуск альманаха с «Рассказом о семи повешенных» привез в Ясную Поляну П.А. Сергеенко. 22 мая Н.Н. Гусев записал в дневнике: «По рекомендации П.А. Сергеенко, Лев Николаевич перед обедом начал читать «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева. К обеду он вышел с этой книгой в руках и с негодованием сказал: «Отвратительно. Фальшь на каждом шагу! Пишет о таком предмете, как смерть, повешение, и так фальшиво! Отвратительно! Я потрудились, с левой стороны отметил то, в чем есть признаки таланта, а с правой — то, что отвратительно»⁷. Судя по тому, что этот выпуск альманаха не вошел в описание, составленное В.Ф. Булгаковым, можно полагать, что оба выпуска были утрачены в разное время.

В последнее десятилетие жизни Толстого его библиотека пополнялась рядом отдельных изданий сочинений Л.Н. Андреева. Каждое из них уникально и имеет свою

историю. 17 ноября 1904 года в Ясную Поляну приезжал брат Л. Андреева П.Н. Андреев. Он привез Толстому рассказ «Красный смех. Отрывок из найденной рукописи» с просьбой прочитать его и дать оценку. Текст рассказа напечатан на пишущей машинке, листы заключены в синий коленкоровый переплет с коричневым кожаным корешком. На первой странице текста — дарственная надпись черными чернилами: «Льву Николаевичу Толстому с глубоким уважением автор. 16 ноября 1904».

Толстой, познакомившись с содержанием рассказа, писал Андрееву: «Я прочел ваш рассказ, любезный Леонид Николаевич, и на вопрос, переданный мне вашим братом о том, следует ли переделывать, отделять этот рассказ, отвечаю, что чем больше положено работы и критики над писанием, тем оно бывает лучше. Но и в том виде, каков он теперь, рассказ этот, думаю, может быть полезен...» (75, 180—181). Спустя три месяца, 27 февраля 1905 года, вспоминая встречу с П.Н. Андреевым, Толстой в присутствии Д.П. Маковицкого сказал, когда речь зашла о рассказе «Красный смех»: «Я не читал его, только перелистывал. Здесь сидел брат Андреева, ждал ответа; я написал ему, что некоторые места сильны. Все остальное искусственно, неясно и неопределенно»⁸.

Хранится в библиотеке Толстого и первое отдельное издание пьесы Андреева «Царь-голод», выпущенное издательством «Шиповник» в 1908 году, оригинально иллюстрированное художником Е.Е. Лансере. На форзаце книги дарственная надпись автора «Льву Николаевичу Толстому с глубоким уважением Леонид Андреев». Н.Н. Гусев в дневнике 5 марта отметил, что в этой пьесе, «которую он прочитал недавно», Лев Николаевич нашел лишь «нагромождение ужасов и эффектов»⁹.



А. Н. Андреев. Книга «Царь-голод»,
подаренная А. Н. Толстому. 1908 г.

Драматургия Л.Н. Андреева в библиотеке Толстого представлена еще и пьесой «Анатэма», присланной в Ясную Поляну автором в мае 1910 года. Этому событию предшествовала долгожданная встреча писателей. Теплым весенним днем 21 апреля 1910 года Л. Н. Андреев приехал к Толстому. Своими впечатлениями от общения с Толстым во время единственной встречи с ним Андреев поделился на страницах очерка «За полгода до смерти»¹⁰. Толстой познакомил желанного гостя со своей семьей, близкими людьми, совершил с ним прогулку по усадьбе. В своих беседах писатели вспоминали М. Горького, Ф. Сологуба, К. Чуковского, говорили о произведениях самого Л. Андреева. В.Ф. Булгаков записал в своем дневнике, что Андреев произвел на Толстого хорошее впечатление. Вечером в беседе с секретарем он сказал: «Умный, у него такие добрые мысли, очень деликатный человек. Но я чувствую, что я должен сказать ему прямо всю правду: что много пишет»¹¹. Но, судя по воспоминаниям самого Андреева, а также по дневникам Д.П. Маковицкого и В.Ф. Булгакова, Толстой так и не отважился высказать гостю критические замечания о его творчестве. Как записал Д.П. Маковицкий, Толстой попросил Андреева рассказать про пьесу «Анатэма», о которой он много читал, и «Андреев подробно, конфузясь, с некоторыми заминками, рассказал содержание. Л.Н. местами вставлял вопросы... Л.Н. просил прислать ему «Анатэму», хочет прочесть ее»¹².

Уже в мае Толстой получил от Андреева издание пьесы с автографом автора «Глубокочитимому Льву Николаевичу», но не спешил прочитать ее. 11 мая В.Ф. Булгаков записал в дневнике: «Я спросил, начинал ли он читать драму Леонида Андреева «Анатэма», присланную автором и лежащую на столе у Льва Николаевича. «Нет еще, скучно!» — отвечал он»¹³. Из дневника секретаря Толстого узнаем, что через день писатель сообщил: «Я прочел пролог к «Анатэме» Леонида Андреева. Это сумасшедше, совершенно сумасшедше!.. Полная бессмыслица!..»¹⁴. А Д.П. Маковицкий привел следующие слова Толстого: «Когда сам Андреев рассказывал смысл легенды, то понятно рассказал, а тут никакого смысла»¹⁵. Судя по тому, что книга разрезана только до шестнадцатой страницы (те страницы, на которых напечатан пролог к пьесе), Толстой так и не прочитал это сочинение Андреева. Оставалась эта книга в кабинете писателя, на книжной полке над столом, последние полгода жизни Толстого. И тот факт, что он не попросил поставить ее в шкаф, как это бывало с книгами, более не интересовавшими его, можно рассматривать как желание Толстого еще когда-нибудь вновь обратиться к ней.

¹ Улыбышев В.И. Творчество Л. Андреева в оценке Толстого // *Ясн. сб.* 1960. С. 147—153. Опульская Л.Д. Толстой и русские писатели конца XIX — начала XX в. // *ЛН. М.*, 1961. Т. 69. Кн. 1. С. 121—127. Николаев П.В. Лев Толстой и Леонид Андреев // *Ясн. сб.* 1992. С. 127—139. Сотникова Т. Лев Толстой и Леонид Андреев // *Лит. Россия.* 1978. 9 июня; *Литературный сын Льва Толстого* // *Молодой коммунар.* 1972. 16 июня.

² Улыбышев В.И. Творчество Л. Андреева в оценке Толстого // *Ясн. сб.* 1960. С. 147—153.

³ *ЯЗ.* Кн. 4. С. 74.

⁴ Там же. С. 76.

⁵ Грузинский А.Е. Яснополянская библиотека. // Толстовский ежегодник. М., 1912.

⁶ Гусев. С. 94.

⁷ Там же. С. 162.

⁸ ЯЗ. Кн. 1. С. 194.

⁹ Гусев. С. 118.

¹⁰ Андреев Л.Н. За полгода до смерти. // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 410—414.

¹¹ Булгаков В.Ф. Л.Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н. Толстого. М., 1989. С. 172.

¹² ЯЗ. Кн. 4. С. 231.

¹³ Булгаков В.Ф. Указ. соч. С. 211.

¹⁴ Там же. С. 214.

¹⁵ ЯЗ. Кн. 4. С. 253.

Г. В. Алексеева

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЭДИН БАЛЛУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ НЕПРОТИВЛЕНИЯ

Трактат «Царство Божие внутри вас» открывается «Декларацией» аболициониста, основателя общества «Непротивление» У.Л. Гаррисона и «Катехизисом» Э. Баллу, всю свою жизнь посвятившего проповеди непротивления и осуществлению правды практического христианства. Его Толстой называет одним из истинных апостолов нового времени.

В июне 1889 года Льюис Уилсон, унитариянский пастор и ученик Баллу, убедившись в сходстве религиозных взглядов Толстого и Баллу, отважился послать яснополянскому мыслителю некоторые из книг и брошюр американского проповедника. Он был уверен, что известие о том, что на другом конце света есть человек, разделяющий его взгляды и в течение многих лет воплощающий их в жизнь, укрепит и вдохновит Толстого. Это послужило началом переписки Толстого и Баллу. В записной книжке 21 июня 1889 года Толстой записал: «Я редко испытывал такую чистую радость, как при чтении статей и трактатов Баллу. А также редко чувствовал я такую любовь и уважение, как к г. Баллу, так и к его трудам» (50, 209).

В личной библиотеке Толстого сохранились, по-видимому, почти все книги и брошюры, присланные Уилсоном. Их пять. «Автобиографию» Баллу Толстой получил уже после смерти американского проповедника в 1890 году. На книгах нет помет Льва Николаевича, но то, что они им прочитаны, просмотрены, несомненно. Толстой щедро цитировал Баллу в своих произведениях, ссылался на него в дневнике и письмах. Книги и брошюры Баллу, хранящиеся в яснополянской библиотеке, позволяют нам составить представление о масштабах его личности, размахе религиозно-общественной деятельности и, конечно, в первую очередь — осмыслить интерес Толстого к его духовному пути и проповеди непротивления.

«Автобиография» Баллу дает возможность установить, что с религиозными сочинениями Толстого Эдин Баллу познакомился еще в 1886 году. Дневниковые записи американского пацифиста, включенные в последние главы его «Автобиографии», свидетельствуют об этом. Как только в Соединенных Штатах появились первые переводы произведений русского писателя и серии статей о нем как новом толкователе Евангелий Христа, стремящегося восстановить истинное христианство. Баллу постарался в числе первых читателей познакомиться со взглядами Толстого, на основе которых строились столь необычные утверждения. Легко себе представить, насколько радостно было Баллу увидеть в Толстом человека, близкого себе по убеждениям, последовательного и радикального защитника мира, реформатора, мудрого советчика

в работе по установлению в обществе такого порядка, при котором исключается всякое пагубное применение силы и все основывается на духе чистой любви к Богу и человеку. Насколько оправдались его надежды, мы увидим далее.

Первое упоминание о Толстом появилось в дневнике Баллу 16 февраля 1886 года: «Начал читать недавно купленную книгу графа Толстого «В чем моя вера?» Нашел в ней много хороших мыслей об этике наряду с экстремизмом в применении заповеди Христа о непротиивлении злу». Дальше он пишет о своем несогласии с утверждениями Толстого богословского характера. Запись заканчивается следующими словами: «...буду читать далее и обдумаю все как следует»^{*1}.

Но сосредоточенное чтение и размышления по поводу книги «В чем моя вера?» привели его к выводу, что Толстой понимает заповедь Христа о непротиивлении буквально. В этом утверждении американский философ не был оригинальным. Многие богословы как в России, так и на Западе писали о буквальном восприятии яснополянским мудрецом христианских заповедей. И в этой связи, прежде чем перейти к диалогу Толстого и Баллу, хотелось бы привести высказывание русского религиозного философа Н.А. Бердяева: «Смысл толстовского непротиивления насиллем был более глубоким, чем обычно думают. Если человек перестанет противиться Злу насиллем, т. е. перестанет следовать Закону этого мира, то будет непосредственное вмешательство Бога, то вступит в свои права божественная природа. Добро побеждает при услюии действия самого Божества»².

Но для Эдина Баллу, последовательного непротииленца, восприятие заповеди о непротиивлении злу в понимании Толстого означало сведение учения Христа к крайности, не оправданной ни учением Христа, ни истинной заботой о благе того, кто это зло совершает. Он относился к учению о непротиивлении злу насиллем как к заповеди высшего порядка, пришедшей с небес, рожденной не человеческой, а божественной природой — чистой мудростью и любовью Бога. Человеческая природа располагает способностью к пониманию, воплощению этой заповеди, но не без самопожертвования и помощи свыше.

Хотя Толстой со своей концепцией учения непротииления, изложенной в книге «В чем моя вера?», не совсем оправдал надежды Баллу, он, спустя три года, с помощью своего ученика и последователя пастора Уилсона, вступил в переписку с русским писателем, окончательно прояснившую позицию обоих.

Но для лучшего проникновения в суть взаимоотношений Толстого и Баллу следует сказать несколько слов о самом Эдине Баллу и его пути.

В 1838 г. учение о непротиивлении злу насиллем раскрылось Баллу во всей его гармонии и полноте. Он становится христианским непротииленцем, но не слепым и иррациональным в своем поведении, а с твердым убеждением в том, что истинное христианское непротииление — не пассивность, не безразличие к тем, кто делает зло, а воздержание от любого применения вредной, неблаготворной силы, как и от любого действия, слова, чувства по отношению к делающим зло, если все это может нанести вред их телу, разуму или духу. В том же, 1838 году, был принят и опубликован Баллу «Образец практического христианства». А в 1841 году Баллу с тридцатью

^{*} Здесь и далее перевод с англ. выполнен Г.В. Алексеевой. — Ред.

последователями организовал Общину в Hopedale, недалеко от Бостона. «Это было строго практическое христианское движение, — пишет Л. Уилсон, — вдохновленное учением Нового Завета. Они стремились осуществлять на практике такие заповеди Христа, как — не противься злу, возлюби врагов своих и т. д.»³. В течение первых четырнадцати лет община процветала, увеличилось число ее членов до трехсот человек. Все они размещались в пятидесяти домах на пятидесяти акрах земли, с часовней, библиотекой, школой, магазинами. По словам членов общины, это была удивительно красивая деревня с хорошими, аккуратными улицами и домами. Капитал общины составлял девятьсот тысяч долларов. Но к 1856 году община была распущена. Не вдаваясь в подробности, надо отметить, что произошло это из-за трудностей финансовых и моральных. Собственность общины была приобретена наиболее богатыми ее членами, и с тех пор община в Hopedale стала обыкновенной деревней. Но ее основатель выдержал все невзгоды и потрясения, продолжая в течение многих лет с немногими последователями осуществлять на практике те великие идеи, на которых была основана община. Из-под пера Баллу вышел целый ряд книг и брошюр. Список опубликованных работ насчитывает пятьдесят названий, среди них — «Christian non-resistance, practical christian socialism» и другие. В последние годы Баллу был сосредоточен на написании заключительного труда своей жизни — «Автобиографии», в предисловии к которой он пишет: «Я не был человеком, жизнь которого сопровождает успех, а скорее во многих отношениях — неудачником. И не потому, что мои усилия, принципы, идеалы и планы были предосудительны и недостойны, а потому, что они превосходили условия и средства, необходимые для их достижения. Мои надежды были слишком настойчивы и оптимистичны, моя цель была слишком высока для немедленной реализации и мой путь был омрачен разочарованием и печалью»⁴.

В письме к Уилсону от 22 июня 1889 года, как бы в ответ на это заявление Баллу, Толстой пишет: «По-моему, как один из первых истинных провозвестников «новых времен», он будет признан в будущем одним из величайших благодетелей человечества. Если в течение своей долгой и с виду не успешной жизни г. Баллу испытывал периоды уныния, думая, что все его усилия напрасны, то в этом отношении он только разделит участь своего и нашего учителя. Передайте ему, пожалуйста, что усилия его не были напрасны; они придают силы другим людям, насколько могут судить по себе. В этих писаниях, кроме изложения истинных основ учения, блестяще опровергнуты все возражения, которые обыкновенно делаются против непротivления» (64, 272). Это письмо Толстого было первой его реакцией на присылку Уилсоном книг Баллу. В этом же письме говорится: «Я постараюсь перевести произведения г. Баллу и распространить их, насколько могу, и я не только надеюсь, но убежден, что настало время, когда «мертвые услышат глас сына Божия и, услышавши, оживут» (64, 272).

С присланной Уилсоном книгой Баллу «Christian non-resistance» и брошюрами Толстой немедленно ознакомился, а к переведенному Н.Н. Страховым «Катехизису непротivления» написал предисловие, о чем свидетельствует запись в дневнике Льва Николаевича 8 июля 1890 года. В «Царстве Божием внутри вас» «Катехизис» Эдина Баллу следует за «Декларацией» У.Л. Гаррисона, провозглашенной в Бостоне в 1838 году. Баллу был одним из тех, кто подписал Декларацию, объявившую, что

учение о непротиивлении злу выражает волю Бога и должно восторжествовать над всеми злыми силами. Сетую на то, что Декларация Гэрисона почти неизвестна американцам, Толстой замечает в «Царстве Божием внутри вас»: «Та же неизвестность постигла и другого борца за непротиивление злу, недавно умершего, в продолжение 50 лет проповедовавшего это учение, американца Адина Баллу» (28, 8). И действительно, оказалось, что Толстой со своей религиозно-нравственной проповедью в Америке был гораздо более известен, чем Баллу, взгляды которого были во многом близки толстовским. По этому поводу пишет Льюис Уилсон: «Для тех, кто, возможно, полагает, что у такого видного человека, как русский писатель и реформатор Толстой, нет прототипа, следует сказать, что такой человек, перешагнувший свое 87-летие, есть среди нас»⁵.

На страницах американского журнала «Арена» за 1890 год Л. Уилсон опубликовал почти полностью переписку Толстого и Баллу, тем самым дав возможность читателю сравнить, как два последователя учения о непротиивлении злу насилем смотрят на это учение.

Прочитав письмо Толстого с размышлениями о заповеди непротииления злу, Баллу счел, что оно превосходит пределы здравого практического смысла. Находясь в сомнении относительно того, правильно ли он понял точку зрения Толстого, а также желая задать ему вопросы по работе «В чем моя вера?», 14 января 1890 г. он обратился к Толстому с письмом, в котором обозначил шесть пунктов, по которым он расходился с Толстым, предварительно заметив, что он совершенно спокойно относится к тому, что Толстой с ним далеко не во всем согласен — Баллу считал, что такие разногласия допустимы среди свободно и независимо мыслящих людей.

Толстой не согласен с Баллу по поводу уступки, допускаемой им для употребления насилия против пьяниц и сумасшедших. Баллу в своем письме отстаивает это, полагая, что применение силы совершенно безвредной и даже благотворной против пьяниц и сумасшедших — на благо всем.

На замечание Толстого: «Учитель не делал уступок, и мы не должны делать ни одной» (64, 272) — Баллу пишет: «Разве Христос когда-нибудь запрещал протиивление злу силами благотворными, не приносящими вреда, независимо физическими или моральными? Никогда! И толковать заповедь «Не протиивься злему» в значении абсолютной пассивности к любому проявлению зла только потому, что Он не сделал никаких специальных оговорок, значит игнорировать дух Нового Завета...»⁶.

На положение Толстого: «...компромисс, неизбежный на практике, не может быть допускаем в теории» Баллу резко замечает, что у людей, исповедующих учение непротииления, не должно быть разрыва в теории и практике. Толстой утверждает: «Истинный христианин не только не может считать что-либо своим, но даже само понятие «своейности» не может иметь для него какое-либо значение» (64, 272). «Но еда, одежда, кров — необходимые условия существования христиан», — парирует Баллу и далее развивает свою мысль: «Иисус сказал: «Отец ваш Небесный знает, что вы испытываете нужду во всем этом». Если все это — необходимые условия смертной жизни, они, конечно, имеют очень важное «значение». Иисус сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». И когда все это «приложится» истинным христианам по воле Бога, чье все это? Не законная ли это собственности тех, кому все это «приложилось»?»⁷

На утверждение Толстого о том, что «истинный христианин всегда предпочтет быть убитым сумасшедшим человеком, нежели лишиться его свободы» (64, 272), Баллу заявляет, что если следовать мысли Толстого, то «истинный христианин предпочтет лучше увидеть, как сумасшедший убьет его жену, детей, лучших друзей, чем лишиться его безумной свободы, применив безвредную для него физическую силу». И дальше он пишет: «Какая заповедь Христа делает безумную свободу священной?»⁸ Здесь, вероятно, следует отметить, что в своем понимании учения о непротавлении злу Баллу более статичен, в отличие от Толстого, в своем движении к идеалу находящегося в вечном поиске. Так, уже 9 мая 1891 года в письме В.В. Рахманову Толстой размышляет: «Я не живу насилием в том смысле, что знаю, что всякий раз, как мне представится вопрос, употребить ли насилие, или нет, я не пожелаю насилия и не употреблю его сознательно... Но сказать, что я никогда не употреблю насилия или незаметно для себя не воспользуюсь им — не могу, потому что сказать это значит сказать, что я свят» (65, 294).

Толстой пишет: «Для христианина правительство есть только узаконенное насилие. Слова: правительства, государства, нации, собственность, церкви — все это для истинного христианина не имеет никакого смысла...» (64, 273). Баллу резюмирует: «Но все это реальность, которую мы не можем игнорировать как фикцию»⁹. И далее следует: «Человек — существо социальное по своей природе, он не есть и не может быть одиноким, независимым индивидуумом. Семьи, правительства, государства, нации, церкви и общины всегда существовали и будут существовать. Христос пришел, чтобы установить правительство высшего порядка, совершенно братское общество — Церковь, «которой не одолечат врата ада». Ради этого он жил и был распят. Отсутствие правительства, организаций, чистый индивидуализм — все это не истинное христианство. Это невозможно, неестественно, иррационально — хаос»¹⁰. Кроме того, у Э. Баллу возникают вопросы по некоторым позициям, изложенным Толстым в его работе «В чем моя вера?». К примеру, Толстой пишет в главе VIII: «О своем же личном воскресении, как это ни покажется странным всем, кто не изучал сам Евангелий, *Христос никогда нигде не говорит*» (23, 393). «Я усердно изучал Евангелия, — замечает Баллу, — в течение более семидесяти пяти лет, и эти утверждения крайне противоположны тому смыслу, который я вкладывал в эти отрывки». И далее он проясняет свою позицию: «Будет ли у человечества, как вы выражаетесь, объединенного с Богом, сознание этого после физической смерти? И если большинство человечества, уверенное в духовной смерти, разьединено в Богом и не имеет возможности для совершенствования после смерти, то какой смысл имеет их личное существование?»¹¹ В этой связи нельзя не сказать о том, что Баллу, воспринимая Толстого главным образом по книге «В чем моя вера?», не подозревал, что к началу 90-х годов Толстой в своем развитии ушел от многих положений этого трактата. В письме к В.В. Рахманову от 28 февраля 1891 года он замечает: «Не думайте, что я защищаю прежнюю точку зрения в Чем Моя Вера. Я не только не защищаю, но радуюсь тому, что мы пережили ее. — Вступив на новый путь, нельзя не обрадоваться тому, что первое увидал впереди себя. И простительно принять то, что на начале дороги, за цель пути. Но, подойдя ближе и только благодаря тому, что видел сначала, нельзя не радоваться тому, что увидал впереди бесконечную светлую даль» (65, 261).

Но вот что отвечает Толстой Баллу в феврале 1890 года: «Позвольте мне не возражать на некоторые догматические разногласия в наших мнениях о смысле слов «сын Божий», о личной жизни после смерти, о воскресении. Я написал большую книгу — перевод, соединение и толкование Евангелий, — в которой я изложил все, что думаю по этим вопросам. Положив в то время — десять лет тому назад — всю силу моей души на познание этих вопросов, я теперь не могу ничего изменить, не проверив всего заново. Но различие взглядов на эти понятия представляются мне мало значительными. Я твердо верю, что если я посвящу все мои силы на исполнение воли Бога, так ясно выраженной в его словах и в моей совести, — хотя бы я и не вполне верно представлял себе цели и намерения Бога, которому я служу, — он меня не оставит и устроит все к моему благу» (65, 37).

А в письме к Д.А. Хилкову от 21 февраля 1890 года Толстой пишет о Баллу: «К сожалению, он держится некоторых церковных догматов и в практике защищает собственность, но спорить с ним бесполезно» (65, 29).

В предсмертном письме к Толстому Баллу четко сформулировал свое отношение к его учению: «Ваше учение божественно, грандиозно, подобно учению Христа, но оно неосуществимо, так как существует общество. Мы должны иметь правительство, содержать учреждения и делать деньги. Итак, церковь, государство, политика надежно скреплены в принудительной цивилизации до золотого века!»¹² Подводя итог всему сказанному, он пишет, что уверен в том, что «христианство никогда не войдет в свою обетованную землю, пока божественная истина принципа непротivления не получит признания»¹³.

Таково восприятие религиозно-нравственного учения Толстого старейшим членом общины непротivленцев, видным писателем-пацифистом Эдином Баллу. Несмотря на некоторые расхождения во взглядах, оба с глубоким уважением относились друг к другу, и только смерть Баллу помешала развитию их духовного общения. Что же касается разногласий по целому ряду позиций, то уместно вспомнить слова Л. Уилсона: «Два человека незаурядного ума обсуждают проблему непротivления. Один из них воспитанный и выросший в традициях Новой Англии, другой — в духе традиций и обычаев России. Господин Баллу — потомок многих поколений, боровшихся за политическую и религиозную независимость. Граф Толстой — выразитель крайней реакции на угнетение масс военной и гражданской системой угнетения»¹⁴.

После смерти Баллу Толстой, не считая их разногласия принципиальными, поднимаясь над ними и видя лишь то главное, что объединяло их в едином стремлении практического осуществления христианского учения, настойчиво пропагандировал труды Баллу, хлопотал о переводе и издании одной из самых важных его книг — «Christian non-resistance» в издательстве «Посредник», что было предпринято в 1908 году.

В «Воспоминаниях графини А.А. Толстой» есть упоминание об американском пасторе N.N. (совершенно очевидно, что она имеет в виду Эдина Баллу), которого Толстой чрезвычайно высоко ценил: «В одном из наших tête-à-tête он спрашивает меня, знаю ли я проповеди американца пастора N.N. (фамилию его я забыла). Я сказала, что нет. — Ну, так прочтите, пожалуйста, мою переписку с ним; она была напечатана отдельно, и, — странное дело! — хотя мы друг друга никогда не видали, но во всех наших суждениях о жизни, религии, обязанностях человека, мы так сходны, как

будто всегда жили вместе; я считаю его вполне своим другом. Ему было бы теперь 80 лет; к сожалению, он умер в прошедшем году». Книжку американца я унесла вечером с собою, имея дурную привычку читать по ночам. Она начиналась письмами Льва и сокращенным изложением его известных теорий. Не останавливаясь долго на том, что знала наизусть, я спешила ознакомиться с престарелым пастором. Каково же было мое не удивление, а изумление! Пастор писал все то, что вы, и я, и всякий православный и непосредственный человек, не зараженный теориями Толстого, тысячу раз думал и говорил»¹⁵. По всей видимости, Александра Андреевна читала американский журнал «Агепа» (1890, № 13), экземпляр которого с пометами, вероятно, А.А. Толстой хранится в книжном собрании Толстого. Гуманистическая проповедь Эдина Баллу не могла не тронуть графиню Толстую, судившую, как становится ясно из сказанного выше, совершенно беспристрастно. Несомненно, что и Толстого привлек прежде всего общечеловеческий характер религиозных взглядов Баллу.

Спустя десять лет после смерти Эдина Баллу Толстой в своем обращении к американскому народу называет его в числе американских писателей, особенно повлиявших на него. А 25 апреля 1906 года в ответ на последнее письмо Э. Кросби он пишет: «Я жалею не Адина Баллу, а американцев, которые не знают его имени и трудов» (76, 138). В религиозно-философском произведении «Путь жизни», созданном в последний год и явившемся итогом многолетних исканий и раздумий, Толстой включает отрывки из произведений Баллу в главы «Насилие», «Наказание», «Суеверие государства». В «Недельное чтение» «Крута чтения» Толстой помещает «Непротивление злу насилием» Э. Баллу. «Христос учит тому, чтобы не противиться злу. Учение это истинно, потому что оно вырывает с корнем зло из сердца и обиженного и обижающего. Учение это запрещает делать то, от чего умножается, а не прекращается зло в мире. Когда один человек нападает на другого, обижает его, он этим зажигает в другом чувство ненависти, корень всякого зла. Что же нам сделать, чтобы потушить это чувство зла? Неужели сделать то самое, что вызывает это чувство зла, — обидеть другого, т. е. повторить дурное дело? Поступить так — значит вместо того, чтобы изгнать дьявола, усилить его. Сатану нельзя изгнать сатаною, неправду нельзя очистить неправдою, и зло нельзя победить злом», — пишет американский писатель¹⁶. Д.П. Маковицкий в своих «Записках» отмечает, что 17 марта 1909 г. Толстой, прочитав еще раз в «Круге чтения» «Непротивление злу насилием», сказал: «Мои все сочинения не имеют одной десятой той силы, что эти три странички Баллу»¹⁷.

Все это позволяет говорить об определенной общности, близости религиозных и этических взглядов, которые предопределили глубочайший интерес и уважение к Эдину Баллу на протяжении последних двух десятилетий жизни Толстого.

«Дорогой друг и брат, — так начинает Толстой свое последнее письмо Баллу, — я редко испытывал такое истинное и большое удовольствие, как при чтении вашего истинно братского и христианского письма» (65, 113).

Безусловно, Толстого больше волновали не возникавшие у него с Баллу расхождения в вопросе о теории и практике непротивления, а то большой важности «огромное движение христианское, практическое, которое короче всего определить — стремлением ко всеобщему братству» (65, 144).

Материалы, отражающие историю и характер взаимоотношений Л.Н. Толстого и Э. Баллу, не являлись прежде предметом специального научного исследования¹⁸, хотя важность их значительна. Толстой и Баллу в своем диалоге, дискутируя относительно закона мира и закона Бога, находя точки соприкосновения и вновь расходясь, ставят величайшие проблемы, требующие серьезного осмысления и на современном этапе.

¹ *Autobiography of Adin Ballou: (1803–1890)... / Complet. and ed. by... W.S. Heywood. Lowell (Mass.), 1896. С. 509.*

² Бердяев Н.А. Русская идея // Вопросы философии. М., 1990. № 2. С. 99.

³ *The Christian Doctrine of Non-Violence. / By Leo Tolstoy and Adin Ballou; Unpublished correspondence compil. by L.G. Wilson // Arena. Boston, 1890. № 13. С. 2.*

⁴ *Autobiography of Adin Ballou... С. VII.*

⁵ *Arena. 1890. № 13. С. I.*

⁶ *Ibid. С. 6.*

⁷ *Ibid. С. 7.*

⁸ *Ibid. С. 16.*

⁹ *Ibid. С. 8.*

¹⁰ *Ibid. С. 8.*

¹¹ *Ibid. С. 9.*

¹² *Ibid. С. 12.*

¹³ *Ibid. С. 12.*

¹⁴ *Ibid. С. 2.*

¹⁵ *ПАТ. С. 64.*

¹⁶ Толстой Л.Н. Круг чтения. М., 1991. Т. 1. С. 147.

¹⁷ *ЯЭ. Кн. 3. С. 359.*

¹⁸ В 1994 г. появилась публикация: Л.Н. Толстой и Эдин Баллу: Духовное родство / Публ., подготовка текста и комм. К. Каллаура; Пер. с англ. С.А. Макуренковой // *Неизвестный Толстой в архивах России и США: Рукописи, письма, наблюдения, версии; М., 1994. С. 276–287.* В этой публикации письма Баллу представлены как никогда прежде не публиковавшиеся. Тем не менее первая их публикация была осуществлена Л. Уилсоном в журнале «Арена» в 1890 г.

Л. Н. ТОЛСТОЙ – ПЕРЕВОДЧИК А. СИЛЕЗИУСА

Толстой во многом парадоксален. Известна его нелюбовь к переводам. Он сравнивает их с дистиллированной водой и изнаночной стороной ковра. Многие иностранные языки Толстой изучает только для того, чтобы читать оригиналы. А потом сам переводит Г. Лихтенберга, Ф. Ламенне, Л. Малори и др. для сборников «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни».

Заняться столь непривычным для него делом заставило Толстого отсутствие книг мировых философов на русском языке. «Вопрос о том, что читать доброе по-русски? заставляет меня страдать укорами совести», — пишет он Г.А. Русанову (64, 152).

В «Предисловии» к «Кругу чтения» Л.Н. Толстой оговаривает неполноту и неточность многих приведенных в тексте цитат из произведений иноязычных авторов. Бережное отношение к оригинальному тексту в черновом варианте предисловия он называет «вредным предрассудком» (42, 470). В одном из писем к Черткову Толстой советует ему «как можно смелее обращаться с подлинником: ставить выше божью правду, чем авторитет писателя» (85, 324). Но видение истины цитируемых философов далеко не всегда совпадало с толстовским, и тогда Толстой, по утверждению комментаторов издания «Круга чтения», вышедшего в 1991 году, «берет у зарубежных мыслителей то, что интересует его в данный момент, порой выдавая желаемое за действительное, при случае «досочиняя» необходимое, руководствуемый одним стремлением — мысль свою утвердить»¹.

Вышеназванное издание — первое, в котором раскрываются и комментируются источники многочисленных высказываний русских и иностранных авторов, включенных в «Круг чтения». А.В. Дранов в статье «Немецкие источники»² прокомментировал тексты Шиллера, Лихтенберга, Канта, Шопенгауэра. Сохранившаяся в личной библиотеке Толстого книга немецкого поэта-мистика XVII века Ангелуса Силезиуса «Херувимский странник»³ дает возможность проанализировать стихотворения Силезиуса в переводе Толстого, помещенные в сборники «Круг чтения», «На каждый день» и др.

Ангелус Силезиус (Иоганн Шефлер) родился в 1624 году в Бреславле, в протестантской семье. В 1648 году был возведен Падуанским университетом в степень доктора философии и медицины. В 1653 году перешел в католицизм. В 1661 году был принят в орден миноритов и посвящен в сан священника. Умер в 1677 году в монастыре св. Матфея. Как поэт — последователь М. Опица, как философ — Якоба Беме.

Смысл существования человека, сближение его с Богом было всегда основным вопросом герметической философии, и один из ярчайших представителей этой гностической традиции — Якоб Беме. Он не проповедовал откровенно отказа от государственной религии, но само учение о внутреннем источнике истины включает безмолвное отрицание церковных догматов и обрядов. Это не могло не привлечь Толстого. Он был знаком с его работами. Известен его отзыв о произведениях Я. Беме и Э. Сведенборга: «...есть хорошее у них, но так, мистики!»⁴ И все-таки Беме более гностик, нежели мистик. Николай Бердяев называл его величайшим из христианских гностиков. Беме — предшественник и философский учитель многих поэтов барокко, в том числе и И. Шефлера, известного под псевдонимом Ангелус Силезиус (Ангел Силезский). И. Шефлер взял на себя смелость назвать себя ангелом потому, что верил в возможность превращения человека в божество. «Ты сам все», — озаглавливает он одно из своих стихотворений.

*Как ты можешь чего-нибудь желать? Ты ведь сам можешь быть
И небом, и землею, и всеми ангелами*⁵.

И. Шефлер называет себя Ангелом Силезским потому, что родом из Силезии, а в городах Силезии, если верить шутке современников, по одному поэту на каждый дом. Сложилась даже поговорка: силезец — значит поэт. Из крупнейших поэтов силезцами были Опиц, Грифиус, Кульман и Шефнер. Национальный дух стихотворений этих поэтов воплощается не только в словах, но и ритмах, так же как в живописи он выражается в красках. Все они — ярчайшие представители стиля барокко. Заимствованный из архитектуры, он распространился на музыку, живопись и поэзию. Для стиля барокко характерны эмоциональность, философская перенасыщенность, стремление разгадать таинственную связь между невозмутимой вечностью и раздираемым страстями временем, постичь сложную диалектику человеческого мышления и многозначность человеческой речи.

«Херувимский странник» — лучшее произведение А. Силезиуса. Оно вышло в Вене в 1657 году в пяти книгах и в 1674 году в Глаце, дополненное шестой книгой. Представляет собой книгу афоризмов на философско-мистические темы, написанных alexandrinским стихом, большей частью отдельными дистихами. Выраженные в них мысли Силезиус почерпнул из сочинений Таулера, Рюнсбрека, св. Бернара и бл. Августина.

Книга из личной библиотеки Толстого издана в Йене и Лейпциге в 1905 году, расширена вступительной статьей Вильгельма Бельше «О значении мистики для нашего времени». В начале книги эпиграф — 18-й стих 3-й главы Второго послания к Коринфянам св. Апостола Павла и посвящение автора: «Великой Божьей мудрости, зеркалу без изъянов, в которое, не переставая изумляться, смотрятся херувимы и все блаженные духи, свету, освещающему всех людей, пришедших в этот мир, неиссякаемому роднику, источнику всей мудрости эти маленькие капельки большого моря посвящает всегда умирающий от неустанный желания видеть Бога Иоганнес Ангелус»⁶. (Здесь и ниже перевод с нем. яз. мой. — Э. Б.)

Нам будет более понятна подпись поэта, как всегда умирающего, если мы обратимся к его двустишию «Это не смерть»:

*Я не верю в смерть. Разве я не умираю каждый час
И не нахожу каждый раз лучшую жизнь?*⁷

Перевод Толстого:

*Как мне бояться смерти, когда я уже умираю каждый день, каждый час,
и после каждого дня и часа находил лучшую жизнь* (43, 358).

Толстой к теме бессмертия добавляет еще и тему страха смерти, а точнее бестрашия перед ней.

По предположению Д.П. Маковицкого, книгу Силезиуса «Херувимский странник» Толстому прислал П.А. Сергеенко. По свидетельству современников Толстого, он часто обращался к ней, читал и для себя, и для своих посетителей, не знающих немецкий язык, поэтому, читая, он сразу переводил изречения на русский или английский языки. Силезиус нравился Толстому своей глубиной и лапидарностью. Для своих сборников «Для души», «На каждый день», «Круг чтения», «Путь жизни» Толстой использовал 79 изречений Силезиуса. В книге — запись рукой Д.П. Маковицкого: «С заметками Льва Николаевича Т. 1906—8 г.». Пометы Толстого в книге сделаны простым и синим карандашами, черными чернилами. Это — подчеркивания, знаки «NB», нумерация отмеченных стихотворений, которая сразу же обрывается, обозначение тематики: «бессмертие», «грех», «все в тебе», «любовь», «смирение», «страдание», и, наконец, перевод. Перевод любых стихотворений — задача не из легких, а тем более стихотворений поэтов барокко. Характерные признаки этого стиля — стремление в каждой вещи показать «знак», символическая трактовка предметов, великолепие метафор и неожиданность сравнений. Мысли облечены в символы и метафоры, содержание которых не всегда согласуется с традиционным. Здесь встает проблема языка как индивидуального стиля мышления, проблема перевода не только с языка на язык, но и с мышления на мышление. Сохранить при переводе и форму, и содержание — задача, посильная только виртуозам. Часто в переводе из-за формы страдает содержание и наоборот. И следующий пример тому подтверждение. У Силезиуса:

*Никто не знает, кто он.
Я не знаю, кто я. Я не то, что знаю о себе,
Существо, не существо, может быть капелька или круг?*⁸

Толстой записывает свой перевод на полях книги:

Я не знаю себя. То, что я знаю, не я.

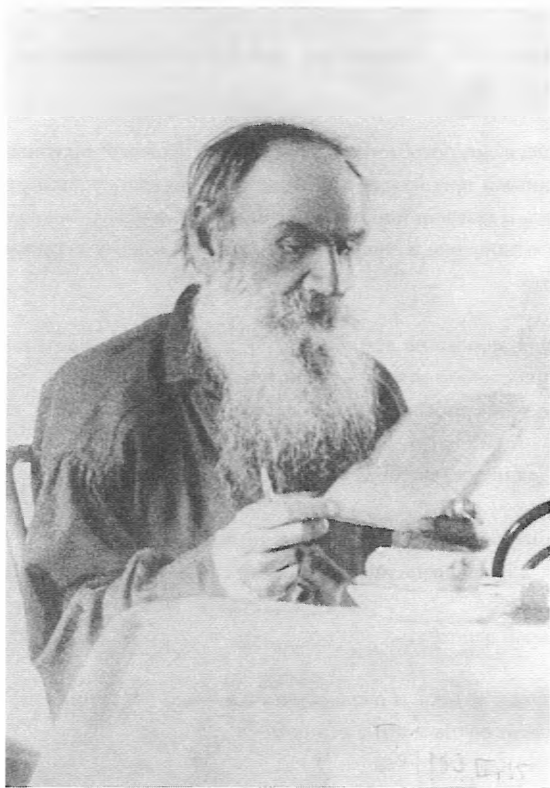
Современный перевод Льва Гинцбурга:

*Так кто же я такой, творенье чьих я рук
Предмет и не предмет, и точка, и круг?*⁹

Красиво, но неточно. Мысль о нашем неправильном представлении о себе утеряна.

Читая стихотворения Силезиуса, упиваешься их чистотой, краткостью, логикой, остротой, эстетическим великолепием, чудом легкости, с которой прокладывается путь по лабиринтам глубоких идей. Кажется, что, если даже отбросить мысли, от одной формы читатель получит величайшее эстетическое наслаждение. Толстой поступает наоборот. Он отбрасывает форму, оставив мысли, что вполне объяснимо. Отношение Толстого к поэзии известно. У него вызвала сомнение правомерность самого искусства стихосложения. Толстой не переставал повторять, особенно в последние годы жизни, что «в соображениях о размере, ритме и рифме» он видит «кошунство», а жертвовать для них ясностью и простотой есть «неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плутом, выделывал бы танцевальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды» (78, 20).

У Силезиуса все стихи озаглавлены. Толстой «обезглавливает» их, и, право, жаль, что читатель так и не узнает, какие названия имели приведенные в сборниках



Л. Н. Толстой. 1903 г.
Ясная Поляна.
Фотография П. А. Сергеевко

Толстого высказывания Силезиуса. Так, помещенное в сборниках «На каждый день», «Круг чтения», «Путь жизни» двестишние: «Бояться Бога хорошо, но еще лучше — любить. Лучше же всего воскресить его в себе» (42, 235; 43, 124; 45, 62) имеет название «Любовь выше страха».

Иногда Толстой не отбрасывает название, в том случае, если оно объясняет содержание, но тогда уже опускается само двестишние. Так случилось с афоризмом: «Чем больше ты из себя выходишь, тем больше входит в тебя Бог» (44, 194)¹⁰.

Силезиус — мастер слова, и Толстой не мог не заметить этого мастерства. Поэту Э.В. Ренботу Толстой рекомендует перевести Силезиуса, и переводчику «Круга чтения» на немецкий язык А. Шкарвану он высылает оригинальные тексты Силезиуса, хотя в черновом варианте предисловия к «Кругу чтения» Толстой советует переводчикам не пользоваться оригиналами, а переводить с его текстов. То, что среди авторов в своих сборниках Толстой цитирует поэта, — факт, говорящий сам за себя. И как бы Толстой ни заставлял себя отрицать литературу и особенно поэзию, он не мог не любоваться красотой и изяществом стихотворений Силезиуса. Из трех двестиший с одним и тем же названием «Духовная алхимия» Толстой выбрал самое красивое:

*Если я растоплюсь на божьем огне, то Бог оттиснет на мне
свой образ (44, 261; 45, 40)¹¹.*

Встречающиеся несоответствия переводов Толстого оригинальным текстам объясняются разными причинами и прежде всего неодинаковым отношением Толстого и Силезиуса к тем или иным вопросам. Так, Силезиус позволяет себе иногда неуважительное отношение к читателю, обращаясь к нему с такими словами, как «дурак», «глупец».

*Нет никого большего на земле
По сравнению с небом земля — пылинка.
О, глупец, как же может быть в тебе что-то великое?¹²*

Черновой вариант перевода Толстого:

*Сравни землю с небом, и земля — пылинка.
Как же ты, дурак, думаешь о себе, что ты — что-то большое? (44, 437).*

Окончательный вариант:

*Земля кажется велика, а в сравнении с небом — песчинка.
Что же может быть в тебе великого?
Велик только Бог (44, 49).*

Последнюю строку Толстой добавляет от себя и разбивает изречение на строки, как и стихотворение Силезиуса, только из-за прибавленной строки получается трех-, а не двестишние.

Толстой — великий гуманист, он верит в человека, в его способность самосовершенствования, считает, что для этого нужно прилагать много усилий. Мысль об усиллии однажды даже приснилась Толстому, и, конечно, он не мог пропустить следующее стихотворение А. Силезиуса:

Нужно делать над собой усилие.

Тот, кто не сумеет сделаться сыном Бога,

Навек останется в хлеву, где скоты и рабы¹³.

У Толстого:

Тот, кто не сумеет сделаться сыном Бога, навек останется в хлеву со скотиной (44, 330).

Толстой опускает «раба» потому, что не может он человека, хоть и раба, или тем более раба, поместить в хлев со скотом.

В некоторых случаях Толстой добавляет что-то от себя. У Силезиуса:

Вина твоя.

Если ты слепнешь от солнца,

То виноваты в этом твои глаза, а не свет¹⁴.

На полях книги Толстой записывает: «Так и с Богом», а окончательный текст его перевода следующий:

Если глаза твои слепнут от солнца, то ты не говоришь, что нет солнца. Не скажешь и того, что нет Бога оттого, что твой разум путается и теряется, стараясь понять его (41, 122).

Иногда Толстой придает стихам Силезиуса назидательный характер. У Силезиуса:

Червь меня устыжает.

О, ирония! Шелковичный червь, который работает, пока не полетит,

И ты, оставшийся, как есть на земле¹⁵.

Стихотворение прекрасно своей недосказанностью, намеком на мораль, но Толстой решает все договорить:

Бери пример с шелковичного червя: он работает до тех пор, пока не будет в силах летать. А ты таким же, как есть, прилип к земле. Работай над своей душой, и у тебя появятся крылья (44, 367).

Бог для Толстого, как и для Силезиуса, невыразим в словах и понятиях. Здесь взгляды двух философов так совпадают, что из пяти изречений Силезиуса, включенных

в «Круг чтения», четыре посвящены теме «Бог». Но у Силезиуса Бог и личность отождествлены. Человек так же велик, как Бог, а Бог так же мал, как человек, считает он. Это несколько озадачивает Толстого. Он, по свидетельству А.Б. Гольденвейзера, прочтя изречение Силезиуса: «Если бы Бог не любил в нас себя, мы не могли бы любить ни себя, ни Бога», воскликнул: «Эк, как загибает»¹⁶.

Общую всякой мистике идею самосозерцания как пути познания Силезиус превращает в идею реального отождествления с миром и даже с Богом.

Его мистический солипсизм в сущности лишает божественное объективного, реального существования вне породившего его человеческого сознания. Бог существует для поэта, пока существует человек, верящий в него. В предисловии к своей книге Силезиус объясняет идею отождествления Бога и человека следующим образом: «Человеческая душа не может превратиться в Бога или нетварное существо, не должна и не может потерять свою тварность...» — и, ссылаясь на Таулера, добавляет: «Всевышний не может сделать, чтобы мы были Богом по Божьей милости, чтобы вместе с ним в постоянно растущей любви могли обладать единой святостью, радостью...»¹⁷

В определении любви у авторов тоже разногласия. Толстой согласен с Силезиусом:

*Любить трудно. Надо не только любить, но быть любовью... (44, 200)*¹⁸

По Силезиусу, надо выбрать, любить тварь или Бога, у него любовь — это отрешение от всего земного. Любовь, по Толстому, не только не исключает, но и предполагает любовь к людям, помощь им. Вот почему в следующей цитате Толстой объединяет две шефлеровские в начале и в конце, а в середине добавляет свое:

*Что ты мечешься, несчастный? Ты ищешь блага, бежишь куда-то, а благо в тебе. Нечего искать его у других дверей. Если благо не в тебе, то его нигде нет. Благо в тебе, в том, что ты можешь любить всех, любить всех не за что-нибудь, не для чего-нибудь, а для того, чтобы жить не своей одной жизнью, а жизнью всех людей. Искать блага в мире, а не пользоваться тем благом, какое в душе нашей, все равно, что идти за водой в далекую мутную лужу, когда рядом с горы бьет чистый ключ (43, 302—303)*¹⁹.

У Силезиуса вместо «чистого ключа» — «фонтан» в доме. Толстой убирает «фонтан», вероятно, по той причине, что сборники составлялись в первую очередь для бедных людей.

В сборнике «На каждый день» Толстой помещает 45 изречений Ангелуса Силезиуса, в «Пути жизни» — 28. Некоторые, наиболее полюбившиеся двуступица Силезиуса Толстой переносит из одного сборника в другой, одни без изменений, другие — редактируя.

Бог любит одиночество. Он войдет в твое сердце только тогда, когда Он будет в нем один, когда ты будешь думать только о Нем одном. («На каждый день». — 43, 246).

В «Пути жизни» Толстой «одиночество» заменяет «уединением» (45, 62).

Одиночество — только состояние, уединение предполагает еще и действие. «Именно в уединении и тиши читают сегодня Силезиуса, там, где он сам провел свои лучшие часы, читают люди, которые охотно остаются наедине с собой», — пишет автор предисловия В. Бельше²⁰.

Многие из отмеченных Толстым двустушией не помещены в сборниках, как, например, это:

Без почему.

Роза без почему, она цветет потому, что она цветет.

Она не обращает на себя внимания, не спрашивает, видят ли ее ²¹.

И, кто знает, может, не только ягоды, но и «роза без почему» навеяли на Толстого эти мысли: «Еду верхом в глуши, и вижу в чаще какие-то созревшие ягоды. И подумал. Никто не увидит этих ягод, никому они не нужны, и им никто не нужен, а они неукоснительно, во всю делают не свое дело, а то, какое им предназначено...» (56, 141).

Толстой хорошо знал немецкий язык, у него было чувство языка, умение схватывать суть. Из всех переводов, которые Толстой сделал на полях книги, только один неправильный. Толстой не включает его ни в один из сборников. У Силезиуса:

Умный опередит вора.

Пока вор что-то украдет,

Умный вперед догадается, как это взять ²².

У Толстого:

Умный вперед отдаст.

Ошибка Толстого объяснима. Что-то взять для него безнравственно. Лучше отдать.

Произведенный анализ стихотворений Силезиуса и переводов их Толстым позволяет сделать следующий вывод:

Силезиус в переводе Толстого — все-таки Силезиус, а не Толстой. У Толстого не было необходимости досочинять что-то от себя (за малым исключением), поскольку их взгляды во многом совпадали. Несоответствия же остались за рамками интересов Толстого, как и изысканность, и великолепие форм стихотворений барокко.

¹ Дранов А.В. Немецкие источники // Круг чтения: В 2-х т. М., 1991. Т. II. С. 366.

² Ibid. С. 361–367.

³ Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann. Nach der Ausgabe letzter Hand von 1675 vollständig herausgegeben und mit einer Studie «Über den Wert Mystik fur unzure Zeit» eingeleitet von Wilhelm Bolsohe / Jena und Leipzig, 1905.

⁴ ЯЭ. Кн. 2. С. 479.

⁵ Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann. С. 61.

⁶ Ibid. С. LXXII.

⁷ Ibid. С. 5.

⁸ Ibid. С. 1.

⁹ Немецкая поэзия XVII века в переводе Л. Гинзбурга. М., 1976. С. 146.

¹⁰ Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann. С. 19.

¹¹ Ibid. С. 15.

¹² Ibid. С. 241.

¹³ Ibid. С. 11.

¹⁴ Ibid. С. 25.

¹⁵ Ibid. С. 215.

¹⁶ Ibid. С. 24.

¹⁷ Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 254.

¹⁸ Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann. С. LXXIV.

¹⁹ Ibid. С. 11.

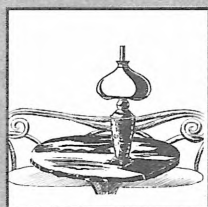
²⁰ Ibid. С. 40, 41.

²¹ Bolsohe Wilhelm. Über den Wert der Mystik für unsere Zeit // Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann. Jena und Leipzig. 1905. С. I–LXIX.

²² Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann. С. 39.

²³ Ibid. С. 224.

ТОЛСТОЙ В ФОТОГРАФИЯХ



Т. К. Поповкина

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФОТОГРАФИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО РАБОТЫ А. М. ХИРЬЯКОВА

Александр Модестович Хирьяков (1863–1946) — литератор, последователь Толстого, сотрудник издательства «Посредник», автор нескольких статей и книг о Толстом. Познакомился со Львом Николаевичем в начале 1890-х годов, бывал много раз в Ясной Поляне и в хамовническом доме писателя. Хирьяков принимал непосредственное участие в подготовке к печати «Круга чтения». Между ним и Толстым установились теплые дружеские отношения и переписка.

Толстой проявлял большое участие к судьбе Александра Модестовича, несправедливо приговоренного к тюремному заключению за издание одного из номеров газеты «Голос», когда он уже фактически не являлся ни ее издателем, ни редактором.

Хирьяков был образованным и интеллигентным партнером по шахматам. По свидетельству А.Б. Гольденвейзера, Александр Модестович играл в шахматы хорошо, а Толстой любил сильных шахматных противников.

В 1912–1913 годах — редактор собрания сочинений Толстого в издательстве «Просвещение», а еще раньше, в 1911 году, вместе с А.Л. Толстой в «Обществе изучения и распространения творений Толстого» готовил к изданию его посмертные произведения. После революции это общество было переименовано в «Кооперативное товарищество», и Хирьяков стал одним из членов его правления.

Совместная работа с Александрой Львовной над рукописями Толстого укрепила их многолетнее знакомство, перешедшее в дружбу.

Александр Модестович был в курсе многих перипетий А.Л. Толстой с советской властью, в том числе ее ареста и ответов на допросе по поводу «Тактического центра», собиравшегося на ее квартире. Ему принадлежит остроумная шутивная поэма, посвященная этому событию.

Смиряйте свой гражданский жар
В стране, где смелую девицу
Сажает в тесную темницу
За то, что ставит самовар.
Пускай грозит мне сотня кар,
Не убоюсь я злой напасти,
Наперекор советской власти
Я свой поставлю самовар¹.

Возможно, что веселый нрав Хирьякова немало способствовал дружескому сближению с жизнерадостной Александрой Львовной Толстой.



Л. Н. Толстой верхом. Слева — А. Л. Толстая. Крекшино. 1909 г.
Фотография А. М. Хирьякова

Лев Николаевич подметил свойственный Александру Модестовичу приятный, серьезный и вместе с тем веселый характер. В одном из писем Толстой писал ему: «Знаю, как Вы своей умеренной, но всегда остроумной иронией... ограждаете свое внутреннее сознание от постороннего равнодушного вмешательства...» (81, 100).

Однако эти черты никак не отразились на создании коллекции его любительских снимков Толстого, не в пример Александре Львовне, которая оставила немало необычных, «смешных» фотографий своего отца.

Снимки Толстого работы Хирьякова сделаны в хрестоматийной манере. В этом отношении они мало выделяются из общего собрания фотографий писателя. Хотя и они, как снимки другой любой коллекции, приносят что-то свое, новое в фотографическую толстовиану. Сняты они в последние годы жизни писателя, в 1908 и в 1909 годах. По месту съемки делятся на два цикла: яснополянский (1908 г.) и крещинский (1909 г.).

Яснополянские фотографии во многом традиционны. Это снятые одновременно два фотопортрета Толстого (о чем мечтает почти каждый фотограф) и два снимка Льва Николаевича с дочерью Александрой Львовной и другом В.Г. Чертковым в библиотечной комнате на втором этаже дома. Толстого, видимо, не беспокоили и не просили пересесть. На всех четырех фотографиях он сидит на одном месте, в одной позе (кисти рук за поясом); Александра Львовна и Владимир Григорьевич «по очереди» вставали рядом с ним перед объективом. Менялись у Толстого поворот головы, направление взгляда и выражение лица (в нюансах) на общем фоне значительности его портрета.

Возможно, в этот же день были сделаны Хирьяковым еще два снимка Л.Н. Толстого, но уже на плейере, у террасы дома. Александр Модестович сфотографировал Льва Николаевича верхом, наверное, перед прогулкой, одного и с Александрой Львовной. А.Л. Толстая стоит в распахнутом пальто (как будто ненадолго вышла из дома), в длинной темной юбке со швом спереди и белой блузе с цепочкой. На снимке ее с отцом в библиотечной комнате, о чем упоминалось выше, мы видим ее в такой же одежде. Это дает нам некоторое основание предположить, что и фотографии Л.Н. Толстого с дочерью у террасы дома сделаны в 1908 году и, возможно, в один день.

Толстой одет в темное пальто и шапку с мягким козырьком. Так он выглядит и на снимке Черткова, сделанном в октябре 1908 года в окрестностях Ясной Поляны. На фотографии Льва Николаевича верхом у дома работы Хирьякова тоже осенний пейзаж, похожий на октябрьский.

В 1908 году А.М. Хирьяков часто приезжал в Ясную Поляну с В.Г. Чертковым, у которого обычно останавливался в Телятинках. В 1908 году последний раз с Чертковым он был у Толстых осенью.

А еще раньше, летом этого года, Хирьяковым были сделаны снимки нескольких пейзажей Ясной Поляны. В третьем томе «Описания материалов Пушкинского Дома» (Л.Н. Толстой. М.-Л., 1954) указаны две фотографии его работы из этой серии: «Площадка перед домом Л.Н. Толстого в Ясной Поляне» (№ 852) и «Прешпект» (№ 851), датированные неточно, 1900-ми годами. В фондах ГМТ хранятся четыре пейзажных снимка работы Хирьякова. Один из них — «Площадка перед домом Толстого в Ясной Поляне» — идентичен экземпляру из Пушкинского Дома, три других, которые не упоминаются в «Описании...» — «Дом со стороны террасы»,



Л. Н. Толстой. Крекшино. 1909 г.
Фотография А. М. Хирьякова

«Уголок парка или окрестностей Ясной Поляны» и «Вид через деревья на дом писателя» — атрибутированы нами как фотографии Хирьякова по аналогии с первым снимком («Площадка перед домом Толстого»). Они отпечатаны на одинаковой бумаге одного качества, одного размера; на них запечатлено одно и то же время года. Фотография «Прешпекта» в нашем собрании не обнаружена.

На одном из этих снимков на переднем плане почти силуэтно сфотографирована Софья Андреевна Толстая, а на дальнем плане, на крыльце дома, который просматривается в просвет между деревьями, можно увидеть в лупу очень мелкое изображение Льва Николаевича.

Нам кажется, что пейзажные фотографии Ясной Поляны относятся также к 1908 году на том основании, что постройки, попавшие в кадр: дом, терраса, сарай, а также площадка перед домом, — приведены в идеальный порядок. Это было сделано по распоряжению С.А. Толстой к 80-летию юбилею мужа, и тогда же были побелены все здания на территории усадьбы. Это во-первых. Во-вторых, как уже говорилось выше, Хирьяков часто бывал в Ясной Поляне в 1908 году, в том числе и летом (на снимках — летний пейзаж). В 1909 году, по доступным нам источникам, Александр Модестович не приезжал в Ясную Поляну, а виделся с Толстым в сентябре этого года в Крекшине.

Затем в течение года (с осени 1909 г.) он отбывал тюремное заключение в Петербурге. После освобождения он вновь появился в Ясной Поляне только 14 августа 1910 года вечером, в этот же вечер вернулся в Телятинки, где предварительно остановился. На другой день рано утром Толстые уехали в Кочеты. Так что в это пребывание в Ясной Александр Модестович не мог фотографировать. Несколько раз он навестил Льва Николаевича в конце сентября 1910 года. Обстановка в яснополянском доме накануне ухода Толстого была тяжелой, совсем не располагающей к сниманию фотографий.

В 1909 году в Ясной Поляне Хирьяков снял более десяти сюжетов. Портреты Льва Николаевича одного, с Александрой Львовной и В.Г. Чертковым, несмотря на позирование перед объективом, получились интересными, значительными. Можно сказать, что и портрет А.Л. Толстой (на снимке с отцом в библиотечной комнате) — один из лучших ее портретов 1908—1910 годов, передающий ее привлекательность. Удалось Хирьякову и пейзажи Ясной Поляны.

Следующую серию фотографий Толстого Александр Модестович снял в Крекшине в 1909 году, где он гостил у В.Г. Чертова и куда в сентябре этого года приезжал Лев Николаевич. Как известно, Толстой приехал 4 сентября во второй половине дня, а уехал 18 сентября. А.М. Хирьяков покинул Крекшино утром 7 сентября, чтобы возвратиться в Петербург.

В обществе Толстого он пробыл около трех дней и как фотограф-любитель счастливо воспользовался этим временем. Он снял двенадцать сюжетов без предварительного позирования, поэтому фотографии Л.Н. Толстого (одного, с дочерью и среди крестьян) получились живыми и непосредственными.

А.М. Хирьяков был свидетелем приготовлений к приезду Льва Николаевича в Крекшине и под свежим впечатлением от встречи с Толстым написал воспоминания, опубликованные в газете «Речь» 11 (24) сентября 1909 года. В них содержатся



Л. Н. Толстой среди крестьян. Крекшино. 1909 г.
Фотография А. М. Хирьякова

интересные для нас сведения о том, что у Александра Модестовича был с собой фотоаппарат и большое желание сфотографировать Толстого и что он был небесцеремонным фотолюбителем.

На станции Льва Николаевича встречал В.Г. Чертков, который вернулся на линейке вместе с сопровождавшими писателя Александрой Львовной и Д.П. Маковицким. «...А за ними, верхом на темно-гнедой лошади, легкой рысцой приближается и сам Лев Николаевич, — рассказывает в воспоминаниях Хирьяков. — Мне становится жаль, что я не захватил из моей комнаты фотографического аппарата; так картинно сидит на лошади этот старый богатырь; но уже поздно, да, пожалуй, и не совсем ловко вместо приветствия нацеливать на человека фотографический аппарат»². Так что серия снимков из двенадцати сюжетов была сделана Хирьяковым в следующие дни: 5 и 6 сентября.

Запись Д.П. Маковицкого в «Яснополянских записках» от 5 сентября 1909 года помогает точно датировать часть фотографий из крекшинской серии: «Полудни Л.Н. верхом на высокой, семивершковой вороной лошади. С большим трудом сажался на нее. Ездили в деревню к токарю. Сделали круг в десять верст»³.

На одном из снимков Хирьяков запечатлел Толстого верхом на этой лошади. Александр Модестович удовлетворил свое желание, возникшее в день приезда Толстого в Крекшино, сфотографировать его верхом. Снимок получился очень удачным, передающим красоту посадки Льва Николаевича. Справа от Толстого (на этом фото) стоят Александра Львовна и И.В. Сидорков, а слева — двое неизвестных. Видимо, фотография сделана перед прогулкой верхом, как и две другие, снятые одновременно, на которых Толстой стоит рядом с дочерью и воспитателем Димы Черткова А.Я. Перна. В Пушкинском Доме хранится увеличенная фотография Л.Н. Толстого верхом (вероятно, кадр с известного нам снимка, о котором говорилось выше), на обороте которой надпись рукой Хирьякова: «Снято А.Хирьяковым в сентябре 1909, в имении Пашковых, Крекшино Московской губ. Дадено Ф.Ф. Фидлеру 4-го ноября 1912 г. в СПб. А. Хирьяков»⁴.

Удалась Александру Модестовичу и фотография Л.Н. Толстого в рост у дома Пашковых. Лев Николаевич стоит в своей характерной позе, в распахнутом летнем пальто; на руке висит стек для верховой езды.

Этот снимок имеет «продолжение» в фотографиях В.Г. Черткова, который, как известно, вместе с Т. Тапселем много снимал Толстого в Крекшине в это время.

Сравнение фотографии Хирьякова (портрета Л.Н. Толстого) с несколькими снимками работы Тапселя, на которых Лев Николаевич сфотографирован также в рост, в такой же одежде, в такой же позе и тоже у дома Пашковых, показало, что сделаны они одновременно. Только Хирьяков снял одно фото (портрет Л.Н. Толстого), а Тапсель — серию из пяти снимков жанрового характера, на одном из которых сфотографирован со спины А.М. Хирьяков.

Если все эти фотографии разложить в определенном последовательном порядке, то получится интересная фотоновелла. Портрет Толстого работы Александра Модестовича — как «заглавие» или «фронтиспис», а все остальное, снятое Тапселем с более дальнего расстояния, — «рассказ» о приготовлениях к верховой поездке Толстого в Ликино к кустарям-бирюличникам. На снимках Тапселя слева от Льва



Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков. Ясная Поляна. 1908 г.
Фотография А. М. Хирьякова

Николаевича стоят Сонечка Толстая, Александра Львовна и А.Я. Перна в картузе, с вязаной кофтой на левой руке. А.Л. Толстую, одетую в такую же белую блузку, в соломенной шляпке и А. Я. Перна в картузе, с вязаной кофтой на левой руке мы уже видели на крекшинском снимке рядом с Л.Н. Толстым (работы Хирьякова), снятом 5 сентября 1909 года. Выходит, что серия рассматриваемых фотографий («фотоновелла») снята в этот же день, то есть в день поездки Л.Н. Толстого в Ликино.

На снимках много и других деталей, подтверждающих эту датировку и смысл происходящего. На последнем снимке, завершающем всю серию, кавалькада едущих в Ликино: на линейке сидят Сонечка Толстая (внучка), А.Л. Толстая, А.М. Хирьяков и В.Г. Чертков, а за ними верхом Л.Н. Толстой и Дима Чертков.

Следующую серию крекшинских фотографий «Л.Н. Толстой среди крестьян» снимал Хирьяков также одновременно с Чертковым и Тапселем, более того, с одного и того же ракурса. Теперь можно точно датировать эти снимки — 6 сентября, по записи Толстого в дневнике за этот день: «Приходили крестьяне Крекшина...» (57, 133) и пребыванию в гостях у Черткова Хирьякова, уехавшего, как известно, из Крекшины утром 7 сентября⁵.

6 сентября было жарко, и Лев Николаевич вышел поговорить с пришедшими к нему крестьянами легко одетый: в рубашке с подтяжками, без кофты или плаща. Крестьяне сами завели беседу о земле, которая послужила писателю основанием для написания в художественной форме диалога «Проезжий и крестьянин».

Толстой с крестьянами — одна из ведущих тем фотографической коллекции В.Г. Черткова. Он фотографировал писателя среди крестьян в Ясной Поляне в 1908 году и в 1909 году — в Троицын день, затем в Крекшине (о чем идет речь) и позднее — на ярмарке в Ломцах в 1910 году.

Вероятнее всего, инициатива фотографирования в Крекшине Толстого с крестьянами принадлежала В.Г. Черткову. А.М. Хирьяков воспользовался счастливым случаем и снял тоже несколько кадров, как выяснилось, большее количество, чем Тапсель (Чертков). Их снимки (Хирьякова и Черткова) сюжетно почти повторяют друг друга с той только разницей, что у Черткова — пять сюжетов, из них три снимка сняты общим планом, чтобы дать представление, как много крестьян пришло поговорить с Толстым, и две фотографии — крупным планом. Лев Николаевич, окруженный мужиками, стоит в рост, в профиль. На них запечатлены два момента: встреча крестьян с Толстым (мужики снимают головные уборы) и разговор писателя с ними.

Хирьяков как бы продолжил эту тему и сделал несколько последующих кадров во время общения Толстого с народом.

Он снял Льва Николаевича в гуще толпы, в рост, в центре почтительного внимания крестьян и любопытства крестьянских детей, которое они (дети) делили между Толстым и фотографом: смотрели кто на Толстого, кто в объектив. Хирьяков сделал семь фотографий. Его снимки по сюжету и добротности исполнения очень похожи на чертковские, их долгое время принимали за работы последнего. Они отличаются качеством бумаги, на которой сделаны отпечатки, меньшим размером и тем, что они, в отличие от фотографий Владимира Григорьевича крекшинского цикла «Толстой среди крестьян», вертикальные.



Л. Н. Толстой с дочерью А. Л. Толстой в библиотечной комнате.

Ясная Поляна. 1908 г.

Фотография А. М. Хирьякова

Вся коллекция любительских фотографий Толстого работы Хирьякова состоит из двадцати одного сюжета, каждый из которых хранится в фондах ГМТ в среднем в двух-трех экземплярах, так что коллекция его снимков насчитывает приблизительно пятьдесят единиц. Снимки интересные, каждый из них — по-своему. Портреты Толстого одного, с дочерью Александрой Львовной и В.Г. Чертковым передают значительность его личности. Примечательны они и по месту съемки (в библиотечной комнате верхнего этажа). Толстого часто фотографировали в кабинете, в зале, есть его снимки, сделанные в секретарской и в спальне. И не было до этого ни одной фотографии, снятой в библиотечной на фоне книжного шкафа.

Хирьяков относился к Льву Николаевичу с большим пиететом и во многих своих статьях называл великим старцем. Воспоминания, которые он оставил о Толстом, правдивы, он ничего не придумывал и не приукрашивал в своих отношениях с Л.Н. Толстым. То же самое можно сказать и о серии его снимков Толстого, которые привлекают нас своей естественностью и простотой кадров.

Выбор сюжетов вероятнее всего был подсказан Хирьякову случаем (как, например, серия снимков «Толстой среди крестьян в Крекшине») и его привязанностями (Толстой с Чертковым, Толстой с дочерью Александрой Львовной). Александр Модестович любил Толстого, был дружен с Чертковым и с большой симпатией относился к А.А. Толстой. Их он и снимал.

Нельзя обойти молчанием и его фотопейзажи Ясной Поляны. На них изображены знакомые всем места: дом Толстого с террасой, площадка с «деревом бедных», уголок лесопарка. Снимки реалистичны, они поражают также чистотой исполнения и чистотой и ясностью восприятия природы Ясной Поляны фотолюбителем А.М. Хирьяковым.

Александр Модестович с 1924 года жил в эмиграции, где умер в 1946 году в возрасте 83 лет. Мы ничего не знаем о его жизни там, за рубежом. Из комментариев Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах мы узнаем, что в 1934 году он жил в Варшаве (58, 321), а в 1937 году «находился в белой эмиграции» (56, 587, примеч. 866).

¹ Толстая Александра. Дочь. М., 1992. С. 142.

² Хирьяков А. Около Толстого / Составление, вступительная статья и комментарии В.Я. Лакшина // Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986. С. 388.

³ ЯЗ. Кн. 4. С. 60.

⁴ Описание изобразительных материалов Пушкинского Дома. Л.Н. Толстой. М.; Л., 1954. Т. III. С. 98. № 413.

⁵ ЯЗ. Кн. 4. С. 62.

О. Е. Ершова

АТРИБУЦИЯ ТРЕХ ДАГЕРРОТИПНЫХ ПОРТРЕТОВ ИЗ СОБРАНИЯ ГМТ

В общем фотографическом наследии дагерротипы представляют собой особую ценность. Известно, что, чем дальше от нас время, тем дороже его свидетельства. Выполненные каждый в единственном экземпляре, нестойкие в хранении, в значительной своей части «смытые» первой волной эмиграции, в России дагерротипы сохранились до наших дней в очень небольшом количестве.

Коллекцию Государственного музея Л.Н. Толстого — восемнадцать дагерротипных портретов писателя, его родных, друзей, знакомых, людей его эпохи — можно считать достаточно крупной.

Несмотря на то, что в основном портреты так или иначе были датированы, а изображенные на них лица, за исключением двух, определены, стоило «войти в материал», как обнаружили белые пятна, в том числе и там, где, казалось бы, их не было.

Дагерротип молодого человека в гусарском мундире, снятый московской фотографией «Бр. Блюменталь из Берлина», в инвентарной книге записан как портрет Александра Сергеевича Горчакова. Затем «Александр» зачеркнут и рукой одного из прежних сотрудников отдела изофондов исправлен на «Дмитрий» (то же исправление сделано на обороте дагерротипа). Никаких объяснений по этому поводу в документах не зафиксировано.

Александр и Дмитрий Горчаковы — сыновья участника войны 1812 года полковника Сергея Дмитриевича и племянники главнокомандующего Крымской армии Михаила Дмитриевича Горчаковых — приходились Толстому четвероюродными братьями (при столь отдаленном родстве на дагерротипе явно улавливается сходство с Толстым).

С большой семьей Сергея Дмитриевича и Анны Александровны (рожденной Шереметевой) Толстой был знаком с детства. Как известно, это знакомство дало ему реальный материал при описании Корнаковых в повести «Детство». Прототипом Этьена Корнакова Толстому послужил Александр Горчаков.

Александр и Дмитрий Горчаковы служили вместе с Толстым в Дунайской, а затем Крымской армии. Их имена упоминаются в дневниках и письмах Толстого того времени. И хотя он был в приятельских отношениях с обоими братьями, предпочтение, судя по его высказываниям, он отдавал Александру. Так, в письме к «тетеньке» Татьяне Александровне Ергольской из Бухареста Толстой пишет: «Я застал здесь обоих сыновей князя Сергея; они славные малые, особенно младший из них (Александр. — О. Е.); пороха он не выдумал, но в нем много благородства и сердечной доброты. Я его очень люблю» (59, 265).



Александр Сергеевич Горчаков.
С дагерротипа братьев Блюменталь. Москва. 1851 г. (?)

Наличие в фонде музея дагерротипа Горчакова, поступившего в 1933 году от А.И. Толстой-Поповой, т. е. хранившегося у Толстых, навело меня на мысль: не обменялись ли Толстой и Горчаков портретами? Не подарил ли Толстой Горчакову в обмен на этот портрет свой дагерротип 1854 года? Это единственный из известных нам толстовских дагерротипов, которого нет в собрании нашего музея и местонахождение которого до сих пор не установлено.

Прослеживается некая закономерность: первый портрет Толстого — профильный карандашный рисунок неизвестного художника — хранился у Дмитрия Алексеевича Дьякова; первый дагерротипный портрет Толстого 1849 года — у Иславиных. При отсутствии прямых свидетельств как-то само напрашивается, что портреты были подарены Толстым, во втором случае, думается, Константину Александровичу Иславину. К обоим Толстой, по его признанию, испытал в пору своей молодости чувство влюбленности. В его дневниковой записи 29 ноября 1851 года¹ в этой связи

названы еще несколько имен. Александра Горчакова среди них нет. Однако перечень фамилий заканчивается словами: «и многие другие...»

Если исходить из принятой мною версии, дагерротип Толстого 1854 года в накинута на плечи шинели с бобровым воротником должен быть подарен писателем скорее Александру, а не Дмитрию. Стало быть, и на нашем портрете снят все-таки Александр.

Чтобы убедиться в этом окончательно, требовалось документальное подтверждение. Первым естественным движением было — проверить, нет ли еще фотографий братьев Горчаковых в фонде музея.

В коробе персоналий без труда был обнаружен снимок конца 1850-х — начала 1860-х годов с надписью на оборотной стороне: «Александр Сергеевич Горчаков». Вероятно, этот снимок и побудил внести исправление в инвентарь, ибо сходство лиц, изображенных на фотографии и дагерротипе, было весьма отдаленным.

Фотография по времени ее поступления в музей могла быть использована в данном случае в качестве документа, хотя и, на мой взгляд, не очень основательного. Она поступила из Ленинградского фонда, вобравшего в себя материал из самых разных источников, что, кстати, затруднило определение автора надписи. Судя по тому, что она сделана по современной орфографии и карандашом, это, скорее всего, — консультант или эксперт Ленинградского фонда.

Словом, мои сомнения относительно правильности исправления, внесенного моими предшественниками, не рассеялись, и вскоре мне удалось найти неоспоримые подтверждения тому.

Просматривая трехтомный сборник портретов «Севастополя» 1904 года издания, где наряду с крупными военачальниками воспроизведены портреты младших рядовых воинов, я обнаружила вариант нашего портрета. Под ним стояла надпись: «Князь Александр Сергеевич Горчаков. Корнет Гусарского цесаревича полка». И ниже: «Участвовал в сражении на Черной речке 4 августа 1855 г. В этом деле был контужен ядром в голову и спину. Награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». С фотографии Г. Трунова»².

Оба портрета сняты одновременно в дагерротипной мастерской братьев Блюменталь (рисунок обивки канапе, на котором полулежит Горчаков, на обоих снимках идентичен). Очевидно, что издатели галереи портретов «Севастополя» имели дело не с дагерротипом, а с профессиональным переснимком с него, где стоял штамп автора переснимка — московского фотографа Г. Трунова.

Изменена была и прежняя датировка дагерротипа: с 1852 года (под вопросом) на 1851 год (также под вопросом).

В пору дагерротипии фотографировались редко и чаще в связи с какими-то знаменательными событиями. А в 1851 году Горчакову исполнилось 20 лет, и он был произведен в корнеты (на дагерротипе он снят в этом чине). Его небрежная поза и расстегнутый мундир на снимке, по-видимому, выражают столь понятное в подобной ситуации стремление юного гусара выглядеть бывалым офицером. Вспомним дагерротип Толстого «в бобрах», снятый вскоре после присвоения ему звания прапорщика: надменный взгляд а-ля Печорин, небрежно наброшенная на плечи щегольская шинель (и случайность ли, что при этом виден эполет?)...

Очень похоже, что два участника Крымской кампании и Севастопольской обороны, Лев Николаевич Толстой и Александр Сергеевич Горчаков, обменялись своими первыми офицерскими портретами.

Причем, в отличие от Горчакова, располагавшего, как выяснилось, двумя одновременно снятыми дагерротипами, Толстой готов был расстаться ради предмета своего увлечения с единственным так же, как это было в случаях с Дьяковым и Иславиным.

Следующий портрет в инвентарной книге музея значится как портрет неизвестного военного. В музей поступил в 1929 году от дочери Елизаветы Андреевны Берс Елизаветы Александровны Мясоедовой.

Исходя из источника поступления, были визуально просмотрены фотографии музейного фонда, прежде всего Елизаветы Андреевны Берс и ее семьи, а затем все имеющиеся фотографии Берсов. Среди последних оказались два снимка конца 1860-х годов, поступившие в музей после 1929 года. На обороте одного из них стояла надпись: «Александр Евстафьевич Берс». Точно определить руку не удалось (почерк почти каллиграфический). Предположительно, это автограф самого Александра Евстафьевича. Надпись сделана черными чернилами с соблюдением старой орфографии, что в любом случае говорит в пользу ее информационной достоверности.

Несмотря на то, что фуражка на дагерротипе скрывает лоб и верхние веки глаз, а усы на фотографии — верхнюю губу, общая лепка лица, его выражение, разрез глаз, нос (при небольшой возрастной деформации на фотографии) и особенно ямочка на подбородке не оставляют сомнения, что и на дагерротипе, и на фотографии изображено одно и то же лицо — дядя Софьи Андреевны Толстой — Александр Евстафьевич Берс (1807—1871).

Понятно, почему его дагерротипный портрет хранился у Е.А. Мясоедовой. Ее отец, Александр Александрович Берс, был сыном Александра Евстафьевича, т. е. последний приходился ей родным дедушкой.

Сложнее оказалось датировать портрет. Известно, что А.Е. Берс служил в качестве врача в Канцелярии военного министерства, Правлении Государственного коммерческого банка и Дирекции императорских театров. Но оказавшиеся не в фокусе погоны и кокарда на фуражке не позволили установить чин и принадлежность униформы.

Дальнейший ход рассуждений был следующим. Судя по возрасту (а на дагерротипе Александру Евстафьевичу не больше 50 лет), портрет снят не позднее 1857 года. При этом 1856—1857 годы маловероятны, так как в этот период уже была достаточно распространена так называемая мокроколлодионная фотография. Однако и дагерротипы этого времени известны, хотя и редки. И снова форма... Внимательно просматривая в справочных изданиях сведения обо всех изменениях, происходивших в ней. И вот — деталь: оказывается, что однобортные мундиры, в каком снят А.Е. Берс на дагерротипе, с 1856 года были заменены двубортными. Значит, снимок сделан не до 1857, а до 1856 года, вероятнее всего — в 1854 году, так как в 1855 году в практику уже начинает входить фотография на бумаге. Но поскольку первое время дагерротипы успешно конкурировали с ней, я сочла правильным датировать снимок так: 1854—1855 годы.

При такой датировке Александру Евстафьевичу на дагерротипе 47—48 лет.

Постфактум, когда на этом мной была поставлена точка, в музей пришел некто Борис Иванович Попов, который представился нам как прямой потомок Александра Евстафьевича. С его помощью удалось определить, что последний имел чин коллежского советника с 1851 по 1861 год и всегда одновременно служил в трех упомянутых мной выше учреждениях.

Эти сведения, к сожалению, не дали возможности уточнить дату дагерротипа (она осталась прежней). Но теперь можно сказать, что на нем А.Е. Берс снят в чине



Александр Евстафьевич Берс.
Дагерротип 1854–1855 гг. (?)
Публикуется впервые

коллежского советника, военного советника. Второе название (военный советник) употреблялось в отношении гражданских чиновников, служивших в учреждениях военного ведомства. Это — гражданский чин 6-го класса, равный полковнику.

Об Александре Евстафьевиче мало что известно.

Он был старшим и единственным братом отца Софьи Андреевны. Оба брата окончили лучший по тому времени московский пансион Шлецера. Причем семья Евстафия Ивановича находилась тогда в бедственном положении, лишившись во время пожара Москвы 1812 года двух своих домов. Будучи другом их отца, Шлецер принял братьев Берс в свой пансион бесплатно. Впоследствии оба они успешно закончили медицинский факультет Московского университета.

Александр Евстафьевич был некоторое время врачом в имении князей Шаховских во Владимирской губернии. Но большая часть его жизни связана с Петербургом,



Александр Евстафьевич Берс.
Фотография конца 1860-х гг. Санкт-Петербург

вследствие чего он очень мало соприкасался с Толстым. Отдельные упоминания о нем у Толстого носят формальный характер.

В 1863 году в Петербурге вместе со своим отцом провела несколько дней Таня Берс. Останавливались они у дяди Александра Евстафьевича. С ее слов, он был «седой, высокий, как отец, и в военной форме...» У него была «многочисленная патриархальная семья от первой и второй жены... Но не они интересовали меня в Петербурге, — пишет в своих воспоминаниях Т.А. Кузминская, — я попала совсем в другой мир и потому мало коснулась их»³.

Ясно, что 16-летней Танечке Берс в вихре светских развлечений, в угаре чувств к Саше Кузминскому, к Анатолию Шостаку («неделя в Петербурге — волшебный сон!» — восторженно сообщает она в письме к сестре Соне) строго размеренная, на английский лад жизнь у дяди показалась скучной.

Осенью 1864 года в петербургском доме Александра Евстафьевича его брату Андрею известным впоследствии хирургом Раухфусом была сделана операция трахеотомии. «Помню эту безмолвную суету чужих лиц в белых халатах, длинный стол в пустой комнате и дядю Александра Евстафьевича, энергично распоряжавшегося всем»⁴, — вспоминает Т.А. Кузминская. После операции она дежурила у постели отца, не забывавшего всякий раз приготовить для нее сладости, а дядя подтрунивал над ней, называя ее «балованным бэби».

Последнее упоминание Кузминской о дяде связано с рождением ее дочери Даша (1868 г.) и угрожавшей ей послеродовой горячкой, которую, по ее словам, к счастью, «пресек» оказавшийся у них в Туле проездом из «какого-то имения» дядя Александр Евстафьевич.

В Петербурге некоторое время жил брат Софьи Андреевны Саша Берс, служивший тогда в Преображенском полку. По его признанию, дом дяди Александра Евстафьевича был для него «самый родной».

Третий портрет оказался записанным в инвентарную книгу каким-то странным образом. Было такое впечатление, что с фамилией, именем и отчеством изображенного произошла таинственная перетасовка.

В инвентарной книге записано: «Д.Э. Мамонов». После безуспешных попыток найти в именных указателях Мамонова с такими инициалами как-то вдруг удалось выйти на фамилию Дмитриев (подсказал инициал «Д») -Мамонов. Вспомнились друзья детей Толстых Дмитриевы-Мамоновы: Софья Эммануиловна и Александр Эммануилович (инициал «Э»).

Мог ли быть снят на дагерротипе по возрасту их отец, художник-славянофил Эммануил Александрович? Получалось — мог. Он был женат на Ольге Александровне Рачинской — тетке первой жены Сергея Львовича Марии Константиновны Рачинской. И дагерротип поступил к нам от Сергея Сергеевича Толстого. Как будто бы все сходилось. Оставалось сопоставить наш дагерротипный портрет с другими изображениями Э.А. Дмитриева-Мамонова. В изофондах музея их не было. Не увенчалась успехом и попытка найти их в печатных источниках. Наконец, связь Эммануила Александровича с Аксаковыми привела меня в московский аксаковский дом-музей, где в первом же зале экспозиции висел большой живописный автопортрет художника 1850-х годов (почти времени дагерротипа!). Сходство было несомненным.

Наш дагерротип относится к первой половине 1850-х годов. Именно в это время в моде были зимние пальто, в котором снят Дмитриев-Мамонов: открытые спелые, с большим шалевым меховым воротником. Более точно датировать портрет затруднительно из-за плохой сохранности со множеством царапин на изображении.

Э.А. Дмитриев-Мамонов (1824–1880) окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Звание художника получил от Академии художеств за портрет с натуры. В дальнейшем известен как автор портретов выдающихся представителей русской культуры: Н.В. Гоголя, А.С. Хомякова, П.В. Киреевского, М.П. Погодина и других.

Эммануил Александрович был связан с Абрамцевым периода Сергея Тимофеевича Аксакова, с которым был в приятельских отношениях. Известны его карандашные зарисовки С.Т. Аксакова, а также других обитателей Абрамцева.

36-летняя дочь С.Т. Аксакова Вера Сергеевна записывает в своем дневнике 1855 года (опять-таки время, близкое к дагерротипу): «После обеда приехал Мамонов. Мы встретились радушно, — добрый человек и старый знакомый. Мы давно его не видели, и он напомнил нам прежнюю жизнь. Он привез показать свой портрет масляными красками, им же самим написанный. Очень хорошо, но не оконченный, как и все, что он делает. Человек одаренный разнообразными талантами и не способный ни одного из них обратить в дело»¹.

В дневнике Толстого 1890 года есть упоминание: «...читал статью отца Мамонова о славянофилах — прекрасно» (51, 92).

Речь здесь идет об очерке Э.А. Дмитриева-Мамонова «Славянофилы», опубликованном в 1873 году в одном из номеров «Русского архива».

Известно, что к триединой формуле славянофилов — православие, самодержавие, народность — Толстой относился отрицательно. И положительный отзыв его об очерке Дмитриева-Мамонова объясняется, по-видимому, тем, что там в основном говорится о благородстве славянофилов 1840–1850-х годов, в связи с чем упоминаются имена людей, к которым Толстой относился с глубоким уважением.

Процесс атрибуции, скромный опыт которой представлен в настоящей публикации, скрупулезен и в то же время по-своему увлекателен. И в этом смысле к нему с полным правом можно отнести бытующее мнение о том, что работа исследователя похожа на работу следователя.

¹ Запись превратно и вульгарно истолкована некоторыми современными авторами.

² «Севастопольцы». Сборник портретов участников обороны Севастополя в 1854–1855 г. СПб., 1904. Вып. 3. С. 28–28–1.

³ Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986. С. 182.

⁴ Там же. С. 324.

⁵ Дневник В.С. Аксаковой. СПб., 1913. С. 31–32.

В. А. Врубель

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

(Публикация И. К. Грызловой)

В 1963 году в связи со 135-летием со дня рождения Л.Н. Толстого в газете «Вечерняя Москва» (№ 211) была опубликована небольшая заметка С. Идашкина «Негатив с трещиной» о посещении Ясной Поляны мальчиками из Тулы, которые сфотографировали Л.Н. Толстого верхом на лошади и его жену Софью Андреевну, державшую лошадь под уздцы. В газете была помещена эта фотография и упоминалось только одно имя мальчика — Илюши Буковникова — в то время ученика Тульского реального училища.

А в 1967 году из Курска в Ясную Поляну пришла фотография, которая, как потом выяснилось, явилась одним из вариантов названного снимка. На ней, в отличие от первой, ясно просматривалось третье лицо на террасе яснополянского дома. В нем нетрудно узнать знаменитого художника И.Е. Репина. Он опирается на перила крыльца и вместе с Толстым смотрит в объектив аппарата.

И только в 1980 году стали известны подробности пребывания мальчиков в Ясной Поляне — благодаря воспоминаниям бывшего главного врача Тульского тубдиспансера, ныне уже покойного Владимира Абрамовича Врубеля. Он один из трех мальчиков, посетивших Толстого в тот памятный день 1907 года.

Воспоминания Владимира Абрамовича были любезно предоставлены музею родственницей автора Надеждой Ильиничной Журавлевой — преподавателем французского языка в Туле.

В воспоминаниях Врубеля этот памятный день назван днем рождения Л.Н. Толстого, 28 августа, на самом деле это было 23 сентября 1907 года — день 45-летия свадьбы Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Тогда в гостях у Толстых в Ясной Поляне больше недели (с 21 по 29 сентября) находился И.Е. Репин с женой Н.Б. Нордман-Северовой. В «Ежедневниках» С.А. Толстой есть запись, подтверждающая фотографирование ее со Львом Николаевичем и Репиным. Она писала: «23 сентября. Свадебный день, 45 лет. Писал И.Е. Репин мой портрет, масляными красками. Потом *фотографировали* (курсив мой. — И. Г.) меня с Львом Николаевичем и Репином».

В воспоминаниях И.Е. Репина «Далекое близкое» тоже упоминается этот факт: «В конце сентября 1907 года я опять был в Ясной Поляне. После приема... божьих людей Лев Николаевич садится на верховую лошадь для прогулки по окрестностям. Ездит с небольшим два часа...

У меня наследственная страсть к лошадям и верховой езде, и я любил смотреть, как Лев Николаевич садится на лошадь и уезжает»².

Этот момент и запечатлели мальчики на своей фотографии.

Интересно, что почти одновременно с мальчиками фотографировала Льва Николаевича верхом на Делире возле дома С.А. Толстая. На ее снимке мы видим Толстого, Репина, его

жену Н.Б. Нордман-Северову и саму С.А. Толстую. Эта фотография хранится в фондах Московского государственного музея Л.Н. Толстого. Она не раз публиковалась, в частности в «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого и в альбоме «Толстой в жизни» (составители: Т.К. Поповкина и О.Е. Ершова)³.

В «Ежедневнике» 24 сентября 1907 года С.А. Толстая отмечала, что «копировала фотографии», очевидно, те, что снимала накануне 23 сентября, когда в Ясной Поляне вместе с именитыми гостями побывали мальчики, оставившие потомкам вместе с фотографиями интересные воспоминания. Они оживляют страницы прошлого, касающиеся не только светлого дня Толстого, но и черных дней России — похорон писателя, свидетелем которых был один из мальчиков — автор публикуемых воспоминаний В.А. Врубель.

Вот эти страницы.

Я учился в Тульской классической гимназии. 28 августа (по старому стилю) в 1907 или 1906 году (точно не помню) мы, трое гимназистов, решили совершить загородную прогулку. Был воскресный день, погода была чудесная, и мы направились в Ясную Поляну. Мои товарищи захватили с собой гитару и мандолину, а я взял свой фотоаппарат с треножником, и мы тронулись в путь. При входе в яснополянскую усадьбу нас остановил привратник и заявил, что сегодня, по случаю дня рождения графа, ему запрещено пропускать в усадьбу посторонних. Мы не растерялись. Правда, мы не знали, что сегодня день рождения Льва Николаевича, однако заявили, что мы специально приехали поздравить его, сыграть и спеть для него несколько любимых им песен. Привратник приветливо улыбнулся и нас пропустил.

Мы подошли к дому, около дома стояла на привязи красивая верховая лошадь, людей не было. Я установил на треножник свой фотоаппарат и приготовился заснять дом, в котором жил Лев Николаевич. В этот момент из дома вышел сам Лев Николаевич в сопровождении Софьи Андреевны и неизвестного нам мужчины, небольшого роста, в кепи.

Лев Николаевич направился прямо к нашей группе, и, так как я стоял впереди своих товарищей, он протянул мне руку и сказал: «Ну здравствуйте! Вы зачем сюда пришли?» Я растерялся и пролепетал: «На вас посмотреть». «Может, и снять меня хотите? Снимайте и, если что получится, обязательно пришлите карточку. Я очень люблю собирать фотоснимки».

Лев Николаевич сел верхом на лошадь. Софья Андреевна взяла лошадь за уздцы, и я сделал несколько снимков. «До свидания, дети, до свидания. Не забудьте выслать карточку». Лев Николаевич приветливо на прощание помахал рукой и уехал. В моем воображении он казался гигантом, и я был удивлен, когда увидел обыкновенного, простого старика в скромной одежде: в сапогах, куртке и крутой шапочке. Но взгляд его голубых глаз из-под нависших густых бровей — ласковый, острый и пронизывающий — мне не забыть до конца моих дней. Когда Лев Николаевич уехал и я еще не успел убрать свой фотоаппарат, из дома вышла Софья Андреевна и подошла к нам. «Мальчик, — сказала она, — у вас остались еще не заснятые кадры? Вы обратили внимание на мужчину, который стоял на террасе, когда вы фотографировали Льва Николаевича? Это художник Илья Ефимович Репин, о котором вы, наверное, слышали. Может, вы хотите заснять его отдельно? Подождите. Я попрошу его выйти к вам».

Я вновь засуетился у своего фотоаппарата. Через несколько минут появилась Софья Андреевна. «Илья Ефимович, — заявила она, — очень извиняется. Он устал и сниматься не будет». Помню, что нам стало как-то неловко. Илья Ефимович Репин, художник с мировым именем, извиняется перед нами, мальчишками.

Счастливые и возбужденные таким удачным днем, мы отправились в обратный путь. Не успели мы сделать несколько шагов, как чьи-то могучие руки сзади подхватили меня, подняли в воздух и неизвестный мне мужчина стал осыпать меня поцелуями. Опустив меня на землю, он извинился и сказал: «Мальчик! Какой ты счастливцев! Сам Лев Николаевич пожал тебе руку, ты на всю жизнь должен сохранить ощущение пожатия этой руки, написавшей величайшие произведения. Я, инженер с Урала, приехал сюда, чтобы повидаться с Толстым, перед которым я преклоняюсь. Живу несколько дней и не добьюсь этой встречи. Ты же, мальчишка, удостоился его рукопожатия и даже фотографировал его. Я дам тебе сколько хочешь денег, пришли мне только на память карточку, какой бы она ни получилась».

Конечно, от денег я отказался и обещал выслать ему карточку. Он дал мне свой адрес, который я сейчас не помню, и проводил нас до нашей станции Засека, повторяя свою просьбу о высылке фото. Вернувшись домой, я тотчас приступил к проявлению заснятой пленки. Один из заснятых кадров оказался удачным, но с небольшим дефектом. Лев Николаевич сидит верхом на своей чудесной лошади черной масти с белой звездой на лбу. Софья Андреевна держит лошадь за повод, а на терраске, облокотившись на перила, стоит Илья Ефимович Репин. Дефект снимка был в том, что Софья Андреевна не выдержала экспозиции и слегка повернула голову, вокруг ее носа получилось несколько теней, повторяющих ее профиль.

Я отпечатал несколько снимков и в первую очередь послал Льву Николаевичу и инженеру с Урала, как реликвию берег я один из сохранившихся у меня снимков, который, к сожалению, затерялся в 1941 году при эвакуации моей семьи. Мне говорили, что один из снимков будто бы имеется в Толстовском музее в Москве, но сам я в этом музее не был и не знаю, верно ли это, что говорят.

Прошло несколько лет. Я только что окончил гимназию и стал студентом-медиком Московского Императорского университета.

7 ноября 1910 года (по старому стилю) вся Москва, вся страна, весь мир были потрясены известием о кончине Льва Николаевича, за ходом болезни которого мы следили по выпускаемым бюллетеням.

Не забуду статью Дорошевича в «Русском слове», которая примерно гласила следующее: «Великий Лев умер! Он умер так, как умирают все львы, которые, предчувствуя приближение смерти, уходят в глубь пустыни, подальше от своих насыженных мест».

Да, великий Лев умер, и правительство, несмотря на свою нелюбовь к Толстому и несмотря на анафему, которой предал его Святейший Синод, под давлением громадного количества людей, желавших проводить в последний путь Льва Николаевича, скрепя сердце вынуждено было дать срочное распоряжение о формировании специальных поездов до Ясной Поляны, и эти поезда пошли из Москвы, Петербурга, Харькова, Киева и других городов.

С одним из таких поездов я выехал из Москвы и рано утром приехал на станцию Засека. Поезда продолжали прибывать на эту станцию и с севера и с юга. Большинство приехавших — студенты, профессора и другая интеллигенция. Туляки шли пешком, приезжали на извозчиках, кто как мог. Около 8 часов утра к разгрузочной площадке станции Засека подошел поезд в составе двух вагонов: классного и товарного. В классном ехали сопровождавшие тело Толстого близкие, а в товарном с надписью: «40 человек, 8 лошадей» стоял гроб с телом Льва Николаевича. Гроб понесли на руках со станции в усадьбу с пением «Вы жертвою пали». Полиция, пешая и конная, сопровождала процессию, держась в стороне. Погода была осенняя: небо покрыто тучами, временами моросил мелкий дождь. Для последнего прощания установилась громадная очередь. По очереди кто-то пустил листы с протестом против смертной казни, которые передавались из рук в руки. Я размахисто расписался «Врубель» и долго сзади слышал, как шептали: «Где он, какой он?» Меня принимали за художника Врубеля.

В гробу Толстой казался маленьким старичком. И все же, несмотря на исключительно скромную внешность, он и мертвый производил грозное впечатление, и многие из дефилирующих мимо гроба не скрывали своих слез. После прощания гроб понесли к могиле, которую Лев Николаевич наметил для себя еще при жизни. Я был тогда еще молод и, чтобы лучше видеть, забрался на дерево недалеко от могилы. Надвигался вечер, плакали люди, плакало небо. Когда гроб стали опускать в могилу, толпа, невзирая на грязь, опустилась на колени.

Много лет спустя, когда я пишу свои воспоминания, я вновь переживаю все то, о чем пишу, ясно вижу образ Льва Николаевича, каким я видел его, живым и мертвым, и мне кажется, что правая рука моя вновь ощущает пожатие его руки.

¹ ДСТ. Т. 2. С. 271.

² Репин И.Е. Далекое близкое. М., 1953. С. 388.

³ ЯЗ. Кн. 2. С. 521.

⁴ Толстой в жизни. Л.Н. Толстой в фотографиях С.А. Толстой и В.Г. Черткова. Тула, 1982. С. 102.

ИЗ ИСТОРИИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ



«НАХОЖУ ПОКУПКУ... НЕДОПУСТИМОЮ»

Летописная история Ясной Поляны начинается с XVI столетия, хотя жизнь текла здесь своим чередом, думается, задолго до возникновения Засек, не случайно сам Л.Н. Толстой находил на территории Ясной Поляны и дарил Историческому музею дирхемы — монеты иранского происхождения, имевшие хождение на Руси в IX—XII вв¹. Долгая история у Ясной Поляны. Но, наверное, в жизни каждого человека, семьи, территории время иногда останавливается, иногда летит. Между периодами размеренного течения ее неизбежны даты, как стыки между рельсами, а на них обычно подбрасывает. В истории Ясной Поляны одна из таких пограничных дат — 1910—1911 гг. За этими цифрами остались события, достаточно часто обсуждаемые, трактуемые и вместе с тем достоверно малоизвестные.

7 ноября 1910 г. (здесь и далее — старый стиль) Л.Н. Толстой завершил свой жизненный путь. В России к писателю никогда не относились однозначно, и все же величины Толстого не мог отрицать никто — порыв печали был общим и глубоким. Семья Толстых в траурные дни получила от людей разных чинов и званий более 2000 телеграмм из примерно 450 населенных пунктов всего земного шара, исключая один континент, Австралию². Отношение официальных кругов России определила резолюция императора Николая II на докладе министра внутренних дел П.А. Столыпина о смерти Толстого: «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего, во времена расцвета своего дарования, в творениях своих, родные образы одной из славнейших годин русской жизни. — Господь Бог да будет ему Милостивым Судьею»³. Она была напечатана с небольшими искажениями «Правительственным вестником» в день похорон писателя. Речь в связи с кончиной Л.Н. Толстого была произнесена в Государственном Совете⁴. В Государственной Думе ее вице-председатель В.М. Волконский прекратил попытки прений короткой фразой: «К могиле надо подходить со скорбью и в молчании»⁵.

Тульская Городская Дума в день похорон Л.Н. Толстого по возвращении ее депутации из Ясной Поляны по предложению головы А.А. Смирнова почтила память писателя «вставанием с своих мест. После чего Дума, находясь под впечатлением всего пережитого и переживаемого со смертью Великого Человека, ПОСТАНОВИЛА:

1) обсуждение вопросов... отложить;

2) избрать особую Комиссию для разработки вопроса об увековечении памяти писателя Л.Н. Толстого...»⁶.

Комиссия заседала дважды: 12 и 21 января 1911 г., обсуждались проекты, предложенные соответственно В.А. Халютиным и И.К. Незвановым, где предлагалось:

«1) Выстроить через р. Упу, в Чулково, жел. мост, которому присвоить имя моста Л.Н. Толстого. На четырех концах этого моста воздвигнуть четыре чугунных изображения Л.Н. Толстого по образцу Аничкова моста в С.-Петербурге». Четыре фигуры должны были изображать писателя верхом на лошади, как он пашет землю, в полушубке с чемоданчиком в руках отправляется на помощь голодающим, с корзинкой в руках собирает грибы в Засеке.

2) Переименовать Киевскую или Старо-Дворянскую улицу в улицу имени Л.Н. Толстого.

3) На этой улице, за Киевской Заставой или перед парком, воздвигнуть памятник Л.Н. Толстому.

4) От памятника по дороге в Ясную Поляну устроить бульвар им. Льва Николаевича.

5) Против памятника выстроить школу им. Льва Николаевича с бюстом его над входом.

6) На могиле Льва Николаевича, в парке Ясной Поляны, поставить монументальный памятник, с устройством сквера вокруг монумента.

7) От Киевского шоссе к могиле Льва Николаевича устроить шоссе с проездом. Затем, если собранная по подписке (источником финансирования проекта Халютин рассматривал Всероссийскую подписку. — Д. Т.) сумма будет достаточна, то:

8) Приобрести усадьбу Ясная Поляна — и парк обратить в общедоступное место для гуляния.

9) В доме, где жил Лев Николаевич, устроить Музей его имени.

10) В приобретаемой усадьбе выстроить сельскохозяйственную мастерскую со школой им. Л.Н. Толстого.

11) Оставшаяся затем сумма могла бы быть употреблена на стипендии...

На возведение памятников и новых построек устроить всемирный конкурс...»⁷

Ранее, 12 ноября, программа увековечения памяти писателя была предложена на общегосударственном уровне. Параллельно были выдвинуты четыре законопроекта от лица 34-х, 35-ти, 26-ти, 31-го члена Государственной Думы⁸. Среди предложений — о выкупе в государственную собственность произведений, образовании народных университетов и фонда на нужды образования имени Толстого, о выкупе дома на станции Астапово, об устройстве памятников в Москве и на могиле писателя, — моментом, объединявшим интересующие нас далее проекты 34-х и 35-ти, являлся предракаемый выкуп в национальную собственность Ясной Поляны⁹. Объяснительная записка к проекту 35-ти гласила: «На государстве и современниках великого писателя и мыслителя лежит священная обязанность почтить его память и закрепить ее на вечные времена. Не менее обязательно сохранить в неприкосновенном виде тот дом, где вырос и жил покойный мыслитель, и тот домик, где он провел последние дни своей жизни, и то место, где покоится его тело.

Для осуществления этих неотложных задач необходимо... приобрести в собственность государства дом с усадьбой и той частью парка, где погребен Лев Николаевич, а также домик при станции Астапово...

Принятием этих предложений Государственная Дума лишь в слабой степени оплатит то огромное культурное наследство, которое оставил покойный мыслитель, прославивший родину во всем цивилизованном мире»¹⁰. Таким образом, первыми о выкупе Ясной Поляны в казну заговорили государственные люди.

27 ноября 1910 г. премьер-министр П.А. Столыпин переслал предложения 34-х и 35-ти министру финансов В.Н. Коковцову для заключения по их содержанию «...для рассмотрения сих дел в Совете Министров до 24 декабря сего года, после какового срока упомянутые законодательные предположения могут быть предложены к слушанию в Государственной Думе...»¹¹. Сохранилось письмо А.А. Толстого, сына писателя, от 29 ноября 1910 г. к Столыпину: «Ваше Превосходительство Петр Аркадьевич, Уезжаю завтра вечером за границу и считаю долгом позволить себе повторить Вам следующее относительно Ясной Поляны. Неизбежным условием ее уступки полностью, с частью, принадлежащей моей матери, является выдел брату Сергею... 110 десятин, которые помечены на плане¹², и о которых я докладывал Вам. При этом условии, думаю, не будет с нашей стороны никаких затруднений... доверенность по этому делу передаю брату Михаилу, который... с братом Ильей Львовичем ждут... 14 в Hotel Dagmar вызова С.С. Хрипуновым»¹³.

В архивном деле вместе с этим письмом хранится записка, авторство которой не установлено, следующего содержания: «У меня был сегодня гр. А.А. Толстой. Завтра приезжают его братья Илья и Михаил.

Они (т.е. все* братья) согласны продать имение в Крестьянский Банк. Домогательства их непомерны (за принадлежащую им половину имения — 400 десятин — 1 миллион! Окрестные 500 десятин принадлежат графине)¹⁴. Не сочтете ли возможным назначить любое лицо для ведения с ними переговоров?

Резолюция: Прошу Его Превосходительство Степана Степановича переговорить»¹⁵.

Сопоставление двух документов позволяет предположить, что автором записки является Столыпин, адресатом — Коковцов, согласно резолюции которого вести переговоры с наследниками был назначен С.С. Хрипунов — управляющий делами Крестьянского Поземельного Банка. Видимо, не позднее 27 ноября А.А. Толстой посетил Столыпина и от лица братьев Толстых вел переговоры о продаже Ясной Поляны в казну и передал план имения; не позднее 28 ноября в столицу прибыли Илья и Михаил Львовичи, которые уже после 29 ноября продолжили переговоры с Хрипуновым о судьбе усадьбы. За период со дня похорон писателя до 27 ноября С.А. Толстая лишь однажды, 13—15 ноября, упоминает: «Были сыновья»¹⁶, т.е. все сразу. Этот приезд логично увязывается с утверждением, состоявшимся 16 ноября в Тульском окружном суде, домашнего духовного завещания А.Н. Толстого. Тема завещания — тема самостоятельного разговора, для продолжения же нашего важно то, что семья Толстых после утверждения этого документа лишилась существенного, если не сказать основного, источника доходов. А.А. Толстой лишь год спустя признался Коковцову: «Как ни больно расставаться с Ясной Поляной, приходится желать этого, не имея возможности удержать ее в семье, после того как

* Здесь и далее курсивом обозначены подчеркивания, допущенные авторами документа. — Д. Тихонова.

права на сочинения отца отняты у нас, — единственный источник семейных доходов»¹⁷. Таким образом, связь между датами 16 и 27 ноября — прямая. Под влиянием разговора со Л.А. Толстым 27 ноября Столыпин переслал проекты Коковцову, последний же поручил выяснить вопрос состоятельности покупки директору Департамента Государственного Казначейства В.В. Кузминскому, а тот, в свою очередь, 3 декабря передал рассмотреть вопрос Хрипунову¹⁸. Чиновник, имя которого осталось неизвестным, в течение следующей недели подготовил материал по вопросу покупки, где говорилось, что это «...будет не первый пример приобретения в казну имения, освященного памятью великого человека. Так по высочайшему повелению 9 июля 1899 г. приобретено в казну село Михайловское... площадью 1162 десятины 800 сажень... в выкупание Государственным Дворянским Земельным Банком с отнесением вызываемых сим расходов в сумме 151000 рублей на счет 12 миллионов рублей, назначаемых по действующей государственной росписи на непредусмотренные сметами экстренные надобности, и предоставлено Псковскому Дворянству устроить в усадьбе этого имения, по соглашению с Академией Наук, какие-либо благотворительные учреждения, связанные с именем Пушкина»¹⁹.

По вопросу установления памятника в те же сроки изыскание подготовил на листке промокательной бумаги другой, не менее остроумный, но также оставшийся неизвестным чиновник:

«Ждали Памятника:

Петр Великий — 50 лет

Екатерина Великая — 70 лет

Пушкин — 45 лет

Гоголь — 50 лет

Не дождались:

Тургенев — 25

Достоевский — 30 лет

Лермонтов — 60 лет

Скобелев — 30 лет»²⁰.

Обобщив мысли подготовительных документов безвестных чиновников и свои собственные ощущения от переговоров с братьями Толстыми, С.С. Хрипунов 10 декабря подал В.В. Кузминскому заключение, где говорилось: «...приобретение в государственную собственность усадьбы Ясной Поляны с могилой графа Л.Н. Толстого представлялось бы, по моему мнению, желательным в особенности в видах ограждения этих мест от возможной эксплуатации их частными лицами в направлении, несоответствующем государственным и народным интересам»²¹. 24 декабря Коковцов подал письменные заключения Столыпину, где говорилось, что «...устройство памятников гр. Толстому как на его могиле, так и в Москве, было бы... наиболее удобным предоставить ближайшему совещанию Императорской Академии Наук...»²² на средства, могущие быть собранными путем всероссийской подписки»²³.

По вопросу покупки Ясной Поляны Коковцов сообщал, что «предварительными по этому предмету переговорами с наследниками покойного выяснено, что продажная цена за имение даже в 500 000 рублей считается ими недостаточной, хотя действительная стоимость... не превышает 150—200 тысяч рублей. При этом

условии предложение о приобретении Ясной Поляны в государственную собственность едва ли является осуществимым.

Что касается дома на станции Астапово, где скончался гр. Л.Н. Толстой... перенос этого дома в Ясную Поляну, если бы переход ее в казну мог состояться в действительности, не может встретить каких-либо особых затруднений²⁴. Таким образом, уже к концу 1910 г. позиции определились: правительство и братья Толстые не сошлись в цене, что, видимо, подтолкнуло последних зондировать почву на этот счет за границей.

Газеты называли имена д'Эстурнела-де-Констана во Франции и Джорджа в США, хлопотавших о выкупе Ясной Поляны в «международную собственность». С.А. Толстая впервые 4 января 1911 г.²⁵ писала в дневнике об американском проекте. 6 января о возможности продажи Ясной Поляны американцам сообщили почти все русские газеты со ссылкой на английские. 9 января из Ясной Поляны С.А. Толстая писала дочери Т.Л. Сухотиной в Рим: «Сыновья затеяли продавать Ясную Америку — Илья даже сам собирался ехать — послали туда Мишу Кузминского, и я все-му этому не сочувствую, не понимаю, что может заставить американца дать огромную цену, о которой они мечтают»²⁶. В следующем письме 19 января она сообщала: «Посылка Миши Кузминского в Америку моими легкомысленными сыновьями для продажи Ясной Поляны, по-моему, ужасна! И глупо, и может втянуть их в неожиданные неприятности. Теперь Илья уехал в Париж, где должен встретиться для переговоров с Мишей Кузминским»²⁷. 21 января «Русские ведомости» поместили большое интервью своего корреспондента с М.А. Кузминским, где, в частности, говорилось: «Г. Кузминский представляет интересы братьев Толстых Льва, Андрея, Михаила, Ильи. Пятый брат Сергей от своей доли отказался»²⁸. По американскому проекту учреждениям памяти Толстого отводилось 40 десятин, собирать средства для этих учреждений предполагали во «всех культурных странах»²⁹. В усадьбе предполагалось открыть выставку американских сельскохозяйственных орудий. Цена за имение была определена в 1,5 миллиона долларов. 5 февраля С.А. Толстая писала Т.Л. Сухотиной: «Ничего еще не знаю о глупых похождениях моих сыновей, т. е. Ильи; он сегодня вернулся в Калугу... Хотелось бы помочь сыновьям хоть немного, а все так неопределенно, не добро и тягостно...»³⁰. 11 февраля С.А. Толстая сделала запись в дневнике о сыновьях: «Опять собираются в Петербург продавать Ясную Поляну»³¹. Таким образом, к середине февраля от мысли продать имение американцам братья Толстые отказались. 16 февраля через газету С.Л. Толстой сообщил: «Усадьба может быть продана нами только какому-либо учреждению, связанному с именем Льва Николаевича...»³². 22 марта в Россию вернулся Кузминский, сообщивший в интервью, что «американцы предлагают для Ясной Поляны три миллиона рублей. Однако ввиду некоторых неприемлемых условий продажа не состоялась»³³. Американская история активно отслеживалась и комментировалась всюду, начиная со страниц газет, кончая великосветскими салонами. Были задеты патриотическое чувство и чувство собственного достоинства официального Петербурга. Едва ли далее кто-то из братьев Толстых имел надежду вести результативные переговоры о продаже Ясной Поляны с русским правительством. 13 марта Илья Львович, приехав в Москву, умолял Софью Андреевну ехать в Петербург хлопотать о продаже

Ясной Поляны. Дав денег, она отказала, однако засобиравшись уже на следующий день. 15 марта дочери в Виши она писала: «Приезжал сюда (в Москву. — Д.Т.) Илья, жалкий, совсем погибающий в долгах... Он мне всю душу вытянул, и не вижу ему выхода, кроме продажи Ясной...»³⁴ Однако, встретившись с М. Стаховичем, она визит отложила, заключив: «...теперь в Петербурге такой переполох по министерскому кризису и Китайской войне (восстание боксеров. — Д.Т.), что на наши дела никто не обратит никакого внимания»³⁵.

29 апреля газеты сообщили о прибытии Софьи Андреевны в город на Неве следующее: «Графиня ни под каким предлогом не соглашается продать Ясную Поляну частным лицам, а тем более иностранцам, и желает, чтобы историческая усадьба принадлежала бы только Русскому государству. В высоких сферах относятся к гр. С.А. Толстой с большим расположением...»³⁶ Она сама оценивала положение вещей не так радужно, как газетчики, ведь отказала в приеме императрица Мария Федоровна, по-разному вели себя министры, она добивалась приема у Николая II. 3 мая она писала Т.А. Сухотиной: «Через час еду к Столыпину, с болью сердца хлопоту о продаже Ясной Поляны. Вчера был у меня вечером и пил тут чай министр Щегловитов³⁷, а в четверг меня примет Коковцов. Их всех надо видеть, потому что решать продажу будет Совет всех министров. До сих пор все очень любезны и учтивы; но на свидание с государем я не рассчитываю, он очень трудно вообще принимает, а дам никогда... Сейчас еду к Столыпину в автомобиле Миши Олсуфьева»³⁸. 5 мая С.А. Толстая нанесла визит Коковцову, который «обещал содействовать»³⁹. Накануне отъезда из Петербурга, оставив надежду быть принятой государем, она написала два письма: 7 мая к Столыпину, 8 мая к Николаю II. В письме к Николаю II С.А. Толстая говорила: «Кончина... Льва Николаевича Толстого и его завещание обездолили многочисленную его семью...

С сердечной болью мы видим всю необходимость продать... имение при сельце Ясная Поляна...», причем «...в государственную собственность... чтобы все им написанное... оставалось в России и для России...»⁴⁰. Что же касается письма к Столыпину, то заметим, что в исследованиях о Ясной Поляне оно никогда не упоминалось. Тексты же двух этих посланий только выигрывают от параллельного прочтения, ведь так они были написаны Софьей Андреевной, так их читал премьер, на столе которого в итоге оказались оба документа. Во многом письмо к Николаю II повторяет письмо к Столыпину, а не наоборот, судя по датам, поэтому приведем текст письма к Столыпину как первоисточник полностью:

«7 мая 1911 г.

Милостивый Государь

Петр Аркадьевич,

Пять сыновей моих уполномочивают меня сообщить Вашему Высокопревосходительству о их согласии, и я лично мое желание продать в собственность Государства, находящееся при сельце Ясная Поляна во владении нашем, имение в Тульской губернии, Крапивенском уезде, в количестве 885 десятин земли, в числе которой леса более 350 десятин и фруктового сада около 35 десятин. Кроме того два каменных дома, большое каменное здание, конюшни, сарай, рига и прочее, все крытое железом. Все находящееся в доме, касающееся с какой-нибудь стороны покойного графа

Льва Николаевича Толстого, мы согласны включить в ту же продажу. А именно: портреты работы Репина (два), Крамского, Серова, Ге, и портреты предков Льва Николаевича, и два бюста, его изображающих. Также согласны отдать всю библиотеку, 20 шкафов, заключающую в себе самые разнообразные, присланные со всего мира экземпляры книг, большею частью с автографами писателей всяких стран.

Желательно семье, чтобы все в доме, особенно комнаты Льва Николаевича, оставались неприкосновенными, как было в момент ухода его из Ясной Поляны.

Второй пункт желания семьи состоит в неприкосновенности могилы, и третий в разрешении мне дожить мою жизнь в усадьбе Ясной Поляны, в доме или во флигеле.

Просьба пяти сыновей моих и моя лично состоит в том, чтобы за Ясную Поляну правительство, оказав особенную милость, дало бы семье, каждому из нас, по ста тысяч рублей, всего 600 000 р., что дало бы возможность прокормить, а главное воспитать многочисленное потомство покойного графа Льва Николаевича Толстого, и помочь мне, его вдове.

Кроме этого мотива для продажи Ясной Поляны служит еще этот, чтоб именно — колыбель и могила покойного мужа моего не подлежали расхищению и эксплуатации разных аферистов, которые раскупили бы землю маленькими участками и строили на них разные увеселительные заведения.

Бедственное положение членов семьи гр. Л.Н. Толстого, особенно некоторых из них, может принудить, хотя и с тяжелым чувством, поступить таким образом, если Правительство не возьмет под свое покровительство Ясную Поляну и не купит ее.

С своей стороны я намерена принести в дар одному из русских музеев весь большой и ценный архив рукописей, всяких документов и вещей, касающихся покойного мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и подаренного мне им.

В настоящее время принадлежность рукописей составляет спорный вопрос между моей дочерью и мной, но спор этот по всей вероятности и справедливости разрешится в мою пользу и тогда я безвозмездно передам весь архив рукописей и вещей на вечное хранение в один из Государственных Музеев только с условием допускать меня до рукописей для снятия с них копий и пользоваться ими как материалами для продолжения писания моих мемуаров.

Уступить все права на владение всего архива, доверенного мной Императорскому Историческому Музею для хранения, я не намерена ни в каком случае. Цель моя не корыстная, а только та, чтобы сохранить духовное наследие моего покойного мужа неприкосновенным, во владении русского государства, чтобы никто не имел права что-либо в рукописях искажать, уничтожать, хотя бы частями, и увозить за границу в Англию, как это делалось уже много раз, и в больших количествах.

В настоящее время министр Просвещения мне отказал не только в признании моей собственности всего архива, собранного мной и подаренного мне моим мужем, но и в доступе к нему для продолжения работы над моими мемуарами, отказал и в возвращении мне моих вещей, как например: обручальных колец, икон, крестильных крестов, портретов, писем, также личных моих дневников и всяких др. писаний, что считаю крайне несправедливым.

Считаю еще долгом заявить Вашему Высокопревосходительству, что по воле покойного мужа, после распродажи последнего издания его Сочинений, все права

издания всего, когда-либо написанного им, поступят в общее, всенародное пользование, что составит бескорыстный и многоценный дар всему Русскому народу и государству.

Прошу Ваше Высокопревосходительство удостоить вниманием все мои просьбы и принять уверения в совершенном моем уважении и преданности.

Графиня София Толстая»⁴¹.

Итоги визита 15 мая, находясь в Ясной Поляне, Софья Андреевна доводила до сведения дочери: «По делу продажи Ясной, кажется, что и государь, и министры решили, что это необходимо. Просила 600 000... Но пока все не кончено, ни в чем нельзя быть уверенной. Кузминские и вся родня, да и все в Петербурге были необыкновенно добры и ласковы, а про Государя сказали, что он не только добро, но нежно относится ко мне»⁴².

Уже 20 мая во время доклада Коковцова Николай II передал ему письмо С.А. Толстой⁴³. 23—24 мая, пересылая письмо Столыпину, Коковцов сообщал: «Из высочайших слов, с которыми Государь Император изволил обратиться ко мне при передаче упомянутого письма, я заключил, что Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы дело о приобретении имения «Ясная Поляна» было вновь пересмотрено в Совете и представлено на Высочайшее Его Императорского Величества благоволение»⁴⁴. Он отметил также, что С.А. Толстая выразила ему согласие с суммой 500 000 рублей в оценке имения и с получением денег частями.

26 мая Совет Министров обсуждал покупку Ясной Поляны. 28 мая Столыпин, председательствовавший в Совете, сообщал Коковцову, что Совет Министров «одобрил предположение о покупке означенного имения... в собственность казны за 500 000 рублей», поручив «выяснить подробные условия практического осуществления изъясненного предположения»⁴⁵. Вопрос казался решенным...

Во исполнение указания премьера уже 8 июня Совет Крестьянского банка решил командировать в Ясную Поляну своего члена А.А. Никифорова. 15—18 мая оценщики находились в Ясной Поляне, составив за эти несколько дней уникальные, с точки зрения сегодняшней музейной практики, документы: «Описание имения», «Опись вещей, находящихся в доме графов Толстых, в имении Ясная Поляна», указав «вещи, оставляемые при доме», и «вещи, остающиеся в пользовании владельцев имения», «Опись живого и мертвого инвентаря»⁴⁶. Никифоров отмечал, что «...совладельцы гр. Толстые выражали особое желание, чтобы все мельчайшие предметы, окружавшие и входившие в обиход покойного графа Льва Николаевича, были переданы полностью в руки Правительства»⁴⁷. Рассматривая условия перехода Ясной Поляны в казну, Толстые отмечали следующие пункты:

«3. Самым главным условием продажи все совладельцы ставят сохранность и поддержание в порядке могилы покойного графа Льва Николаевича Толстого и неприкосновенность его останков, кроме того они желали бы, чтобы и впредь сохранялась существующая дорога от Киевского шоссе к могиле.

4. В случае возникновения мысли о постановке на могиле памятника, гр. Толстые просят, чтобы им было предоставлено право участия в обсуждении проекта памятника и текста надписи на нем.

5. Гр. Толстые, в особенности гр. Софья Андреевна, ходатайствуют, чтобы в случае желания им было предоставлено право быть погребенными рядом с могилой гр. Льва Николаевича.

6. Гр. С.А. Толстая (ей уже 67 лет) выражает неперенное желание, чтобы ей было предоставлено пожизненное пользование двухэтажным каменным флигелем с участком земли при нем до 3-х десятин, на котором она могла бы возвести для себя необходимые хозяйственные постройки; постройки эти она намерена возводить, конечно, с ведома и согласия того учреждения, в ведение которого будет передана Ясная Поляна. Кроме этого гр. Толстая выговаривает в свою пользу пользование водой и свободный проезд по существующим дорогам.

7. Пользование урожаем хлебов, картофеля и сена текущего 1911 года гр. Толстая оставляет за собой.

8. Наконец, совладельцы гр. Толстые ходатайствовали бы об оставлении в полной неприкосновенности комнат гр. Льва Николаевича и Софьи Андреевны со всеми находящимися в них предметами обстановки, вне зависимости от того, какое назначение будет Правительством дано дому в Ясной Поляне»⁴⁸.

А в это время газеты и частные лица не прекращали выражать свое мнение по поводу продажи-покупки Ясной Поляны. Столыпину аплодировали, его же обвиняли, например, так: «...пользоваться кулуарами Думы и выбрасывать 500 тысяч за имение Толстого — это уже преступно...

Это не доказательство уважения к памяти писателя, а кумовство и потворство...»⁴⁹. Среди утомительно повторяющихся «за» и «против» заслуживает внимания позиция публициста М.О. Меньшикова: «Правительство покупает уже второе имение великих русских писателей, и, может быть, это единственный способ сохранить что-нибудь для истории... Не грустно ли... Нынче у Русских точно проснулся кочевой дух древних Скифов... Считается чудом, если дворянская усадьба сто лет находится в той же фамилии... Лев Николаевич водил меня по усадьбе, он сказал: «Я уже освободился от этого чувства, чтобы дорожить своей деревней или природой. Если бы приехали купцы и купили Ясную, то для меня это было бы совершенно все равно»... Лев Толстой был глубоко русский человек. Всею силою своего огромного таланта он был консерватор, человек постоянного, органического быта. Но вне своего таланта и он не выдержал... Кочевая кровь заговорила... допустите, что в Ясной Поляне сидел бы не русский граф, а хотя бы немецкий барон. Перед смертью барон непременно укрепил бы «Ясную Поляну»... и завещал бы удерживать ее из рода в род под своим гербом.

Теперь же знаменитой Ясной Поляне конец. В лучшем случае, как было в селе Михайловском, ей предстоит обратиться в богадельню для бездарных литераторов; даровитые в богадельнях не нуждаются»⁵⁰.

Свой взгляд на вещи обнаруживал один из сыновей писателя, Андрей, в письме к матери от 7 декабря 1910 г.: «...интересует судьба Ясной. Что хотят с ней делать... жизнь в ней будет невозможна из-за мужиков (избалованных и испорченных, а теперь и совершенно развратившихся убеждением, что им перейдет земля задаром), а еще это вечное паломничество и осмотр дома, кабинета...»⁵¹.

Правило «мой дом — моя крепость» уже не действовало в Ясной Поляне по отношению к ее обитателям. Жизнь частного владения по принципу «у меня нет министров», налаженная здесь Волконским сто лет назад, уходила, таяла, становясь легендой. В существовании усадьбы вне зависимости от желаний и вкусов, даже тех, кому она еще принадлежала, обозначился новый смысл и начинался новый период.

1 августа Л.Л. Толстой письменно просил Коковцова «ускорить дело о покупке казной Ясной Поляны». 19 августа Общее собрание Крестьянского и Дворянского банков признало возможным приобрести имение⁵².

5 сентября не стало Столыпина, и этот субъективный фактор, думается, сыграл совершенно определенную роль в событиях, которые происходили далее...

20 сентября С.А. Толстая писала новому премьер-министру, бывшему министру финансов В.Н. Коковцову:

«Ваше Высокопревосходительство,

Милостивый Государь Владимир Николаевич...

Ввиду всяких осложнений в моей жизни, вызванных слухами о продаже имения и невозможности бороться с ними, обращаюсь к Вам с просьбой не отказать сообщить мне, в каком положении находится настоящее дело покупки Ясной Поляны...»⁵³. На следующий день, 21 сентября, Коковцов подал в Совет Министров Отчет об обследовании: «...я полагал бы приобрести за пятьсот тысяч рублей...»⁵⁴. В тот же день он ответил Софье Андреевне, что «вопрос... внесен 21 сего Сентября на разрешение Совета Министров»⁵⁵. В справке к Отчету впервые упоминалось, что «...сенатор Саблин решительно высказывается против»⁵⁶.

Среди многочисленных газетных вырезок о смерти П.А. Столыпина в деле министерства финансов о покупке сохранилось еще одно письмо Л.Л. Толстого к Коковцову от 24 сентября:

«Ваше Высокопревосходительство,

Глубокоуважаемый Владимир Николаевич,

Не хотелось бы в горячее для Вас время быть назойливым, но все же решаюсь еще раз беспокоить Вас ввиду неопределенности положения моей матери... Мать моя живет в большом яснополянском доме и ей необходимо приготовить себе заранее жизнь во флигеле, если Ясная Поляна осенью перейдет в казну... Очень просил бы Вас, Владимир Николаевич, помочь нашей семье и содействовать возможно скорейшему окончанию дела. Будьте добры, если это нужно, окончательно переговорить по этому вопросу с Государем...»⁵⁷. Слушания по Ясной Поляне должны были состояться в Совете Министров 14 октября, но, как сообщили газеты, обсуждение предыдущих пунктов повестки затянулось, и вопрос был перенесен на следующее заседание.

Однако накануне следующего заседания произошли два достойных внимания события. 21 октября обер-прокурор Св.Синода В.Ф. Саблин подал письменные Соображения по делу о приобретении в собственность казны Ясной Поляны, где говорилось, что этот вопрос следует разрешить «в отрицательном смысле. Приобретение имения Графа Л.Н. Толстого на государственные деньги есть ничто иное, как особое чествование, и притом всенародное, памяти Толстого... вправе ли правительство приступать к такому чествованию...»⁵⁸. К Соображениям прилагалось Определение Св. Синода № 557 от 20—22 февраля 1901 г. (об отпадении Л.Н. Толстого от Русской Православной церкви). 25 октября в споры о Ясной Поляне вступил В.Г. Чертков, написав от имени находившейся в Крыму А.Л. Толстой Коковцову:

«В настоящее время выяснилось, что в ее (Александры Львовны. — Д.Т.) распоряжении имеется достаточная сумма денег для исполнения распоряжения ее отца

о приобретении земли для ближайших к Ясной Поляне крестьян на средства, полученные от издания его посмертных сочинений.

Так как осуществление этой... задачи... находится в некоторой связи с судьбой полевой части имения, приобретаемого Правительством у семьи Толстых, то Александра Львовна была бы Вам признательна, если бы Вы разрешили мне лично явиться к Вам... Письменно обсуждать это дело было бы неудобно. При самом же кратком личном свидании вполне возможно было бы выяснить наиболее существенные стороны этого вопроса...»⁵⁹. Коковцов наложил резолюцию: «Могу принять в Пятницу, в 11 ч. утра». Следовательно, 28 октября состоялся еще один разговор о судьбе Ясной Поляны, содержание которого навсегда осталось тайной двоих его участников. Невольно, если выстроить в ряд даты, отмечаешь, что, во-первых, и В.Ф. Саблер, и В.Г. Чертков заявили о своих позициях только после 5 сентября, во-вторых, накануне 3 ноября.

3 ноября Совет Министров обсуждал покупку Ясной Поляны. «Вопрос этот вызвал чрезвычайно продолжительные, оживленные прения»⁶⁰. Касаясь предыстории вопроса, министры говорили о том, что «...в оппозиционному правительству кругах проявилось явное стремление использовать смерть Л.Н. Толстого для контрправительственной агитации... возникло опасение, что для той же цели послужит и самая покупка «Ясной Поляны». Чтобы предотвратить возможность такого нежелательного оборота дела, покойный Председатель Совета Министров Статс-Секретарь Столыпин остановился на предположении приобрести имение «Ясная Поляна» в казну.

...А потому отклонение этой меры после кончины Статс-Секретаря Столыпина могло бы иметь вид некоторой неустойчивости правительства в своих взглядах»⁶¹. «За» высказались министры торговли и юстиции Тимашев и Щегловитов. Не участвовавший в заседании Совета 26 мая Саблер выступил резко против покупки. Его поддержал министр просвещения Л.А. Кассо, который, «возражая, вошел в такой экстаз, что, дернув рукою, опрокинул большое кожаное кресло, которое сломалось. Произшло некоторое замешательство».

В.Н. Коковцов с улыбкой, обращаясь к Л.А. Кассо, сказал:

«Конечно, Толстой — великий человек, но зачем же казенные кресла ломать?»⁶²

Но по обсуждавшемуся вопросу премьер не высказался. Одна из газет по этому поводу заметила: «Так обнаружилась первая черта политической физиономии г. Коковцова — неоткровенность»⁶³. Как знать, может быть, его молчание явилось продолжением разговора «в пятницу, в 11 ч. утра». Обсуждение зашло в тупик, принятие решения министры попытались переложить на Николая II, заключив: «Совет Министров полагает, что ввиду исключительного характера этого дела, только мудрости Верховной Власти, проникновенному сознанию Его справедливого решения принадлежит произнести окончательное по сему предмету слово»⁶⁴. В качестве альтернативы покупке министры предлагали назначить пенсию С.А. Толстой. Вопрос оставался открытым, государь пребывал в Ливадии... Газеты, как и в мае, захлебываясь, наперебой сообщали о заседании Совета Министров, однако теперь весенние надежды Софьи Андреевны оборачивались безнадежной осенью. Таковы были обстоятельства, среди которых в Ясной Поляне 18 ноября 1911 г., т. е. через год и неделю после смерти Л.Н. Толстого, она писала второе письмо к Николаю II, последний раз

надеясь быть услышанной. Софья Андреевна спешно отправила это письмо с сыном Михаилом Львовичем в Ливадию:

«Ваше Императорское Величество,
Всемилоостивейший Государь,

Еще раз беру на себя смелость писать Вам и прибегнуть к милости Вашей. До меня дошли слухи, что на Совете Министров, прежде единогласно решившем покупку Правительством «Ясной Поляны», мнения теперь разделились. Более полу-года я жила в мучительном ожидании относительно этого вопроса. Всей душой надеялась на исполнение моей всеподданнейшей просьбы Вашему Величеству. Эта надежда поддерживалась во мне чувством глубокой сердечной благодарности к переданному мне покойным Петром Аркадьевичем Столыпиным милостивому отношению Вашего Величества к моим горестям.

Как и раньше я осмеливалась довести до сведения Вашего Императорского Величества, так и теперь должна повторить, что если русское Правительство не купит «Ясной Поляны», сыновья мои, находящиеся, некоторые из них, в большой нужде, принуждены будут, хоть с глубокой сердечной болью, продать ее участками или полностью в частное владение.

И тогда сердце русского народа и потомков Льва Толстого дрогнет и опечалится тем, что правительство не защитило колыбель и могилу человека, на весь мир прославившего русское имя, и столь любимого своей родиной и народом.

Ваше Императорское Величество! Взоры правительственных лиц обратились, как я предполагаю, только на то, что, страстно исповедуя христианство, мой муж отошел от православной церкви, не переставая горячо молиться и верить в Бога. Неужели забыто все, что сделал Лев Толстой в своей долгой жизни, а ставят ему в упрек только те мысли, которые руководили им на склоне его лет.

С юности уже он воевал на Кавказе, где написал «Детство» и «Казakov». Потом жертвовал своей жизнью на 4-ом, самом опасном бастионе при защите Севастополя, о которой писал в своих «Военных рассказах». При освобождении крестьян, мой муж, назначенный Правительством мировым посредником, работал в этом направлении. Наконец, поселившись в деревне, он написал «Войну и Мир». Наступает 1912-й год. Никто лучше, живее и сердечнее не послужил этой славной годовщине, описав ее в «Войне и Мире», с чувством патриотизма и глубокой любви к Царю и русскому народу.

Умоляю Ваше Императорское Величество, не позволяйте бесповоротно погубить «Ясную Поляну», допустив продажу ее не русскому Правительству, а частным лицам, и помогите вместе с тем семье моей — многочисленным внукам великого деда.

Веруя всем сердцем в доброту, милосердие и высшую справедливость Вашу, жду милостивого приговора.

Верноподданная Вашего Императорского Величества

Графиня София Толстая.

18 Ноября 1911 г.»⁶⁵.

На подлиннике значится резолюция Коковцова: «Получено от Его Императорского Величества. Прошу включить эту просьбу в составляемый Особый Журнал Совета Министров, всемерно ускорив его составление. 25 Ноября 1911 г.»

Анализируя резолюцию, отметим, что, во-первых, в течение всего недели (18–25 ноября) второе письмо С.А. Толстой к Николаю II было доставлено из Ясной Поляны в Ливадию, переслано по инициативе Николая II в Петербург, после чего уже и был составлен Особый журнал заседания Совета Министров от 3 ноября (дата 3 ноября относилась к заседанию, но не к моменту составления журнала, что делалось обычно позже); во-вторых, текст письма С.А. Толстой действительно вошел в Особый журнал, но в заседании Совета Министров звучать не мог. Таким образом, Б.С. Мейлах ошибается, когда пишет, что в заседании 3 ноября министры «цитировали второе письмо С.А. Толстой на имя царя...»⁶⁶ — т. е. не письмо С.А. Толстой можно рассматривать как причину речей министров в Совете, а напротив, их речи — причиной ее письма.

20 декабря 1911 г. в Царском Селе Николай II традиционно простым карандашом на Особом журнале заседания Совета Министров от 3 ноября начертил имевшую большое хождение в советской историографии резолюцию: «Нахожу покупку имения гр. Толстого правительством недопустимую. Совету Министров обсудить только вопрос о размере, могущей быть назначенной вдове, пенсии»⁶⁷. Был избран путь компромиссов, наверное, оправданный при решении вопроса, когда столкнулось множество людей и мнений, подчас принципиальных, подчас эгоистических, и Николай II поставил точку в долгом споре.

23 декабря 1911 г. управляющий делами Совета Министров Н.В. Плеве запрашивал уже знакомого по данному повествованию В.В. Кузминского о размерах ранее назначаемых пенсий вдовам литераторов⁶⁸. Из составленной справки явствовало, что размер пенсий колебался от 1 500 до 5 000 рублей, что, например, А.Г. Достоевская получала 2 000 рублей, а вдова Каткова — 5 000 рублей ежегодно. Для С.А. Толстой В.В. Кузминский усматривал возможным назначить пенсию от 2 500 до 5 000 рублей⁶⁹. 29 декабря в заседании Совета министры рассматривали вопрос о пенсии. В Особом журнале заседания говорилось, что С.А. Толстая «в силу завещания своего мужа, не может пользоваться доходом от его сочинений». Совет Министров остановился на цифре 6 000 рублей в год, полагая, что «некоторое дальнейшее примерно до 10 000 рублей увеличение сей пенсии могло бы последовать по непосредственному Милостивому изволению Вашего Императорского Величества»⁷⁰. 15 января 1912 г. в Царском Селе Николай II на Особом журнале заседания Совета Министров наложил резолюцию: «Назначить 10 000 рублей».

17 января 1912 г. был составлен проект письма от имени В.Н. Коковцова к С.А. Толстой, где сообщалось о назначении ей пенсии и о том, что «ходатайство о приобретении в казну имения... признано не подлежащим [разрешению] удовлетворению»⁷¹.

¹ Разгон А.И. Российский Исторический музей. История его создания и деятельности (1872–1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. Вып. 2. М., 1960. С. 271.

² Архив Музея-усадьбы «Ясная Поляна». Ф. 1. Оп. 1. Д. 187.

³ ОР ГМТ. № 6020 а.

⁴ Лившиц Г.М., Смоляк А.А. Политическая борьба вокруг смерти Толстого // ЛН. Т. 69. М., 1961. Кн. 2. С. 326.

⁵ Волконский С.М. Мои воспоминания. Т. 2. М., 1992. С. 82.

⁶ Высокомирный Е.Д. Ясная Поляна в годы революции. М.; Л., 1928; *ГАТО*. Ф. 174. Оп. 11. Д. 33299а.

⁷ *ГАТО*. Ф. 174. Оп. 11. Д. 33299а. Л. 4.

⁸ *РГИА*. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2891—2894.

⁹ Там же. Д. 2892. Л. 1—2.

¹⁰ Там же. Ф. 565. Оп. 8. Д. 29534. Л. 1—10б.

¹¹ В 1892 г. для И.Л. Толстого (Ванички) был составлен план переходящей в его владение части Ясной Поляны (ткань). Переданный Л.Л. Толстым Столыпину, этот документ на ткани явился рабочим во время продажи Ясной Поляны. План сохранился — *РГИА*. Ф. 592. Оп. 1. Д. 651.

¹² *РГИА*. Ф. 592. Оп. 1. Д. 651. Л. 2.

¹³ Перестав владеть недвижимостью в 1892 г., Л.Н. Толстой распределил ее в Ясной Поляне таким образом: 6 июля 1892 г. подарил жене «117 десятин 1050 сажень» и продал ей же за 30 000 рублей серебром «308 десятин 1680 сажень» земли, включая «1 десятину... с каменным двухэтажным флигелем», 7 июля подарил сыну И.Л. Толстому (Ваничке) «370 десятин 1544 сажени» со всеми строениями (*ГАТО*. Ф. 12. Оп. 7. Д. 463. Л. 16; оп. 5. Д. 857. Л. 7).

С 17 октября 1897 г. — собственность Сергея, Ильи, Льва, Андрея, Михаила Львовичей Толстых, которые наследовали умершему в 1895 г. И.Л. Толстому (Ваничке) (*ГАТО*. Ф. 12. Оп. 5. Т. 2. Д. 858. Л. 1—2).

¹⁴ *РГИА*. Ф. 592. Оп. 1. Д. 651. Л. 6.

¹⁵ *ДСТ*. Т. 2. С. 327.

¹⁶ *РГИА*. Ф. 592. Оп. 1. Д. 651. Л. 94.

¹⁷ Там же. Л. 3.

¹⁸ Там же. Л. 9—9об.

¹⁹ Там же. Л. 21.

²⁰ Там же. Л. 4.

²¹ Л.Н. Толстой с 7 декабря 1873 г. являлся членом-корреспондентом Отделения Русского Языка и Словесности, с 8 января 1900 г. — почетным академиком по вновь созданному в связи с юбилеем А.С. Пушкина Разряду Изыщной Словесности при том же Отделении Академии Наук (АН СССР. Персональный состав. Кн. 1. 1724—1917. М., 1974. С. 146).

²² *РГИА*. Ф. 565. Оп. 8. Д. 29534. Л. 13.

²³ Там же. Л. 12.

²⁴ Русские ведомости. 1911. 8 января.

²⁵ *ДСТ*. Т. 2. С. 333.

²⁶ *ОР ГМТ*. Фонд Т.Л. Сухотиной-Толстой. № 25841.

²⁷ Там же. № 25842.

²⁸ Рубинов И. Ясная Поляна и американские миллионы // Русские ведомости. 1911. 21 января.

²⁹ Там же.

³⁰ *ОР ГМТ*. Фонд Т.Л. Сухотиной-Толстой. № 25844.

³¹ *ДСТ*. Т. 2. С. 337.

³² Утро России. 1911. 16 февраля.

³³ Русское чтение. 1911. 16 февраля. Продажа земли в России строго регламентировалась: родовое имение в течение 6 лет с момента продажи при желании бывших владельцев отчуждалось в их пользу при уплате полученных при продаже денег, что, по мнению газет, являлось одним из препятствий при продаже частным лицам, тем более иностранцам.

³⁴ ОР ГМТ. Фонд Т.А. Сухотиной-Толстой. № 25848.

³⁵ Там же. № 25847.

³⁶ Гр. С.А. Толстая в Петербурге // Обзорение Петербурга. 1911. 29 апреля.

³⁷ И.Г. Щегловитов, А.А. Толстой, В.Г. Чертков были женаты на сестрах Елене, Ольге, Анне Дитерихс.

³⁸ ОР ГМТ. Фонд Т.А. Сухотиной-Толстой. № 25852.

³⁹ ДСТ. Т. 2. С. 344.

⁴⁰ Письмо С.А. Толстой к Николаю II опубликовано с некоторыми купюрами (см. Комарова Т.В. Ангел Ясной Поляны // Памятники Отечества. 1992. № 28. С. 91–92.), по копии (ОР ГМТ). Здесь использован текст оригинала, дословно с текстом копии не совпадающий, например, рукою С.А. Толстой обозначена дата написания — 8, а не 10 (по копии) мая. РГИА. Ф. 1276.

⁴¹ Там же. Л. 45–47.

⁴² ОР ГМТ. Фонд Т.А. Сухотиной-Толстой. № 25853.

⁴³ РГИА. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 637. Л. 39.

⁴⁴ Там же. Л. 9–9об.

⁴⁵ Там же. Ф. 592. Оп. 1. Д. 651. Л. 23.

⁴⁶ Тихонова Д.Н. Незвестное описание имения «Ясная Поляна» (июнь 1911 г.) // Источники по истории русской усадебной культуры. Ясная Поляна. М., 1997. С. 126–163.

⁴⁷ РГИА. Ф. 592. Оп. 1. Д. 651. Л. 32.

⁴⁸ Там же. Л. 33.

⁴⁹ Там же. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 637. Л. 50.

⁵⁰ Меньшиков М.О. Письма к близким // Новое время. 1911. 29 мая.

⁵¹ ОР ГМТ. Фонд С.А. Толстой. № 13497.

⁵² РГИА. Ф. 592. Оп. 1. Д. 651. Л. 28, 79.

⁵³ Там же. Л. 91. В комментариях к «Дневникам» С.А. Толстой это письмо обозначено как неизвестное (Т. 2. С. 356, 559).

⁵⁴ Там же. Л. 75.

⁵⁵ Там же. Л. 92.

⁵⁶ Там же. Л. 83.

⁵⁷ Там же. Л. 93–94.

⁵⁸ Там же. Л. 85–89.

⁵⁹ Там же. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 637. Л. 56.

⁶⁰ Русские ведомости. 1911. 4 ноября.

⁶¹ РГИА. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 54. Л. 54, 56. В.С. Мейлах в работе «Уход и смерть Льва Толстого» дает ссылку на подлинник документа.

⁶² Там же. Л. 59.

⁶³ Меньшиков М.О. Новое правительство // Новое время. 1911. 15 октября.

⁶⁴ РГИА. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 54. Л. 61.

⁶⁵ РГИА. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 637. Л. 57–58. В более ранних публикациях использовался текст копии или текст, включенный в Особый журнал, отчего резолюция никогда в исследованиях не упоминалась.

⁶⁶ Мейлах Б.С. Уход и смерть Льва Толстого. М., 1979. С. 343.

⁶⁷ РГИА. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 54. Л. 54.

⁶⁸ Там же. Оп. 6. Д. 637. Л. 128.

⁶⁹ Там же. Л. 131.

⁷⁰ Там же. Л. 138.

⁷¹ РГИА. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 637. Л. 157.

В. И. Крутиков

А. Н. ТОЛСТОЙ И ЯСНОПОЛЯНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ

(попытка освобождения до реформы 1861 г.)

В мировоззрении А.Н. Толстого, отражавшем настроения и интересы широких крестьянских масс, земельный вопрос занимал одно из центральных мест. Взгляды по аграрному вопросу, как и вся система взглядов великого писателя и мыслителя, сложились не сразу. Близкое знакомство с жизнью, бытом, нуждами крестьян еще в дореформенные годы, несправедливость реформы 1861 года и ее резкое неприятие крестьянами, тяжелые условия, в которых оказалась русская деревня в пореформенные годы вследствие малоземелья крестьян и засилья крупного дворянского землевладения, — все это определило аграрную программу Толстого, в основе которой лежало отрицание частной поземельной собственности.

Интерес к этой проблеме в русском обществе обострился в 1850-е годы в связи с тем, что правительство заявило о подготовке отмены крепостного права. Вскоре после подписания Парижского мира, подводившего итог неудачной Крымской войне, император Александр II на собрании предводителей московского дворянства 30 марта 1856 года заявил о предстоящем освобождении крестьян. Он сказал, что «гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу»¹. Хотя конкретные шаги к подготовке реформы были сделаны лишь в следующем, 1857 году (создание Секретного комитета, затем дворянских губернских комитетов), в либеральных кругах началось активное обсуждение предстоящего преобразования. Вопрос этот дискутировался в салонах. По рукам ходили записки, в которых развивались общие идеи эмансипации, предлагались конкретные условия реформы. Широкую известность получили записки К.Д. Кавелина, А.И. Кошелева, Ю.Ф. Самарина, тульского помещика князя В.А. Черкасского. Необычный общественный подъем в стране отмечался многими современниками. Толстой впоследствии писал: «Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую Французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь» (17, 8).

Толстой находился в столице с ноября 1855 по май 1856 года. Он не только принимал участие в обсуждении различных записок, но и сам подготовил проект освобождения своих крестьян.

23 апреля 1856 года Толстой записывает в дневнике: «Вечер у Кавелина. Прелестный ум и натура. Вопрос о крепостных уясняется. Приехал от него веселый, надежный, счастливый. Поеду в деревню с готовым писанным проектом» (47, 69). Прежде чем говорить о проекте Толстого, необходимо коротко охарактеризовать записку Кавелина, привлечшую внимание Льва Николаевича. К.Д. Кавелин (1818—1885) —

известный историк, философ, правовед. В 1855 году составил «Записку об освобождении крестьян в России»². Основные положения этой записки следующие. Крепостное право должно быть уничтожено. Оно изжило себя экономически и политически. Экономическая необходимость освобождения крестьян определялась невыгодностью крепостного труда по сравнению с вольнонаемным. «На барщине человек работает по крайней мере вдвое хуже, чем у себя дома»³. Политическая необходимость реформы вызывалась недовольством крестьян и ростом крестьянских волнений. «Может вспыхнуть и разгореться пожар, которого последствия трудно предвидеть»⁴. Освобождение крестьян, по мнению Кавелина, должно быть осуществлено на условиях предоставления им личной свободы и наделения земель. При этом крестьяне получают всю землю, которой они пользовались до освобождения. За потерю земли и власти над крестьянами помещик получает вознаграждение в виде денежного выкупа. Государство сразу уплачивает помещику всю выкупную сумму, а крестьяне постепенно выплачивают ее государству⁵.

Исследователи считают, что среди многих записок и проектов, составленных в годы подготовки реформы, проект Кавелина наиболее последовательно отражал взгляды либерального общества⁶.

Толстой назвал проект Кавелина «прелестным». Ознакомившись с ним, он стал активно разрабатывать план освобождения яснополянских крестьян.

24 апреля 1856 года Толстой записывает в дневнике: «Написал конспекты проектов» (47, 69). 25 апреля Толстой посетил Н.А. Милютину — видного государственно-го деятеля либерального направления, сыгравшего в дальнейшем большую роль в подготовке реформы в качестве члена Редакционной комиссии. Милютин, пишет Толстой, «объяснил мне многое и дал проект о крепостном праве» (там же). Трудно сказать, о каком проекте идет речь. Может быть, это записка самого Милютина, представленная позднее правительству. Основные идеи этой записки не расходились с предложениями Кавелина⁷. Милютин обещал помочь Толстому встретиться с товарищем министра внутренних дел А.И. Левшиным. Встреча эта состоялась 11 мая. «Левшин сухо меня принял», — замечает Толстой (47, 70). Можно предположить, что во время этой встречи Лев Николаевич передал Левшину докладную записку о намерении освободить своих крестьян (5, 246–247). Толстой, видимо, получил согласие представить конкретный проект. После встречи он «написал у Некрасова проект и послал» (47, 71). 13 мая Толстой вновь посещает Левшина, который сообщил, что докладывал о проекте министру внутренних дел С.С. Ланскому. Хотя ответ был неопределенный, Толстой решил: «Буду писать проект, несмотря на то» (47, 71). Основное содержание проекта, составленного Толстым в Петербурге, изложено в «Предложении крепостным мужикам и дворовым сельца Ясной Поляны Тульской губернии Крапивенского уезда» (5, 243–245). Крестьяне, согласно этим предложениям, освобождались от всяких повинностей помещику. «Вы мне, — предлагал Толстой крестьянам, — ни барщины, ни столовых, ни дворовой службы в доме, ни оброков, никаких других повинностей справлять не будете» (5, 244). Крестьяне получали кроме усадебной земли по полторы десятины полевой на тягло^{*}.

* Тягло — крестьянская семья, состоящая из 2–3 работников. При крепостном праве повинности обычно распределялись по тяглам. — В. Крутиков.

Таким образом, каждое тягло получало по 4,5 десятины (в трех полях). Эту землю крестьяне должны выкупить, уплачивая ежегодно по 5 руб. за каждую десятину, «так что через 30 лет уж вы мне больше ничего платить не будете, и земля будет ваша» (там же). Выкуп каждой десятины земли обходился крестьянам в 150 руб., что примерно соответствовало стоимости десятины земли, установленной Положениями 19 февраля 1861 года для крестьян Тульской губернии, переходивших на выкуп⁸.

Однако не этот первоначальный проект был предложен яснополянским крестьянам. Видимо, Толстой учел замечания, которые были сделаны в Петербурге. В конце мая Лев Николаевич предложил своим крестьянам несколько иные условия освобождения. Предложения эти адресованы крестьянам селца Ясная Поляна и деревни Грецовки, составлявшим одно сельское общество. Они получили в 1861 году надел по одной уставной грамоте и перешли на выкуп в 1871 году по одному выкупному акту⁹. Все крестьяне яснополянского имения находились в 1856 году на барщине. О размерах земельного владения у нас имеются сведения, собранные в 1858 году губернским дворянским комитетом в связи с предстоящей реформой. В Ясной Поляне с деревнями насчитывалось 576 десятин удобной земли. Из них усадебной — 37 десятин, сенокоса — 77, пашни — 462 десятины. На каждого крестьянина мужского пола приходилось 2,8 десятины¹⁰. Ясная Поляна, как указывал Толстой, была заложена в Опекунском совете на сумму около 20 тыс. руб. (5, 243)¹¹.

Обратимся к событиям в Ясной Поляне. 23 мая 1856 года Толстой приехал в свое имение. Вечером 28 мая Толстой собирает первую сходку крестьян, на которой предлагает свой план освобождения их от крепостной зависимости. Записи в «Дневнике помещика» 28, 29 мая, 3 и 5 июня рассказывают о переговорах с крестьянами, но не раскрывают предложенных условий. Лишь 6 июня Толстой записывает: «Вот черновой договор, который я дал старосте и который он одобрил, с тем, чтобы дать его читать крестьянам» (5, 254). Этот договор, несомненно, уже учитывал результаты первых переговоров с крестьянами. Толстой предлагал следующие условия. У крестьян навсегда остаются «земли, кои находятся теперь в их владении, под усадьбой, выгоном, огородами и хлебами в трех полях» (5, 248). В течение 24 лет, до выкупа заложенного имения, крестьяне несут барщину по три дня в неделю или, по их желанию, переходят на оброк и платят помещику по 26 руб. с тягла. Перешедшие на оброк крестьяне составляют общество, которое отвечает за своевременную уплату оброка, т. е. устанавливается круговая порука. По истечении 24 лет крестьяне получают земли в полную собственность и переходят в вольные хлебопашцы.

Яснополянские крестьяне настороженно отнеслись к этим предложениям, а потом и вовсе отказались их принять. 10 июня на общей сходке они окончательно заявили о своем отказе. Толстой был удивлен такой позицией и не сразу понял ее причины. В письме Д.Н. Блудову Толстой, рассказав о своих предложениях крестьянам, замечает: «К удивлению моему они отказались» (5, 255). Удивление это было понятно. Ведь крестьяне освобождались на выгодных условиях: они становились лично свободными и получали в собственность неурезанные наделы. Эти условия были значительно более выгодными, чем те, которые легли потом в основу реформы 1861 года. «Положения 19 февраля» устанавливали временнообязанные отношения,

в течение которых крестьяне продолжали нести повинности помещику, выкуп растягивался на 49 лет, во многих случаях дореформенный надел сокращался и «отрезки» отходили помещику.

Центральным вопросом, который обсуждался на яснополянских сходках, был вопрос о земле. Крестьяне жаловались на недостаточные размеры наделов. 29 мая Толстой пишет в «Дневнике помещика»: «О сенокосе мне сказали, что у них сена слишком мало» (5, 251). На другой сходке один крестьянин просил прибавить земель «и все подтверждали» (5, 255). Однако дело оказалось не только в этом. Крестьяне высказывали и свои общие суждения о земельной собственности. Толстой записал разговор на сходке 5 июня: «Резун вдруг предложил отдать им всю землю» (5, 253). Это мнение оказалось не случайным. На окончательной общей сходке 10 июня «опять является смутное понятие о их собственности на всю землю» (5, 258). Возникает вопрос: какую «всю землю» крестьяне имели в виду — только свои наделы или всю помещичью землю? По этому вопросу среди историков велась оживленная дискуссия. Одни исследователи утверждали, что аграрные требования крестьян накануне реформы не выходили за рамки сохранения за собой наделной земли. Другие говорили о наличии у крестьян представлений о необходимости получить всю помещичью землю¹². Яснополянские события 1856 года проливают некоторый свет на характер представлений крестьян о земельной собственности. Толстой, как указывалось выше, отметил в «Дневнике помещика», что крестьяне предлагали отдать им всю землю. Для выяснения вопроса, о какой «всей земле» в данном случае шла речь, привлечем другие толстовские документы. В письмах Д.Н. Блудову и Е.П. Ковалевскому Толстой описывает события в Ясной Поляне и объясняет причину неудачи своих планов. 9 июня, под непосредственным впечатлением от крестьянских сходок, Лев Николаевич пишет Блудову: «Наконец я узнал причину отказа прежде для меня непостижимого... Именно: они твердо убеждены, что в коронацию* все крепостные получают свободу, и смутно воображают, что с землей, может быть, даже и со всей — помещичьей» (5, 255; 60, 64—67).

Прошло несколько месяцев, и в октябре 1856 года Толстой вновь возвращается к этому вопросу в письме Е.П. Ковалевскому. Он почти в тех же словах объясняет, почему планы его не удались: «Не удалось, главное, от убеждения, откровенно распространенного в народе, что в коронацию, а теперь к новому году, будет свобода всем с землей и со всей землею» (60, 88—89). Это свидетельство проясняет картину. Крестьяне не желали получать при освобождении только наделные земли, надеясь, что воля, дарованная сверху, даст им, может быть, даже всю помещичью землю. Разумеется, нельзя упрощать и делать прямолинейный вывод, что крестьяне повсеместно требовали ликвидации помещичьего землевладения. Толстой в указанных письмах подчеркивает, что народ имеет «самое смутное понятие о собственности земли», что этот вопрос «чрезвычайно запутан» (5, 256; 60, 89). Однако нельзя отрицать, что еще до реформы существовали среди крестьян представления об их праве не только на наделные земли.

Вплотную столкнувшись с настроениями крестьян, Толстой критически стал оценивать разговоры в столичных дворянских салонах о предстоящей эмансипации.

* Коронация Александра II должна была состояться 26 августа 1856 года. — В. Крутиков

В том же письме Ковалевскому Толстой с иронией пишет о дворянах, которые «привыкли с закрытыми дверями и по-французски говорить об освобождении... Как я занялся делом в подробности и увидел его в приложении, мне совестно вспомнить, что за гиль я говорил и слушал в Москве и Петербурге от всех умных людей об эмансипации» (60, 89).

Неудача попыток освобождения крепостных путем прямого соглашения с ними не заставила Толстого отказаться от своего намерения улучшить положение яснополянских крестьян. Возвратившись из первой зарубежной поездки, Толстой в августе 1857 года приезжает в Ясную Поляну. Он производит серьезные изменения в имении. Прежде всего он начинает отпускать своих дворовых на волю. «Дал пять вольных. Что будет — Бог знает, а делать людям лучше, хотя и не пользуясь нисколько благодарностью, все-таки дело и в душе что-то остается» (47, 153—154). В Государственном архиве Тульской области удалось обнаружить 8 отпускных, по которым Толстой освободил 11 дворовых¹³. Позднее Толстой вспоминал, что дворовые отпускались бесплатно («у меня того греха нет, чтобы я отпускал за деньги») ¹⁴. Одновременно Толстой переводит своих крестьян с барщины на оброк. Оброчная повинность всегда считалась у крепостных более легкой по сравнению с барщиной. Осенью 1857 года все яснополянские крестьяне стали оброчными. Это потребовало перестройки всего хозяйства. Для обработки земель теперь приглашаются вольнонаемные люди. Наводятся усовершенствованные сельскохозяйственные орудия. Лев Николаевич сам участвует в сельскохозяйственных работах. «Весь в хозяйстве», — записывает он в дневнике (48, 16).

Вопрос об освобождении крестьян перешел из дворянских салонов и со страниц ходивших по рукам записок в сферу непосредственной деятельности правительства. Страна находилась накануне важных преобразований. Толстой полагал, что яснополянские крестьяне подготовлены к тому, чтобы наиболее безболезненно перейти к жизни в новых условиях. В письме к В.П. Боткину и И.С. Тургеневу (21 октября — 1 ноября 1857 г.) он отмечал: «В деревне я хлопотал месяца 3, и теперь там хорошо, одним словом, так, что будь завтра освобождение, я не поеду в деревню, и там ничего не переменится. Крестьяне платят мне за землю, а свою я обрабатываю вольными» (60, 233).

Через четверть века после описываемых событий Толстой ретроспективно оценивал свою позицию в предреформенные годы: «Когда я был рабовладельцем, имея крепостных, и понял безнравственность этого положения, я вместе с другими людьми, понявшими то же, в то время старался избавиться от этого положения» (25, 293).

50-е годы XIX века являлись важным этапом в жизни Толстого и формировании его мировоззрения. Осознав необходимость уничтожения крепостного права, он делал конкретные шаги к освобождению своих крестьян. Эти события дали возможность Толстому близко узнать настроения и интересы крестьян, которые расходились с теми планами, что вынашивались в дворянских кругах. Эти впечатления заложили основу будущей идейной эволюции писателя. Еще большее впечатление на Толстого произвели события начала 60-х годов, когда он участвовал в качестве мирового посредника в проведении реформы в своем родном Крапивненском уезде. Но это уже тема для другой статьи.

¹ Федоров В.А. Падение крепостного права в России. Документы и материалы. М., 1966. Вып. 1. С. 59.

² Записка опубликована в кн.: Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1898.

³ Кавелин К.Д. Указ. соч. С. 11.

⁴ Там же. С. 33.

⁵ Там же. С. 43, 48.

⁶ Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856—1861. М., 1984. С. 31. Баграмян Н.С. Помещичьи проекты освобождения крестьян // Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1962. С. 28.

⁷ О записке Милютинина см.: Захарова Л.Г. Указ. соч. С. 47—52.

⁸ Крутиков В.И. Отмена крепостного права в Тульской губернии. Тула, 1956. С. 77.

⁹ ГАТО. Ф. 12. Оп. 7. Д. 468. Лл. 28—31.

¹⁰ Приложение к трудам Редакционных комиссий. Сведения о помещичьих имениях. СПб., 1860. Т. IV. Тульская губерния. С. 14.

¹¹ Архивные документы дают возможность установить точную сумму долга: 236 руб. 82 коп. (ГАТО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 183. Л. 245).

¹² Федоров В.А. Требования крестьян в начале революционной ситуации // Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1960. С. 137, 148; Литвак Б.Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения в России XIX в. М., 1967. С. 21; Крутиков В.И. Крестьянское движение в Тульской губернии в конце XVIII и первой половине XIX в. Тула, 1972. С. 109—111; Рахматуллин М.А. Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826—1857 гг. М., 1990. С. 230—236.

¹³ ГАТО. Ф. 819. Оп. 1. Д. 695-а. Л. 5—6. 17 об.; Д. 800. Л. 86—86 об.; Д. 745. Л. 16—17 об., 82, 83; Ф. 125. Оп. 3. Д. 933. Л. 67—67 об.; Д. 948. Л. 4—4 об. Пять отпускных были опубликованы: Толстой А.Н. Полн. собр. соч. Т. 59. С. 338—340. Т. 60. С. 465, 467, 475.

¹⁴ ЯЗ. Кн. 1. С. 119. Запись 31 декабря 1904 года.

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СВОДА МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Самым распространенным злом мемориальных музеев в наше время является утрата вкуса к подлинности. Хранение всегда считалось «законом коренным, предшествующим человеку, действующим еще до него»¹. Философ Николай Федоров считал, что каждый человек как бы «носит в себе музей».

Все вышесказанное полностью соотносимо со стилем жизни владельцев Ясной Поляны, носивших всю свою жизнь музей внутри себя и передававших его, как талисман, следующим поколениям. Усадьба была для них вместилищем родовой памяти, символом связи времен, союзом отцов с детьми и внуками.

Самым уникальным и безупречным Хранителем своей усадьбы, этой фамильной памяти всего рода, был, разумеется, Лев Николаевич. Вкус к подлинности, вместе с почитанием мемориальности, он стремился привить своим детям.

Безусловно, опыт прошлого незаменимое средство для толкового и разумного решения новых дел. Ясная Поляна сейчас переживает свой ренессанс, поэтому умственно вспомнить о том, как жила старая российская усадьба при своем великом хозяине, который и был, вместе с другими ее обитателями, самым первым ее Хранителем, и как она жила уже после него.

Память... Овеществленная, материализованная, она — великий аккумулятор прошлого, неминуемо оказывающегося залогом грядущего. Но всегда ли мы были последовательны в своей памяти о Ясной Поляне? К сожалению, не всегда. Конечно, можно сделать скидку на то или иное время, бурные эпохи, динамично сменявшие друг друга; некогда было остановиться, задуматься, надо было спешить, менять, преобразовывать жизнь. Все так. Но... ведь будущее все равно в конце концов предъявит свой счет, и как, например, нелегко сейчас сознавать, что давно уже канула в Лету регулярная работа по составлению паспортизированной летописи Ясной Поляны, этого уникального документа, безупречного мгновенного слепка ушедшего².

Но разве возможно в этом, столь быстро меняющемся, абсолютно непостоянном мире сохранить некое постоянство, статус-кво, хотя бы в отдельно взятой усадьбе? Как оградить ее хрупкий мир от разнообразных вторжений и экспансий времени? Только одним — практическим трудом, вдохновенным служением, профессионализмом не одного поколения музейщиков. Да, путь их по сохранению этой бесценной святыни был тернист и не был усыпан розами, но тем больше достоин уважения.

Существует любопытное суждение о том, будто лицо человека трижды меняется в зависимости от возраста. В двадцать — он имеет то лицо, с которым родился, в тридцать — то, которое сам сотворил, а в пятьдесят — то, которого достоин.

За музейный период успело смениться три поколения яснополянских сотрудников, каждое из которых соответствовало определенному «типу лица». Перед нами раскрываются портреты совершенно различных людей, соответствующих определенным музейным поколениям.

Первое поколение имело, образно говоря, то лицо, которым его одарила сама природа. К тому же, и лицо самой толстовской усадьбы в это время было безупречным с точки зрения подлинности и целостности впечатления. Беда лишь в том, что целостность эта мало-помалу разрушалась, как по объективным, так и по субъективным причинам.

Первую волну музейщиков отличал настоящий пафос подлинности. В те далекие двадцатые годы все только начиналось и все было впервые: и экскурсии, и экспозиции, и паспортизация мемориальных объектов. Музейные сотрудники, плодотворно работавшие под руководством Александры Львовны, принялись за создание паспортизированной энциклопедии дома Толстого. Ими все самым тщательным образом фиксировалось, собиралось, обрабатывалось. Была развернута огромная работа по опросу яснополянских крестьян, бывших обитателей толстовского дома. В бурных спорах о мельчайших деталях интерьеров писательского дома искалась и находилась истина. Отбирался с величайшим тщанием самый разнообразный материал: воспоминания, мебель, предметы быта, иконографические свидетельства мемориального облика Ясной Поляны. Современники Толстого — родные, близкие, знакомые писатели принялись вспоминать: что, как и где было. Из этих совокупных опросов рождались своеобразные досье с полной фиксацией разнообразных мизансцен в каждой из комнат дома писателя. На основе этого уникального материала была восстановлена подлинная картина дома такой, какой она была при Толстом. Было восстановлено к 100-летию юбилею со дня рождения писателя впечатление целого усадебного мира: простого, ясного, уютного, и лицо Ясной Поляны, начавшее было терять свои первозаданные черты, вновь обрело их, благодаря кропотливому поиску преданных хранительскому делу музейщиков.

Первое поколение музейных сотрудников сделало самое главное: сохранило, восстановило, воскресило подлинный мир Толстого, Ясной Поляне повезло несказанно: у ее истоков стояли замечательные профессионалы, разработавшие концептуальные идеи, определившие будущее усадьбы.

«У Ясной Поляны, действительно, было свое лицо. И важно для каждого почитателя памяти великого хозяина Ясной Поляны увидеть ее лицо таким, каким оно было»³. Эти слова В.Ф. Булгакова долетели словно эхо до музейщиков пятидесятых и были восприняты ими как завещание, как заклинание — сохранить связь времен.

Все наработки предшествующего поколения были рационально использованы музейщиками «второй волны». Живая преемственная связь, органичная перекличка двух музейных поколений ощущалась прежде всего в перманентном продолжении традиционных форм музейной работы, таких как паспортизация мемориальных объектов. Так второе поколение музейных сотрудников творило свое лицо и лицо Ясной Поляны, вполне достойное восхищения.

В те, теперь уже такие далекие пятидесятые, и дом, и усадьба, и пейзажи, и рельеф, и горизонты, и воздух оставались с точки зрения мемориальности более или менее первозданными. Только что отгремевшая война заставила музейщиков по-новому взглянуть на подлинность, на принцип сохранения мемориального памятника. Необходимо было разработать целостную пространственную картину подлинного образа толстовской усадьбы, выявив утраты (в архитектуре, зеленых структурах, рельефе, многочисленных трассировках, т. е. во всем яснополянском ландшафте, и даже в топонимике). Необходимо было проанализировать опыт предшественников по воскрешению подлинного образа толстовской усадьбы. Вот тогда и вспомнили о досье 20-х годов, послуживших прообразами будущих паспортов.

В пятидесятые годы развернулась крупномасштабная деятельность по созданию целостной парадигмы уникальных образов Ясной Поляны. Точнее сказать, по ее воссозданию. Движимые коренным законом сохранения национальной святыни, музейщики принялись создавать научные паспорта на мемориальные объекты. Начиная с 1952 года, было сформировано тридцать семь паспортов, продемонстрировавших вдохновенный коллективный труд целого поколения музейных сотрудников, объявивших хранение самым приоритетным направлением музейной деятельности.

Уже сам по себе перечень яснополянских объектов, как и ареал их составителей, более чем внушительен. Все архитектурные постройки, от мала до велика, а также водоемы, лесопарк, сады были охвачены волной паспортизации. Качество составления их не одинаково. Но среди пестрой мозаичной картины встречаются перлы, научные паспорта самого высокого уровня. В большинстве своем мемориальные паспорта отражают сведения в времени, месте расположения и назначении того или иного объекта. Они, как правило, снабжены научно-справочным и фотографическим материалом. «Групповой портрет» мемориальных объектов Ясной Поляны получился таким образом достаточно удачным и интересным.

Но ценность их заключалась не только в описании истории мемориального объекта, в фиксации и в констатации его современного состояния, но и в приобщении всего научного коллектива музейных сотрудников к хранительской культуре. Научное крещение любого музейщика начиналось с паспортизации того или иного яснополянского объекта. Многие паспорта имеют нескольких составителей. Вновь пришедший сотрудник получал свой паспорт как бы по наследству от старшего коллеги. Таким образом сохранялась живая связь между поколениями яснополянских музейщиков.

В это время уровень хранительской культуры был еще достаточно высок: четко функционировал институт меморативной комиссии. Все, будь то количество экскурсантов в группе или судьба «деревя бедных», осуществлялось только с благословения и согласия меморативной комиссии.

Эту работу, проводимую научными сотрудниками, можно считать самой масштабной в истории хранительской службы музея. С началом паспортизации мемориальных объектов вырабатывался единый, модульный подход к сохранению уникальной святыни. В результате был выработан общий исходный принцип, найдена главная методологическая «точка отсчета». Все сотрудники были охвачены идеей воссоздания Ясной Поляны, заключавшейся в снятии с ее лица безжалостной патины времени.

Идея создания, хотя бы на бумаге, хотя бы в паспортах, предельно подлинного образа той, толстовской, усадьбы представляется единственно верной. Музейщиков пятидесятых интересовало тогда все, включая мельчайшие нюансы облика Ясной Поляны: будь то границы Калинова луга, старого куста у Воронки, дерева в Чепыже, под кроной которого укрывалась когда-то Софья Андреевна, и все это фиксировалось в научных паспортах. Из схем, сухих документированных описаний, мемуарных источников формировалась «плоть» паспортов. Что лежало в основе этого труда, берущего свое начало от знаменитого архимедового «не тронь моих чертежей»? Думается, заботой о подлинности было продиктовано рождение этого документа. Тогда не было еще аллергии к мемориальности. Не случайно поэтому, что ни один реставратор, занимавшийся яснополянской проблематикой, не мог в своей работе обойтись без паспортов, этих бесценных источников. Таким образом, паспортизация мемориальных объектов явилась важной вехой в концептуальной идее сохранения уникального памятника.

Но с подлинностью может справиться только «прогресс». С годами вокруг Ясной Поляны произошло скопление немемориальной силы огромной физической мощи и энергии, готовой в любую минуту нанести ущерб национальной святыни.

Абсолютно мемориальных памятников не существует даже в теории. Время стирает подлинные черты. Уже нет свежего воздуха и нет чистых ландшафтов, простиравшихся когда-то до самых горизонтов. С годами образ Ясной Поляны покрылся густым слоем патины времени и приобрел случайные черты. Невозможно остановить бег времени, но возможно из бесчисленных мгновений по крупницам воссоздать полную парадигму яснополянского бытия. Да, сначала гипотетически, на бумаге, с тем, чтобы потом перенести этот «портрет» в живую среду.

К великому сожалению, в семидесятые годы жанр мемориальных паспортов постепенно вырождался, теряя поначалу свою чистоту, а потом и своих исполнителей. Причин было, кажется, немало: приоритетность пропагандистской концепции в развитии музея в пору экскурсионного «взрыва», резкая смена поколений, отсутствие института главного хранителя и многое другое.

В настоящее время кризис этого жанра очевиден. Но жизнь доказала необходимость его полной реабилитации, несмотря на целый ряд методологических просчетов, на «любительский» характер, на наличие множества лакун, на «эскизный» подход к той огромной теме, которую в полной мере можно назвать паспортизированной энциклопедией усадьбы.

Безусловно, разрывы в цепочке яснополянской хранительской традиции должны быть восстановлены, но только на качественной иной основе. Нужен тотальный, комплексный, реновационный подход к этой проблеме. На основе сплошной паспортизации должна быть восстановлена в полном объеме вся картина «ландшафтных воспоминаний» Ясной Поляны, начиная с ситуации перед въездными башнями и заканчивая описью всех памятных толстовских мест окрест Ясной Поляны. Все уголки яснополянской усадьбы, весь ее ареал должен быть включен в свод памяти Ясной Поляны.

Любой музей складывается из трех констант: времени, пространства и действия. Предполагаемая энциклопедия представляет подробную характеристику всех этих трех компонентов.

Энциклопедия должна содержать разнообразный спектр сведений: информацию об истоках возникновения того или иного мемориального объекта, старые легенды, обширную фактологию событий, связывавших Льва Николаевича и его близких с данным объектом, все трансформации во времени, детальную художественную «эмблему» объекта, вплетающуюся в ткань толстовских текстов. В энциклопедию должны войти все постройки, большие и малые, селитебные зоны, лесные и луговые урочища, все фрагменты природно-антропогенного ландшафта, отдельные пейзажи, флора, фауна, усадебные запахи, реновационные процессы. Здесь должны быть представлены не только существующие, реальные объекты, но и объекты-«фантомы» (как, например, утраченная изба в Чепыже).

Основой такой энциклопедии должна быть хронологизированная картотека всех объектов, снабжаемая в процессе исследований полноценным научным аппаратом. Составление подобного свода материалов представляется особенно важным и насущным, если учесть, что в условиях бурной урбанизации региона катастрофически быстро исчезают типичные усадебные символы и знаки.

Свод должен послужить основой для разработки программ консервации и реконструкции всех фрагментов бесценного памятника и вовлечения их в активный туристический показ. С другой стороны — объемная (по времени и источникам) подлинная панорама объектов и всех форм, ритмов, уклада усадебной жизни даст по-настоящему серьезный материал для углубленной разработки или пересмотра «топографии» толстовских образов, для существенного развития одного из важнейших направлений отечественного толстоведения и литературного краеведения. Будущее Ясной Поляны видится в бережном максимальном сохранении ее прошлого. Подход к воссозданию подлинного образа Ясной Поляны не должен быть утилитарным, направленным на благоустройство, а «ностальгическим», ориентированным на воскрешение целостной многокрасочной мемориальной среды, на сохранение не просто усадебной оболочки, а самого образа жизни. Только при таком подходе Ясная Поляна останется навсегда живым открытым музеем «без стен». С тем лицом, которого Ясная Поляна достойна и которое она не должна потерять.

¹ Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 578.

² Работа по паспортизации объектов Ясной Поляны была начата по инициативе проф. К.С. Семенова в 1952 году. Продолжалась до начала 1970-х годов.

³ Булгаков В.Ф. Дом Толстого в Ясной Поляне // *Ясн. сб.* Тула, 1988. С. 207.

НЕКРОЛОГИ. ПАМЯТИ НАШИХ БЛИЗКИХ



О Т. М. Альбертини-Сухотиной
(1905–1996)

22 ноября 1905 года Лев Николаевич записывает в дневнике: «Великое событие — Таня родила». Здесь нет никакого преувеличения: событие и в самом деле великое — человек родился! И какой замечательный, удивительный человек, как потом подтвердила вся жизнь любимой внучки Толстого — Танечки Сухотиной — долгая, содержательная и счастливая...

Каким же долгожданным, желанным, казалось бы уже неосуществимым, трагически обреченным на неудачу было для всей семьи это «великое событие». Позднее замужество Татьяны Львовны, лишь в тридцать пять лет вышедшей за 49-летнего Михаила Сергеевича Сухотина, только что овдовевшего и оставшегося с шестерыми детьми на руках. Татьяна Львовна заменила им мать, всегда была заботлива и добра с ними, но как же мечтала она о собственном ребенке и как же немилостив был по отношению к ней рок, раз за разом обрывавший зарождавшуюся в ее чреве жизнь. После пятой неудачной попытки впору было отчаяться даже самому крепкому духом человеку, и все же старшая дочь Толстого решает еще раз бросить вызов судьбе.

И побеждает! К исходу девяти бесконечно длившихся месяцев, наполненных страхом и мольбами, Татьяна Львовна по совету матери переезжает из имения Сухотинных Кочеты в Ясную Поляну и там, на знаменитейшем семейном диване, на котором появились на свет и сам Толстой, и его братья и сестра, и почти все их с Софьей Андреевной дети, происходит подлинное чудо: «Таня родила живую девочку!!!»

Девочку нарекли также Танечкой — Татьяной Татьяновной, как звали ее часто домашние. Бог дал ей девяносто с лишним лет богатой событиями жизни, четверых собственных детей (одна из которых, правда, умерла в младенчестве), восьмерых внуков, вот уже и шестерых правнуков — так из одного побега растет и расширяется семья и самостоятельная ветвь потомков Льва Толстого по линии его старшей дочери. И невольно начинаешь задумываться: неужели могло быть так, что не свершилось бы великое событие, а значит не было бы сейчас на свете таких родных, дорогих сердцу Луиджи, Марты и Кристины, веселых и добрых многогородных братьев моих — Леонардо, Марко, Пьеро, Андреа, Филиппе, красавиц-сестричек Констанцы, Илари и Александры, их маленьких деток... Думаешь об этом и совсем по-другому начинаешь ценить каждую добрую человеческую жизнь, дорожить самым счастьем дарованной тебе жизни.

Я впервые увидел Татьяну Михайловну Альбертини-Сухотину, или тетю Таню, как мы все ее называли, в 1974 году, когда она после долгих лет эмиграции приехала на родину, в Россию. Не полюбить ее, не восхититься ею было невозможно — такое чувство собственного достоинства, такая сдержанная мудрость, такая простота и естественность в каждом движении, в каждом слове! Тетя Таня еще несколько раз приезжала в Москву, в Ясную Поляну, с которой были связаны для нее все самые счастливые воспоминания детства, где еще живы были подружки ее детских игр, где каждая тропинка, каждое дерево были так памятны. Приезжала, чтобы передать своим вполне итальянским детям и внукам, которых она неизменно привозила с собой, особое чувство их корневой Родины, пробудить в них любовь и интерес к России, к своему великому деду. В этом она видела один из главных смыслов собственной жизни, одно из ее предназначений.

Все последние годы я поддерживал переписку с тетей Таней, навещал ее несколько раз в квартире на Порта Пинчиано в Риме — неизменно это были такие необходимые, такие важные для меня встречи и письма, так много значившие для меня советы и суждения, помогавшие делать выбор в самых непростых ситуациях. Без ее внутренней поддержки я, наверное, никогда не отважился бы согласиться на предложение возглавить яснополянский музей...

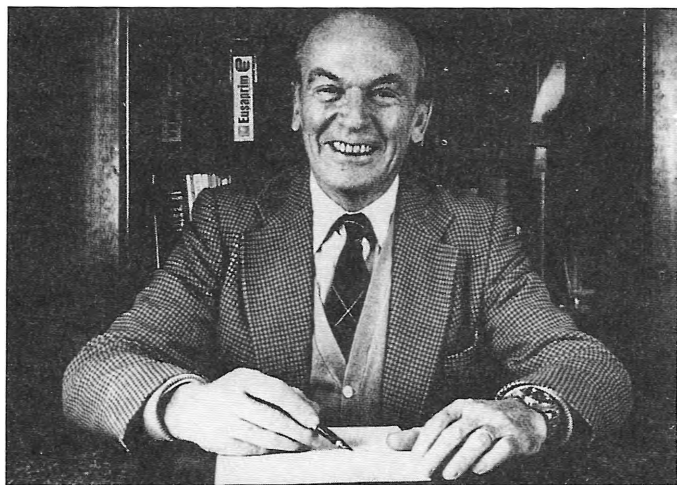
А в августе 1996 года ее не стало. Мы с отцом и с братьями приехали в ее осиротевший дом, перебирали странички архива, смотрели старые фотографии, и никак не верилось, что больше никогда не встретимся в этой жизни, не поговорим. А так много, как всегда, осталось недосказанного...

За все, за все большое спасибо тебе, милая тетя Танечка! До свидания и прости.

В. Толстой

17 сентября 1998 г.

*Ясная Поляна, Бурасского района,
Болгария.*



**О С. М. Толстом
(1911–1996)**

12 января 1996 года в Париже скончался Сергей Михайлович Толстой, один из последних внуков Л.Н. Толстого.

Он был младшим сыном Михаила Львовича Толстого и Александры Владимировны Глебовой и родился в России в русской глубинке, в имении Тарасково Каширского уезда. Он впервые попал в Ясную Поляну в возрасте пяти-шести лет в 1916–1917 годах вместе с родителями и застал в живых Софью Андреевну Толстую, обожавшую внуков. Необыкновенная красота Ясной Поляны запечатлелась в его сердце навсегда, уцелела в памяти за годы нелегкого жизненного пути и всегда притягивала его своим необъяснимым очарованием.

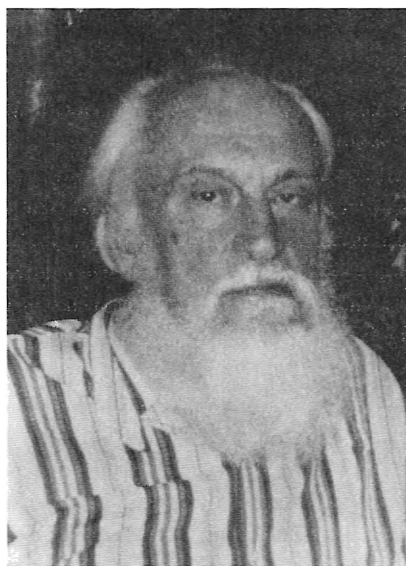
Покинув Россию в 1920 году, его родители обосновались с детьми в Париже, в дальнейшем переехали в Марокко. Сергей Михайлович, успешно закончив курс медицины в Институте Пастера, посвятил себя врачебной деятельности в Париже.

А.С. Пушкин считал благородной надеждой человеческого сердца то, что внуки будут уважены за имя, переданное им предками. Сергей Михайлович Толстой пользовался большим уважением в кругу своих родственников и друзей. Он был самым непоседливым среди внуков Л.Н. Толстого и больше всех сознавал свою причастность к прошлому и заинтересованность настоящим. Глубокий знаток жизни и творчества своего великого деда, он был участником многих толстовских мероприятий, проводимых во Франции и в России. В 1978 году к 150-летию писателя он создал в Париже «Общество друзей Льва Толстого», которое под его руководством и при его деятельном участии продолжило изучение литературного наследия великого писателя. Благодаря его усилиям 150-летний юбилей Л.Н. Толстого был достойно отмечен во Франции. В 1978 году он участвовал также в юбилейных торжествах в Москве и Ясной Поляне. Со временем он стал часто бывать в России, где приобрел

многочисленных друзей. Он был известен как автор многих книг о Л. Н. Толстом, в которых личные переживания автора, картины русского быта и хроника жизни писателя слились в единую пеструю ткань характеров, судеб древнего, пассионарного, многочисленного рода Толстых, рассеянного по всему миру драматическими событиями XX века. Заслуги С. М. Толстого получили признание в России, где издаются его книги в русском переводе: «Толстой и Толстые. Очерки истории рода» (М., 1990) и «Дети Толстого» (Тула, 1994). Весной 1995 года он принимал участие в коллегии Министерства культуры России, где решалась судьба охранной зоны заповедника Ясной Поляны, а также в других мероприятиях по спасению музея.

Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, близким и его супруге Колетт Толстой, под председательством которой «Общество друзей Льва Толстого» продолжит свою деятельность по сохранению наследия писателя.

А. Полосина



Об А. И. Толстом
(1921–1997)

Александр Ильич Толстой — потомок великого писателя по линии сына Андрея Львовича. Отец Александра Ильича — внук Льва Николаевича — Илья Андреевич Толстой. Александр Ильич родился и жил безвыездно в России. Он был старшим из четырех правнуков, живших в России и безвременно ушедших из жизни.

Александр Ильич вообрал в себя много общих семейных черт: многогранные способности, характер, глубокую порядочность, принципиальность, честность, ответственность в своих действиях, в работе и в отношениях с людьми.

В детстве, как и его отец, отличался девичьими наклонностями, любил носить платья и играл в куклы. Но стал очень мужественным человеком, с твердым характером, вместе с доброй, отзывчивой душой.

Очень скромный, никогда не бравировал своим родством с великим прадедом, хотя его подводило большое внешнее сходство с ним.

По семейным обстоятельствам много жил в детстве в доме-усадьбе «Хамовники» и в Ясной Поляне. С трогательной теплотой говорил о том, что ребенком укрывался одеяльцем, сделанным прабабушкой Софьей Андреевной.

С 1929 года постоянным местом проживания была квартира в доме 3 по Померанцеву (бывшему Троицкому) переулку, из которой и ушел в иной мир на семьдесят шестом году жизни — 12 апреля 1997 года похоронен на семейном кочаковском кладбище в Ясной Поляне.

В квартире на Померанцевом он жил с бабушкой, Ольгой Константиновной Толстой (женой А.Л. Толстого, последовательницей учения Льва Николаевича) и тетей — Софьей Андреевной Толстой-Есениной, бывшей тогда директором музеев Л.Н. Толстого. Атмосфера музеев, с детства окружавшая его, была ему всегда дорога. Александр Ильич спасал от зажигательных бомб хамовнический дом, работал там пожарным во время войны, всегда волновался о судьбе и состоянии музеев и старался быть полезным чем мог. До последних дней очень любил Ясную, Хамовники, регулярно посещал музей на Пречистенке. И музей отвечал ему тем же. Ниже приводится выдержка из поздравления в связи с 70-летним юбилеем, который был организован на Пречистенке.

«...С большой благодарностью вспоминаем о Вашем активном участии в работе Ученого Совета музеев Л.Н. Толстого, да и вообще во всей разнообразной жизни музеев. В годы Великой Отечественной войны Вы спасали музей-усадьбу Хамовники от зажигательных бомб, в мирное время Вы смело вставали на защиту гуманных, общечеловеческих принципов, проповедником которых был Ваш великий прадед! — В Вас жив неукротимый дух Ваших предков... Спасибо Вам за дружбу, за участие, за удивительное Ваше неравнодушие ко всему, что окружает Вас в жизни... Ваш Музей Л.Н. Толстого».

Александр Ильич не был урбанистом. Его тянуло на природу, к путешествиям, может быть по наследству от отца, известного своей плодотворной деятельностью в этой сфере в США. Этим определился избранный им трудовой путь геолога, многочисленные экспедиции в самые разные районы страны. Не отступил он от выбранного пути даже после случаев, в которых он чудом остался жив: падение в пропасть на Памире, одиночный маршрут в пустыне в пятидесятиградусную жару с одной фляжкой воды почти сутки, падение с лошадей с хлипкого мостика в бурную горную каменистую речку. Александр Ильич не жалел себя в работе в сложных экспедиционных условиях, подорвал здоровье и ушел из жизни очень больным человеком.

Для Александра Ильича экспедиционные поездки не были просто познавательными. Он много работал, исследовал и сделал для геологии, что хорошо отражено в воспоминаниях коллеги, доцента МГГА Б.Е. Карского, приводимых ниже.

«Александр Ильич Толстой по призванию был полевым геологом, он любил природу, мог созерцать огненно-красные закаты в Беломорье, любоваться сказочным Байкалом, восхищаться снежными пиками Памира и Туркестанского хребта, умел находить прелесть в пустыне Кызылкумов, степях Мугоджар и пологих, залесенных склонах Урала. Многие он запечатлел на миниатюрных зарисовках, которые никому не показывал.

В геологию Александр Ильич пришел с юных лет. Он считал себя учеником профессора А.А. Богданова, у которого работал в экспедиции на западном склоне Урала еще в предвоенные годы. Александр Ильич был очень вынослив, мог работать в трудных условиях, не теряя оптимизма даже в сырых подземных выработках и в маршрутах в промозглую погоду. Он был скрупулезен и ответственен во всем. Всегда следил за состоянием геологического инвентаря, не терпел худых палаток, неисправных компасов, плохо насаженных молотков. Из напитков в ненастную погоду предпочитал чай. Рабочую обувь (ботинки, сапоги) чинил сам. Для этого всегда возил с собой сапожную лапу.

Александр Ильич был очень добрым человеком и в свободное время чинил сапоги всем геологам и рабочим партии. Рабочие уважали его за справедливость и нетерпимость к халтуре. Александр Ильич обладал организаторскими способностями при разворачивании экспедиционных работ и их проведении. Нас всех поражала его работоспособность даже в самой неподходящей обстановке при обработке материала (в общем помещении для нескольких партий, где не заботились о тишине).

Что бы ни поручали Александру Ильичу, он с успехом решал как производственные, так и научные задачи. Например, им внесен большой вклад в исследование слюдяных месторождений, а также в разработку способа получения искусственной слюды.

Удивительная смекалка позволяла ему найти технический выход из трудного положения, например при разработке шурфов, изобретя остроумный прибор, который был быстро осуществлен и помог очень быстро решить стоящую задачу.

Находясь на Соловецких островах в связи с работой по слюдяной теме, Александр Ильич тщательно искал в монастыре и его окрестностях могилу своего предка — пращура Петра Андреевича Толстого, политического деятеля при Петре I, сосланного на Соловки после его смерти.

Все, что было сделано Александром Ильичом в области геологии месторождений полезных ископаемых, не потеряло научного и практического значения до наших дней. Его мысли и идеи, изложенные в ряде публикаций, получили дальнейшее развитие в трудах его товарищей и учеников. Открытые им закономерности вошли под его именем в учебники по геологии».

Александр Ильич любил и чувствовал природу и умел увидеть то, что давало ему возможность превратить что-либо незаметное в красивую вещь: сучок сирени — в изящную брошь, кап на березе — в изумительную деревянную вазу и многое, многое другое.

Маленькая комната в квартире служила ему мастерской, конечно — со скрупулезным порядком. В это «святыхище» никто не смел войти без разрешения и его надзора.

Неожиданный «талант» вскрылся в шестьдесят лет — писание мелом картин по памяти: пейзажей тех мест, где он бывал (горы, море, север и, конечно, Коктебель и гора Кок-Кая, изображающая профиль Максимилиана Александровича Волошина).

С девяти лет Александр Ильич проводил лето в доме Волошиных. С первого знакомства Максимилян Александрович сказал ему: «Зови меня Макс и на ты».

Александр Ильич очень тепло к нему относился и обожал его акварели. Так случилось, что во время войны эти акварели хранились в нашем доме на Померанцевом и Александр Ильич спас их от пожара — это ему казалось важной заслугой в жизни. И навеяло лирические строки, которые обнаружились уже после смерти. Я позволю себе их привести:

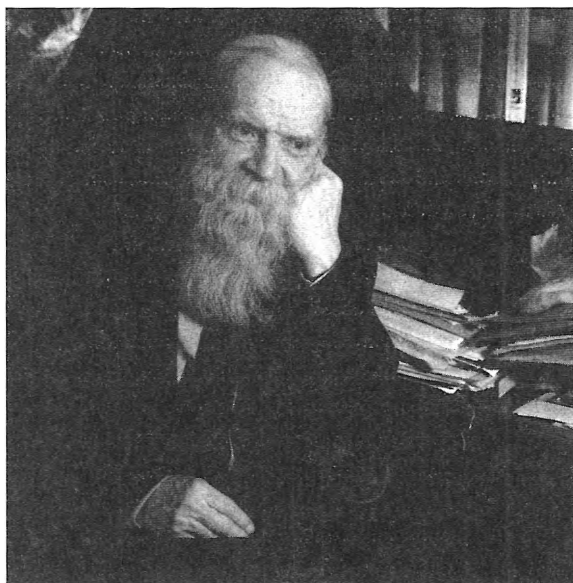
Памяти Максимильяна Волошина

Макс не дарил своих мне акварелей
И пламенных стихов о мудрых складках гор,
Он пропитал собой все бухты Коктебеля,
Его лицо мне снится до сих пор.
Когда друг друга люди не жалели
Мечи в кровавом ужасе скрестив,
Горжусь я тем, что Макса акварели
Судьбой мне было суждено спасти.
Была жизнь в этом, может, не напрасна
И вспоминая Кимерийские края,
Я представляю добрый профиль Макса,
Изваянный в отрогах Кок-Кая.

Александр Ильич обладал писательскими способностями, к сожалению, его мемуары не завершены. Александр Ильич очень любил землю, с увлечением занимался самыми различными посадками, радовался каждому взошедшему ростку и негодовал страшно, если кто-либо его повредит. Очень был отзывчив на несчастье и боль других, помогал чем мог в ущерб себе. Любил и жалел животных, особенно бездомных. При всем этом умел веселиться и остроумно участвовать во встречах с нашими молодыми друзьями (моими учениками). Александр Ильич был очень образованным, начитанным, много знал и даже приводил в удивление друзей и знакомых своими знаниями по многим вопросам из разных областей. К сожалению, превратности судьбы помешали ему получить научные степени.

Ушло старшее поколение отечественных правнуков и так быстро — один за другим. Самый старший, Александр Ильич, лишь на месяц и шесть дней опередил самого младшего — Илью Владимировича, которого мы любя всегда называли Илюшкой — милайший человек и друг. Страшный удар! Оба были дружны, хотя могли по-толстовски горячо и непримиримо спорить, отстаивая свои взгляды, но это не мешало испытывать друг к другу самые теплые, родственные чувства. Огромная потеря! Вся забота о состоянии Ясной Поляны пала на следующее поколение. Александра Ильича очень беспокоил этот вопрос, и он радовался успехам Владимира Ильича по возрождению Ясной и желал ему дальнейших успехов в нелегком труде.

Ушел мой изумительный спутник жизни, незаменимый, несравненный, надежный, вечный друг — теперь пустота и только воспоминания.



О Н. И. Толстом
(1923—1996)

Счастливы каждый, кто знал Никиту Ильича Толстого.

Общение с Никитой Ильичом волновало, обогащало, завораживало. Скромность и достоинство, какая-то детскость и временами почти грозное величие, простота, истинный демократизм и в то же время изысканная аристократичность, любовь ко всему родному и широта связей с миром, временами подчеркнутая серьезность и склонность к доброй шутке — во всем этом Никита Ильич походил на своего великого прадеда. И вызывал симпатию, уважение у всякого, с кем сталкивала судьба.

Ученые заслуги выдающегося слависта велики, бесспорны, признаны всеми и потому не нуждаются в подтверждении, даже характеристике. Звание академика, посмертно выходящий трехтомник избранных работ — блестящее тому подтверждение.

Поражало другое: глубокая заинтересованность «общим делом», будь то судьба Российской Академии наук, заботы Комитета славистов, организация и работа Российского гуманитарного научного фонда и многое, многое другое. Член Президиума РАН, Никита Ильич согласился стать советником президента России, чтобы защищать Академию и вообще русскую науку. Чувствовал личную ответственность за то, как пройдет очередной Съезд славистов или заседание Комитета, отечественного и международного. Весь свой авторитет и обаяние употреблял на благородную деятельность РГНФ, созданного по его инициативе для поддержки и развития подлинно научного гуманитарного знания.

Для меня Никита Ильич навсегда останется главным редактором нового, 100-томного академического Л.Н. Толстого, издание которого скоро начнется

(многие тома уже подготовлены). С явным удовлетворением соглашаясь на эту роль, Никита Ильич сказал застенчиво-шутливо: «Ну что ж, теперь придется все у него прочитать». Счастлива одним из последних, на ходу, разговоров в Отделении литературы и языка: Никита Ильич похвалил весьма скромное издание — «Л.Н. Толстой и П.В. Веригин. Переписка».

Поразительно проявлялась в Никите Ильиче его мужественность — на полях военных и мирских сражений, в час смерти. Религиозно, церковно верующий, он готов был безропотно отдать себя воле Бога. Врачи, изо всех сил боровшиеся за жизнь, восхищались простотой душевного спокойствия. Близость конца узнавали, может быть, лишь по той готовности, с какою Никита Ильич рассказывал им о родителях, детстве, Югославии, о своих самых глубоких пристрастиях и убеждениях. Представление об этих рассказах могут дать прекрасные воспоминания (подготовлены к печати С.М. Толстой), прозвучавшие 19 февраля и 5 марта 1995 г. по «Радио России» (Живая старина, 1997, № 2, С. 18–23).

Всем любившим и знавшим ученого и замечательного человека советую целиком прочитать номер этого журнала, посвященный памяти Никиты Ильича Толстого.

Л. Громова-Опульская



Об О. В. Толстом
(1927–1992)

О впечатлении от работ Олега Толстого хорошо сказал Андрей Вознесенский: «...Краски входят в меня и выходят обратно, плывут и расплываются куда-то вдаль... Огромное! Впечатление!»

Об Олеге Толстом я слышал очень много еще года за два до нашего знакомства, но состоялось оно лишь 14 мая 1959 года на квартире у художника и очень хорошего гитариста Бориса Горбунова. Мы сразу понравились друг другу и часа через полтора уже были на «ты». Еще больше мы сблизились, когда выяснили, что моя бабушка прекрасно знала Софью Андреевну Толстую (жену Льва Николаевича Толстого). А наших более отдаленных предков связывала не только служба, но и общее «преступление» по делу царевича Алексея Петровича.

На второй день нашего знакомства Олег пригласил меня к себе домой. В оценке художников, взглядах на искусство у нас было очень много общего. Хотя споры об искусстве бывали иногда жаркими, мы всегда приходили к единому мнению. У нас были две интереснейшие поездки, где мы вместе много работали. Одна была в Ясную Поляну, другая в Верею. Еще больше мы сблизились, когда работали в соседних, через коридор, мастерских.

Будучи умным и глубоким человеком, Олег много мне рассказывал о философии. Я, с детства увлекавшийся историей, рассказывал ему, в свою очередь, о тех вещах, которых он не знал. Вместе мы часто, почти через день, ходили в баню, которую оба очень любили. Иногда мы рисовали одну и ту же модель. Часто писали и рисовали друг друга.

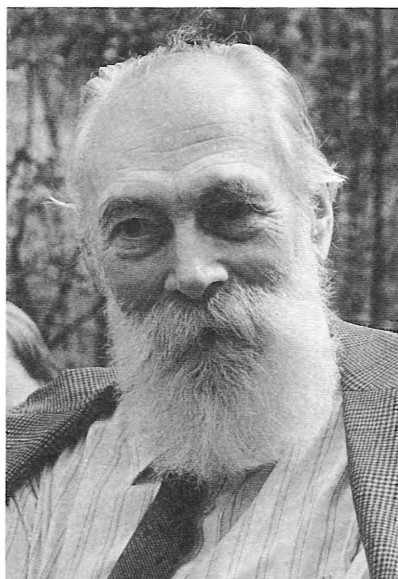
Олег беспрестанно занимался поисками и двигался вперед как художник. Ведь мир, природа всегда в движении. Ни один час не похож на другой, ни один день не бывает копией другого дня, ни одна зима не повторяет другую. Поэтому такие его картины, как «Облака. Байкал», «Снегопад», часто не понятые зрителем, сам художник считал своим большим достижением.

Рисунки Олега Толстого, на первый взгляд, выполнены в другом ключе. Но это не так. Именно аналитический взгляд в рисунке, а затем «обобщение движения» в живописи. Все это единый процесс, где высшим достижением является слияние рисунка с живописью. Пейзаж для Олега Толстого не только эмоциональное восприятие, не просто натурные этюды, главное — это размышление, раскрытие глубокой сущности, которая и является тайной и красотой нашей русской природы. А без тайны нет искусства.

Добавлю, что искусство почти всегда является еще и зеркальным отражением процессов, происходящих в обществе. Не многие художники рисковали и жертвовали своим временем, силами, чтобы попытаться найти свой путь в искусстве. И удается это единицам. Но у Олега Толстого в рамках традиций «Союза русских художников» нашелся свой путь осмысления мира. Без грохота и барабанного боя, без подделки под модные течения, где часто все построено на шарлатанстве, Олег Толстой создал свой обобщенный мир.

Ушел он от нас чрезвычайно рано и неожиданно, не реализовав до конца своих больших творческих возможностей. Олег навсегда останется горячо любимым человеком в моей памяти.

*Кирилл Мордовин,
художник*



**Об И. В. Толстом
(1930–1997)**

Как написать о человеке, которого любишь с детства, который с каждым годом твоего взросления становится все интереснее для тебя, загадочнее; понятнее с одной стороны и непонятнее с другой... Которого, казалось бы, хорошо знаешь, и вдруг осознаешь, что есть какие-то колоссальные пробелы в понимании чего-то важного...

Лето. Яблоневый сад. Деревья — грушовка, мельба, посаженные моим дедом, отцом дяди Ильи, Владимиром Ильичом Толстым.

Дом, южная сторона которого увита яблонями, розы, цветущие рядом.

В этом доме и жил дядя Илья, Илья Владимирович. Всегда подтянутый, элегантный (даже когда выходил утром за водой к колодцу и по своему милому обыкновению одевал обувь без шнурка — так быстрее), встречал он меня в Троицком с радушной улыбкой и неизменным целованием в щеку...

К сожалению, когда люди уходят, понимаешь, что многое тобой упущено — можно было чаще видеться, можно было бы вместе ходить в консерваторию, театр... Многое можно было бы обсудить, обо многом хотелось бы расспросить...

Только один раз мы с дядей Ильей ходили в театр. Я его вытащила на «современную» пьесу (дядя Илья разделял искусство на «классическое» и «современное». Последним он живо интересовался, всегда хотел увидеть в нем что-то хорошее, даже если оно ему чем-то претило).

Шла пьеса «Королевские игры» Григория Горина в постановке Марка Захарова. Я специально выбрала эту постановку, т. к. моя троюродная сестра Фекла Толстая учится на режиссерских курсах именно у Захарова.

Это было зимой. Мы условились встретиться с дядей Ильей и его второй женой Светланой Владиславовной у театра. Зная, что дядя не любит, когда люди опаздывают, я пришла на пять минут раньше и уже издаലെка увидела его голову, которая возвышалась над толпой. Мы вошли в театр... Хочется сказать, что дядя Илья был невероятно галантен, он умел «ухаживать» за дамами; в данном случае «дамами» были мы со Светланой Владиславовной. Я получила большее удовольствие от этого «ухаживания», чем от самого спектакля: дядя Илья снимал и подавал наши пальто, трогательно заказывал в буфете то, что мы хотели — а это были коньяк и пирожные. Очень быстро настроение наше стало чрезвычайно хорошим. Пьеса у меня оставила приятное впечатление, несмотря на оглушительное музыкальное сопровождение, средний вокал исполнителей и необыкновенно бурное действие, которое время от времени привлекало мое внимание. Я не поняла тогда, что мой дядя с трудом выдерживает все это (виду он не показывал, т. к. не хотел меня огорчать). Настроение наше оставалось хорошим до конца всего спектакля.

Через некоторое время я с ужасом узнаю от Феклы, что дядя Илья устроил ей «разнос» за Марка Захарова. Уж я не знаю, какими словами он его ругал, но ругал отчаянно. Фекла была, конечно, расстроена, я некоторое время переживала, что «приподнятое» настроение дяди Ильи, оказывается, сыграно им для меня, но на самом деле спектакль ему не понравился.

Теперь я вспоминаю этот маленький эпизод с удовольствием, т. к. наше хорошее настроение, как я понимаю сейчас, родилось оттого, что мы были вместе, вместе провели не самый плохой вечер и разговоры наши велись больше об искусстве, о театре, об актерах, а не о делах и проблемах.

Милый дядя Илья... эlegantный, красивый, мягкий, тонко чувствующий, благородный, не разменивающийся по мелочам, любимый многими людьми — и родными, и друзьями, и учениками, и женщинами — ты всегда останешься в моей памяти.

Н. Толстая

О Н. Г. Шелепиной (1919–1997)

2 декабря 1997 года на 78 году жизни скончалась одна из старейших сотрудниц Государственного музея А. Н. Толстого, заслуженный работник культуры Нина Георгиевна Шелепина. После окончания Московского библиотечного института Нина Георгиевна в 1946 году пришла работать в Музей А. Н. Толстого, где прослужила более полувека. В интервью, опубликованном в журнале «Библиография» (1996. № 4), Нина Георгиевна сказала: «Эти годы для меня дорогие. Мне всегда было интересно в музее и работалось легко, сорок лет я заведовала научной библиотекой музея. В небольшом тогда читальном зале занимались докторанты, аспиранты, студенты... Сегодня, открывая книги о Толстом, за фамилиями авторов я вижу лица тех, кто приходил к нам заниматься, пользоваться уникальным фондом».



Начав работать в музее в послевоенные годы, когда его фонды только вернулись из эвакуации и большинство книг находилось в дорожных ящиках, Нина Георгиевна много сил и труда вложила в организацию, изучение, а в дальнейшем — и пополнение книжного фонда. Ответственное, заинтересованное и творческое отношение к работе позволило Нине Георгиевне четко организовать все виды фондовой и необходимой экспозиционной работы и развить широкую библиографическую деятельность. В справочно-библиографической работе учителями и соратниками Нины Георгиевны долгие годы были крупнейший русский библиограф, современник Толстого Б.С. Боднарский и Н.Н. Гусев — бывший личный секретарь писателя. Увлеченно относясь к работе и глубоко изучая фонды, Нина Георгиевна охотно делилась своими открытиями. Она неоднократно выступала с интересными научными сообщениями на Толстовских чтениях и на заседаниях Научной группы при музее.

Нина Георгиевна — автор более двадцати печатных трудов. Ее статьи и публикации появлялись на страницах «Литературного наследия», «Яснополянских сборников», журналов «Библиография», «Народное образование», выходили отдельными изданиями. Она принимала участие в составлении аннотированных указателей к многочисленным изданиям произведений Толстого и мемуаров о нем.

Нина Георгиевна — главный составитель коллективных трудов «Библиография произведений Л.Н. Толстого» (М., 1955) и «Библиография литературы о Л.Н. Толстом» в шести томах (М., 1960—1990), получивших признание специалистов в нашей стране и за рубежом. Одна из последних работ Нины Георгиевны — статья «О невосребованных источниках материалов для Толстовианы», помещенная в сборнике «Толстой и о Толстом», подготовленном Институтом мировой литературы им. А.М. Горького Российской Академии наук, корректуру которой она успела прочитать незадолго до своей кончины.

Нелепый трагический случай вырвал из жизни человека, полного сил, энергии, творческих планов, желания трудиться, передавать свои знания, помогать тем, кто в этом нуждается. Мы навсегда сохраним светлую память о нашем прекрасном сотруднике, блестящем специалисте и добром, заботливом, внимательном и чудесном человеке.

Коллектив Государственного музея А. Н. Толстого

Яснополянский сборник 1998

На обложке: Въезд в усадьбу. Фотография С.А. Толстой 1897 г.
На форзаце: Ясная Поляна. Прешпект. Фотография К.К. Буллы 1908 (?) г.

Макет В.В. Смазнова
Компьютерная верстка Н.Е. Кутепова, М.А. Серёда
Сканирование М.А. Кудряшов
Техническое обеспечение С.В. Белов

Серия ЛР № 021228 от 9.06.97 г.
Подписано в печать 1.03.99 г. Гарнитура Academy.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,41. Тираж 1000 экз. Заказ № 773

Издательский дом «Ясная Поляна»
Тула, ул. Октябрьская, 14

Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПО «Лев Толстой»
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70

